П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах

ТОМ 6

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

●

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА. 1976

Составление и общая редакция
М. П. Еремина.

Иллюстрации художника
И. С. Глазунова.

НА ГОРАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Герасим в скором времени поставил брата на ноги. Избу поновил, два новых венца под нее подвел, проконопатил, покрыл новым тесом, переложил печи, ухитил двор, холостые строенья кои исправил, кои заново поставил, словом — все в такой привел вид, что чистый, просторный чубаловский дом опять стал лучшим по деревне и по всей окольности. Абрам принял родительское тягло, но тех полос, что удобрены были бычками покойника Силы Чубалова, мир возвратить не пожелал, а отрезал воротившемуся в общину тяглецу самые худые полосы из запольных, куда спокон веку ни одной телеги навоза не вывозили. Сколько ни жалобился на то Абрам, мужики и слушать его не хотели. «Что мир порядил, то бог рассудил»,— говорили они, а между собой толковали: «Теперь у Чубаловых мошна-то туга, смогут и голый песок доброй пашней сделать, потому и поступиться им допрежними их полосами миру будет за великую обиду...» Чубаловы поспорили, поспорили, да так и бросили дело... Как с миром сладишь?.. Хоть мир и первый на свете разбойник, а суда на него не сыщешь... Двух работников нанял Герасим Чубалов, много скотины завел и, по родительскому примеру, опять стал бычков скупать. Пошло дело на лад по-прежнему. Себе Герасим поставил на усаде не келью, а большую пятистенную избу и поселился в ней с Семеном Ермолаичем да с Иванушкой. Думали — женится, однако не пожелал Герасим женой да детьми себе руки вязать.

Иванушку взял в дети, обучил его грамоте, стал и к старым книгам его приохочивать. Хотелось Герасиму,

чтоб из племянника вышел толковый, знающий старинщик, и был бы он ему в торговле за правую руку. Мальчик был острый, умен, речист, память на редкость. Сытей хлеба стали ему книги; еще семнадцати лет не мину́ло Иванушке, а он уж был таким сильным начетчиком, что, ежели кто не гораздо боек в писании — лучше с ним и не связывайся, в пух и прах такого загоняет малёц.

Герасим, только что устроил дом, то́тчас и принялся за свою торговлю. Не одни книги теперь у него были, много стало икон, крестов, лестовок, кацей и других старинных вещей. Попадутся под руку и гражданской печати подержанные книги, он и их покупал, попадутся старинные жемчужные кики и кокошники, серебряная посуда, старое оружие, седла, древняя конская сбруя, все покупал, и все у него в свое время сходило с рук. Разъезжая по ярмаркам и для поисков за стари́нкой, он всегда брал с собой Иванушку, чтобы смолоду он на людей насмотрелся, вызнал их свычаи и обычаи и копил бы разум. Дома сидеть — ничего не высидишь, а чужбина всему научит. Не нарадовался Герасим на братанича [1], любил его пуще, чем отец с матерью; не мог налюбоваться на своего вы́учка [2].

Сколько денег привез с собою Герасим, доподлинно никто того не знал. Не было у него об этом речей ни с братом, ни с невесткой, а когда вырос Иванушка, и тому ни слова не молвил. При возврате Герасима на родину у всех было на виду, что три полных воза с товарами было при нем. Уложены были те товары точно в такие коробья, в каких офени развозят красный товар. Думали, что тут ситцы, холстинки, платки, сарпинки, иголки, булавки, гребни, наперстки, ножницы, тесемки и всякий другой красносельский и сидоровский товары [3]. Бабы то́тчас стали смекать, сколько тут какого товару должно

---

[1] *Брата́нич, бра́тыч* — племянник, сын старшего брата; *се́стренич, сѐстрич* — племянник по сестре. (Все примечания, данные в сносках, принадлежат автору.— *Ред.*)

[2] *Выучек* — кончивший учение ученик относительно своего учителя.

[3] Медные, бронзовые и оловянные безделушки с самоцветными камнями, то есть с цветными стеклышками,— серьги, перстни, кольца, цепочки, брошки, булавки и т. п. Их делают в селах Сидоровском и Красном, Костромской губернии. Чрезвычайно дешевы (брошка 7 коп., булавка с камнем-самоцветом 3 коп.). Расходится этот товар во множестве по деревням, идет даже за границу (в Галицию).

быть положено и чего он стоит — считали, считали, счет потеряли, так и бросили. Но все в один голос решили, что Герасим Чубалов темный богач, и стали судить и рядить, гадать и догадываться, где б это он был-побывал, в каких сторонах, в каких городах и каким способом столь много добра накопил. Вдруг откуда ни возьмись в бабьем кругу тетка Арина и понесла околесную. Уши развесив, бабы ее слушают, набираются от закусочницы сказов и пересудов, и пошла про Герасима худая молва, да не одна: и в разбои-то он хаживал, и фальшивые-то деньги работывал, и, живучи у купца в приказчиках, обокрал его, и, будучи у купчихи в любовниках, все добро у нее забрал... Столько было болтовни, столько было про Герасима сплетен, смутков[1] и клеветы, что послушать только, так уши завянут. Когда же узнали, что он привез не холстинки, не сарпинки, а одни только старые книги, тогда вера в несметность его богатства разом исчезла, и с тем вместе и молва про его похождения замолкла.

По времени приходили к Герасиму старики изо всей окольности, из ближних и дальних селений. Кланялись ему, величали, звали на праздное после смерти Нефедыча место наставника. «Ты у нас книжный, ты у нас поученый, в писании силу разумеешь, жизни степенной — ступай за попа». Но, как ни улещали старики Герасима, как слезно они его ни упрашивали, он наотрез отказался. Горьким для души, тяжелым для совести опытом дошел он до убеждения, что право веры не осталось на земле, что во всех толках, и в поповщине, и в беспоповщине, и в спасовщине, вера столько же пестра, как и Никонова. «Нет больше на земле освящения, нет больше и спасения,— думал он,— в нынешние последние времена одно осталось ради спасения души от вечной гибели — стань с умиленьем перед спасовым образом да молись ему со слезами: «Несть правых путей на земле — сам ты, Спасе, спаси мя, ими же веси путями». Укрепясь в таких мыслях, Герасим стал крайним «нетовцем»[2] и считал делом постыдным, противным и богу и совести делаться слепым пастырем стада слепых.

---

[1] *Смуток* — наговор, навет.

[2] «Нетовщина» отвергает и таинство, и освящение, и общую молитву... По ее убеждениям теперь нет ничего. Оттого и получила еще в прошлом столетии название *нетовщины*.

* * *

Годы шли один за другим; Иванушке двадцать мину́ло. В семье семеро ревизских душ — рекрут скоро потребуется, а по времени еще не один, первая ставка Иванушке. Задолго еще до срока Герасим положил не довести своего любимца до солдатской лямки, выправить за него рекрутскую квитанцию, либо охотника приискать, чтоб шел за него на службу.

Сказал о том брату с невесткой, те не знают, как и благодарить Герасима за новую милость... А потом, мало погодя, задрожал подбородок у Пелагеи Филиппьевны, затряслись у ней губы и градом полились слезы из глаз, вскочив с места, она хотела поспешно уйти из избы, но деверь остановил ее на пороге.

— О чем припечалилась, невестушка? — спросил он у нее.

Долго не хотела сказать про свое горе Пелагея, наконец после долгих, неотступных уговоров деверя робко и тихо промолвила:

— Стало, Гаврилушке надо будет в солдаты идти, голубчику моему ненаглядному, пареньку моему бессчастному, бесталанному?

Задумался Герасим. Материно горе, слезы ее и рыдания нашли отклик в любящем сердце. Бодро поднял он склонившуюся голову и с веселой улыбкой сказал Пелагее:

— Не рони напрасно слез, Филиппьевна, придет пора да пособит господь, и Гаврилушку выслободим. Не плачь, родная, не надрывай себя по́пусту.

Тут Абрам повесил голову и руки опустил. Третий сын Харламушка был любимцем его. Парень вырос толковый, смышленый, смиренный, как красная девушка, а на работу огонь. И по крестьянскому и по прядильному промыслу такой вышел из него работник, что не скоро другого такого найдешь. Голландскую ли бечеву, отбойную ли нитку [1] так чисто выпрядывал он, что на обширной прядильне Марка Данилыча не выискивалось ни одного работника, чтобы потягаться с Харламушкой. Оттого больше и любил его отец, больше всех на него

---

[1] *Голландская бечева*, в толщину вязальной иглы, идет на сшивку парусов; *отбойная нитка* употребляется плотниками и столярами для отбоя прямой черты мелом.

надеялся и больше всех боялся за него. Но ни слова не сказал Абрам, виду брату не подал.

— О Харламушке задумался? — улыбаясь, спросил его Герасим.

— Как же мне об нем не задуматься? — грустно ответил Абрам.— Теперь хоть по крестьянству его взять— пахать ли, боронить ли — первый мастак, сеять даже уж выучился. Опять же насчет лошадей... О прядильном деле и поминать нечего, кого хошь спроси, всяк тебе скажет, что супротив Харлама нет другого работника, нет, да никогда и не бывало. У Марка Данилыча вся его нитка на отбор идет, и продает он ее, слышь, дороже против всякой другой.

— До его череды время еще довольно,— молвил Герасим.— Бог даст и для Харламушки что-нибудь придумаем... Смотри ж у меня, братан, головы не вешай, домашних не печаль.

Потом, немного помолчав, сказал Герасим брату и невестке:

— Значит, по времени на царскую службу надо будет идти либо Максиму, либо Саввушке.

— Надо же кому-нибудь, семья большая,— едва слышно промолвил Абрам.

— Который палец ни укуси, все едина боль,— со скорбным вздохом сказала Пелагея.

Ни слова не молвил на то Герасим и молча пошел к себе на усад.

На другой день стал он хлопотать, чтобы все братнино семейство освободить от рекрутства. Для этого стоило им из казенной волости выписаться и выйти в купцы.

Когда еще была в ходу по большим и малым городам третья гильдия, куда, внося небольшой годовой взнос, можно было записываться с сыновьями, внуками, братьями и племянниками и тем избавляться всем до единого от рекрутства, повсеместно, особенно по маленьким городкам, много было купцов, сроду ничем не торговавших. Такие города бывали, что из семисот горожан ста по три купцов бывало, а лавок всего три, четыре. По двадцати да по двадцати пяти человек к одному капиталу, бывало, приписывалось, и никто из них не боялся солдатства. Часто у таких купцов денег сроду и не важивалось, и перед взносом гильдейских пошлин они на гильдию Христа ради сбирали. Герасим, хоть для того

же, чтоб избавить всю братнину семью от рекрутчины, выходил в купцы, но сбирать денег ему не доводилось, своих было достаточно. Выход в купечество значительно умалил его капитал и сократил ежели не торговлю, так поиски за стариной, но он не задумался над этим.

Записаться в купцы! Скоро сказать, да не скоро сделать. И времени ушло много на хлопоты, и дело обошлось не дешево. Без малого полгода чуть не каждую неделю, а в иную и по два раза надо было поить мир-народ сначала деревни Сосновки, а потом чуть не целой волости. Пришлось задаривать писаря и волостного голову с заседателями и добросовестными; рассыльных, сторожей и тех нельзя было обойти, чтоб по их милости дела чем-нибудь не испортить. Из волостного правления дело об увольнении Чубаловых из общества государственных крестьян пошло к окружному. Там пришлось мошну еще пошире распустить, а когда поступило дело в палату, так и больно ее растрясти. В большую копейку стали Герасиму хлопоты, но он не тужил, об одном только думал — избавить бы племянников от солдатской лямки, не дать бы им покинуть родительского дома и привычных работ, а после что будет — то бог даст. Ни на минуту не выходила из помышлений Герасима судьба племянников, особливо Иванушки, и беспокойные, начетистые хлопоты его не тяготили. Как-то здоровей он стал, и духом бодрей, весел был всегда и доволен всем. Перемежатся, бывало, хлопоты на неделю либо на две, ему уж и скучно, и дома ему не сидится, тóтчас сберется и поедет кого надо поторапливать. Зато, когда все заботы и суеты кончились и Герасим воротился в отчий дом с купеческим свидетельством по третьей гильдии и родная семья встретила его как избавителя, такую он отраду почувствовал, такое душевное наслажденье, каких во всю жизнь еще не чувствовал.

Сели обедать: купец, купецкий брат, купецкие племянники. После обеда молвил брату Герасим:

— А ведь давеча как я посчитал, во что обошлось все дело, выходит мы ровнехонько на тысячу целковых в барышах остались.

— Как это в барышах? — изумился Абрам.

— А как же? Считай,— сказал Герасим.— Иванушка, подай счеты, голубчик, вон они на пóлочке. Гляди, братан,— снова обратился к Абраму и стал на счетах вы-

кладывать.— Вина миру пропоено на двести на десять целковых. . Здешнему старосте две синеньких — десять рублев... писарю сотня... голове пятьдесят... в правлении тридцать... окружному пятьсот... помощнику окружного да приказным пятьдесят... управляющему тысяча... палатским приказным триста... да по мелочам, на угощенья да на извозчиков приказным, секретаря в баню возил, соборному попу на ряску купил — отец секретарюто,— секретарше шаль, всего двести пятьдесят; итого, значит, две с половиной тысячи. В думе за приписку да по рукам двести рублей разошлось, да на пошлины, да на гербову бумагу, как раз три тысячи. А квитанцию ли купить, охотника ли нанять, дешевле восьмисот целковых и думать нечего. Значит, за пятерых-то надо бы было четыре тысячи заплатить. Как же тут не барыш в тысячу целковых? Сам считай.

И засмеялся добрым смехом новый купец.

Только что избы́л Герасим одни хлопоты, другие подоспели. И сам он и братняя семья сосновским мужикам стали отрезанным ломтем. Раз они уж воспользовались на̀ диво удобренной отцом Чубаловым землею, теперь разгорелись у них зубы и на запольные полосы, что отрезаны были Абраму по возвращенье Герасима и в десять лет из худородных стали самыми лучшими изо всей сосновской окружной межи. Чужим здоровьем болея, мир-народ говорил: «Они-ста теперь стали купцы, для чего же на нашей на мирской земле сидят и тем крестьянскому обчеству́ чинят поруху? Коли ты купец, живи в городу́. Не след твоей чести середь серых мужиков болтаться! У нас в деревне обчество́, значит, здесь тебе нечего делать — в город ступай, там себе хоромы ставь, а твой дом на нашей мирской земле ставлен, значит, его следует в обчество́ отдать». После столь мудрых и справедливых рассуждений пришел от лица мир-народа к Чубаловым староста и объявил мирское решение: перебирались бы они все на житье в город, а дом и надельные полосы отдали бы в мир. Сколько ни спорили Чубаловы, мир-народ на своем стоял: «Ступай вон из деревни», да и только. Посулили Чубаловы мужикам вина и всякого другого угощенья за приговор, чтобы за ними оставалось все по-прежнему. Вино мир-народ выпил, угощенье съел, а от своего не отстал. Опять староста во двор, опять усадьбу и землю требует именем мира. За старо-

стой весь мир-народ к чубаловскому двору привалил. Пытался было Герасим с Абрамом убедить мужиков, что не дело они требуют, не по правде поступают — толку не вышло. Говорили Чубаловы с тем, с другим мужиком порознь, говорили и с двумя, с тремя зара̀з, и все соглашались, что хотят из деревни их согнать не по-божески, что это будет и перед богом грех и перед добрыми людьми зазорно, но только что мир-народ в кучу сберется, иные речи от тех же самых мужиков зачнутся: «Вон из деревни! и дело с концом...» Такова правда в пресловутой русской общине, такова справедливость у этого мир-народа, что́ исстари крепкими стопами на ведерках водки стоит... Сам народ говорит: «Мужик умен, да мир дурак». Никто так не тяготится общинным владением земли и судом мир-народа, как сам же народ.

Сколько ни убеждали Чубаловы, мир-народ их слушать не хотел. Мужицкий мир, что твоя рогатина: как упрется, так и стоит — не во́зьмет его ни о́твар, ни присыпка. Суд да дело пошли, опять хлопоты в немалую копейку стали Герасиму. Усадьбу отхлопотали, палата без году на сто лет укрепила ее за Чубаловыми за сходную плату, но земельного надела, как ни старались отхлопотать, не смогли. Второй раз сильно удобренные трудом и коштом Чубаловых полосы мир-народу достались. А покинуть соху с бороной Чубаловым неохота была: дело привычное, к тому ж хлеб всему голова, а па̀хота всякому промыслу царь. На их счастье о ту пору один молодой барин по соседству наследство после отца получил и вздумал доставшимся именьем разом распорядиться по-своему. Попросту сказать, спустить с рук именье, чтобы поменьше было хлопот. Пустошь у него была десятин в пятьдесят возле Сосновки, межа к самым овинам подошла; барин и вздумал сбыть ее. Герасиму же было то на руку, купил он пустошь, к немалой досаде завидущего мир-народа.

— Земелька-то нам за полцены досталась,— сказал брату Герасим, воротясь и́з города с купчей крепостью.

— Как за полцены?

— Да как же? Ведь по сороку рублей десятина-то пошла,— сказал Герасим,— выходит, всего две тысячи. Одну тысячу из залежных барину-то я выдал, а другу из барышей.

— Из каких барышей? — спросил Абрам.

— Забыл уж! — засмеялся Герасим.— Эка память-то у тебя коротка стала, братан! Летось, как о купечестве-то хлопотали, ведь тысяча в барышах-то осталась, ну вот она теперь и пригодилась. Оно правда — купчая наша, ну и расходы тоже были, без того уж нельзя... Да что об этом толковать — теперь у нас своя земелька, миру кланяться нѐ пошто, горлодеров да коштанов[1] ни вином, ни чем иным уважать не станем, круговая порука до нас не касается, и во всем нашем добре мы сами себе хозяева; никакое мирское начальство с нас теперь шиша не возьмет. И землицы, слава богу, досталось достаточно, по семи десятин на душу выходит. Где, в каком селе, в какой деревне такой надел найдешь?..

— Ох! Денег-то у тебя что на нас изошло! — с глубоким вздохом молвила Пелагея, глядя умиленным взором на деверя.

— Не деньги нас наживали, а мы их нажили,— добродушно улыбаясь, молвил Герасим.— Чего их жалеть, коль на пользу пошли...

Глядя на расходы Герасима, все, даже его семейные, думали, что у него деньгам ни счета, ни края нет, и никогда не будет им заговенья. На деле, однако, выходило не так. Возвращаясь на родину, правда, он привез очень большие для крестьянского обихода деньги, но после устройства дома, приписки в купцы и покупки земли залежных у него осталось всего только две тысячи. Торговлей добывал он достаточно, но по роду ее необходимо было ему всегда иметь при себе немалые деньги. Вдруг падет слух, что в таком-то месте, у такого-то человека можно купить такие-то старинные вещи, надо то̀тчас же ехать, чтоб другой старинщик не перебил, а иной раз ехать надо очень и очень далеко. На всё расходы, а редкостные вещи всегда покупаются на наличные. Тут ни сроков нет, ни векселей, ни переводов, ни рассрочек: деньги в руки — и дело с концом.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вскоре после покупки земли, когда мошна у Герасима Силыча поистощилась, узнал он, что где-то на Низу можно хорошие книги за сходную цену купить. Сказы-

[1] *Коштан* — мироед, живущий на мирской счет, ходок, ходатай по мирским делам, горлан и коновод на мирских сходках, плут, обманщик, пролаз, тяжѐбник.

вали, что книги те были когда-то в одном из старообрядских монастырей, собираемы были там долгое время, причем денег не жалели, лишь бы только купить. Временем не медля, делом не волоча, Герасим то́тчас же сплыл на Низ, недели две проискал, где находятся те книги, и нашел их, наконец, где-то неподалеку от Саратова. Книг было до трехсот, и все редкие, замечательные. Тут были все почти издания первых пяти патриархов, было немало переводных [1], были даже такие редкости, как «Библия» Скорины, венецейские издания Божидаровича, виленские Мамоничей и острожские [2]. Кроме старопечатных книг, в отысканном Чубаловым собранье было больше двух десятков древних рукописей, в том числе шесть харатейных, очень редких, хотя и неполных. Продавец дорожил книгами, но, не зная ни толку в них, ни цены, не очень дорожился, все уступал за три тысячи целковых, но с обычным, конечно, условием: деньги на стол. Внимательно рассмотрел Герасим книги, увидал, что уступают их за бесценок, и ухватился за выгодную покупку. Но вот беда, денег при нем всего только две тысячи, дома ни копейки, а продавец и не спускает цены и в розницу не продает. Чубалов туда-сюда за деньгами, ничего не может поделать. А упустить такого редкого случая неохота: знает Герасим, что такие собранья и такая сходная покупка, может быть, в двадцать, в тридцать лет один раз выпадут на долю счастливому старинщику и что, ежли эти книги продать любителям старины да в казенные библиотеки — втрое, вчетверо выручишь, а пожалуй, и больше того... Но тысячи целковых нет как нет.

---

[1] *«Переводными книгами»* старообрядцы зовут напечатанные преимущественно в прошлом столетии книги с книг Иосифа-патриарха буква в букву, титло в титло, строка в строку, перенос в перенос.

[2] «Библия Русска выложена доктором Францыском Скориною из славного града Полоцька. Богу почти и людям посполитым к доброму наученью. Прага Чешска. 1517—1519». Издание чрезвычайно редкое. Венецианские издания типографии Божидара Вуковича, а после него сына его Викентия Божидаровича печатались с тридцатых по семидесятые годы XVI столетия. В типографии, бывшей в Остроге, книги печатались в семидесятых годах XVI столетия; последняя известная нам книга этой типографии («Часослов») относится к 1612 году. Типография Мамоничей была в Вильне и печатала книги с семидесятых годов XVI столетия до начала XVII.

В тоскливом раздумье, в безнадежном унынье, ничего не видя, ничего круг себя не слыша, проходил Герасим Силыч по шумной саратовской пристани и в первый раз возроптал на себя, зачем он почти весь свой капитал потратил. Но, взглянув на шедшего рядышком Иванушку и вспомнив скорбный взгляд Абрама, каким встретил он его при возвращенье на родину, вспомнив слезы на глазах невесткиных и голодавших ребятишек, то́тчас прогнал от себя возникшую мысль, как нечестивую, как греховную... в самую эту минуту лицом к лицу столкнулся с Марком Данилычем. В то время у Смолокурова баржи сухим судаком да лещом грузились, и он погрузкой распоряжался.

— Ба, земляк! — ласково, даже радостно вскликнул Марко Данилыч.— Здорово, Герасим Силыч. Как поживаешь? Какими судьбами в Саратов попал?

— Дельцо неподалеку отселе выпало,— отвечал Чубалов. Он тоже обрадовался нежданной встрече со Смолокуровым.

— Аль на золоту удочку хочешь редкостных вещиц половить? — спросил Марко Данилыч.

— Есть около того,— молвил Чубалов.

— Клюет? — спросил Смолокуров.

— То-то и есть, что клевать-то клюет, да на удочку нейдет. Ничего, пожалуй, и не выудишь,— усмехаясь, сказал Герасим.

— Как так?

— Удочка-то маловата, Марко Данилыч. Вот что,— молвил Чубалов. А сам думает: «Вот бог-от на мое счастье нанес его. Надобно вкруг его покружить хорошенько... На деньги кремень, а кто знает, может быть и расщедрится».

— Что лову? — с любопытством спросил Марко Данилыч.

Смолокуров тоже любил собирать старину и знал в ней толк, но собирал не много, разве уж очень редкие вещи.

— Книги все,— отвечал Герасим.— Редкостные и довольно их. Такие, я вам скажу, Марко Данилыч, книги, что просто на удивленье. Сколько годов с ними вожусь, а иные сам в пе́рвый раз вижу. Вещь дорогая!

— На ловца, значит, зверь бежит,— молвил Марко

Данилыч.— А какие книги-то... Божественные одни, аль есть и мирские?

— Книги старинные, Марко Данилыч, а в старину, сами вы не хуже меня знаете, мирских книг не печатали, и в заводях их тогда не бывало,— отвечал Чубалов.— «Уложение» царя Алексея Михайловича да «Учение и хитрость ратного строя» [1], вот и все мирские-то, ежели не считать учебных азбук, то есть букварей, грамматик да «Лексикона» Памвы Берынды [2]. Памва-то Берында киевской печати в том собранье, что торгую, есть; есть и Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого [3].

— Других нет?

— Нет, других нет,— ответил Чубалов.

— Купишь — покажи, может что отберу, ежели понравится. Наперед только сказываю: безумной цены не запрашивай. Не дам,— сказал Марко Данилыч.

— Зачем запрашивать безумные цены? — отозвался Чубалов.— Да еще с земляка, с соседа да еще с благодетеля?

— Земляк-от я тебе точно земляк и сосед тоже,— возразил Смолокуров,— а какой же я тебе благодетель? Что в твою пользу я сделал?..

— Как знать, что впереди будет? — хитрое словечко закинул Чубалов.

Марко Данилыч догадлив был. Разом смекнул, куда гнет свои речи старинщик. «Ишь как подъезжает,— подумал он,— то удочки ему маловаты, то в благодетели я попал к нему».

— А не будет ли у тебя, Герасим Силыч, «Минеи месячной», Иосифовской? [4] — спросил он.

---

[1] «Уложение», Москва, 1649. «Учение и хитрость ратного строя», Москва, 1647; обе в лист.

[2] «Лексикон славяноросский и имен тлъкование». Киев, 1627. Второе издание в Кутеине, 1653. Оба в четвертку. Лексикон Берынды перепечатан Сахаровым во втором томе «Сказаний русского народа».

[3] Л. Зизания, «Граматика словенска съвершеннаго искусства осми частей слова», Вильно, 1396, в восьмушку... Мелетия Смотрицкого «Граматика словенская», 1619. Второе издание в Москве, 1648, с переменами и дополнениями. Обе в четвертку.

[4] Миней в церковном круге три: «Минея общая», где, как сказано в первом ее московском издании 1599 года, помещены: «службы общии, певаемы на праздники на господьския и на праздники богородичны и коемуждо святому, во вселетное годище».

— Есть, только неполная, три месяца в недостаче,— отвечал Чубалов.

—Да мне полной-то и не надо,— молвил Марко Данилыч.— У меня тоже без трех месяцо́в. Не пополнишь ли из своих?

— Отчего ж не пополнить, ежель подойдут месяца,— ответил Чубалов.— У вас какие в недостаче?

— Ну, брат, этого я на память тебе сказать не могу,— молвил Марко Данилыч.— Одно знаю, апреля не хватает.

— Апрель у меня есть,— сказал Чубалов.

— Вот и хорошо, вот и прекрасно, ты мне и пополнишь,— молвил на то Смолокуров.— А то на мои именины, на Марка Евангелиста, двадцать пятое число апреля месяца, ежели когда у меня на дому служба справляется, правят ее по «Общей минеи» — апостолам службу, а самому-то ангелу моему, Марку Евангелисту служить и нѐ по чем.

— Можно будет подобрать, можно,— сказал Чубалов.— Нà этот счет будьте благонадежны.

— Ладно. Ежель на этот раз удружишь, так я колинибудь пригожусь,— молвил Марко Данилыч.

Герасим тут же денег у него хотел попросить, но подумал: «Лучше еще маленько позаманить его».

— Есть у меня икона хорошà Марка-то Евангелиста,— сказал он.— Редкостная. За рублевскую [1] выдавать не стану, а больно хороша. Московских старых писем [2]. Годов сот четырех разве что без маленького.

— Ой ли? — с сомненьем покачав головой, молвил

«Минея служебная, или месячная», 12 книг. По предисловию к первому ее московскому изданию 1607 года, «в ней написани неизреченного божия смотрения тайны и похвалы и того пренепорочные матери и божественным бесплотным невещественным силам и всем святым: праотцем и отцем, пророкам и апостолам, святителям и мученикoм и пр.», «Минея четьи» (то есть для чтения) жития святых. Иосифовская «Месячная минея» печатана в Москве в 1645—1646 годах.

[1] Инок Андрей Рублев — знаменитый московский иконописец первых годов XV века. Старинные иконы, подходящие к его пошибу (стилю), зовутся рублевскими.

[2] Старинные иконы московские разделяются на иконы *старых писем*, до XVII века, *вторых писем*, первой половины XVII века, и *фряжское* — конца XVII века. В иконах старых писем преобладает зеленый цвет, на них тени резкие, свет (поле, фон) всегда красочный, а не золотой.

Марко Данилыч.— Неужто на самом деле столь древняя?

— Толк-от в иконах маленько знаем,— ответил Чубалов.— Приметались тоже к старине-то, понимать можем..

— Да не подстаринная ли[1]? — лукаво усмехнувшись и прищурив левый глаз, спросил Смолокуров.

Это взорвало Чубалова. Всегда бывало ему обидно, ежели кто усомнится в знании его насчет древностей, но ежели на подлог намекнут, а он водится-таки у старинщиков, то честный Герасим тотчас, бывало, из себя выйдет. Забыл, что денег хочет просить у Марка Данилыча, и кинул на его грубость резкое слово:

— Мошенник, что ли, я какой? Ты бы еще сказал, что деньги подделываю... Кажись бы, я не заслужил таких попреков. Меня, слава богу, люди знают, и никто ни в каком облыжном деле не примечал... А ты что сказал? А?.

— Ну, уж и заершился,— мягким, заискивающим голосом стал говорить Марко Данилыч.— В шутку сло́ва молвить нельзя — тотчас и закипятится.

Марка-то Евангелиста не хотелось ему упустить. Оттого и стал он теперь подъезжать к Чубалову. Не будь того, иным бы голосом заговорил.

— Какая же тут шутка? Помилуйте, Марко Данилыч. Не шутка это, сударь, а кровная обида. Вот что-с,— маленько помягче промолвил Чубалов.

— А ты, земляк, за шутку не скорби, в обиду не вдавайся, а ежели уж оченно оскорбился, так прости Христа ради. Вот тебе как перед богом говорю: слово молвлено за всяко просто,— заговорил Смолокуров, опасавшийся упустить хорошего Марка Евангелиста.— Так больно хороша икона-то? — спросил он заискивающим голосом у Герасима Силыча.

— Икона хорошая,— сухо ответил тот.

---

[1] Иконники, а также иные и из старинщиков нередко подделывают под старинные иконы, и эти подделки называются «подстаринными». Чтобы более походило на старину, пишут иконы темными красками, с темными лицами и на темном поле. Особенно занимаются этим в Холуе (Владимирской губернии, Вязниковского уезда). Подделка производится так искусно, что только опытный глаз может ее заметить; подделывают даже трещины, места, отставшие от грунта, скоробленные доски и другие признаки старинной работы.

— У меня тоже не из худых ангела моего икона есть. Только много помоложе будет.— Баронских писем [1].

— Что ж, и баронское письмо хорошо, к фряжскому [2] подходит,— промолвил Чубалов.

— Твоя-то много будет постарше. Вот что мне дорого,— сказал Смолокуров.— Ты мне ее покажи. Беспременно выменяю [3].

— Да моя ста на полтора годов будет постарше,— сквозь зубы промолвил Чубалов.

— С орлом?

— Неужто со львом?[4] — усмехнулся Чубалов.— Сказывают тебе, что икона старых московских писем. Как же ей со львом-то быть?..

— Ну да, ну, конечно,— спохватился Марко Данилыч.— Так уж ты, пожалуйста, Герасим Силыч, не позабудь. Так скоро восвояси прибудем, ты ко мне ее и тащи. Выменяю непременно. А нет ли у тебя кстати старинненькой иконы преподобной Евдокии?

— Преподобной Евдокии, во иночестве Ефросинии?.. Нет, такой нет у меня,— сказал Чубалов.

— Какая тут Афросинья! Евдокию, говорю, преподобную Евдокию мне надо. Понимаешь!.. Знаешь, вели-

---

[1] Баронские или «третьи строгановские» иконы писались в конце XVII столетия и в XVIII. Иконопись в них переходит во фряжское письмо и даже отчасти в живопись; краски светлые, пробелы в ризах и других изображаемых одеяниях золотые.

[2] Фряжское письмо, то есть западное, европейское, живописное. Фрягами или фрязинами называли у нас итальянцев. Фряжское письмо, составляющее переход от старинной иконописи к живописи, распространилось в Московском государстве в конце XVII века.

[3] Никогда не говорится *купить* икону, крест или другое священное изображение, а *выменять*. В иных местах набожные люди и о церковных свечах, деревянном масле и т. п. ни за что не скажут: купил, но «выменял».

[4] Символическое изображение при Марке—лев, при Иоанне—орел. Но у старообрядцев наоборот, потому что при первых пяти патриархах так изображались евангелисты. Так велось в XVI и в первой половине XVII столетия, но древнейшие изображения таковы же, как и теперь употребляемые церковью. Так, например, в самом древнейшем русском рукописном Евангелии 1056 года, Остромировом, Марк Евангелист изображен со львом. В том же Евангелии на изображении Иоанна Богослова, находящемся в узорчатой кайме, дух святой в виде орла подает ему Евангелие, а над каймой нарисован идущий лев, но без венчика, то есть без очертания сияния вокруг головы (символ святости).

ким постом Авдотья-плющиха бывает, Авдотья — подмочи подол. Эту самую.

— Первого марта? — спросил Чубалов.

— Как есть! Верно. Ее самую,— подтвердил Марко Данилыч.

— Так ведь она не преподобная, а преподобно-мученица,— с насмешливой улыбкой заметил Чубалов.— Три Евдокии в году-то бывают: одна преподобная седьмого июля, да две преподобно-мученицы, одна первого марта, а другая четвертого августа.

— Господь с теми. Мне Плющиху давай. Дунюшка у меня на тот день именинница, на первое-то марта,— сказал Смолокуров.

— Найдется,— молвил Чубалов.— Есть у меня преподобно-мученицы Евдокии чудо, а не икона.

— Стара?

— Старенька. Больше двухсот годов. При святейшем патриархе Филарете писана царским жалованным изографом Иосифом [1]. Другой такой, пожалуй, всю Россию обшарь — не сыщешь. Самая редкостная.

— А меры какой? — спросил Марко Данилыч.

— Штилистовая [2] благословенная,— ответил ему Чубалов.

— Такую и требуется,— с радостью сказал Марко Данилыч.— Оставь за мной, выменяю. И Марка Евангелиста и Евдокею выменяю. Так и запиши для памяти. Дунюшка у меня теперь в такие года входит, что, пожалуй, по скорости и благословенная икона потребуется. Спасом запасся, богородица есть хорошая, Владимирская — это, знаешь, для благословенья под венец, а ангела-то ее и не хватает. Есть, правда, у меня Евдокея, икона хорошая, да молода — поморского письма, на заказ

---

[1] В XVII столетии при Оружейной палате для государевых дел (работ) находились постоянные *жалованные* и *кормовые* иконописцы, изографы. Ими управлял оружейничий и дьяк. Жалованные состояли на службе, получали денежное жалованье и кормы и находились при палате постоянно; кормовые работали временно по мере надобности. Жалованные были искуснее кормовых. Изограф Иосиф жил при царе Михаиле Феодоровиче. Жалованные иконописцы раскрашивали также игрушки царевичам и царевнам.

[2] *Штилистовая* — шести вершков вышины.

писана[1]. Хоть и по древнему преданию писана, однако же, все-таки новость. А ежели твоя, как ты говоришь, царских жалованных мастеров, чего же лучше? Под пару бы моей богородице, та тоже царских изографов дело, на затыле подпись: «Писал жалованный иконописец Поспеев»[2].

— Сидор Поспеев? — спросил Чубалов.

— Верно,— подтвердил Смолокуров.

— Хорошая должна быть икона, добрая. Поспеевских не много теперь видится, а все-таки годиков на двадцать она помоложе будет моей Евдокии,— заметил Чубалов.

— Разница не велика,— молвил Марко Данилыч.

— Моя Евдокия вельми чудная икона,— немного помолчавши, сказал Чубалов.— Царицы Евдокии Лукьяновны комнатная[3].

— Полно ты! — сильно удивился, а еще больше обрадовался Марко Данилыч.

— Знающие люди доподлинно так заверяют,— спокойно ответил Чубалов.— Опять же у нас насчет самых редкостных вещей особые записи ведутся[4]. И та икона с записью. Была она после также комнатной иконой у царевны Евдокии Алексеевны, царя Алексея Михайловича меньшой дочери, а от нее господам Хитровым досталась, а от них в другие роды пошла, вот теперь и до наших рук доспела.

— В окладах иконы те? — спросил Марко Данилыч.

— Царицына в золотой ризе сканного дела[5] с ла-

[1] Поморского письма иконы приготовлялись в поморских беспоповщинских монастырях (Данилове и Лексе Олонецкой губернии). Иконы, что писались в Москве на Преображенском кладбище, похожи на поморские и часто за них были выдаваемы.

[2] Сидор Поспеев, жалованный иконописец, писал иконы для московского большого Успенского собора в 1644 году.

[3] То есть из образной царицы.

[4] Такие записи есть, или по крайней мере бывали, у некоторых старинщиков; впрочем, им далеко не всегда можно веру давать.

[5] *Сканное дело* — скань, сканье (от старинного глагола *скать* — сучить, свивать, тростить). *Скань* — волоченное, вытянутое в тонкую проволочку золото или серебро, мелкая проволочная работа, филогран. Сканное дело — одно из красивейших металлических производств, зато и труднейшее. Сканные старинные вещи очень ценны. Из проволоки составляли разные узоры в сетку. Лучшие изделия были греческие или турские. В XVII столетии мастера сканного дела, наученные греками, появились и в Москве.

зуревыми яхонты; с жемчугами, работа тонкая, думать надо — греческая, а Марк Евангелист в басменном окладе[1].

У Марка Данилыча, еще не видя редких икон, глаза разгорелись.

— За мной оставь, Герасим Силыч, пожалуйста за мной,— стал он просить Чубалова.— А ежели другому уступишь, и знать тебя не хочу, и на глаза тогда мне не кажись... Слышишь?

— Слышу, Марко Данилыч,— сказал Чубалов.— Отчего ж не сделать для вас удовольствия?.. На то и выменены, чтоб предоставить их кому надобность случится или кто хорошую цену даст.

— А ведь дорого, поди, возьмешь? Слупишь так, что после дома не скажешься,— с усмешкой молвил ему Смолокуров.

— Дешево взять нельзя,— ответил Герасим.— Сами увидите, каковы иконы. Насчет божьего милосердия сами вы человек не слепой, увидите, чего сто́ят, а увидите, так меня не обидите.

— Ну ладно, ладно... За деньгами не постою, ежель полюбятся,— самодовольно улыбаясь, молвил Марко Данилыч.— Так ты уж кстати и «минею»-то мне подбери. Как ворочусь домой, в тот же день записочку пришлю тебе, каких месяцо́в у меня не хватает.

— Насчет других двух месяцов, опричь апреля «минеи», теперь не могу сказать вам доподлинно,— молвил Чубалов.— Достанется ли она мне, не достанется ли, сам еще не знаю. Больно дорого просят за все-то книги, а рознить не хотят. Бери все до последнего листа.

— Ну и бери все до последнего листа,— сказал Смолокуров.— Нешто хламу много?

— Какой хлам! Хламу вовсе нет, книги редкостные и все как на подбор. Клад, одно слово клад,— говорил Чубалов.

— Так что же не покупаешь? — молвил Марко Данилыч.— Бери дочиста; я твой покупатель. Как до дому доберемся, весь твой запас перегляжу и все, что по-

---

[1] *Басмённое дело от басма́* — тонкое, легковесное, листовое серебро, на котором тиснили разные узоры (травы). На иконах басменными делались только оклады, то есть каймы образа. По легкости и дешевизне басмённое дело было очень распространено. В Москве была особая слобода басмёнщиков — теперь Басманная.

любится, возьму на себя. Нет, Герасим Силыч, не упускай, послушайся меня, бери все сполна.

— Не под силу мне будет, Марко Данилыч,— молвил на то Чубалов.— Денег-то велику́ больно сумму за книги требуют, а об рассрочке и слышать не хотят, сейчас все деньги сполна на стол. Видно, надо будет отказаться от такого сокровища.

— Полно скряжничать-то,— вскрикнул Смолокуров.— Развязывай гамзу-то [1], распоясывайся. Покупай, в накладе не останешься.

— Гамзы-то не хватает,— горько улыбнувшись, ответил Чубалов.— Столько наличных при мне не найдется.

— А много ли не хватает? — сдержанно спросил у него Марко Данилыч.

— Целой тысячи,— молвил Чубалов.— Просил, Христа ради молил, подождал бы до Макарья, вексель давал, поруку представлял, не хотят да и только...

— Утресь зайди ко мне пораньше,— слегка нахмурясь, после недолгого молчанья сказал Смолокуров.— Авось обладим как-нибудь твое дело.

И сказал, где сыскать его квартиру.

— Заходи же смотри,— молвил Марко Данилыч на прощанье.— А скоро ли домой?

— Да ежели бы удалось купить, так я бы дня через два отправился. Делать мне больше здесь нечего,— сказал Чубалов.

— И распрекрасное дело,— молвил Марко Данилыч.— И у меня послезавтра кончится погрузка. Вот и поедем вместе на моей барже. И товар-от твой по воде будет везти гораздо способнее. Книги не перетрутся. А мы бы дорогой-то кое-что из них и перегядели. Приходи же завтра непременно этак в ранни обедни. Беспременно зайди... Слышишь?

На другой день Марко Данилыч снабдил Чубалова деньгами и взял с него вексель до востребования, для лучшей верности, как говорил он. Проценты за год вычел наперед.

---

[1] *Гомон, гамза* — бумажник, кошель, вообще хранилище денег. Гамза (но никогда гомон) употребляется и в смысле — деньги, капитал. Говорят также гамзить — копить деньги; гамзила — тот, кто деньги копит.

— Нельзя без того, друг любезный,— он говорил,— дело торговое, опять же мы пóд богом ходим. Не ровен случай, мало ль что с тобой аль со мной сегодня же может случиться? Сам ты, Герасим Силыч, понимать это должóн...

Чубалов не прекословил. Сроду не бирал денег взаймы, сроду никому не выдавал векселей, и потому не очень хотелось ему исполнить требованье Марка Данилыча, но выгодная покупка тогда непременно бы ускользнула из рук. Согласился он. «Проценты взял Смолокуров зà год вперед,— подумал Герасим Силыч,— стало быть, и платеж через год... А я, не дожидаясь срока, нынешним же годом у Макарья разочтусь с ним...»

Дня через три отправил он на баржу Марка Данилыча коробà с книгами. Медной полушки никогда не упускал Смолокуров и потому наперед заявил Герасиму Силычу, что при случае вычтет с него какую следует плату за провоз клади и за проезд его самого.

* * *

Вместе вверх по Волге выплывали, вместе и воротились восвояси. Дня через три по приезде в Сосновку Герасим Силыч, разобрав купленные книги и сделав им расценку, не дожидаясь записки от Марка Данилыча, поехал к нему с образами Марка Евангелиста и преподобной Евдокии и с несколькими книгами и рукописями, отобранными во время дороги Смолокуровым. Образа очень полюбились Марку Данилычу, рад был радехонек им, но без того не мог обойтись, чтоб не прижать Чубалова, не взять у него всего за бесценок. За две редких иконы, десятка за полтора редких книг и рукописей Чубалов просил цену умеренную — полторы тысячи, но Марко Данилыч только засмеялся на то и вымолвил решительное свое слово, что больше семисот пятидесяти целковых он ему не даст. Чубалов и слышать не хотел о такой цене, но Смолокуров уперся́ на своем.

— Нет, уж, видно, мы с вами, Марко Данилыч, не сойдемся! — сказал после долгого торгованья Чубалов.

— Видно, что не сойдемся, Герасим Силыч,— согласился Смолокуров.

— А не сойдемся, так разойдемся,— молвил Герасим и стал укладывать в коробью́ иконы и книги.

— Видно, что надо будет разойтись,— равнодушно проговорил Марко Данилыч и при этом зевнул с потяготой,— со скуки ли, от истомы ли — кто его знает.— Пошли тебе господи тороватых да слепых покупателей, чтобы полторы тысячи тебе за все за это дали, а я денег зря кидать не хочу.

— Найдем и зрячих, Марко Данилыч,— усмехнулся Чубалов, завязывая коробью.— Не такие вещи, чтоб залежаться, бог даст у Макарья с руками оторвут... На иконы-то у меня даже и покупатели есть в виду. Я ведь их к вашей милости единственно потому только привез, что чувствую и помню одолжение, что тогда сделали вы мне в Саратове. Без вашей помощи тех книг я бы как ушей своих не видел. На другой же день как купил их, двое книжников приезжало — один из Москвы, другой изо Ржева... Не случись вас, они как раз бы перебили. Очненно благодарен остаюсь вами, Марко Данилыч, никогда не забуду вашего одолженья...

— И за то спасибо, что помнишь,— сухо промолвил Марко Данилыч.

— Как же можно забыть? Помилуйте! Не бесчувственный же я какой, не деревянный. Могу ли забыть, как вы меня выручили? — сказал Чубалов.— По гроб жизни моей не забуду.

— Домой, что ли сряжаешься? — дружелюбно спросил у Чубалова Марко Данилыч, когда тот, уложивши свое добро, взялся за шапку.— Посидел бы у меня маленько, Герасим Силыч, покалякали бы мы с тобой, потрапезовали бы чем бог послал, чайку бы испили.

— Нет уж, Марко Данилыч, увольте. Никак мне нельзя, недосужно. Дела теперь у меня по горло — к Иванову дню надо в Муром на ярмарку поспеть, а я еще и не укладывался, да и к Макарью уж пора помаленьку сбираться,— говорил Чубалов...

— Да, не за горами и Макарьевская,— заметил Марко Данилыч.— Время-то, подумаешь, как летит, Герасим Силыч. Давно ли, кажется, Пасха была, давно ли у меня пьяницы работные избы спалили, и вот уже и Макарьевская на дворе. И не видишь, как время идет месяц за месяцем, года за годами, только успевай считать. Не успеешь оглянуться, ан и век прожил. И отчего это, Герасим Силыч, чем дольше человек живет, тем время ему короче кажется? Бывало, маленьким как был,

зима-то тянется, тянется, и конца, кажись, ей нет, а теперь, только что выпал снег, оглянуться не успеешь, ан и Рождество, а там и масленица и святая с весной. Чудно́е, право, дело!

— Такова жизнь человеческая, Марко Данилыч,— молвил Чубалов.— Так уж господь определил нам. Сказано: «Яко сень преходит живот наш и яко листвие падают дни человечи».

— Это откуда? В псалтыри таких слов, помнится, не положено,— заметил Смолокуров.

— Денисова Андрея Иоанновича, из его надгробного слова над Исакием Лексинским,— молвил Чубалов.— Ученнейший был муж Андрей Иоаннович. Человек твердого духа и дивной памяти, купно с братом своим, Симеоном, риторским красноречием сияли, яко светила, и всех удивляли...

— Знаю я... Как не знать про Денисовых? По всему старообрядству знамениты...— молвил Марко Данилыч.

— Затем счастливо оставаться,— сказал Чубалов, подавая Смолокурову руку.

— Прощай, Герасим Силыч, прощай, дружище. Да что редко жалуешь? Завертывай, побеседовали бы когда,— сказал Марко Данилыч, провожая гостя.— Воротишься из Мурома — приезжай непременно. Твоя беседа мне слаще меду... Не забывай меня...

— Постараюсь, Марко Данилыч,— отвечал Чубалов и, взяв коробью́, пошел вон из горницы.

Смолокуров проводил его до крыльца, а когда Чубалов, севши в телегу, взял вожжи, подошел к нему и еще раз попрощался. Чубалов хотел было со двора ехать, но Марко Данилыч вдруг спохватился.

— Эка память-то какая у меня стала! — сказал он.— Из ума было вон... Вот что, Герасим Силыч, деньги мне, братец ты мой, необходимо надо послезавтра на Низ посылать, на ловецких ватагах рабочих надобно рассчитать, а в сборе наличных маловато. Такая крайность, что не придумаю, как извернуться. Привези, пожалуйста, завтра должок-от.

— Какой должок? — с удивлением спросил озадаченный неожиданным вопросом Чубалов.

— И у тебя, видно, память-то такая ж короткая стала, что у меня,— усмехнулся Марко Данилыч.— Да-

веча, как торговались, помнил, а теперь и забыл... Саратовский-от должок! Тысяча-то!..

— Да ведь тому долгу уплата еще в будущем году,— придерживая лошадь, с изумленным видом молвил Герасим Силыч.

А у него на ту пору и двухсот в наличности не было а в Муром надо ехать, к Макарью сряжаться.

— В векселе сроку, любезный мой, не поставлено,— с улыбкой сказал Смолокуров.— Писано: «До востребования», значит, когда захочу, тогда и потребую деньги.

— Да как же это, Марко Данилыч?..— жалобно заговорил оторопевший Чубалов.— Ведь вы и проценты за̀ год вперед получили.

— Получил,— ответил Смолокуров.— Точно что получил. Что ж из того?.. Мне твоих денег, любезный друг, не надо, обижать тебя я никогда не обижу. Учет по завтрашний день учиним; сколько доведется с тебя за этот месяц со днями процентов получить, а остальное, что тобой лишнего заплачено, из капитала вычту, тем и делу конец.

— Я так располагал, Марко Данилыч, чтобы у Макарья с вами расплатиться,— молвил Чубалов.

— Не могу, любезный Герасим Силыч... И рад бы душой, да никак не могу,— сказал Смолокуров.— Самому крайность не поверишь какая. Прядильщиков вот надо расчесть, за лес заплатить, с плотниками, что работные избы у меня достраивают, тоже надо расплатиться, а где достать наличных, как тут извернуться, и сам не знаю. Рад бы душой подождать, не то что до Макарья, а хоть и год и дольше того, да самому, братец, хоть в петлю лезть... Нет уж, ты, пожалуйста, Герасим Силыч, должок-от завтра привези мне, на тебя одного только у меня и надежды... Растряси мошну-то, что ее жалеть-то? Важное дело тебе тысяча рублей!.. И говорить-то тебе об ней много не стоит...

— Ей-богу, не при деньгах я, Марко Данилыч,— дрожащим голосом отвечал Чубалов на речи Смолокурова.— Воля ваша, а завтрашнего числа уплатить не могу.

— Льготных десять дней положу,— молвил Марко Данилыч.

— Не то что через десять, через тридцать не в силах буду расплатиться...— склонив голову, сказал на то

Чубалов.— Помилосердуйте, Марко Данилыч, явите божескую милость, потерпите до Макарьевской.

— Не могу, любезный, видит бог, не могу,— отвечал Смолокуров.

— Вся воля ваша, а я не заплачу,— решительным голосом сказал Чубалов и хотел было ехать со двора. Смолокуров остановил его.

— Как же так? — вскрикнул он.— Нешто забыл пословицу: «Умел взять, умей и отдать»?.. Нельзя так, любезнейший!.. Торгуешься — крепись, а как деньги платить, так плати, хоть топись. У нас так водится, почтеннейший, на этом вся торговля стоит... Да полно шутки-то шутить, Герасим Силыч!.. Знаю ведь я, что ты при деньгах, знаю, что завтра привезешь мне должок!.. Приезжай часу в одиннадцатом, разочтемся да после того пообедаем вместе. Севрюжки, братец ты мой, какой мне намедни прислали да балыков — объеденье, пальчики оближешь!.. Завтра с ботвиньей похлебаем. Да смотри не запоздай, гляди, чтобы мне не голодать, тебя дожидаючись.

— Марко Данилыч, истинную правду вам докладываю, нет у меня денег, и достать негде,— со слезами даже в голосе заговорил Чубалов.— Будьте милосерды, потерпите маленько... Где ж я к завтраму достану вам?.. Помилуйте!

— Нет уж, ты потрудись, пожалуйста. Ежели в самом деле нет, достань где-нибудь,— решительно сказал Смолокуров.— Не то, сам знаешь: дружба дружбой, дело делом. Сердись на меня, не сердись, а ежели завтра не расплатишься, векселек-от я ко взысканью представлю... В Муром-от тогда, пожалуй, и не угодишь, а ежели после десяти дней не расплатишься, так и к Макарью не попадешь.

— Как же это я в Муром-от не угожу?.. Как же это к Макарью не попаду?.. Эк что сказал!..— вскрикнул сильно взволнованный Чубалов.

— Так же и не угодишь,—спокойно ответил ему Марко Данилыч.—Не знаешь разве, что городской голова и земский исправник оба мне с руки? И льготного срока не станут ждать — до десяти дён наложут узду... Да. Именье под арест и тебя под арест,— они, брат, шутить не любят. Ну да ведь это я так, к слову только сказал... Этого не случится, до того, я знаю, дела ты

не доведешь. Расплатишься завтра, векселек получишь обратно — и конец всему... Прощай, любезный Герасим Силыч... Пожалуйста, не запоздай, до обеда бы покончить, да тотчас и за ботвинью.

Кончилось дело тем, что Чубалов за восемьсот рублей отдал Марку Данилычу и образа и книги. Разочлись; пятьдесят рублей Герасим Силыч должен остался. Как ни уговаривал его Марко Данилыч остаться обедать, как ни соблазнял севрюжиной и балыком, Чубалов не остался и во всю прыть погнал быстроногую свою кауренькую долой со двора смолокуровского.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

После холодных дождей, ливших до дня Андрея Стратилата, маленько теплынью было повеяло: «Батюшка юг на овес пустил дух». Но тотчас же мученик Лупп «холодок послал с губ» — пошли утренники... Брусника поспела, овес обронел[1], точи косы, хозяин — пора жито косить: «Наталья-овсяница в яри спешит, а старый Тит перед ней бежит», велит мужикам одонья вершить, овины топить, новый хлеб молотить[2]. Много на лету тенетнику, перелетные гуси то и дело садятся на́ землю, скворцы не летят на Вырей, значит, «бабье лето»[3], а может, и целая осень будет сухая и ведряная... Зато по тем же приметам ранней, студеной зимы надо ждать. Радостью радуется сельщина-деревенщина: и озими в меру поднимутся и хлеб молотить сподручно будет. А будет озимь высока̀, то овечкам в честь, погонят их в поле на лакому кормежку, и отравят[4] овечки зеленя[5], чтобы в трубку они не пошли.

---

[1] Народные приметы и поверья. Андрея Стратилата — 19 августа. Св. Луппа — 23 августа. *Обронеть* — осыпаться, говоря о хлебных зернах.

[2] Наталья-овсяница — 26 августа, апостола Тита — накануне ее памяти 25 августа.

[3] Народные поверья. *Вырей* или *Вирей* — сказочная страна, волшебное за морем царство в теплых краях, куда на зиму улетает вся перелетная птица, а с Воздвижения (14 сентября) змеи и другие гады *двигаются*. Туда ж бежит и всякий зверь от злого лешего целыми стаями, косяками. Бабье лето с 1 по 8 сентября.

[4] Съедят траву озими.

[5] *Зеленя* — осенняя озимь.

По городам, тем паче на временно́м Макарьевском торжище, иные людям в ту пору заботы. Торг к концу подходит: кто барыши, кто убытки смекает. Опто́вые сводят счеты с розничными; розничные платят старые долги, делают новые заборы. Сидя с верителями за чаем по трактирам, всячески они перед ними угодничают, желая цен подешевле, отпуска побольше, сроков уплаты подольше. Платежи да полученья у всех в голове, везде только и речи о них. Придет двадцать пятое августа, отпоют у флагов молебен, спустят их в знак окончания вольного торга, и с той минуты уплат начнут требовать, а до тех пор никто не смей долга спрашивать, ежели на векселе глухо написано: «Быть платежу у Макарья...» С того дня по всей ярманке беготня и суетня начинаются. Кто не успел старых долгов получить или не сделался как-нибудь иначе с должником, тот рассылает надежных людей по всем пристаням, по всем выездам, не навострил бы тот лыжи тайком. Скроется — пиши долг на двери, а получка в Твери. Глядишь, через месяц, через другой несостоятельным объявится, а расплатится разве на том свете калеными угольями.

Суетня кипит по всей ярманке. Разъезжаться начинают. С каждым днем закрытых лавок больше и больше. В соборе с утра до вечера перед сверкающей алмазами иконой Макария Желтоводского один торговец за другим молебны служат благодарные и в путь шествующим. Тепло и усердно молится люд православный перед ликом небесного покровителя ярманки. Тихо раздаются под сводами громадного храма возгласы священника и пение причетников, а в раскрытые двери иные тогда звуки несутся: звуки бубнов, арф и рогов, пьяные клики, завыванья цыган, громкие песни арфисток и других торгующих собою женщин... Рядом с собором за узким каналом стоит громадный храм сатане. Самый наглый, самый открытый, во всем христианстве беспримерный разврат царит там. Царит он теперь и на всей ярманке. Каждый почти трактир, каждая гостиница с неизбежными арфистками обращены в дома терпимости. Но главный храм, как бы в насмешку над русским благочестьем, поставлен почти рядом с храмом бога живого, чтоб кликом своим заглушать молитвенные песнопения. Какие чувства должны возбуждаться в душе твердых еще в православном благочестии людей, когда, стоя на

молитве, слышат они, как церковное пение заглушается кликами и песнями пьяного разгула!.. А еще дивятся, отчего вкруг ярманки раскол в последние годы усилился. Как ему не усилиться при виде такого безобразия, такого поругания православной святыни. Сколько раз купечество жаловалось на такие постыдные порядки, сколько раз составляло о том приговоры. На все один ответ — глубокое молчанье.

В два и в три ряда, чуть не на каждом шагу затрудняя движенье городских экипажей и пешеходов, по улицам, ведущим к речным пристаням и городским выездам, тянутся нескончаемые обозы грузных возов. По всем рядам татары в пропитанных салом и дегтем холщовых рубахах, с белыми валяными шляпами на головах, спешно укладывают товары — зашивают в рогожи ящики, уставляют их на телеги. «Купецкие молодцы́» снуют взад и вперед с озабоченными лицами, а хозяева либо старшие приказчики, усевшись на деревянных, окрашенных сажей стульях с сиденьем из болотного камыша [1] или прислонясь спиной к дверной притолоке, глубокомысленно, преважно, с сознанием самодостоинства, поглядывают на укладку товаров и лишь изредка двумя-тремя отрывистыми словами отдают татарам приказанья. Крики извозчиков, звон разнозвучных болхаре́й, гормотух, гремков [2] и бубенчиков, навязанных на лошадиную сбрую, стук колес о булыжную мостовую, стук заколачиваемых ящиков, стукотня татар, выбивающих палками пыль из овчин и мехов, шум, гам, пьяный хохот, крупная ругань, писк шарманок, дикие клики трактирных цыган и арфисток, свистки пароходов, немолкающий нестройный звон в колокольном ряду и множество иных разнообразных звуков слышатся всюду и далёко разносятся по водному раздолью рек, по горам и по гладким, зеленым окрестностям ярманки. Все торо-

---

[1] *Ситняк, рого́за, куга́* — Typha latifolia — болотное круглолистное бесстебельное растение, идет на оплет самых простых стульев. В Нижегородском уезде мордва делает черные деревянные стулья с сиденьем из рогозы. В Нижегородской губернии слов *ситняк, рогоза, куга* не знают, говорят — камыш.

[2] *Болха́рь* — большой бубенчик в кулак величиной, *гормоту́ха* (в Нижегородской и Пензенской губерниях) — то же, что глуха́рь — большой бубенчик с глухим звоном, *гремо́к* — бубенчик с резким звуком.

пится, все суетится, кричит во всю мочь, кто с толком, кто без толку. Дело кипит, льет через край...

* * *

В том году, по весне, у Марка Данилыча несчастье случилось. Пришла Пасха, и наемный люд, что работал у него на прядильнях и рубил суда, получив расчет в великий четверг, разошелся на праздник, по своим деревням; остались лишь трое, родом дальние; на короткую побывку не с руки было им идти. Дождались они светлого праздника, помолились, похристосовались, разговелись как следует да с первого же дня и закурили вплоть до Фоминой. Они бы и в фомин понедельник опохмелились и радуницу к похмелью, пожалуй, прихватили бы, да случилось, что вовсе пить перестали. В самую полночь с фомина воскресенья на похмельный понедельник загорелась изба, где они жили... От той избы занялась другая, третья, и к утру ото всех строений, что ставлены были у Марка Данилыча для рабочих, только угли да головешки остались. От чего загорелось, никто не знал. Сказали бы, может быть, те трое дальних, что в полной радости Святую провели, да от них остались одни только обгорелые косточки. Больше недели бесновался Марко Данилыч, отыскивая виноватых, метался на всех, кто ни навертывался ему на глаза, даже на тех, что во время пожара по своим деревням праздничную гульбу доканчивали. Дело весеннее, лето на дворе, из разного никуда не годного хлама сколотили на живую руку два больших балагана, чтобы жить в них рабочим до осени. С Петрова дня, воротясь из Саратова, Марко Данилыч принялся за стройку новых строений: одно ставил для прядильщиков, другое для дельщиков[1], третье для лесопилов и плотников, что по зимам рубили у него кусовые лодки, бударки и реюшки[2]. Больше чем на сотню человек поставил он строений. В трех связях было двенадцать больших зимних изб, да,

---

[1] *Дель* — толстая пеньковая нитка для неводов. Бывает четырех сортов: одноперстник, для ячей в палец, двухперстник, трехперстник и ладонник, то есть для ячей в ладонь. Делью называется также часть сети в восемь сажен длины и в полтора аршина ширины. *Дельщик* — работающий дель.

[2] Суда для рыбной ловли на Каспийском море.

кроме того, на чердаках шесть летних светелок. Лес свой, плотники свои, работа закипела, а к концу ярманки и к концу подошла.

Получил Марко Данилыч из дома известье, что плотничная работа и вчерне и вбеле кончена, печи сло̀жены, окна вставлены, столы и ска̀мьи поставлены, посуда деревянная и глиняная заготовлена — можно бы и переходить на новоселье, да дело стало за хозяином. Писавший письмо приказчик упомянул, что в одном только недостача — божьего милосердия нет, потому и спрашивал, не послать ли в Хо̀луй[1] к тамошним богомазам за святыми иконами, али, может статься, сам Марко Данилыч вздумает на ярманке икон наменять, сколько требуется. Марко Данилыч решил, что на ярманке это сделать удобнее, и к тому и дешевле... Опять же и то было на уме, что сам-от выберет иконы, какие ему полюбятся. И стал он смекать, сколько божьего милосердия в новые избы потребуется. «Двенадцать изб да шесть светелок — выходит восьмнадцать божниц,— высчитывал он,— меньше пятка образов на кажду божницу нельзя — это выходит девяносто икон... Вон какая прорва, прости господи!.. Без малого сотня. А беспременно надо, чтобы кажда божница виднее да казистей глядела, потому и придется образов покрупней наменять. Да по медному кресту на кажду божницу, да по медным складням... Пе́лены под божницы справить надобно — полторы дюжины будничных, полторы дюжины праздничных. Ситцу надо купить — бабы да девки пе́лены-то дома сошьют. Псалтырей с часословами надо, кадильниц ручных — на праздниках покадить... Полсотней рублей не отделаешься — вон оно каково!.. А менять не в Иконном ряду, там дорого — у подфурников надо будет выменять либо у старинщиков»[2].

И тут вспал ему на память Чубалов. «Самое распрекрасное дело,— подумал Марко Данилыч.— Он же мне должен остался по векселю, пущай товаром расплатится — на все возьму, сколько за ним ни осталось. Можно будет взять у него икон повальяжней да показистее.

[1] *Хо̀луй* — село Вязниковского уезда, Владимирской губернии; тамошние крестьяне промышляют иконописанием.

[2] *Подфурниками* зовут в Холуе тех иконописцев, что подделывают иконы под старинные. *Старинщиками* — торговцев всякими старинными вещами.

А у него же в лавке и образа, и книги, и медное литье, и всякая другая нужная вещь».

Когда так размышлял Смолокуров, вошел к нему Василий Фадеев. Добрые вести он принес: приехали на караван покупатели, останный товар хотят весь дочиста покупать. Марко Данилыч тóтчас поехал на Гребновскую, а Василью Фадееву наказал идти на ярманку и разузнать, в коем месте иконами торгует Герасим Силыч Чубалов.

На другой день Марко Данилыч пошел разыскивать лавку Чубалова. Дело было не к спеху, торопиться не к чему, потому он и не взял извозчика, пошел на своих на двоих. Кстати же после бывшей накануне в рыбном трактире крепкой погулки захотелось ему пройтись, маленько бы ноги промять да просвежить похмельную головушку. Идет пó мосту Марко Данилыч; тянутся обозы в четыре ряда, по бокам гурьбами пешеходы идут — все куда-то спешат, торопятся, чуть не лезут друг нá друга. Звонкий топот лошадиных копыт по дощатому полотну моста, гул колес, свист пароходов, крики бурлаков и громкий говор разноязычной, разноплеменной толпы нестерпимо раздирает уши Смолокурова. Начинает он понемножку серчать, но не на ком сердце сорвать: а это пуще всего раздражает Марка Данилыча. Перебрался он кой-как через мост, пришел на ярманку, а тут перед самым Железным домом биржи вся улица кипит сплошной густой толпой судорабочих, собравшихся туда в ожиданье найма на суда. В тесноте и давке середь грязной бурлацкой толпы пришлось Марку Данилычу усердно поработать и локтями и кулаками, чтобы как-нибудь протолкаться сквозь бесшабашное сходбище... Не обошлось без того, чтоб и самому толчков не надавали. Только что успел он выдраться из кучи оборванцев, как пришлось стать на месте: нагруженные воза и десятки порожних роспусков на повороте к шоссейной дороге столпились, перепутались, и не стало тут ни езды, ни ходу. Крики, ругательства. Дело дошло и до драки встречных извозчиков. Охочи бурлаки до сшибок, и ежели самим не с руки подраться да поругаться, так бы хоть на других полюбоваться. И вот целой ватагой, человек в сотню, с гамом, со свистом и неистовым хохотом кинулись они от Железного дома и смяли все, что ни попалось им на пути. Тем только и спасся Марко

Данилыч, что вовремя вскочил на паперть возле стоящей Печерской часовни, иначе бы плохо пришлось ему. Гневом и злобой кипел он на всех: и на бурлаков, и на извозчиков, и на полицию за то, что ее не видно, и на медленным шагом разъезжавших казаков, что пытаются только криками смирить головорезов — нет чтобы нагайкой хорошенько поработать ради тишины и всеобщего благочиния... Насилу дождался Марко Данилыч, когда улеглась сумятица, освободился проезд, бурлаки воротились к Железному дому, и стало ему удобно выбраться на шоссейную дорогу. Но и там — только что завернул за угол, и чинным, степенным шагом пошел вдоль сундучного ряда, отколь ни возьмись нищие бабенки, с хныканьем, с причитаньями стали приставать к нему, прося на погорелое место. С одного взгляда на них Марко Данилыч догадался, что их погорелое место в кабаке. С резкой руганью он отказал им. Нахальные, безотвязные, тем не унялись; не отставали от угрюмого купчины, шли за ним по пятам и пуще прежнего канючили о копеечках. Это опять вскипятило успокоившегося было Смолокурова... Наконец-то, кой-как освободился он от пьяных бабенок, но вдруг перед ним разбитной мальчуган с дерзким взглядом, с отъявленным нахальством во всей своей повадке. Стал поперек дороги и, повертывая лотком перед Марком Данилычем, кричит во всю мочь звонким голосом:

— А вот пирожки, пирожки! Горячи́, горячи́, с мачком, с лучком, с перечком.

— Убирайся, пока цел!..— сердито крикнул на него Марко Данилыч.

Голосистый мальчишка не унялся́, вьюном вертится перед Смолокуровым и, не давая ему дороги, во все горло выкрикивает свои при́четы:

— Горячи́, горячи́!.. С пылу, с жару горяченькие!..

— Пошел прочь, щенок! — сердито крикнул Марко Данилыч, поднимая над ним камышовую трость.

Но пирожник не робкого десятка был, не струсил угроз и пуще прежнего вертелся перед Смолокуровым, чуть не задевая его лотком и выкрикивая:

— Пирожки горячи́! Купец режь, купец ешь... Жуй, берегись — пирожком не обожгись. Купи, купец, не скупись, не то камнем подавись.

Кой-кто из проходивших остановился поглазеть на

даровую «камедь». Хохотом ободряли прохожие пирожника... и это совсем взбесило Марко Данилыча. К счастью, городовой, считавший до тех пор воро́н на другой стороне улицы, стал переходить дорогу, заметив ухмылявшуюся ему востроглазую девчонку, должно быть, коротко знакомую со внутренней стражей.

— А городового хочешь? — крикнул Смолокуров мальчишке, указывая на охранителя благочиния.

Пирожник высунул язык, свистнул каким-то необычным, оглушительным свистом и проворно юркнул в толпу, много потише выкрикивая:

— А вот горячи́, горя́чи ел их подьячий! С пылу, с жару — ел барин поджарый! С горохом, с бобами, ел дьякон с попами!

Запыхался даже Марко Данилыч. Одышка стала одолевать его от тесноты и с досады. Струями выступил пот на гневном, раскрасневшемся лице его. И только что маленько было он поуспокоился, другой мальчишка с лотком в руках прямо на него лезет.

— Свечи сальны, светильны бумажны, горят ясно, очєнно прекрасно! — распевает он во все горло резким голосом.

Этот не пристает по крайней мере, не вертится с лотком, и за то спасибо. Прокричал свое и к сторонке. Но только что избавился от него Марко Данилыч, яблочница стала наступать на него. Во всю мочь кричит визгливым голосом:

— Садовые, медовые, наливчатые, рассыпчатые, гладкие, сладкие, с кваском с маленьким!..

А тут еще на каждом шагу мальчишки-зазывалки то и дело в лавки к себе заманивают, чуть не за̀ полы проходящих хватают, да так и трещат под ухо: «Что покупать изволите! У нас есть сапоги, калоши, ботинки хороши, товар петербургский, самый настоящий аглицкий!..» На этих Марко Данилыч уж не обращал вниманья, радехонек был, что хоть от нищих, от яблочниц да от пирожников отделался... Эх, было бы над кем сердце сорвать!..

Дошел, наконец, до платочных рядов, там посвободней вздохнул и маленько поуспокоился. Отыскал поскорости и лавку Чубалова.

Между шоссейной дорогой, обстроенной с обеих сторон рядами лавок, и песчаным берегом Оки, до послед-

него большого на ярманке пожара[1], тянулись в три порядка тесные неказистые деревянные, где драныо, где лубом крытые платочные ряды. Там в непомерной тесноте, в непролазной грязи во время ненастья, в непроглядных тучах пыли во время ветра при сухой погоде, издавна вели розничный торг красным товаром вязниковские и ковровские офени, ходебщики, коробейники и те краснорядцы, что век свой разъезжают со своим всегда ходким товаром по деревенским ярманкам и по сельским базарам. Круглый год странствуя по углам и уголкам России, каждый август съезжаются они к Макарью для расплаты с фабрикантами и оптовыми торговцами и для забора в долг новых товаров. Больше бабы сидели в старых платочных рядах; мужья, сыновья их и братья с утра до́ ночи снуют, бывало, по ярманке, отыскивая неисправных должников либо приглядываясь к свежим товарам и условливаясь с оптовыми торговцами насчет будущих цен и сроков платежа. Там, в платочных рядах, было несколько лавок и не с красным товаром: в иной воском торговали, в другой мерлушками, в третьей игольным товаром. Была одна лавка с иконами и со всякого рода старинкой. Торговал в ней Герасим Силыч Чубалов.

В его лавке все полки были уставлены книгами и увешаны образами, медными крестами и пучками кожаных лестовок заволжской семеновской[2] работы. Более редкие вещи и древняя утварь церковная и хоромная хранилась в палатке наверху. Там же старинщики обыкновенно держали раскольничьи бумажные венчики, что полагаются на покойников, разрешительные молитвы, что кладутся им в руку во время отпеванья, и вышедшие из одних с ними подпольных типографий «Скитские покаяния», «Соловецкие челобитные»[3], буквари и

---

[1] В 1864 году.

[2] Работают их в заволжском раскольничьем городе Семенове, Нижегородской губернии.

[3] *«Скитское покаяние»*, где есть «чин како самому себе исповедати», во множестве распространено между раскольниками спасова согласия — что сами перед спасовым образом исповедуются. Спасово согласие утверждает, будто «Скитское покаяние» составлено апостолом Павлом, передано им ученику его Дионисию Ареопагиту, от него дошло до Иоанна Дамаскина, а от него и до раскольников. Старопечатных «Скитских покаяний» не было. Первые два издания, 1787 и 1789, печатаны в Супрясле, потом тайно печатались в Клинцах под видом почаевских, а теперь печатаются

другие книги, в большом количестве расходящиеся между старообрядцами. В палатках держали также рукописные «Цветники», «Сборники челобитные», «Ответы» и другие сочиненья, писанные расколоучителями[1]. Все это товар продажный, но заветный... Не всякому старинщик его покажет. До тех пор не покажет, пока не убедится, что от покупателя подвоха не будет. Только избранным, надежным людям, что сору из избы не выносят, у старинщика все открыто. При незнакомых он с самым близким человеком слова напрямки не скажет, а все обиняком, либо по-офенски[2].

Придет покупатель, лавка полным-полнехонька народом, десятка полтора человек сидят в ней по скамейкам либо стоят у прилавка, внимательно рассматривая в книгах каждую страницу. Снимет вошедший картуз, всем общим поклоном поклонится, а хозяину отдельно да пониже всех, скажет ему «здравствуйте». Тот ему тем же ответит, и другие, кто в лавке случится, тоже поклонятся. Замолчит потом новый покупатель и зачнет внимательно разглядывать какую-нибудь книгу, рассматривает ее долго, а потом, положив ее на место, молвит хозяину:

— Ну, что скажете?

— А что спросите? — в свою очередь, задаст ему вопрос хозяин.

— Чать, знаешь что?

по разным местам, особливо в Гжатском уезде. «*Соловецкая челобитная*» находится в печатном сборнике, начинающемся «Историей о отцех и страдальцех соловецких». Места печатания не означено, но шрифты клинцовские, а фабрикантские знаки в бумаге 1787 и 1789. Есть и позднее, но редко.

[1] «*Ответы*»: Диаконовы или Керженские, Поморские, Фомина, Егора Гаврилова, Пешехонова, Никодимовы. «*Челобитные*»: Соловецкая, старца Авраамия, Лазаря, Саввы Романова и пр.

[2] Искусственный язык, употребляемый офенями (ходебщиками, разносчиками). Он называется также *ламанским*. Составлен из переиначенных русских слов, неполон, ограничивается словами, самыми нужными для быта ходебщиков. Грамматика русская. Есть у нас еще такие же искусственные языки: *галифонский* в Галиче, в Нерехотском и других уездах Костромской губернии, *матрайский* в Муромском уезде и под Арзамасом в селе Красном, *кантюжный* — воровской язык в Рязанской, Московской и Тверской губерниях, язык ковровских шерстобитов, петербургских мазуриков (*байковый*) Все эти языки из переиначенных или придуманных слов с русской грамматикой и все до одного в ходу у раскольников той или другой стороны

— Мало ли что я знаю?

— Оно, конечно, что знаешь, того и знать не хочется,— молвит покупатель.

— Верны ваши речи: что известно, то не лестно,— ответит старинщик.

— Так-то оно так, а все же таки поспрошу я у вас.

— Спрашивайте. Убытков от того ни вам, ни нам не будет.

— Да вот в путь-дорогу сряжаюсь, так не знаю, где бы здесь у Макарья шапчонку на̀ голову купить да в руку подожок.

— Шапку в шляпном ряду найдете, вот что рядом с почтой стоит, а палочку под Главным домом можно сыскать, а ежели подешевле желаете, так в щепяном ряду поищите.

Хозяин уж смекнул, про какую шапчонку и про какой подожок его спрашивают. Пошлет он знакомого покупателя по шляпным да по щепяным рядам только тогда, когда в лавке есть люди ненадежные, а то без всяких разговоров поведет его прямо в палатку и там продаст ему сколько надо венчиков, то есть шапчонок, и разрешительных молитв — подожков.

Не то прибежит в лавку, ровно с цепи сорвавшись какой-нибудь паренек и, ни с кем не здороваясь, никому не поклонясь, крикнет хозяину:

— Хлябы́шь в дудоргу ханды́рит пельми́ги шишля́ть!..

И хозяин вдруг встревожится, бросится в палатку и почнет там наскоро подальше прибирать, что не всякому можно показывать. Кто понял речи прибежавшего паренька, тот, ни слова не молвив, сейчас же из лавки вон. Тут и другие смекнут, что чем-то нездоровым запахло, тоже из лавки вон. Сколько бы кто ни учился, сколько б ни знал языков, ежели он не офеня или не раскольник, ни за что не поймет, чем паренек так напугал хозяина. А это он ему по-офенски вскричал: «Начальство в лавку идет бумаги читать».

Запретными вещами Чубалов не торговал, терпеть того не мог, однако же и на его долю порой выпадали немалые хлопоты по невежеству надзирающих за торговлей старопечатными и рукописными книгами. Раз большие убытки он понес на Сборной ярманке в Симбирске — попы да полиция горячо нагрели там карман

Герасиму Силычу... Невежество надзирающих за продажей старинных книг совсем почти подорвало столь важную для русской науки торговлю старинщиков. Не строгость, а бестолковость надзора за той продажей возмутительна. Подвергаемые неприятностям и убыткам, торговцы стариной поневоле бросают ее и прекращают поиски по глухим захолустьям за скрывающимися от взоров науки сокровищами. Памятники старины между тем гниют в сырых подвалах либо горят в пожарах, обычно опустошающих наши города и деревни. Печатные книги еще не так много гибнут,— у них два только врага: сырость да огонь, но рукописи, даже и не церковного содержания, то и дело губятся еще более сильным врагом — невежеством надзирающих.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Когда Марко Данилыч вошел в лавку к Чубалову, она была полнехонька. Кто книги читал, кто иконы разглядывал, в трех местах шел живой торг; в одном углу торговал Ермолаич, в другом Иванушка, за прилавком сам Герасим Силыч. В сторонке, в тесную кучку столпясь, стояло человек восемь, по-видимому из мещан или небогатых купцов. Двое, один седой, другой борода еще не опушилась, горячо спорили от писания, а другие внимательно прислушивались к их словам и лишь изредка выступали со своими замечаньями.

Чуть-чуть приподнявши картуз и поклонясь общим поклоном, приветствовал всех Смолокуров, сквозь зубы процедивши чуть слышно: «Здравствуйте!» Все поклонились ему, и затем, ни слова не молвивши, каждый принялся́ за свое дело. Чубалов вышел из-за прилавка, попросил сидевших на скамейке потесниться, обмахнул полой местечко для Марко Данилыча и заботливо усадил его.

— А я к тебе, Герасим Силыч, по дельцу,— немного помолчав, промо́лвил Марко Данилыч.

— Что вашей милости требуется? — сухо отозвался Чубалов. вспомянув про Марка Евангелиста да про Евдокию преподобно-мученицу. После продажи тех икон он еще впервые видел земляка и соседа любезного.

— Надобно бы мне у тебя, друг любезный, кой-какого божьего милосердия выменять,— сказал Смолокуров.

— Каких угодно будет вам? — маленько хмурясь, спросил у него Чубалов.— Хорошие иконы у меня в палатке, туда не угодно ли?

И стал было расчищать дорогу почетному, но не совсем приятному покупателю.

— Не надо, не трудись,— не трогаясь с места, молвил Марко Данилыч.— Неважных мне надобно, таких, чтобы только можно было в красный угол поставить. Хо̀луйских давай, да сортом пониже, лишь бы по отеческому преданию были писаны, да не было б мала̀ксы [1] на них.

— С малаксой икон у нас и в заводе не бывало,— сказал на то Чубалов.— Имеем только писаные согласно с древними подлинниками [2]. С малаксой и в лавку не внесем.

— Это ты хорошо говоришь, то есть как надо побожески, благочестиво,— важно промолвил на то Марко Данилыч.— Только не знаю я, подберешь ли все, что надобится. Не мало ведь требуется и все почитай одинаких.

— Подберем сколько угодно,— отозвался Чубалов.— Ежели у меня не достанет, у хо̀луйских доспеем. Сегодня же все готово будет.

— Ладно,— сказал Марко Данилыч и, вынув из бумажника памятцу [3], продолжал свои речи: — Известно тебе, что после божия посещения сызнова я построился. Две связи рабочим, чтоб всех их в дугу скрючило, поставил... Все теперь на̀чисто отделано, как с ярманки

---

[1] Именословное сложение перстов для благословения. Раскольники называют его мала̀ксой, потому что в конце первой части «Скрижали» (стр. 717) патриарх Никон напечатал: «Николаа священнаго Малакса протопопа Навплийскаго о знаменовании соединяемых перстов руки священника внегда благословити ему христоименитые люди». Первый пустивший в ход название именословного перстосложения малаксой был протопоп Аввакум, один из первых по времени расколоучителей.

[2] Рукописи с рисунками образцов, по которым пишутся иконы, и наставления, как их писать. Взяты с греческого. Древнейший греческий подлинник Дионисия издан в 1845 году в Париже Дидроном без рисунков под заглавием «Manuel d'iconographie chrétienne, Paris. 1845».

[3] *Памятца* — записка для памяти, памятная книжка.

приеду, так и переведу их, подлецов, на новоселье. К тому времени и требуется мне божьего милосердия. Надо в кажду и́збу и кажду светлицу иконы поставить. А зимних-то изб у меня двенадцать поставлено, да шесть летних светлиц. На кажду надо икон по шести. Выходит без четырех целу сотню... Понимаешь? Целую сотню икон мне требуется, да десятка с два литых медных крестов, да столько же медных складне́й. Да на кажду избу и на кажду светелку по часослову, да на всех с десяток псалтырей... Нечего делать, надо изубытчиться: пущай рабочие лучше богу молятся да божественные книги по праздникам читают, чем пьянствовать да ба̀ловаться. У меня же грамотных из них достаточно — пущай их читают, авось будут посмирнее, ежели страх-от господень познают... Вот по этой записке ты мне и отпусти... Видишь, каков я у тебя покупатель?.. Гуртово́й... Потому и должон ты взять с меня су́против других много дешевле.

— Зачем с вас дорого брать? — молвил Чубалов.— Кажись бы, за мной того не водилось. В убыток отдавать случалось, а чтобы лишнее взять — на̀ этот счет будьте спокойны. Сами только не будьте оченно прижимисты.

— Лишнего не передам, а что следует, изволь получать до копейки. На̀ этот счет я со всяким моим удовольствием... Завсегда каждому готов,— важно и напыщенно проговорил Марко Данилыч, спесиво оглядывая по сторонам сидевших и стоявших.

— Разве что так,— прищурив глаз и глядя в лицо Смолокурову, молвил Чубалов.— А то ведь, ежели правду сказать, так больно уж вы стали прижимисты, Марко Данилыч.

— Что ты городишь? — громче прежнего заговорил Смолокуров.— Кто тебе такие речи довел про меня — наплюй тому в глаза.

— Не попадешь, Марко Данилыч, никак не изловчишься... Как самому себе в глаза можно плюнуть? — усмехнулся Чубалов.

— Что еще такое загородил? — с досадой молвил Марко Данилыч.

— А Марка-то Евангелиста с Евдокией забыли?

— То совсем иное дело,— медленно, важно и спокойно промолвил Марко Данилыч.— Был тогда у нас с

тобой не повольный торг, а долгу платеж. Обойди теперь ты всю здешнюю ярманку, спроси у кого хочешь, всяк тебе скажет, что так же бы точно и он с тобой поступил, ежели бы до него такое дело довелось. Инаҷе нельзя, друг любезный, на то коммерция. Понимаешь?

Видит Герасим Силыч, что совесть у Смолокурова под каблуком, а стыд под подошвой, ничего ему в ответ не промолвил.

— Каких же во́ имя требуется? — спросил он у Смолокурова.

— Пиши, записывай,— стал высчитывать по записке Марко Данилыч.— Восьмнадцать спасов — какие найдутся, таких и давай: иседниц, и убрусов, и Эммануилов [1]. Богородиц тоже восьмнадцать, и тоже какие найдутся — все едино... А нет, постой... отбери ты побольше Неопалимой Купины — знаешь, ради пожарного случая. Авось при ней, при владычице, разбойники опять не подожгут у меня работной избы [2]; Никол восьмнадцать положь да подбирай так: полдюжину летних, полдюжину зимних, полдюжину главных [3]. Останные три дюжины с половиной каких знаешь, таких и клади... Нет, постой, погоди... набери ты мне полторы дюжины мученика Вонифатия, для того, что избавляет он, батюшка, угодник святой, от винного запойства... В каждой избе, в каждой светелке по Вонифатию поставлю. Потому народ ноне слабый, как за работником ни гляди — беспременно как зюзя к вечеру натянется этого винища. На любого погляди вечером-то — у каждого язык ровно ниткой перевязан, чисто говорить не может, а ноги — ровно на воде, не держатся... Вон и тогда, и на Фоминой-то, спьяну ведь избы-то у меня спалили... И себя, дурачье, не пожалели, живьем ведь сгорели, подлецы... Им-то теперь ничего, а мне убытки!

— Моисею Мури́ну от винного запойства тоже молятся,— вступил в разговор Иванушка.

— А я и не знал,— молвил на то Марко Данилыч, обращаясь к Герасиму Силычу.— Вонифатиево житие

---

[1] Термины хо̀луйских иконников: *седница* — спаситель, сидящий на престоле; *убрус* — нерукотворенный образ; *Эммануил* — главное или пошейное изображение Христа в отроческом возрасте.

[2] Неопалимой Купине молятся «ради избавления от огненного запаления».

[3] Иконники зовут образ св. Николая в митре — *зимним*, без митры — *летним*, пошейный, до плеч,— *главным*.

знаю, не раз читывал... А Моисею-то Мурину почему молиться велят?

— И он потому же,— свое продолжал Иванушка.— Сказано в житии его: «Уби четыре овцы — чужие, мяса́ же добрейша изъяде, овчины же на вине пропи».

— Верно? — спросил Смолокуров у Чубалова.

— Верно,— ответил он.

А Иванушка с полки книгу та́щит, отыскал в ней место и показывает Марку Данилычу. Тот, прочитавши, примолвил:

— Да. Это так... Верно... Только в правду ли ему молятся от винного-то запойства?.. Теперь постой, вот что я вспомнил: видел раз у церковников таблицу такую, напечатана она была, по всем церквам ее рассылали, а на ней «Сказание киим святым, каковые благодати исцеления от бога даны» [1]. И там точно что напечатано про Моисея Мурина. Только думал я, не новшество ль это Никоново... Как по-твоему, Герасим Силыч?

— Какое уж тут новшество? — возразил Чубалов.— Исстари ему, угоднику, от пьянства молились, еще при первых пяти патриархах.

— Так ты вот что сделай, друг мой любезный, Герасим Силыч,— полторы-то дюжины отбери мне Вонифатьев, а полторы дюжины Моисеев — дело-то и будет ладнее.

— Еще чего потребуется? — спросил Чубалов, записавши заказ на бумажке.

— Дюжину полниц [2] положь,— молвил Марко Данилыч.— В кажду избу по одной, а в светлицы, пожалуй, и не надо, оста́нну дюжину клади каких сам знаешь... Да уж для круглого счета четыре-то иконы доложь, чтобы сотня сполна была... Да из книг, сказано тебе, десяток псалтырей да полторы дюжины часословов... Да, опричь того, полторы дюжины литых крестов шестивершковых да полторы дюжины медненьких икон, не больно чтобы мудрящих... Кажись, теперь все. Да смотри ты у меня, чтобы в каждой избе и в каждой светлице хоть по

---

[1] Такие таблицы были разосланы по церквам и висели в алтарях на стенке. Теперь можно встретить их в редкой уже сельской церкви. «Сказание» это напечатано, между прочим, в «Русском архиве» 1863 года.

[2] Так иконники называют икону Воскресения с двенадцатью праздниками вокруг нее.

одной подуборной[1] было, клади уж так и быть две дюжины подуборных-то — разница в деньгах будет не больно велика... А!.. вот еще — не знаешь ли, какому угоднику от воровства надо молиться?.. Работники шельмецы тащма́ тащут пеньку по сторонам, углядеть за ними невозможно. Как бы еще по такой иконе в кажду избу и кажду светелку, чтобы от воровства помогала — больно бы хорошо было... Есть ли, любезный, у́ бога таковые святые?

— Есть, как не быть, — ответил Чубалов. — Федору Тирону об обретении покраденных вещей молятся.

— И помогает? — с живостью спросил Марко Данилыч.

— По вере помогает, а без веры кому ни молись, толку не выйдет, — ответил Чубалов.

— Так ты, опричь сотни, отбери еще полторы дюжины Федоров, — сказал Марко Данилыч. — Авось меньше станут пеньку воровать.

— Велики ль мерой-то иконы вам надобятся? — спросил Чубалов.

— Меры-то? Меры надо разной, — ответил Марко Данилыч. — Спасы — десятерики, богородицы да Николы — девятерики да восьмерики, оста́нны помельче... Можно и листоушек[2] сколько-нибудь приложить, только не мене бы четырех вершков были, а то мелкие-то и невзрачны, да, грехом, и затеряться могут. Народ-от ведь у меня вольный, вор на́ воре, самый анафемский народ; иной, как разочтешь его за какие-нибудь непорядки, со зла-то, чего доброго и угодником не побрезгует, стянет, собачий сын, из божницы махонькой-то образок да в карман его аль за пазуху. Каков ни будь образишка — все-таки шкалик дадут в кабаке... Сущие разбойники!.. Ну, какую же цену за все положишь?

Ни слова не молвив, Чубалов молча стал на счетах класть, приговаривая:

— Псалтырей десяток, часословов восьмнадцать — сорок восемь рублев...

---

[1] *Подуборная икона* — обложенная окладом, то есть каймой по краям, вычеканенной из меди с золочеными или посеребренными медными венцами.

[2] Икона *десятерик* — десяти вершков в вышину, *девятерик* — девяти вершков и т. д. *Листоушка* — небольшая икона от одного до четырех вершков.

— Что ты, что ты? — руками замахав на Чубалова, вскрикнул Марко Данилыч.— Никак рехнулся, земляк?.. Как это вдруг сорок восемь рублев...

— Псалтыри по три целковых за штуку, часословы по рублю,— ответил Чубалов.— Считайте.

— Как по три целковых да по рублю?.. На что это похоже? — во всю мочь кричал Марко Данилыч и схватил даже Чубалова за̀ руку.

— Цена казенная, Марко Данилыч,— спокойно ответил Герасим.— Одной копейки нельзя уступить, псалтыри да часословы печати московской, единоверческой, цена им известная, она вот и напечатана.

— Хоша она и напечатана, а ты все-таки должо́н мне уважить. Нельзя без уступки, соседушка,— я ведь у тебя гурто́м покупаю,— говорил Смолокуров.

— Как же я могу уступить, Марко Данилыч? Свои, что ли, деньги приплачивать мне? — ответил Чубалов.— Эти книги не то что другие. Казенные... Где хотите купите, цена им везде одна.

Призадумался маленько Марко Данилыч. Видит, точно, цена напечатана, а су́против печатного что говорить? Немалое время молча продумавши, молвил он Чубалову:

— Ну, ежели казенная цена, так уж тут нечего делать. Только вот что — псалтырей-то, земляк, отбери не десяток, а тройку... Будет с них, со псов, чтоб им издохнуть!.. Значит, двадцать пять рублев за книги-то будет?

— Двадцать семь, Марко Данилыч,— немного понижая голос сказал Герасим.

— Экой ты, братец, какой! За всякой мухой с обухом!..— промолвил Марко Данилыч.— Велика ли важность каких-нибудь два рубля? Двадцать ли пять, двадцать ли семь рублев, не все ли едино? Кладу тебе четвертную единственно ради круглого счета.

— Коли вам для круглого счета надобно, так я заместо восьмнадцати, шестнадцать часословов только положу. Оно и выйдет как раз двадцать пять рублев,— сказал Герасим Силыч.

Думал Марко Данилыч, не раз головой покрутил, сказал наконец:

— Ну, пожалуй. Так-то еще лучше будет... Али нет,

постой, часословов дюжину только отбери — в светелки не стану класть. Это выйдет...

— Двадцать один рубль,— сказал Герасим Силыч.

— Скости рублишко-то, земляк. Что тебе значит какой-нибудь рубль? Ровно бы уж было на двадцать рублев... Ну, пожалуйста,— канючил богатый, сотнями тысяч ворочавший рыбник.

— Нельзя мне и гривны уступить вам, Марко Данилыч... Цена казенная... Как же это возможно? — отвечал ему Чубалов.

— Ну ладно, казенная так казенная, пусть будет потвоему: двадцать с рублем,— согласился, наконец, Смолокуров.— Только уж хочешь не хочешь, а на божьем милосердии — оно ведь не казенное,— рублишко со счетов скощу. Ты и не спорь. Не бывать тому, чтоб ты хоть маленькой уступочки мне не сделал.

—Посмотрим, поглядим — усмехнулся Герасим и опять стал на счетах выкладывать.— Полторы дюжины десятерику да подуборных — три рубля,— говорил он, считая.

— Окстись, приятель!.. Христос с тобой! — воскликнул Марко Данилыч с притворным удивленьем отступив от Чубалова шага нà два.— Этак, по-твоему, сотня-то без малого в семнадцать рублев въедет... У холуйских богомазов таких икон — хоть пруды пруди, а меняют они их целковых по десяти за сотню да по девяти... Побойся бога хоть маленько, уж больно ты в цене-то зарываешься, дружище!.. А еще земляк!.. А еще сосед!..

— Лет сорок тому, точно, за эти иконы-то рублев по десяти и даже по восьми бирали, а ноне по пятнадцати да по пятнадцати с полтиной. Сами от холуйских получаем. Пользы ведь тоже хоть немножко надо взять. Изза чего-нибудь и мы торгуем же, Марко Данилыч.

—Жи́ла ты, жи́ла, греховодник этакой!..— вскликнул Марко Данилыч.— Бога не боишься, людей не стыдишься... Неправедну-то лихву с чего берешь?.. Подумал ли о том?.. Ведь со святыни!.. С божьего милосердия!.. Постыдись, братец!..

— А с рыбы-то нешто не берете? — спросил, усмехнувшись, Герасим.

— Ишь ты! — вскрикнул на всю лавку Марко Данилыч.— Применил избу́ к Строганову двору!.. К чему святыню-то приравнял?.. Хульник ты этакой!.. Припом-

нят на том свете тебе это слово, припомнят!.. Там ведь, друг, на страшном-то суде Христове всяко праздно слово взыщется, а не то чтобы какое хульное!.. Святые иконы к рыбе вдруг применил!.. Ах ты, богохульник, богохульник...

Битый час торговались. У обоих от спора даже во рту пересохло. Ровно какой благодати возрадовался Марко Данилыч, завидев проходившего платочным рядом парня: по поясу лубочный черес со стаканами, хрустальный кувшин в руке. Во всю ивановску кричит он:

— А вот малиновый хороший, московский кипучий! Самый лучший, с игрой, с иголкой — бьет в нос метелкой! Не пьян да ядрён, в стаканчик нальем!.. Наливать, что ли, вашей милости-с?

Один за другим четыре стакана «кипучего, самого лучшего» выпил Марко Данилыч и, только что маленько освежился, опять принялся торговаться. На сорока восьми рублях покончили-таки... Стали иконы подбирать — и за̀ этим прошло не малое время. Каждую Смолокуров оглядывал и чуть на которой замечал хоть чуть-чуть видное пятнышко, либо царапинку, тотчас браковал,— подавай ему другую икону, без всякого изъяну. Без малого час прошел за такой меледой, наконец все отобрали и уложили. Надо расплачиваться.

Вынул бумажник Марко Данилыч, порылся в нем, отыскал недоплаченный вексель Чубалова, осмотрел его со всех сторон и спросил перо да чернилицу.

Чубалов подал.

— И это в уплату запишем,— сказал Смолокуров, обмакивая перо.

— Так точно,— слегка нахмурясь, молвил Чубалов.— Только зачем же вам, Марко Данилыч, утруждать себя писаньем? Оста̀нные сейчас же отдам вашей милости как есть полной наличностью, а вы потрудитесь только мне векселек возвратить.

— И так можно,— сказал Марко Данилыч, кладя перо на прилавок.— Я, брат, человек сговорчивый, на все согласен, не то, что ты,— измучил меня торговавшись. Копейки одной не хотел уступить!.. Эх, ты!.. Совесть-то где у тебя?.. Забыл, видно, что мы с тобою земляки и соседи,— прибавил он...

— Нельзя, Марко Данилыч, богу поверьте,— возразил Герасим Силыч...

— Ну ладно, ладно, бог уж с тобой, се́рдца на тебя не держу,— сказал Смолокуров.— Неси-ка ты, неси остальные-то. Домой пора — щи простынут...

— Сию минуту,— молвил Чубалов и пошел наверх в палатку.

Подошел Марко Данилыч к тем совопросникам, что с жаром, увлеченьем вели спор от писания. Из них молодой поповцем оказался, а пожилой был по спасову согласию и держался толка дрождников, что пекут хлебы на квасной гуще, почитая хмелевые дрожди за греховную скверну.

— Да почему же не след хлеб на дрождях вкушать? — настойчиво спрашивал у дрождника поповец.

— Потому и не след, что дрожди от диавола,— отвечал дрождник.— На хмелю ведь они?

— На хмелю.

— А хмель-от кем сотворен?

— Творцом всяческих господом,— отвечал молодой совопросник.

— Ан нет,— возразил дрождник.— Не господом сотворен, а бесом выращен, на пагубу душам христианским и на вечную им муку. Такожде и табак, такожде и губи́на, сиречь картофель, и чай, и кофей — все это не божье, а сатанино творение либо аггелов его. И дрожди хмелевые от него же, от врага божия, потому, ядый хлеб на дрождях, плоти антихристовой приобщается, с ним же и пребудет во́ веки... Так-то, молодец!

— А покажи от писания! — с задором отвечал ему на то молодой поповец.

— Изволь,— промолвил дрождник и, вынув из-за пазухи рукописную тетрадку, стал по ней громогласно читать: «...Сатана же, завистию распаляем, позавиде доброму делу божию и нача со бесы своими беседовати, как бы уловити род человеческий во свою геенну пианством, наипаче же верных христиан. И выступи един бес из темного и треклятого их собора и тако возглагола сатане: «Аз ведаю, господине, из чего сотворити пианство; знаю бо иде же остася тоя трава, юже ты насадил еси на горах Аравитских и прельсти до потопа жену Ноеву... Пойду аз и обрящу траву и прельщу человек». И восстав сатана со престола своего скверного, и поклонися тому бесу, честь воздая ему, и посади его на престоле своем... и нарече ему имя «пианый бес». И научи той

пианый бес человека, како растити солод и брагу делати... Тако умудри его бес на погибель христианом» [1].

— А какое ж это писание? Кто его написал? В коих летех и кем то писание свидетельствовано?.. Которым патриархом или каким собором? — настойчиво спрашивал у старого дрождника молодой совопросник.

— Захотел ты в наши последние времена патриархов да соборов! — с укоризной и даже насмешливо ответил ему дрождник.— Нѐшто не знаешь, что благодать со дней Никона взята нà небо и рассыпася чин освящения, антихрист поплени всю вселенну, и к тому благочестие на земле вó веки не воссияет. .

— Не «Цветником», что сам, может, написал, а от писания всеобдержного доказывай. Покажи ты мне в печатных патриарших книгах, что ядение дрождей мерзость есть пред господом... тем книгам только и можно в эвтом разе поверить.— Так говорил, с горячностью наступая на совопросника, молодой поповец.— Можешь ли доказать от святого писания? — с жаром он приставал к нему.

— Могу,— спокойно отвечал дрождник.— Проклятие на дрожди в десятой кафизме положено, во псалме Давыдове: «Исповемся тебе, боже». Забыл?.. «Дрождие его не изгидошася испиют вси грешние земли» [2]. Ну-ка, ответь, что сии словеса означают?

— Да где же тут проклятие-то? — спросил несколько озадаченный поповец.— На дрожди-то где проклятие? Проклятие на дрожди покажь ты нам!

— Изгидошася! Чтó означает, по-твоему, это самое слово? Как скажешь? — спрашивал молодого поповца седоватый дрождник и проговорил свои слова так властно и решительно, будто спорный вопрос о догмате на Вселенском соборе решал.

— Изгидошася?.. Ты говоришь: «изгидошася»...— начал было отвечать ему смущенный нежданным вопросом поповец.— А ну-ка, сам скажи мне, что такое означают те святые словеса Давыдовы?

— Изгидошася...— решительно сказал дрождник, будто тем словом все писание истолковал.

---

[1] Сказание «О хмельном питии» встречается в раскольничьих сборниках, не ранее, однако, начала XVIII столетия.

[2] По ныне употребляемому переводу вместо «изгидошася» поставлено «истощися».

— Да что ж такое означает то слово «изгидошася»? — приставал рьяный в словопрениях молодой, но много начитанный поповец.

— То и означает, что прокляты дрожди. Одно слово — «изгидошася»... Понимаешь али нет? — Толковал свое дрождник.— Изгидошася — проклято значит. Вот тебе и сказ.

И доспорились до раздраженья, особливо молодой. Глаза горят, лицо пылает, кулаки сжаты, а что такое «изгидошася», ни тот, ни другой не разумеют.

Таковы у раскольников богословские прения. Только и толков, только и споров, что можно ли квашню на хмелевых дрождях поставить, с кожаной аль с холщовой лестовкой следует богу молиться, нужно ли ради души спасения гуменцо на маку́шке выстригать. А чаще и больше всего споров ведется про антихриста, народился он, проклятый, или еще нет, и каков он собой: «чувственный», то есть с руками, с ногами, с плотью и с кровью, или только «духовный» — невидимый и неслышимый, значит духом противления Христу и соблазнами рода человеческого токмо живущий...

Много таких споров, много и толков сыздавна идет на Руси середи простого народа... А сколько иногда в тех спорах бывает ума, начитанности, ловкости в словопрениях, сколько искусства!.. И весь этот народный ум дрождями, лестовками да антихристом занят!..

Сошел сверху Герасим Силыч, подал деньги Смолокурову. Долго разглядывал Марко Данилыч принесенные бумажки. И меж пальцев-то тер их, и на̀ свет-то смотрел, и, уверившись, наконец, что бумажки годны, сунул их в бумажник, а Чубалову отдал вексель. Взял Герасим Силыч вексель, с начала до конца внимательно два раза прочел его и, уверившись в подлинности, надорвал.

— Ужо, после вечерни, приказчика с записочкой пришлю,— молвил Марко Данилыч Чубалову.— С ним товар-от и отпусти.

Пошел было Смолокуров из лавки вон, но у дверей на ворох подержанных книг гражданской печати наткнулся.

— Это что у тебя за хлам такой? — спросил он Чубалова.

— Да так... Всякая всячина, разрозненные больше.

А впрочем, есть хорошие книжки,— молвил Герасим Силыч.

— А я и не знал, что ты беззастежными[1] торгуешь,— заметил Смолокуров.

— Не торгую, а есть,— отвечал Чубалов.— А ежели под руку что попадется, отчего же и не взять. И на них ину пору охотники бывают...

Посмотрел Марко Данилыч, видит — одни не при нем писаны[2], другие что-то больно мудрены... Несколько путешествий попалось, историй. Вспомнил, что Дунюшкин учитель такие советовал ей покупать, вспомнил и то, что она их любит. Отобрал дюжины две, спросил у Чубалова:

— Что возьмешь?

— Все чохом берите — уступлю,— молвил Чубалов, небрежно переглядывая отобранные Смолокуровым книги.

— Сколько всех-то? — спросил Марко Данилыч.

— За сотню наберется,— отвечал Чубалов.

— Сколько станешь просить? — прищурясь и похлопывая ладонью по книгам, спросил Смолокуров.

— А вы что пожалуете? — в свою очередь, спросил Герасим Силыч.

— Рублик.

— Что это вы, Марко Данилыч? — усмехнулся Чубалов.— По копейке за книгу, да еще и помене того жалуете! Нет, сударь, ежели теперича на подвертку свечей их продать аль охотникам на ружейны патроны, так и тут больше пользы получишь. Дешевле пареной репы купить желаете!.. Ведь тоже какие ни на есть книги... Тоже бумага, печать, переплет... Помилуйте!..

— Да что тебе в них? Место ведь только занимают... С ярманки поедешь, за провоз лишни деньги плати, вот и вся тебе польза от них,— говорил Марко Данилыч, отирая о полы сюртука запылившиеся от книг руки.— Опять же дрянь все, сам же говоришь, что разрознены... А в иных, пожалуй, и половины листов нет.

— Не все же без листов, не все и разбиты; есть тоже и цельные,— сказал Чубалов.— И много занятных книжек тут. Вот вы как-то мне говорили, что любите путе-

---

[1] *Беззастежными* раскольники зовут книги не духовного содержания, переплетаемые обыкновенно без застежек.

[2] На иностранных языках.

шествия по разным землям на досуге почитывать. Вот вам «Омаровы путешествия» две части,— говорил Герасим Силыч, хлопнув книга о книгу.— А вот вам и «Путешествие младого Костиса». Вот, коли в угоду, театральная, вот и ро́маны [1]. «Садовник городской и деревенский», по части цветков, значит, а вот «Коновал городской и деревенский» — книга полезная, ежель у кого лошадка захворает... «Торжество благодеяния» [2]. Все полезные книги, занимательные. А французских-то сколько! Может, из них которые и редкостные. Ежели на знающего человека — так хорошие деньги можно взять.

— Мне их и даром не надо. На кой шут?.. Кому читать-то? — сказал Марко Данилыч.

— Это уж ваше дело,— молвил Чубалов, продолжая вынимать книгу за книгой.— А все ж таки хоша книга и французская, ее за копейку не купишь. Кого хотите спросите...

— Да ты говори толком, настоящую, значит, цену сказывай,— прервал его Смолокуров.

— Рубликов двадцать надо бы за весь-от короб получить,— склонив немножко на̀ сторону голову и смотря прямо в глаза Марку Данилычу, вполголоса промолвил Герасим Силыч.

— С ума ты спятил? — вскрикнул Смолокуров и так вскрикнул, что все, сколько ни было в лавке народу, обернулись на такого сердитого покупателя.— По двугривенному хочешь за дрянь брать,— нимало тем не смущаясь, продолжал Марко Данилыч.— Окстись, братец!.. Эк что вздумал!.. Ты бы уж лучше сто рублев запросил, еще бы смешней вышло... Шутник ты, я вижу, братец ты мой... Да еще шутник-от какой... На редкость!

— Какая же ваша-то настоящая цена будет? — спросил Чубалов.

---

[1] Грамотное простонародье и даже захолустное чиновничество, особливо вышедшее из семинарий, всегда говорит *ро́ман* вместо роман. И это идет с прошлого века. Некто из духовных отец в прошлом еще столетии писал, впрочем, «келейне», что следует говорить «ро̀ман», дабы отличить название богомерзкого писания от христианского имени Роман.

[2] *«Омаровы путешествия»*, 2 части. Москва, 1819, и *«Путешествия младого Костиса»*, Спб, 1801. Обе мистического содержания. Сочинение Эккартсгаузена. Остальные книги прошлого столетия, не мистические.

— Сказана цена, полушки не накину,— отвечал Марко Данилыч.

— За десять рубликов извольте получать, ежели угодно...— сказал Чубалов.

— Нет, брат, видно с тобой пива не сваришь, да и мне не время у тебя прохлажаться. Щи, говорю тебе, простынут... Прощай, Герасим Силыч... Так я около вечерень за иконами-то пришлю. С запиской. Без записки никому не отдавай.

И пошел было вон из лавки.

— Да купите книжки-то, Марко Данилыч,— удержал его Чубалов.— Поверьте слову, хорошие книжки. С охотника, ежели б подвернулся — втрое бы, вчетверо взял... Вы посмотрите «Угроз Световостоков» [1] — будь эти книжки вполне, да за них мало бы двадцати рублей взять, потому книги редкостные, да вот беда, что пять книжек в недостаче... Оттого и цена им теперь другая.

Снова пошли торговаться и долго торговались. Наконец, Марко Данилыч весь короб купил, даже с французскими. «В домашнем обиходе на что-нибудь пригодятся,— сказал он.— Жаль, что листики маловаты, а то бы стряпухе на пироги годны были».

В купленном коробе нашлось довольно мистических книг, выходивших у нас в екатерининское время и особенно в начале нынешнего столетия. Тогда не только печатались переводы Бема, Ламотт-Гион, Юнга Штиллинга, Эккартсгаузена, но издавался даже особый мистический журнал «Сионский вестник». Все это хоть и было писано языком затемненным, однако в большом количестве проникало в полуграмотное простонародье. Городские и деревенские грамотеи читали те книги с большой охотой, нравилось им ломать голову над «неудобь понимаемыми речами», судить и рядить об них в дружеских беседах, толковать вкривь и вкось. В искреннем убежденье полагали грамотеи, что, читая те книги, они проникают в самую глубину человеческой мудрости. И теперь еще можно найти в каком-нибудь мещанском или крестьянском доме иные из тех книг, ставших большой редкостью. Особенно эти книги держатся у молокан да у приверженцев разных отраслей хлыстовщины. Иные,

---

[1] *«Угроз Световостоков»*, 30 небольших книжек, сочинения Юнга Штиллинга, Спб, 1806—1816. Мистическая.

начитавшись тех книг, вступали в «корабли людей божиих»[1]. Хлыстовские учители и пророки, в исступленных своих речах и в писанных сочинениях, ссылались на те книги[2]. Начитавшиеся «Сионского вестника» образовали даже особую секту «Сионскую церковь» или «Десных христиан». Эти десные христиане зовутся также и «лабзинцами», по имени издателя того журнала, сосланного в Симбирск.

Привез Марко Данилыч короб на квартиру и то́тчас Дуню позва̀л. Вышла она к отцу задумчивая, невеселая.

— Что ты все хмуришься, голубка моя?.. Что осенним днем глядишь? — с нежностью спрашивал у дочери Марко Данилыч, обнимая ее и целуя в лоб.— Посмотрю я на тебя, ходишь ты ровно в воду опущённая... Что с тобой, моя ясынька?.. Не утай, молви словечко, что у тебя на душе, мое сокровище.

— Скучно, тятенька... Домой бы скорее,— склоняя русую головку на отцовское плечо, тихо, грустно промолвила Дуня.

— Послезавтра беспременно выедем,— гладя дочь по головке, сказал Марко Данилыч.— Да здесь-то с чего на тебя напала скука такая? Ни развеселить, ни потешить тебя ничем невозможно... Особенных мыслей не держишь ли ты каких на уме?.. Так скажи лучше мне, откройся... Али не знаешь, каково я люблю тебя, мою ластушку?

— Знаю, тятя, знаю,— крепко прижимаясь к отцу, вполголоса молвила Дуня.

— Зачем же таишься? Верно, есть что-нибудь на душе,— заботливо говорил Марко Данилыч, смущенный словами дочери.

— Ничего нет,— потупя глаза, ответила Дуня.— Просто так, скучно...

---

[1] Так называются общины хлыстов.

[2] Например, Василий Радаев, христос арзамасских хлыстов, в 1849 году писал к приходскому священнику села Мотовилова, ссылаясь на «сочинения госпожи Гион». У хлыстов московских, рязанских, калужских, самарских находили названные здесь книги, а также: «Облако над святилищем» Эккартсгаузена, Спб, 1803, «Ключ к таинствам натуры», его же, 4 части, сочинение, имевшее два издания в Петербурге в 1804, 1820 и 1821 годах. «Тоска по отчизне», сочинение Юнга Штиллинга, в переводе Дубянского, Спб. 1816. «Победная повесть», также Юнга Штиллинга, Спб. 1815. «Изъяснение на апокалипсис» г-жи Гион, Москва, 1816, и другие. У молокан те книги также в большом почете.

— А я тебе от скуки-то гостинца привез,— молвил Марко Данилыч, указывая на короб.— Гляди, что книг-то,— нàдолго станет тебе. Больше сотни. По случаю купил.

Недоверчиво взглянула Дуня на закрытый короб. Речи Марьи Ивановны о книгах припомнились ей. Однако же велела перетащить короб к себе в комнату.

Только что отобедали, Дуня за книги. Стала разбирать их.

«Французская, еще французская,— откладывая первые попавшиеся пóд руку книги, говорила она сама с собой...— Может быть, тут и такие, про которые Марья Ивановна поминала... Да как их узнаешь? И как понять, что в них написано?.. «Удольфские таинства», роман госпожи Коттень... Роман!»

И с отвращением бросила в сторону книгу.

«Опять роман, опять... опять,— продолжая кидать в угол книги, думала Дуня.— И на что это тятенька накупил их?.. Яд, сети, раскинутые врагом божиим.— Так говорила Марья Ивановна... В руки не возьму их!.. Выкинуть либо в печке сжечь!.. Праху чтоб от них не осталось!.. Комедия, комедия — все театральные... Такие же!.. Была я в театре, глядела, слушала... И там все про нечистую любовь говорится... Вот тетенька-тó Дарья Сергевна говорит, что театр поставлен бесам на служенье... Верно это она говорит, верно.. Сама Марья Ивановна то же скажет... Да, бесы, бесы, враги божии!.. Они, они!..»

И полетели в угол театральные книги.

«Домашний лечебник»... Эта пригодится, ежели кто занеможет когда... «Полная поваренная книга»,— отдам тетеньке, ей пригодится... «История Елизаветы, королевы Английской»,— можно будет прочитать... «Лейнард и Термильд, или Злосчастная судьба двух любовников...» [1].

Молча разорвала книгу и молча метнула обрывки ее под диван.

«Зачем накупил таких? Зачем?.. Книги все пагубные!.. От врага!.. Грешно и в руки их брать... Это еще что? Путешествия,— ну, вот это хорошо, за это тяте спасибо... «Путешествие в Западную Индию»,— прочитаю... «Путешествие г. Вальяна... с картинками».

---

[1] Книги, напечатанные в конце прошлого столетия.

И, взглянув затем на одну книгу, вскочила со стула и вскрикнула от радости. «Путешествие младого Костиса»... Хвалила ту книгу Марья Ивановна.

И тотчас принялась за чтение. Прочла страницу, другую — плохо понимает. «Ничего, ничего,— бодрит себя Дуня,— Марья Ивановна говорила, что эту книгу сразу понять нельзя, много раз она велела читать ее и каждое слово обдумывать».

До позднего вечера просидела она над Костисом.

И с тех пор и дни и ночи стала Дуня просиживать над мистическими книгами. По совету Марьи Ивановны, она читала их по нескольку раз и вдумывалась в каждое слово... Показалось ей, наконец, будто она понимает любезные книги, и тогда совсем погрузилась в них. Мало кто от нее с тех пор и речей слыхал. Марко Данилыч, глядя на Дуню, стал крепко задумываться.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Середи холмов, ложбин и оврагов, середь золотистых полей и поросших кудрявым кустарником пригорков, меж тенистых рощ и благовонных сенных покосов, верстах в пятидесяти от Волги, над сонной, маловодной речкой, по пологому склону горы больше чем нà версту вытянулась кострикой и пеньковыми оческами завàленная улица с тремя сотнями крестьянских домов. Домà все большие, высокие, но чрезвычайно тесно построенные. Беда, ежели вспыхнет пожар, не успеют оглянуться, как все село дотла погорит.

Домà стареньки, зато строены из здоровенного унжинского леса и крыты в два теса. От большой улицы по обе стороны вниз по угорам идут переулки; домà там поменьше и много беднее, зато новее и не так тесно построены. Во всем селенье больше трехсот дворов наберется, опричь келейных рядов, что ставлены на задах, ближе к всполью. В тех келейных рядах бобыльских да вдовьих дворов не меньше пятидесяти.

На самом верху горы большая каменная пятиглавая церковь стоит. Старинной постройки она,— помнит еще дни царя Алексея Михайловича... Видно, что в старые годы была она богата, но потом обедняла до нищеты и вконец обветшала. Зеленая черепица на главах вполови-

ну осыпалась, железна крыша проржавела, штукатурная облицовка облезла, карнизы, наличники, сандрики [1] и узорочный кафельный вокруг церкви пояс обвалились, от трех крылец, на кувшинных столбах с висячими арками, уцелело только одно, на колокольне березка выросла. Вокруг церкви грязная базарная площадь, обстроенная деревянными низенькими, ветхими лавчонками. Кроме такого «гостиного двора», стоят на той площади два старых каменных дома: в одном волостное правление, в другом — белая харчевня. И в том и в другом доме зимой, сколько дров ни жги — вода мерзнет. Под горой вдоль речки в два ряда тянутся кузницы, а на горе за селом к одному месту скучилось десятков до трех ветряных мельниц. Не для размола муки, не для обдирки крупы, не для битья конопляного масла ставлены те мельницы,— рыболовные уды точат на них.

Село Миршѐнью зовется, оно казенное, а в старые годы бывало «вотчиной дома Жывоначальные троицы и преподобного Сергия, Радонежского чудотворца», самого крупного во время оно русского помещика, владевшего больше чем ста тысячью душами крепостных крестьян. Земля при Миршѐни добрая, родит хорошо, но на тысячу душ ее маловато. К тому же зѐмли от села пошли клином в одну сторону, и на работу в дальние полосы приходится ездить верст за десяток и дальше, оттого заполья [2] и не знали сроду навоза, оттого и хлеб на них плохо родился. Промыслами миршѐнские мужики кормятся отхожими и домашними. Из бедных кто в бурлаки идет, кто на Низу на ловецких ватагах работает, кто в самарских степях пшеницу жнет либо гурты скота в верховые города прогонять нанимается. Которые и позажиточнее, те сами голов по тридцати крупного скота да по сотням баранов на ярманке у Ханской ставки скупают, мясо продают по базарам, а зимой мороженое отвозят в Ростов и Ярославль на продажу. Сало топят, кожи да овчины выделывают. Другие денежные люди осенью ездят в Уральск и Саратов и там, накупив коренной рыбы, развозят ее зимой по деревням. А которые за наживой нà сторону не отлучаются, те дóма два промысла знают— сети для низовой рыбной ловли вяжут да уды для

---

[1] *Сандрик* — карнизик над окном.

[2] *Заполье* — самые дальние полосы пахотной земли.

нее же работают. Бабы треплют коноплю, прядут ее вместе с мужиками и вяжут сети от одноперстника до ладонника [1]. Кто подостаточнее, те проволоку тянут из железа и раздают ее односельцам на выделку рыболовных уд. Эти секут ее на жёребье и мальчишкам да подросткам дают оттачивать на ветряных мельницах, устроенных с особыми точильнями. С Покрова до вешнего Николы все мальчишки лет от десяти до пятнадцати, с раннего утра до поздней ночи, оттачивают жеребейки, взрослые глянчат [2] их и гнут на уды. Большие уды, что зовутся «кованцами», что идут на белугу и весят по пяти да по шести фунтов каждая, кузнецы куют на кузницах.

Так кормятся миршéнцы, но у них, как и везде, барыши достаются не рабочему люду, а скупщикам да хозяевам точильных мельниц, да тем еще, что железо сотнями пудов либо пеньку сотнями возов покупают. Работая из-за низкой платы, бедняки век свой живут ровно в кабале, выбиться из нее и подумать не смеют.

Ропщут на судьбу миршéнцы и так говорят: «Старики нам говаривали, что в годы прежние, когда прадеды наши жили за монастырщиной, житье всем было привольное, не такое, какое нам довелось. Доброе было житье и во всем изобильное. И пахоты богачество [3], и лугов вдоволь, и лесу руби не хочу, сукрома [4] в анбарах от хлеба ломятся, скирды да одонья ровно горы на гумнàх стоят, года по три нетронутые, немолоченные. И птицы и животины в каждом дому водилось с залишком, без мясных щей никто за обед не садился, а по праздникам у каждой хозяйки жарилась гусятина либо поросятина. В лесу свои бортевые ухожья [5], было меду ешь, сколько влезет, брага да сычёны квасы́ без переводу в каждом дому бывали. Да, деды живали, мед да пиво пивали, а мы живем и корочки хлеба порой не сжуем; прадеды

---

[1] *Одноперстник* — сеть с мелкими ячеями в палец величиной, *ладонник* — с крупными ячеями в ладонь.

[2] *Глянчить* — наводить лоск, полировать.

[3] Вместо *богатство* в Нижегородской губернии и ниже по Волге народ говорит *богатество, богачество* и *богасьство*.

[4] *Сукром* — то же, что сусек, закром — отгороженный в анбаре ларь для ссыпки зернового хлеба.

[5] *Борть* — колода, выдолбленная вверху стоящего на корню дерева для пчеловодства. *Бортевой ухожей* — место в лесу, где наделаны борти.

жили — ни о чем не тужили, а мы живем — не плачем, так ревем. Про старые годы так миршенцы говаривали, так сердцем болели по былым временам, вспоминая монастырщину и плачась о ней, как о потерянном рае. «Не нажить прошлых дней,— они жалобились,— не светить на нас солнышку по-старому».

Так говорили, не зная монастырских порядков, не помня ни владычних десятильников, ни приказчиков, ни посельских старцев, ни тиунов, что судили и рядили по посулам да почестям... Славили миршенцы старину, забывши доводчиков, что в старые годы на каждом шагу в свою мошну сбирали пошлины. Славили монастырщину, не зная, не ведая о приказных старцах и монастырских слугах и служебниках [1], что саранчой налетали и все поедали в вотчинах. И того не помнили миршенцы, как тиуны да приказчики с их дедов и прадедов, опричь судных пошлин, то и дело сбирали «бораны». Кто из дома в дом перешел на житье, готовь «боран перехожий», кто хлеб продал на торгу, «спозём» подавай, сына выделил — «деловое», женил его — и с князя и с княгини [2] «убрусный алтын», да, кроме того, хлеб с калачом; а дочь замуж выдал — «выводную куницу» плати. А доводчикам да недельщикам [3], что ни ступил, то деньги заплатил: вора он поймал — плати ему «узловое», в кандалы его заковал — плати «пожелезное», поспоришь с кем да помиришься — и за то доводчику выкладывай денежки, плати «заворотное».

До сих пор в Миршени за базарными лавками поросший лопухом и чернобыльником пустырь со следами заброшенных гряд и погребных ям — «Васьяновым правежом» [4] зовется. Тут во дни оны стоял монастырский двор, а живали в нем посельские старцы, и туда же на-

---

[1] *Приказчик* управлял монастырскою вотчиной, *посельский старец* из монахов вел монастырское хозяйство в том или другом селе либо в целой вотчине, он же заведовал и полевыми работами крестьян, мельницами и пр. *Тиун, тивун* — судья, назначаемый монастырскими властями для судных разбирательств в освобожденных от светского суда вотчинах.

[2] *Князь* и *княгиня* — новобрачные.

[3] *Недельщики* — те же доводчики, но исправлявшие должности не постоянно, а понедельно. Вроде нонешних сотских и десятских при становых квартирах.

[4] *Правеж* — взыскание недоимок и вообще долга посредством истязаний. Били батогами, пока не заплатит.

езжали чернцы и служебники троицкие. На том дворе без малого сорок годов проводил трудообильную жизнь свою преподобный отец Вассиан, старец лютой из поповского рода. Сильной и грозной рукой все сорок лет над Миршéнью он властвовал. Перед самыми окнами чернической кельи своей смиренный старец каждый день, опричь воскресенья, перед божественной литургией людей на правеж становил, батогами выбивая из них недоимки. Вымучивал старец немалые деньги и в свой карман, а супротивников в погребах на цепь сажал и бивал их там плетьми и ослопьем[1], а с неимущих, чтоб насытить бездонную утробу свою, вымогал платежные записи[2]. Зачастую бывало, что святой отец пьяным делом мужиков и ножом порол. От Васьяновой тесноты[3], боя и увечья крестьяне врознь разбегались, иные шли на Вол-

---

[1] *Ослоп* — дубина, кол.

[2] *Платежная запись* — по-нынешнему заемное письмо, вексель.

[3] *Теснота* — в старину означало, что нынешнее слово *притеснение. Посулы, почести, приносы* — взятки, гостинцы, поборы. *Доводчики* — низшие монастырские слуги, так называвшиеся служебники (ныне служки) из непостриженных, исправлявшие разные полицейские обязанности в монастырских вотчинах, сыщики и судебные следователи, находившиеся в распоряжении приказчиков или посельских старцев и получившие в свою пользу особо установленные пошлины, именно *езд* — прогоны по деньге за две версты, в случае поездки доводчика за ответчиком или за свидетелем; *хоженое* — по одной и по две деньги по окончании дела; *ссадное*, или *заворотное* — при окончании тяжебного дела мировою, *пожелезное* — за наложение оков на ответчика и за караул его — по две деньги в сутки за человека, *узловое*, или *вязчее* — за арестование воров и убийц с поличным. Приказчик вместе с доводчиком получал *смóтреное* — за осмотр людей убитых, раненых, избитых; *выводную куницу* — с девок, выдаваемых в замужество; *убрусный алтын* — с новобрачных: *явочное* — с нанимавших работников. Приказчик или тиун вместе с доводчиком получали *ротное* или *верное* с тяжущихся, прибегавших для решения дела к присяге; *жеребейное* — если спор решался вынутием жеребья, кроме того еще разные пени (штрафы). Приказчик или тиун без раздела с доводчиком получал в свою пользу: *судное* или *правый* десяток—за производство суда по тяжбе с виновного по цене иска (пять процентов), *боран* (от слова «брать»); *межевой* — если дело шло о повреждении межевых знаков; *полевой, дворовый, огуменный, огородный, поженный* — когда спор был о поле, о дворе, гумне, пожне; *переносный* — ежели кто перепахивал чужие пожни; *потравной* — если дело шло о потраве; *перехожий* — за переход на житье из села в село или из дома в дом; *стожарное* и *спозем* — пошлины с крестьянина при продаже им сена или хлеба; *деловое* — пошлина при выделе отцом детей или при разделе; кроме того, пошлины за пиры, за братчины и пр.

гу разбои держать, другие, насильства не стерпя, в воду метались и в петле теряли живот.

В Миршéни за каменным трактиром, что прежде бывал тож монастырским двором, есть местечко за огородом, «Варламовой баней» зовется оно. Миршенские бабы да девки баню ту не забыли: в попреках подругам за разгульную жизнь и теперь они ее поминают. Под самый почти конец монастырщины в доме том проживал посельский старец честный отец Варлаам. Распаляем бесами, искони века сего прю со иноки ведущими и на мирские сласти их подвигающими, старец сей, предоставляя приказчикам и доводчикам на крестьянских свадьбах взимать убрусные алтыны, выводные куницы и хлебы с калачами, иные пошлины с баб и с девок сбирал, за что в пятнадцать лет правления в два раза по жалобным челобитьям крестьян получал от троицкого архимандрита с братиею памяти [1] с душеполезным увещанием, о еже бы сократил страсти своя и провождал жизнь в трудах, в посте и молитве и никакого бы дурна на соблазн православных чинить не отваживался...

Сохранился у миршѐнцев на памяти «пожар Нифонтов», когда на самую Троицу все село без остатку сгорело. Сýхмень [2] стояла, трава даже вся пригорела, и в такое-то время, в самый полдень поднялась прежестокая буря, такая, что дубы́ с корневищем из земли выдирала. А тут, спасенным делом обедню да лежачую на листу вечерню [3] отпевши, посельский старец Нифонт с дорогими гостями, что наехали из властного монастыря,— соборным старцем Дионисием Поскочиным, значит барского рода [4], да с двумя рядовыми старцами, да с тиу-

---

[1] *Память* — письмо, предписание.

[2] *Сухмень* — сухая погода, продолжительное бездождие.

[3] В троицын день вечерня поется после обедни безрасходно... На вечерне читаются молитвы с коленопреклонением, а в старину лежа ниц, с «травами», говоря по старине, то есть с цветами в руках. При лежанье ниц «травы» клались под лицо молящимся. Отсюда выражения *«лежать на листу»* и *«лежачая на листу вечерня»*, иногда просто *«лежачая вечерня»*.

[4] В старину монахи из дворян сохраняли и в иночестве родовые фамилии, означавшиеся и в официальных бумагах, например: Авраамий Палицын, Симон Азарьян, Игнатий Римский-Корсаков, Георгий Дашков и пр. В XVIII столетии и не дворяне монахи стали писаться с фамилиями, но не в официальных бумагах, но это уже не имело и теперь не имеет ни малейшего значения.

ном, да с приказчиком и с иными людьми,— за трапезой великий праздник пятидесятницы справляли да грешным делом до того натянулись, что хоть выжми их. Во хмелю меж ними свара пошла, посельский с соборным старцем драку учинили — рожи друг у друга рвали, брады исторгали, за честные власы и в келарне и в поварне по полу друг дружку возили. Все было как следует быть по монастырскому обычаю. Гости от хозяев не отставали, и они одни пошли на других, и сталась боевая свалка и многое политие крови. В такое шумное время, богу попущающу, паче же врагу действующу, возгореся Нифонтова поварня и от огненного прещения во всей Миршѐни ни кола, ни двора не осталось. Преподобный же отец Нифонт, спасая от пламени туго набитую кубышку, огненною смертию живот свой скончал. Оттого тот пожар «Нифонтовым» и до наших дней зовется.

Знали все это по преданьям миршѐнцы, а все-таки тужили и горевали по монастырщине, когда и пашни, и покосов, и лесу было у дедов в полном достатке, а теперь почти нет ничего.

Васьянов правеж, Варламова баня, Нифонтов пожар, полузабытые дела минувших лет не возбуждали в миршѐнцах столь тяжких воспоминаний, как Орехово поле, Рязановы пожни да Тимохин бор. Правеж чернобылью порос, от бани следов не осталось, после Нифонтова пожара Миршѐнь давно обстроилась и потом еще не один раз после пожаров перестраивалась, но до сих пор кто из церкви ни пойдет, кто с базару ни посмотрит, кто ни глянет из ворот, у всякого что бельмы на глазах за речкой Орехово поле, под селом Рязановы пожни, а по краю небосклона Тимохин бор. Все эти угодья, теперь чужие, заказные, в старые годы миршѐнскими были. Пахали миршѐнцы Орехово поле, косили Рязановы пожни, в Тимохин бор по дрова да по бревна въезжали безданно, беспошлинно. И все то было во дни монастырщины.

Когда у монахов крестьян отбирали, в старых грамотах сыскано было, что Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор значились отдельными пустошами. Даваны они были дому Живоначальные троицы иными вкладчиками, а не тем, что на помин души дал Миршѐнь с коренной землей. Оттого и поле, и пожни, и бор в казну отошли, а спустя немного время были пожалованы полковнику Якимову за раны и увечья в войне с турками.

И до сей поры оставались они в роде Якимова. Невтерпеж стало миршѐнцам смотреть, как якимовские мужики пашут Орехово поле и косят заливные луга на Рязановых пожнях. Почасту бывали бо́и жестокие. Только что придут якимовские на пожню, вся Миршѐнь с дубьем, с топорами да с бердышами на них высыплет. И в тех боях бывали увечья, не мало бывало и смертных убойств. Суд наедет, миршѐнских бойцов из девяти десятого кнутом отобьют, в Сибирь сошлют, остальных перепорют розгами. Спины заживут, а как новое сено поспеет, миршѐнцы опять за дубье, опять пойдут у них с якимовцами бои не на живот, а на смерть. И сколько в Миршѐнь начальства ни наезжало, сколько мужикам законов ни вычитывали, на разум они прийти не могли. Одно, бывало, твердят: «Отцы наши и деды Орехово поле по́том своим обливали, отцы наши и деды Рязановы пожни косили... Наши те угодья — знать ничего не хотим».

Больше десяти годов бывали такие бои около летнего Кузьмы Демьяна на Рязановых пожнях, а потравам в Ореховом поле и лесным порубкам в Тимохином бору и счету не было — зàраз, бывало, десятинами хлеб вытравливали, зàраз сотнями деревья валили. От штрафов да от пеней, от платы за порубки и потравы, от воинского постоя, что в такое разбойное село за наказанье ставили, вконец обеднели миршѐнцы. Село обезлюдело — много народу в Сибирь ушло. Стало в Миршѐни хоть шаро́м покати. Тогда только унялись дубинные и топорные споры, зато начались иные бои — не колом, а пером; не кровь стали проливать, а чернила. Сколько просьб было подавано, сколько ходоков в Петербург было посылано, а все-таки дело не выгорело, только пуще прежнего разорились миршѐнцы. Когда же пришлось им сумы надевать да по миру за подаяньем брести, они присмирели.

Смирились, а все-таки не могли забыть, что их деды и прадеды Орехово поле пахали, Рязановы пожни косили, в Тимохином бору дрова и лес рубили. Давно подобрались старики, что жили под монастырскими властями, их сыновья и внуки тоже один за другим ушли на ниву божию, а Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор в Миршéни по-прежнему и старому и малому глаза мозолили. Как ни взглянут на них, так и вспом-

нят золотое житье дедов и прадедов и зачнут роптать на свою жизнь горе-горькую.

* * *

Тихо, спокойно жили миршѐнцы: пряли дель, вязали сети, точили уды и за дедовские угодья смертным боем больше не дрались. Давние побоища остались, однако, в людской памяти: и окольный и дальний народ обзывал миршѐнцев «головотяпами»... Иная память осталась еще от старинных боев: на Петра и Павла, либо на Кузьму Демьяна каждый год и в начале сенокосов в Миршѐни у кузниц, су́против Рязановых пожней, кулачные бои бывали, но дрались на них не в дело, а ради потехи.

Из-за трех верст якимовские мужики на те бои ровно на праздник прихаживали. Всеми деревнями поднимутся, бывало, с бабами, с девками, с малыми ребятами. Миршѐнцы, пообедавши, все поголовно, опричь разве старых старух, вырядятся в праздничную одежу и спешно выходят на подугорье[1] гостей встречать. Молодые парни в красных кумачовых либо ситцевых рубахах, в смазанных чистым дегтем сапогах, с княгининскими[2] шапками набекрень, кружками собираются на луговине. Девушки и молодицы в ситцевых сарафанах, с шерстяными и матерчатыми платочками на головах, начинают помаленьку «игры заводить». Громкие песни, звуки гармоник, игривый говор, веселый задушевный смех, звонкие клики разносятся далеко. Люди степенные садятся ближе к селу под самой горой. В их кружка̀х одна за другой распиваются четвертухи и распеваются свои песни. Особыми кружка̀ми на зеленой мураве сидят женщины и друг друга угощают городецкими пряниками[3] да цареградскими стручками, щелкают калены орехи либо сладкие подсолнухи. Каждый год на этом гулянье ровно из земли вырастал разносчик. У него на подводе всегда много ящиков, расставляет, бывало, он их и раскладывает деревенские лакомства; и внакладе никогда не остается. Мальчишки и подростки борются либо играют: кто

---

[1] *Подугорье, подгорье* — полоса под горой.

[2] В городе Княгинине, Нижегородской губернии, особенно в подгородных слободах его весь народ шьет шапки да картузы.

[3] Из села Городца на Волге. Городецкие пряники славятся в Поволжье больше, чем вяземские или тульские.

в козны, кто в крегли, кто в чиж, кто в лапту [1], с гиком, с визгом, с задорными криками. Но вот голосистая бойкая молодица выходит из толпы, весело вкруг себя озирается и, ловко подбоченясь, заводит громким голосом «созывную» песню:

Собирайтесь, девицы,
Собирайтесь, красные,
На зелен на лужок.
Собирайтесь, девицы,
Собирайтесь, красные.
Во един во кружок.

И девицы и молодицы дружно подтягивают запевалке:

На травке-муравке, рвите цветочки,
Пошли в хоровод!
Пошли в хоровод! [2]
В хороводе веселитесь,
По забавушкам пуститесь,
Песни запевайте,
Подружек сбирайте!
Пошли в хоровод!
Пошли в хоровод!
Запоемте, девки, песню нову,
Нашу радость хороводу!
В хоровод, в хоровод!
Пошли в хоровод!

Собрàлись дѐвицы, подошли к ним мо́лодцы, но стали особым кружком. В хороводе песню за песней поют, но игра идет вяло, невесело. Молодица, что созывную песню запевала, становится середь хоровода и начинает:

Как нам, девушки, хоровод сбирать,
Как нам, красны, новы песни запевать?

Хоровод продолжает:

Диди ладо, диди ладушки!
Вы, подруженьки любимые,
Вы, красавицы забавницы,
Соходитесь на лужок,
Становитесь во кружок.
Диди ладо, диди ладушки!
Вы сцепитесь все за ручки,

---

[1] *Козны* — бабки, известная и самая обычная игра деревенских мальчиков. *Крегли, или городки:* тонкие, круглые столбики, вершка в четыре вышиною, ставятся рядами, их сшибают издали палками. *Чиж* — заостренная с обоих концов палочка в четверть длины; бьют чиж по концу, он летит кверху, его подбивают на воздухе, и он летит дальше. *Лапта* — игра в мяч.

[2] *Пошли* — ступайте, идите.

Да примите молодцо̀в!
Приходите, молодцы, во девичий хоровод,
Выходите, удалы́е, ко красным во кружок,
Диди ладо, диди ладушки!
В пары становитесь — сохи собирать,
В пары, в пары собирайтесь — пашеньку пахать,
Пашеньку пахать, сеять бел ленок,
В пары, в пары, в пары, во зеленый во садок.
Диди ладо, диди ладушки!

Гурьба молодцо́в к хороводу идет. Тихо, неспешно идут они охорашиваясь. Пары в круг становятся. Тут и миршѐнские и якимовские. Вместе все весело, дружно играют.

Вот середь круга выходит деви́ца. Рдеют пышные ланиты, высокой волной поднимается грудь, застенчиво поникли темные очи, робеет чернобровая красавица, первая по всей Миршѐни невеста Марфуша, богатого скупщика Семена Парамонова дочь. Тихо двинулся хоровод, громкую песню запел он, и пошла Марфуша павой ходить, сама беленьким платочком помахивает. А молодцы и девицы дружно поют:

Как на кустике зеленом
Соловеюшко сидит,
Звонко, громко он поет,
В терем голос подает,
А по травке, по муравке
Красны девицы идут.
А котора лучше всех —
Та сударушка моя.
Белым лицом круглоличка
И наряднее всех.
Как Марфушу не признать,
Как милу́ю не узнать?

Лётом влетает в круг Григорий Моргун, самый удало́й мо́лодец изо всех якимовских. В ситцевой рубахе, синь кафтана бо́локом [1], шляпа с подхватцем, к тулье пристегнуты павлиньи перышки. Красавец Григорий из богатого дома, из тысячного, два сына у отца, две расшивы на Волге. Идет Гриша, улыбается — редко шагает, крепко ступает — знать сокола̀ по полету, знать мо́лодца по выступке. Подходит он к Марфуше, шляпу снимает, низко кланяется, берет за белы́е руки краса́вицу, ведет за собой. Сильней и сильней колышется девичья грудь, красней и красней рдеют щеки Марфуши... Вот

[1] Одеваться *бо́локом* — надевать одежу внакидку.

глаза подняла — и всех осияла, взглянула на молодца — сама улыбнулась. А хоровод песню свою допевает:

Признавал, узнавал
Гриша мо̀лодец удал,
За рученьку ее брал,
От подруг прочь отзывал,
Полой ее одевал,
При народе целовал.

И под эти слова Гриша, накинув на Марфушу полу кафтана, целует ее в уста алые. Первый силач, первый красавец изо всех деревень якимовских, давно уж Гриша Моргун в чужой приход стал к обедням ходить, давно на̀ поле Ореховом, на косовице Рязановой, чуть не под самыми окнами Семена Парамоныча, удалой молодец звонко песни поет, голосистым соловьем заливается... Не свивать гнезда соловью на высоком дубу — не видать тебе, Гриша Моргун, Марфы Семеновны женой своей. Казенный тысячник за барского дочери не выдаст, хоть гарнцами ему отсыпай золотую казну.

Песня за песней, игра за игрой, а у степенных людей беседа живей да живей. Малы ребятки, покинувши козны и крегли, за иную игру принялись. Расходились они на две ватажки, миршѐнская становилась под горой задом к селу, одаль от них к речке поближе другая ватажка сбиралась — якимовская.

Стали якимовские супротивников на бой вызывать. Засучив рукава и сжав кулачонки, мальчишки лет по тринадцати шагнут вперед, остановятся, еще шагнут, еще остановятся и острыми тоненькими голосками, нараспев клич выкликивают:

— Камча̀ камча̀, ма̀леньки! Камча́, камча́, ма̀леньки!

То — вызывно́й клич на бой [1].

Спешным делом миршѐнские парнишки в ряд становились и, крикнув в голос «камча!», пошли на якимовских. А те навстречу им, но тоже с расстановками: шагнут — остановятся, еще шагнут — еще остановятся. Близко сошлись бойцы-мальчуганы, но в дра̀ку покуда не лезут, задорнее только кричат:

---

[1] *Камча́* — собственно плеть, нагайка, а также удар, битье — слово татарское, употребляемое русскими в восточных губерниях, особенно в Оренбургской, Уфимской, Казанской, Самарской. Это же слово служит и кликом на кулачных боях. В иных местах на боях это слово несколько искажается: вместо камча́ кричат качма́.

— Камча́, камча́, ма̀леньки!.. Камча̀, ка̀мча̀, ма̀леньки!

Мало повременя, стали мальцы друг на дружку наскакивать, но это еще только заигрыши... [1] Вот, наконец, с якимовской стороны выступает паренек лет двенадцати, удалой, задорный, забиячливый, недаром старостин сын. Зовут его Лёска Баран. Засучив рукавишки, тряхнув белыми, как лен, волосенками, низко нагнув голову, ястребенком ринулся он на миршѐнских. Подбежал, размахнул ядреными ручонками ровно две трости́нки подрезал двух мальчуганов, а потом, подняв важно голову, к своим пошел. Не вставая с земли, зажмуря глаза, раскрыв рты, сбитые с ног мальчуганы хотели было звонкую ревку задать, но стоявшие сзади их и по сторонам миршѐнские подростки и выростки [2] окрысились на мальцов и в сердцах на них крикнули:

— Не сметь визжать, заревыши! [3] Охота реветь — ступай к матери...

Стихли ребятенки и, молча поднявшись с земли, стали глаза утирать кулачонками. Ватажки своей они не покинули. Нельзя. И мальцам неохота срама принимать. А хуже того срама, что с боя сбежать, нет и никогда не бывало. Житья после не будет и от чужих и от своих.

Лёска Баран стал впереди своей ватаги, молодецки подбоченился и гордо поглядывал на миршѐнских. А те языки ему высовывают, выпевают, вычитывают:

Лёска дурак
Повадился в кабак.
Там его били,
Били, колотили
Вѐ три дубины.
Четвертый костыль
По зубам вострил,
Пята дубина
По бокам возила,
Шесто колесо
Всего Лёску разнесло,
По всем городам,
По всем сёлкам, деревням.

Глазом не моргнул Лёска на задорные, обидливые напевы миршѐнских парнишек. Стоит на месте, ровно в

[1] *Заигрыши* — заигрыванье, задиранье, затрогиванье шутками.

[2] *Подросток* — от 14 до 16 или 17 лет, *выростки* — от 17 до 19.

[3] *Заревыш* — кто начинает реветь. *Зарев* — начало рева.

землю врос, стоит, а сам охорашивается: «Глядите, дескать, на меня. каков я богатырь уродился». Не стерпел того Васютка Черныш из миршѐнских. Подобрав пестрядинные, домотканые штанишки, подтянув поясок и засучив рукава сарпинковой косоворотки, маленький, пузатенький, но сильный и смелый Васютка, сверкая исподлобья темно-карими глазенками и слегка переваливаясь с ноги на ногу, мерным, неспешным шагом выступал на якимовских. Те в голос ему:

Требухан, требухан,
Съел корову да быка,
Овцу, я́ловицу,
Пятьдесят поросят,
Девяносто утят.

Не серчает Черныш, не ругается, не его будто бранят, не его корят. Был он на ногу скор, на походку лего́к, напускался на ватажку якимовскую, пошел косить направо и нàлево — мальчуганы вкруг него так и валятся. Тут Лёска Баран наспех выскакивал, ниже пояса склонял белокурую курчавую голову, со всех ног на Васеньку бросился, хочет его с копыт долой, да Васютка Черныш тут увертлив был — вбок отскочил, Лёску как сноп повалил, сел верхом на него.... Тут начинался задорный бой, смешались миршѐнские с якимовскими, давай колотить друг друга напропа́лую... Дрогнули ребятки миршѐнские, смяли их якимовские, погнали с луговицы в село.

Тут миршѐнские подростки и выростки засвистали громким посвистом, созывали товарищей выручать своих маленьких.

— Камчà! — крикнули они якимовским подросткам.

— Камчà! — отвечали якимовские.

И те и другие спешно в ряды становились, крепко плечом о плечо упирались и, сжав кулаки, пошли стена нà стену. Тут уж пошел прямой и заправский бой [1].

А побитые парнишки с синяками на скулах бегом к отцам, к матерям силой, удалью своей хвастаться. Маленьких бойцов похваливают, по головкам их поглаживают, оделяют орехами да пряниками. У Лёски Барана да у Васютки Черныша полны подолы орехов, рожков и подсолнухов.

---

[1] *Заправский* — настоящий, неподдельный, нешуточный.

А хороводы идут своим чередом, играют там песни[1] по-прежнему. Вот в середь круга выступает молодой рослый парень. Алешей звать, Мокея Сергеева сын. У отца у его две мельницы-точильни возле Миршѐни стоят. Русые кудри, искрометные очи, сам чистотел, белолиц, во всю щеку румян; парень — кровь с молоком, загляденье. В ситцевой голубой рубахе, опоясан шелковы́м алым поясом, сапожки со скрипом, шапка нà ухо, скосырем[2] московским глядит. Величаво приосанившись, важно в хороводе он похаживает, перед каждой девицей становится, бойко, зорко с ног до головы оглядывает, зà руки, зà плечи потрогивает. И на то молодицы с девицами песню поют ему:

Что по гридне князь,
Что по светлой князь,
Наше красное солнышко похаживает,
Что соколий глаз,
Молодецкий глаз,
На малых пташек — на де̂виц — он посматривает.
Что у ласточки,
У касаточки,
Сизы крылья — у красны́х белы руки он потрогивает.
Парчевой кафтан,
Сапожки сафьян,
Золоту казну, дорогих соболей им показывает.
Веселы́м лицом
Да красны́м словцом.
Мысли девичьи светлый князь разгадывает.
Не мани нас, князь,
Не гадай нас, князь,
Наше красное солнышко, незакатное,
Не златой казне,
А твоей красе
Ретивы сердца де̂вичьи покоряются;
Ты взгляни хоть раз,
Ты вздохни хоть раз,
Любу девицу выбирай из нас.

Становился Алеша Мокеев перед Аннушкой Мутовкиной. Была та Аннушка девица смиренная, разумная, из себя красавица писаная, одна беда — бедна была, в сиротстве жила. Не живать сизу̂ орлу во долинушке, не видать Алеше Мокееву хозяйкой бедную Аннушку. Не пошлет сватовьев спесивый Мокей к убогой вдове

---

[1] Вместо «петь песни» часто говорят «играть песни».

[2] *Скосырь* — щеголь, а дальше от Волги на восток слово это значит надменный, нагловатый человек.

Аграфене Мутовкиной, не посватает он за̀ сына ее дочери бесприданницы, в Аграфенином дворе ворота̀ тесны, а мужик богатый, что бык рогатый, в те́сны воро́та не влезет.

Бой подростков меж тем разгорается. Старые люди степенные встают с луговины посмотреть на свою молодежь, удалых бойцов похваливают, неудатных подзадоривают:

— Дерись, дерить, ребятушки!.. Плохо станете драться, невест не дадим.

Кипит рукопашная... Не одними кулаками мо́лодцы работают, бьются ногами и коленками, колотят зря по чем ни попало, лежачего только тронуть не смеют — таков закон на кулачных боях. Возрастные парни из хоровода поглядывают, крепко ль их сторона держится, не пора ль и им выходить на подмогу, на выручку. Един по единому покидают они круг девичий, выходят на бой ради своей молодецкой потехи... Разгорелась потеха, рассыпа̀лись бойцы по́ лугу, а красные девицы, ровно спугнутая лебединая стая, без оглядки понеслась под угорье — там старики, люди пожилые, молодицы и малолетки, стоя гурьбами, на бой глядят.

Не смолоченный хлеб на гумне люди веют, не буён ветер, доброе зерно оставляя, летучую мякину в сторону относит,— один за другим слабосильные бойцы поле покидают, одни крепконогие, твердорукие на бою остаются. Дрогнула, ослабела ватага якимовская, к самой речке миршѐнцы ее оттеснили. Миршѐнские старики с подгорья радостно кричат своим:

— Молодцы! молодцы!.. Меси их!.. Катай!.. Вали в реку!

Всей силой наперли миршѐнские; не устоять бы тут якимовским, втоптали бы их миршѐнцы в грязную речку, но откуда ни возьмись два брата родных Сидор да Панкратий, сыновья якимовского кузнеца Степана Мотовилова. Наскоро стали они строить порушенную стену, быстро расставили бойцов кого направо, кого на̀лево, а на самой середке сами стали су́противив Алеши Мокеева, что последний из хоровода ушел,— больно не хотелось ему расставаться с бедной сироткою Аннушкой.

— Алеша!.. Родимый!.. Постой за себя — ломи их, голубчик! — кричат старики с подугорья.

Не слышит Алеша громких их кликов, помнятся ему только тихие, нежные речи Аннушки, что сказала ему на прощанье, когда уходил он из хоровода: «Алеша, голубчик, не осрами себя. Попомни мое слово, желанный...»

И в хороводах и на боях везде бывал горазд Алеша Мокеев. Подскочил к одному Мотовилову, ткнул кулаком-резуном в грудь широкую, падал Сидор назад, и Алеша, не дав ему совсем упасть, ухватил его поперек дебелыми руками да изо всей мочи и грянул бойца о землю.

— Хоть ты и кузнец, а сам-от, видно, не железный,— громко на весь народ похвалился Алеша. А Сидорушку одолела скорбь несносная, стало ему за обиду великую, что Мокеев сломил его, бросил нà землю, ровно цыпленка, и теперь еще над ним похваляется. Не до того было Панкратью, чтоб вступиться за брата: двое на него наскочило, один губы разбил — посыпались изо рта белые зубы, потекла ручьем алая кровь, другой ему в бедро угодил, где лядвея в бедро входит, упал Панкратий на колено, сильно рукой оземь оперся, закричал громким голосом: «Братцы, не выдайте!» Встать хотелось, но померк свет белый в ясных очах, темным мороком покрыло их. Тут, засучив рукава, влетел в середину стены красавец Григорий Моргун, ринулся он на миршѐнцев и пошел их косить железной своей пятерней. Дружно, крепко стали якимовские, всей силой пошли напирать на миршѐнских. Держалась сельщина только богатырской силой да ловким уменьем Алеши Мокеева; но подбежал Григорий Моргун, крикнул зычным голосом:

— Камчà, сельщина, камчà, дельщина! [1].

И сквозь кипящие боем ватаги пробился к Алеше Мокееву. Не два орла в поднебесье слетались — двое ярых бойцов, самых крепких молодцóв грудь с грудью и лицом к лицу сходились. Не железные молоты куют красное железо каленое — крепкорукие бойцы сыплют удары кулаками увесистыми. Сыплются удары, и чернеют белые лица обоих красавцев. Ни тот, ни другой набок не клонится, оба крепко на месте стоят, ровно стены каменные.

Стоны, дикие крики, стукотня кулачных ударов и громкая ругань носятся над луговиной и сливаются в один страшный гул. Всюду искаженные злобой, окровав-

---

[1] *Работающие дель* — пряжу и сети.

ленные, свирепые лица, рассеченные скулы, вспухшие губы, расшибленные руки и груди.

Во время самого разгара боя подошел к бойцам старый Моргун, якимовский тысячник. Шапкой махая, седыми кудрями потряхивая, кричит изо всей мочи он сыну любезному:

— Выручай, Гришутка!.. Выручай, залотой!.. Меси супротивников!

Услыхал отцовский приказ Григорий Моргун — и больше стало валиться миршѐнцев от тяжелых его ударов. Как стебли травяные ложатся под острой косой, так они направо и нàлево падают на мать сыру землю. Чуть не полстены улеглось под мощными кулаками Гришиными.

Тут на него, как жестокая буря, налетел Алеша Мокеев. Разом поднялись два страшных кулака, разом грянули — Гриша Моргун на сажень отлетел, но устоял на твердых ногах, а у красавца Алеши подломились колена, назад он подался. Не садовый мак, от дождя тяжелея, набок клонит головку, тяжело склоняется на траву-мураву Алешина буйнà голова. Пал навзничь, протянул руки к товарищам, но ни слова не вымолвил... Куда девалась твоя сила, Алеша?.. Где твои крепкие руки, где твои быстрые ноги? Пластом лежит красавец на зеленой траве, обливая ее горячею кровью.

Пал Алеша, и одолела сила якимовская. Ровно овечье стадо вогнала она миршѐнцев в село, и на улице еще долго колотила их.

Все остались живы, но все обессилели: кто без руки, кто без ноги, у кого лицо набок своротено. Ночь кроет побоище и разводит бойцов по домам.

* * *

Каждый год на зелён покос потешные бои у миршѐнцев с якимовскими бывали. А кроме того, зимой каждый праздник от Крещенья до крестова воскресенья [1] кулачные бои бывали, но прежней вражды между ними не бывало. Жили в миру да в добром ладу, как подобает добрым соседям. Роднились меж собой: с охотой миршѐнцы брали якимовских девок — добрые из них выходили работницы, не жаль было платить за них вывод-

---

[1] *Крестово воскресенье* — третье воскресенье великого поста.

но́е[1], но своих девок за якимовских парней не давали. Не то кручинило отцов и матерей, что их детище барской работой зава̀лят, того они опасались, не вздумал бы барин бабенку во двор взять. Еще пуще боялись, чтоб крестьян не продал на вывоз он, либо не выселил в дальние вотчины — не видать тогда дочки до гробовой доски, не знавать и ей ни рода, ни племени, изныть и покончить жизнь на чужой стороне.

Про былую тяжбу из-за пустошѐй миршѐнцы якимовским словом не поминали, хоть Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор глаза им по-прежнему мозолили. Никому на ум не вспадало, во сне даже не грезилось поднимать старые дрязги — твердо помнили миршѐнцы, сколько бед и напастей из-за тех пустошей отцами их принято, сколь долго они после разоренья по миру ходили да по чужим местам в наимитах рабо̀тали. Но вдруг ровно ветром одурь на них нанесло: заквасили новую дёжу[2] на старых дрождях.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Раз летом в стра̀дную пору, с котомкой за плечьми, с седой, щетинистой, давно не бритой бородой, с серебряным Егорьем и тремя медалями на шинели, проходил по Горам старый, но рослый и крепкий солдат. К Волге служивый путь свой держал, думал сплыть водой до Перми, а оттоль на своих на двоих в Сибирь шагать на родину. Отслужив двадцать пять лет богу и великому государю и получив «чистую»[3], пробирался он тысячи за четыре верст от полка своего. Никого из сродников не чаял встретить он на родине, а все-таки хотелось старому служаке хоть разок еще полюбоваться на родные поля, побродить перед смертью по родным лесам, на

[1] *Выводно̀е* — плата за позволение крепостным и удельным девкам и вдовам выходить замуж за стороннего. Обыкновенно брали рублей по 20 за девку и рублей по 10—15 за бездетную вдову. Во многих казенных селениях общества также брали выводное, но оно в мирские суммы не поступало, а обыкновенно пропивалось.

[2] *Дёжа* — кадка, в которой квасят и месят тесто на хлебы, то же, что квашня.

[3] Отставку.

церковном погосте поклониться могилкам родителей, а по времени и самому там лечь.

Поу́тру на самый Ильин день приходил он в Миршѐнь, день был воскресный, базарный — праздник, значит, тройной. Пришел служивый в село в самый благовест к обедне. Никуда не заходя, ни с кем ни слова не молвя, прямо в церковь он и стал у правого крылоса. Положив к сторонке котому́ и поставив в уголок походный посошок фунта в два весом, взошел он на крылос и стал подпевать дьячкам да поповичам, что на летнюю побывку пришли из семинарии. Заслушались солдата православные, даже сам поп выслал из алтаря дьякона узнать, что за знатный такой певчий у них в Миршѐни проявился. А церковный староста, мужик богатый и тороватый, нарочно подошел к служивому осведомиться: кто он, откуда и куда путь-дорогу держит. Служивый на все дал ответ, а на спрос, отчего петь столь горазд, сказал, что больше двадцати годов в полковых певчих находился, и тут же попросил позволенья «Апостол» прочитать. Сказали попу, тот благословил, как зачал солдат густым басом забирать громче да громче, так все диву дались, а церковный староста даже на корточки присел от сердечного умиленья. А когда солдат повел под конец: «Илия человек бе подобострастен нам», так в окнах стекла задрожали, а по церкви такой гул пошел, что бабы подумали, не сам ли Илья-пророк на туче едет. А на крылосе дьячок да пономарь так рассуждали с поповичами:

— Ну голосина! — молвил дьячок.

— В любой собор в протодьяконы! — подтвердил пономарь.

— Наш архиерейский Ефрем в подметки ему не годится — козел перед ним, просто смрадное козлище! — жиденьким голоском промолвил один из поповских сыновей.

— Э, дернуть бы ему «многая лета» али «жена да боится своего мужа» — вот бы потешил! — тряхнув головой, сказал пономарь, но не договорил — подошло время «аллилую» петь.

Церковный староста после обедни зазвал к себе служивого ильинской нови поесть, ильинской баранины покушать, ильинского сота отведать, на ильинской соломке — деревенской перинке — после обеда поспать-подре-

мать[1]. Служивый поблагодарил и хотел было взвалить котому́ на старые плечи, но староста того не допустил, сыну велел солдатское добро домой отнести.

Винца да пивца служивый у старосты выпил, щец с солониной похлебал, пирога поел с грибами да ильинской баранины, полакомился и медком. Пошли после того тары да бары, стал служивый про свое солдатское житье-бытье рассказывать.

— Тяжела служба-то ваша солдатская? — утирая рукавом слезы, умильно промолвила старостиха. У нее старший сын пять годов, как в солдаты пошел, и два года не было о нем ни слуху ни духу.

— Как кому,— отвечал служивый.— Хорошему человеку везде хорошо, а ежели дрянь, ну так тут уж известное дело...

— А все-таки тяжело, чать, и хорошему-то,— пригорюнясь, молвила старостиха.

— Ничего,— ответил служивый.— Вся наша солдатская наука в том состоит: стой — не шатайся, ходи — не спотыкайся, говори — не заикайся, колен не подгибай, брюха не выставляй, тянись да прямись, вбок не задавайся и в середке не мотайся. Вот и все. А насчет иного прочего, так уж не взыщи, матушка. Известно — расейский солдат промеж неба на земле мотается, так уж ему на роду писано. Три деньги тебе в день — куда хочешь, туда и день, сыт крупой, пьян водой, помирай как умеешь, только не на лавке под святыми, а в чистом поле, под ясным небом.

Зарыдала старостиха, вспомнивши старшенького. Представилось ей, что лежит он, сердечный, на̀ поле под небесами, а кровь из него так и бежит, так и бежит.

И, когда служивый улегся в клети на мягкой ильинской соломе, развязала она походную его котому́ и, сколько было в ней порожнего места, столько наложила

---

[1] Ильинская *новь* (нова, новина) — хлеб из первосжатых снопов. На востоке России, особенно в северо-восточных губерниях, к Ильину дню режут барана и часть его относят в церковь для освящения, как кулич и яйца на Пасху. Это — *моленый кус*. В Вятской губернии его зовут *жертвой*, большая часть этой жертвы поступает попам. По другим местам режут барана на Петров день. *Первый ильинский сот* — бывает на Илью-пророка, тогда ульи заламывают, бывает ранняя подрезка сотов. *Ильинска соломка* — деревенска перинка — свежая солома, оставшаяся от молотьбы снопов для ильинской нови.

ему на дорогу и хлеба, и пирогов, и баранины, что от обеда осталось, картошки в загнетке [1] напекла, туда же сунула, луку зеленого, стручков гороховых первого бранья, даже каленых орехов, хоть служивому и нечем было их грызть. Наполнив съестным котому́, добрая старушка набожно перекрестилась. Все одно, что тайную милостыню на окно бобылке положила [2].

Хозяин с гостем маленько соснули. Встали, умылись, со сна бражки напились, и позвал староста солдата на беседу возле кабака. Пошли.

Базар уж разъехался; десяти порожних возов не оставалось на засоренной всякой всячиной площади. Иные после доброго торгу кто в кабаке, кто в трактире сидел, распивая магарычи с покупателями, но больше народа на воле по селу толпилось. Жар свалил, вечерней прохладой начинало веять, и честна̀я беседа человек в сорок весело гуторила у дверей кабака. Больше всего миршѐнцев тут было, были кое-кто из якимовских, а также из других деревень. Сам волостной голова вышел на площадь с добрыми людьми покалякать. Не все же дела да дела — умные люди в старые годы говаривали: «Мешай дело с бездельем — с ума не сойдешь». Про голосистого солдата беседа велась. В церкви у обедни народу в тот день было не много: кого базарные дела богу помолиться не пустили, кто старинки держался — раскольничал, но все до единого знали, каков у прохожего «кавалера» голосок — рявкнет, успевай только уши заткнуть... Подошел и кавалер с церковным старостой, со всеми поздоровался, и все ему по поклону отдали. Присел на приступочке, снял фуражку, синим бумажным платком лицо отер.

---

[1] *Загнеток*, или *загнетка* — то же, что по иным местам *горнушка, печурка, бобурка, наро̀ток* — зауголок с ямкой налево от шестка русской печки, куда загребают жар и золу.

[2] *Тайная милостыня* очень распространена на Горах. Ночью подходят тихонько к избе бедняка и на подоконье кладут кусок хлеба либо что другое из съестного, потом, несколько раз перекрестившись, тихонько удаляются. Иные набожные старушки, кладя правою рукой тайную милостыню, левую руку прячут под передник либо в рукав шубы, чтоб она не видала, что правая рука делает. Есть секта (из хлыстовских), последователи которой тайную милостыню называют «ангелом женского пола». Случается, нередко, что положенная на подоконник милостыня делается добычей собак. Если подавший о том спроведает, непременно подаст новую. Прежняя, значит, богу не угодна была.

— Отколь, господин служба, бог несет?— ласково, приветливо спросил волостной голова.

— Из Польши идем, из самой Аршавы,— ответил служивый.

— А путь куда держишь? — продолжал расспрашивать голова.

— Покамест до Волги, до пристани, значит,— сказал кавалер.

— Ну, эта дорога недальняя,— молвил голова.— До пристани отсель и пятидесяти верст не будет. А сплыть-то куда желаешь? В Казань, что ли?

— Какая Казань? — усмехнулся служивый.— В Сибирь пробираемся, ваше степенство, на родину.

— Далекó ж брести тебе, кавалер,— с участьем, покачав головой, сказал голова.

— Отсель не видать! — добродушно усмехнулся служивый.

— Что же? Сродники там у тебя?

— А господь их знает. Шел на службу, были и сродники, а теперь кто их знает. Целый год гнали нас до полков, двадцать пять лет верой и правдой богу и великому государю служил, без малого три года отставка не выходила, теперь вот четвертый месяц по матушке России шагаю, а как дойду до родимой сторонушки, будет ровно тридцать годов, как я ушел из нее. Где, чать, найти сродников? Старые, поди, подобрàлись, примерли, которые новы народились — те не знают меня.

— Зачем же такую даль идешь? — спросил волостной голова.

— Эх, ваше степенство,— молвил с глубоким вздохом старый солдат.— Мила ведь сторона, где пупок резан, на кого ни доведись; с родной-то стороны и ворона павы красней... Стар уж я человек, а все-таки встосковались косточки по родимой землице, хочется им лечь на своем погосте возле родителей, хочется схорониться во гробу, что из нашей сосны долблен.

— Вестимо,— сказал голова.— Не то что человек, и конь рвется на свою сторону, и пес тоскует на чужбине.

— Ну, а в Польше-то каково житье? — спросил плешивый старик, что рядом с солдатом уселся.— Сынок у меня там в полках службу справляет. Тоже, чать, тоскует, сердечный, по родимой сторонушке.

— Что Польша! — махнув в сторону рукою, молвил

с усмешкой служивый.— Самая безначальная сторона!.. У них, в Польше, жена мужа больше — вот каковы там порядки.

— Значит, бабы мужьями владают! — с удивленьем вскликнул плешивый.— Дело!.. Да что ж мужья-то за дураки? Для че бабье не приберут к рукам?

— С бабьем в Польше сладу нет, никоим способом их там к рукам не приберешь,— отвечал кавалер.— Потому нельзя. Вот ведь у вас ли в Расеи, у нас ли в Си́бири баба мужика хоша и хитрее, да разумом не дошла до него, а у них, у эвтих поляков, бабы и хитрей и не в пример умнее мужа. Чего ни захотела, все на своем поставит.

— Ну, сторона! — о́ полы хлопнув руками, молвил плешивый.— Жены мужьями владают!.. Это ведь уж самое распоследнее дело!

И вся беседа подтвердила слова плешивого.

— И ты смотри, кавалер, нашим-то бабам про это не сказывай,— усмехаясь, молвил рослый старик с широкой белой бородою.— Ежель узнают, то́тчас подол в зубы — и драло в Польшу, некому тогда будет нам и рубахи стирать.

Захохотала во все горло беседа.

— А что, кавалер, тяжеленька служба-то ваша? — спросил голова.

— Как тебе сказать?.. Пошел на службу, потерпи и ну́жду, без того нельзя,— отвечал солдат.— А ежели держишь себя строго и нет за тобой никакого художества, не пропадешь и в солдатстве. Особливо ежели начальство доброе, солдата, значит, бережет... Вот у нас полковой был — отец родной,— двадцать лет с годами довелось мне у него под командой служить: ротным был, потом батальонным, после того и полковым — во все двадцать лет слова нехорошего я от него не слыхивал. И любили же его мы все... Перед самой моей отставкой помер он, сердечный... Весь полк, братцы, ровно бабы, воймя́ по нем выл... Да, таких командиров, как был наш господин Якимов, пожалуй, теперь во всей государевой армии не осталось... Дай ему бог царство небесное!

— Якимов, говоришь? А как его по имени да по батюшке звали? — спросил тот же плешивый, что про Польшу расспрашивал.

— Петром Александрычем,— отрывисто молвил и быстро махнул рукавом перед глазами, будто норовясь

муху согнать, а в самом-то деле, чтобы незаметно смахнуть с седых ресниц слезу, пробившуюся при воспоминанье о добром командире.— Добрый был человек и бравый такой,— продолжал старый служака.— На Кавказе мы с ним под самого Шамиля́ ходили!..

— Не наш ли это? — молвил плешивый.— И наш ведь тоже Петр Александрыч, и тоже полковник, тоже в Польше стоял, и на Кавказе воевал. Ему тогда и оброк туда высылали...

— Высокий такой, из себя чернявый, кудрявый,— сказал солдат.

— На вотчине он у нас николи не бывал, мы его отродя́сь не видывали, а что Петр Александрыч и что в Польше стоял и на Кавказе воевал — это верно. А полк-от, где служит, Московским прозывается. В тот полк теперь и оброк ему посылаем в польский город Аршаву.

— Он самый и есть,— сказал служивый.— И вот вспомнилось мне теперь, что сам я слыхал, как господин полковник, царство́ ему небесное, в разговорах с господами офицерами поминал, что у него есть вотчины где-то на Волге.

— Да вот отсель с поля на̀ поле,— молвил плешивый, протянув руку к якимовским деревням.— Так вот оно что! Значит, барин-от наш жизнь кончил. Что же — царство ему небесное — жили мы за ним, худа никогда не видали. Милостивый был господин. Лет десять тому недород был у нас, а на другой год хлеб-от градом выбило, а потом еще через год село выгорело, так он кажинный год половину оброка прощал, а пожар у кого случится, овин либо баня сгорит, завсегда велит леску на выстройку дать. Хороший барин, нечего сказать, добрая душа.

— Значит, и барин хороший и командир хороший,— заметил служивый.— Кому ж теперь-то вы достанетесь? — спросил он немного погодя у плешивого.

— Нешто деток не осталось? — спросил плешивый.

— Ни единого,— отвечал солдат.— Барыня у него года три померла, и не слышно, чтоб у него какие сродники были. Разве что дальние, седьма вода на киселе. Барыниных сродников много. Так те поляки, полковник-от полячку за себя брал, и веры не нашей была. А ничего — добрая тоже душа, и жили между собой со-

гласно... Как убивался тогда полковник, как хоронил ее,— беда!

— Кому ж мы теперича достанемся? — сказал в раздумье плешивый.

— Найдутся наследники,— молвил волостной голова,— не сума с котомой, не перья после бабушки Лукерьи, не от матушки отопочки, не от батюшки ошметочки, целая вотчина осталась. Молитесь богу, достались бы такому же доброму.

— Навряд такой отыщется,— угрюмо крутя седой ус, промолвил служивый.— Таких господ, как полковник Якимов, не вчасту́ю бывает.

— А ежель сродников не отыщется, тогда мы кому?..— сказал плешивый.— Вы́морок-от [1] на мир ведь идет. Стало быть, и у нас все угодья миру достанутся?

— Вы́морок идет на мир только у крестьян,— сказал волостной голова.— Дворянским родам другой закон писан. После господ вы́морок на великого государя идет. Царь барскому роду жаловал вотчину, а когда жалованный род весь вымрет, тогда вотчина царю назад идет. Такой закон.

— Значит, будем государевыми, казенными то есть, как вы, миршѐнские,— молвил плешивый.

— Там уж как присудят,— решил голова.— Ваше дело теперь не шумаркать, а тихо да смирно выжидать, какая вам линия выпадет. Вот что!..

— А все же таки со знающими людьми не мешает покалякать,— сказал плешивый.

— Отчего же со знающими людьми и не покалякать? — молвил голова.— Это можно. Только вот вам совет мой: оброков не задерживайте, управляющего слушайтесь, а зачнете возиться да гомозиться — до беды недалеко.

— Это так, это как есть самое настоящее дело,— мотнув головой, поддакнул служивый.

Опять тары да бары. Четвертуху на крылечко кабака вынесли, роспили, за другой послали. Стало еще веселее, еще говорливей. Кавалер рассказывал про разные места, где ему бывать довелось, да все с прибаутками, и всю беседу морил он со смеху. Говорил про хитрого немчина, что на русском хлебе жирно отъедается, а сам без

---

[1] *Выморок* — выморочное имение.

штуки и с лавки не свалится — ноги тонки, глаза быстры, а хвостиком шлеп-шлеп, шлеп... Рассказывал про литвина колдуна, про шведа, нерублену головушку, про Финляндию, чертову сторонушку [1], что вся каменьем поросла, про крымского грека, малосольного человека, что правду только раз в году говорит да сейчас же каяться к попу бежит в великом своем согрешении. Рассказывал служивый и про то, как первого татарина свинья родила, отчего татары свинины не едят, родной бабушкой боятся оскоромиться. А первого черемиса, уверял кавалер, лешего жена родила, оттого черемисы и живут в лесу. И про русских немало болтал балагур, да все чинно таково и степенно, глазом не моргнет, бровью не шевельнет, ни на самую крошечку не улы́бнется. Говорил он, рассказывал, ровно маслом размазывал, как стояли они в Полтаве, в городе хохлацком, стоит город на горе, ровно пава, а весь в грязи, ровно жаба, а хохлы в том городу́ народ христианский, в одного с нами бога веруют, а все-таки не баба их поро́дила, а индюшка высидела — из каждого яйца по семи хохлов. Оттого и глуп хохол, а все-таки пальца ему в рот не клади, вороны глупей, зато черта хитрей, поверить ему можно только с опаской: соврать не соврет, да и правды не скажет, а сам упрям, как бык али черт карамышевский. Рассказывал служба про глупую Вязьму, что в пряниках увязла, про бестолковый Дорогобуж, про смольян-польскую кость, что на наших годах собачьим мясом обросла. Говорил про елатомцев-бабешников, про морщанцев-сомятников, что заодно с кадомцами-целовальниками сома в печи ловили. Рассказывал бывалый солдатушка про мордву толстопятую тамбовскую, про темниковцев-совятников, что в озере сову крестили, гайтан с крестом на нее надели, крещёна сова полетела, на церковный крест села, да там на гайтане и удавилась, а темниковцы за то воеводе поплатились, со двора по двадцати алтын за давлену сову царев слуга сорвал. Рассказывал кавалер и про ливенцев, что губернатора с саламатой [2] встречали, повезли ему навстречу с каждого двора по корчаге да мост и

---

[1] Солдаты Финляндию зовут «чертовой сторонушкой» за ее каменья. По их поверью, теми каменьями черти играли, но когда преподобные Варлаам и Герман принесли на остров Валаам честной крест, черти перепугались, в воду побросались; а камни, как они играли, так и остались.

[2] *Саламата* — жидкий пресный кисель из какой угодно муки.

обломили. Говорил солдат и про знатный град Севск, как там поросенка на насест сажали, а сами приговаривали: «Цапайся, цапайся, поросеночек,— курочка о двух лапках, да и та держится, а у тебя четыре» [1].

Распотешил служивый россказнями своими и прибаутками весь мир-народ миршѐнский, весь мир-народ якимовский и мир иных сел и деревень. Напоили миры кавалера как следует, и сами нарезались ради хорошего случая. Церковный староста и ужином служивого угостил, позвал на ужин и голову с плешивым мужиком и еще кой-кого из приятелей. Пришли незваные, непрошеные поп с дьячком, дьякон с пономарем да ватага поповичей послушать высокогласного воина, коему сам Ефрем протодьякон в подметки не годится. И по усиленной их просьбе прохожий кавалер многолетие выкликивал, «Кто бог велий» выпевал и так проревел «Разумейте, языцы, и покоряйтеся», что перебудил всех соседей, а ребятишек до того исполошил, что с иными родимец приключился. Наутре честно проводили служивого. Тем же шагом, каким под турку, под венгерца и на горцев хаживал, зашагал он, направляя путь к пристани, чтобы плыть до Перми, а отголь опять шагать да шагать до сибирской дальней родины...

* * *

С той поры по всем якимовским деревням пошли суды да пересуды, кому доставаться им после безнаследного барина. Поскорости исправник бумагу им вычитал, что ихний помещик в самом деле покончил жизнь и над вотчиной, пока не объявятся наследники, опека назначена. Года два прошло после этого, наследников нет как нет, пришла, наконец, бумага, делить якимовскую вотчину на пятнадцать долей. Именье пошло вразброд, и то якимовским мужикам пришлось не по нраву. А всетаки все у них шло тихо, смирно, спокойно, за то в Миршѐни сыр-бор загорелся.

Мирно, полюбовно разделила стая наследников якимовское имение, бывшее в разных губерниях. Одному из них, какому-то и телом и умом жиденькому баричу, ни слова по-русски не знавшему, тщедушный свой век

---

[1] Чуть не каждому городу и многим селам и деревням исстари даны подобные затейные прозванья. Их гораздо больше тысячи. Некоторые вошли в далевское «Собрание пословиц».

где-то на теплых водах в чужих краях изживавшему, доставались и Орехово поле, и Рязановы пожни, и Тимохин бор. Заморский выкидыш русской земли и взглянуть не захотел на свое наследство и прислал на̀ Горы поверенного сбыть его с рук поскорей. На лес охотники то́тчас же нашлись, купили на сруб, а на пашни да на луга покупщиков не являлось. А наследник меж тем поверенному то и дело отписывает: «Продавай да продавай, за что хочешь отдавай, только деньги скорей высылай».

Жалко было якимовским с угодьями расставаться, однако ж они не очень тем обижались, потому что новые помещики их всех до последнего с барщины на оброк перевели и отдали под пахоту господские поля, что подошли под самые деревни. Зато в Миршѐни ни с того ни с сего сумятица поднялась.

Из службы ли выгнанный, отставной ли какой приказный незадолго перед тем поселился в Миршени у своего сродника волостного писаря. За̀ хлеб, за̀ соль, за тепло да за свет обещался он ему бумаги переписывать. А на пропой добывал деньги писаньем мужикам просьб по судам да писем к сродникам, бывшим в солдатах либо на работах в Астрахани. Этот самый приказный в надежде на поживу и стал вбивать миршѐнцам в голову, что Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор теперь по закону им должны поступить. «Жалованы были,— говорил он,— те пустоши господину Якимову в потомственное владение, а те господа, что теперь поделили его именье, ему не потомки; оттого пустоша̀ми им владеть и не следует, а следует владеть тому, кто, до пожалованья Якимова, хозяином над ними был, значит вашему миршѐнскому обществу».

Слушали миршѐнцы речи приказного, и показались они им верными, безотменными. Что якимовским пустошам по закону надо к ним отойти, стало для них делом видимым, ясным, как в синем небе солнышко красное. И по домам, и в кабаке, и на базаре только и толков пошло, что о пустошах. Стали сходки сбирать и на них о том же судить да рядить... Сколько волостной голова мужиков ни разговаривал, порешили-таки миршѐнцы просить начальство о возвращенье им выморочных пу́стошей. Выбрали ходоков, послали к окружному. Окружной обозвал их дураками и назад погнал. Воротились

ходоки в Миршѐнь — сейчас же сходку давай, а приказный тут уж похаживает да сам себе ухмыляется. «Судиться не богу молиться,— говорит он миршѐнским мужикам,— одними поклонами дела такого не сделаешь. Зачем с пустыми руками к окружному ходили? Руки-то у него не в кандалы ведь скованы. На что-нибудь они к плечам да подвешены... И того-то вы, люди разумные, в толк не сумели взять!» Так говорил подьячий, и советов его миршѐнский мир послушался... Почесали седые затылки старики, покряхтели, поохали, а денежки на мирское дело собрали и понесли окружному. Тот ходоков и мир не обидел, приноса не отверг, но все-таки под конец беседы молвил им: «Пустое дело, старики, затеваете — не видать вам якимовской земли, как ушей своих». Старики его слову не вняли, других ходоков в Петербург послали там хлопотать и, ежели случай доведется, дойти до самого царя.

Не раз и не два мирше́нских ходоков из Петербурга по этапу назад выпроваживали, но миршѐнцы больше всякого начальства верили подьячему да его сроднику волостному писарю, каждый раз новые деньги сбирали и новых ходоков в Петербург снаряжали. Кончилось тем, что миршѐнское общество обязали подписками об якимовских пустошах ни в каких судах не хлопотать, а подьячего с писарем за писанье кляузных просьб услать в дальние города на житье. Тут миршенцы успокоились.

Пока они хлопотали, Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор не продавались. Дальним было не с руки покупать, а ближние боялись потрав, захватов, разбоев на сенокосе да поджогов убранного хлеба. Когда же в Мирше́ни все успокоилось, дошли вести, что Орехово поле, Рязановы пожни и земли из-под Тимохина бора куплены помещицей не очень дальней деревни Родяковой, Марьей Ивановной Алымовой. И те вести объявились верными: месяца через полтора ее ввели во владение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

За Ореховым полем, возле Тимохина бора, между двух невысоких, но как стены стоймя стоящих крутых угоров, и вширь и вдаль раскинулась привольно долина Фатьянка. Будто шелковый зеленый ковер, расстилается

по ней сочная, мягкая мурава, испещренная несметным множеством цветов, сплошь покрывает ее. Извиваясь серебристой змейкой середь зеленеющей Фатьянки, бежит быстрый ручей. Вытекает он из родника, бьющего с необычной силой из-под каменного угора. Под тем родником вкопан в землю огромный дубовый чан, бог знает когда и кем сделанный. Переливаясь через край чана, вода светлым потоком течет по долине и выливается в речку под самой Миршèнью. Чуднàя вода в том чану: летом в жары так студена, что рука не терпит холода, а в трескучие морозы от нее, ровно из бани, пар столбом. Возле родника стоит деревянная ветхая часовенка, на ней старинный образ живоносного источника, а в заднем углу огромный дикарь[1], песок из-под него вырыт чуть не наполовину. Это могила преподобного Фотина, жившего в давние времена в долине, по имени его названной Фотиновой. Со временем название переделали и стали называть долину попросту Фатьянкой. В летнюю пору, особенно по воскресеньям, сходятся туда богомольцы. Помолясь перед иконой живоносного источника, умываются они водой из чана и пьют ее ради исцеления от недугов, а потом берут песочку с могилы преподобного.

Теперь родник «Святым ключом» зовется, а прежде звали его «Поганым». Вот что старые люди про него рассказывают. Записи даже такие есть.

Когда жившие на Горах люди еще не знали истинного бога, у того родника под высоким кряковистым[2] дубом своим богам они поклонялись. В урочные дни собирались они и справляли тут богомерзкую службу. И тогда в дубовых ветвях слышались бесовские гласы и кличи, и в очию всех являлись диавольские мечты и коби, а в долине и по всем угорам раздавались срамный шум, бесчинный толк, и рев, и зык, и львиное рыканье, и шип змииный. То бесы творили свои пакости на смущенье людей и на их погубление — возлюбили они, окаянные враги божии, то место и на нем воцарились. И ежели который человек, ведением или неведением, волей или неволею, хотя перстом единым прикасался к кряковисто-

[1] Гранитный валун, крепкий известняк или песчаник, годный на бут и на постройки, зовется *дикарем*.

[2] *Кряковистый дуб* — кряжевистый, толстый, крепкий, здоровый. Слово, нередко встречаемое в былинах.

му дубу или омывался водой из «Поганого ключа», тем же часом распалялся он на греховную страсть, и оттого много скверны творилось в долине и в рощах, ее окружавших. Если же кто вкушал от воды, на того нападал темен облак бесовских мечтаний: становился тот человек людей ненавистником, скорым на гнев, на свару и на пролитие крови. Таковы в старые годы бывали в Фатьянке бесовские позоры и дьявольские наважденья.

Когда свет Христова учения осиял живущих в стране той, неведомо отколь пришел свят муж, преподобный отец Фотин. Срубил он у Поганого ключа келью и стал пребывать в ней пустыножительно. Постом и молитвой отогнал он супротивную силу, и поганое место стало святым. Гласит предание, и в старинных записях так записано: когда отец Фотин впервéе пришел в бесовскую долину и, приступя к Поганому ключу ради утоления жажды, осенил его крестным знамением, возгремело в высоте слово божие, пала нà землю из ясного неба палючая молонья и в мелкие куски расщепала кряковистый дуб. Поганый ключ в один миг иссяк, и возле него из-под камня хлынул иной поток — цельбоносный. И назвали его «Святым ключом». С того дня просвещенные евангельским светом люди едиными усты и единым сердцем о преподобном Фотине исповедовали: «воистину божий человек сей!..»

Преподобный Фотин жил снàчала один на Святом ключе. Дивясь знамениям, бывшим при его пришествии, никто из окольных не смел приближаться к нему. Великим и чудным казался им преподобный — а он, проходя подвиг безмолвия, тщательно людей избегал. С кем, бывало, ни встретится, падет ниц и лежит на земле, пока от него удалятся. Многие годы прошли в таком от людей отчужденье, потом, умолен будучи слезными мольбами народа, да укажет ему прямой путь к правой жизни и к вечному спасенью, паче же памятуя словеса Христовы: «Грядущего ко мне не иждену», стал отец Фотин нà дух принимать приходивших. Низенький, сгорбленный, венцом седин украшенный старец, в белом, как снег, балахончике [1], в старенькой епитрахили, с коротень-

[1] *Балахон* — летняя крестьянская холщовая одежда, халатного покроя, без боров назади. Солдатскую летнюю холщовую одежду назвали по-немецки кителем, но народ знать не хочет немечины и зовет китель по-своему — *балахоном*.

кой ветхой манатейкой на плѐчах, с холщовой лестовкой в руках, день и ночь допускал он к себе приходящих, каждому давал добрые советы, утешал, исповедовал, приобщал запасными дарами и поил водой из Святого ключа... Как море-океан от концов до концов земли разливается, так слава об отце Фотине разнеслась по близким местам и по дальним странам. По малом времени в его долине поселились искавшие спасения благочестивые люди — и возникла невеликая обитель иноков. Не желая пребывать на многолюдстве, скрылся преподобный неизвестно куда, но сряду пятнадцать годов приходил к ученикам своим на Пасху и дни живота скончал между ними в светозарную ночь воскресения. По завету преподобного, братия предала его тело земле возле Святого ключа и над могилой поставила часовенку.

По кончине Фотина насельники долины, один по другому, по разным местам разбрелись, но святое место пока не оставалось пусто. По челобитью властей Троице-Сергиева монастыря, Фотинова пустынь была приписана к их обители, а по времени окрестные села, деревни, леса, пожни, рыбные ловли, бобровые гоны были даны из дворцовых волостей тому же монастырю на помин души царя Михаила Федоровича. Опричь того, разных чинов люди, владевшие землями и селами вокруг Фатьянки, отдавали их в дом Живоначальные троицы на помин родительских душ. Так достались богатейшему в России монастырю и Орехово поле, и Рязановы пожни, и Тимохин бор, и самое село Миршѐнь с деревнями. Монастырские власти о селах и угодьях радели больше, чем о Фотиновой пустыни, и с той поры, как в Миршѐни завелись Васианы, Варлаамы да Нифонты, от обители преподобного только и остались ветхая часовенка с гробницей да чан с цельбоносной водой.

Спустя много лет жители окольных селений стали замечать в Фатьянке чудные какие-то сходбища. Летней порой по темным ночам тайком собирались туда человек по двадцати мужчин и женщин. Там они совершали какие-то странные действа. Ребятишки, водившие коней на ночную пастьбу, говорили, что видали они, как эти люди в длинных белых рубахах пляшут вокруг Святого ключа, прыгают, кру́жатся, скачут и водят хороводы, только необычные. И про то ребятишки рассказывали, что слыхали они, как ночью в Фатьянке песни поют,—

слов разобрать нельзя, а слышится голос песен мирских. По времени стали замечать, что в келейных рядах да в задних избах по иным деревням у старых девок в зимние ночи люди сбираются будто на супрядки, крепко изнутри запираются, плотно закрывают окна ставнями и ставят на дворе караульных, а потом что-то делают втайне... Слыхали, как они песни поют, слыхали какие-то дикие клики и топот ножной. И много чудились тому, и не знали, что думать о тех людях... То колдовством их дело почитали, то думали, что они справляют мерзкую службу бесам... А попы тех людей за приверженность к церкви весьма похваляли! Каждый из них всякий день бывал у обедни, у вечерни, у заутрени, каждый раза по четыре в году приобщался. Все до единого были они строгие постники, никто мяса не ел, никто хмельного в рот не брал, на свадьбы, на крестины, даже на похороны никто ни к кому не хаживал, ни с кем не ссорился, и каждому во всем старался угодить... Юродивые бог знает отколь к ним приходили, нередко из самой Москвы какой-то чудной человек приезжал — немой ли он был, наложил ли подвиг молчания на себя, только от него никто слова не слыхивал — из чужих с кем ни встретится, только в землю кланяется да мычит себе, а в келейных рядах чтут его за великого человека... Не то пятнадцать, не то двадцать годов так велось в Миршèни и в окольных селеньях. Вдруг наехали из Петербурга, накрыли тайное сходбище и всех бывших на нем увезли. Никто не воротился... Тут пошли по народу слухи, что люди те от истинного Христа отреклись и к иному христу прилепились; но что это за новый христос, никто не знал и не ведал. А веру ихнюю с чего-то стали звать «фармазонскою»... Брали из Миршèни в Петербург фармазонов давно, еще когда царица Екатерина русскую землю держала, оттого память о них почти совсем перевелась. Изредка лишь старики говорили, что про тех фармазонов они от отцов своих слыхали, но молодые мало веры словам их давали.

* * *

Вскоре после того, как Марью Ивановну ввели во владение пустошами, сама она приехала на новые свои земли. У миршéнского крестьянина, что жил других по-

зажиточней, весь дом наняла она. Отдохнувши после приезда, вздумала она объехать межи своего владенья. Волостной голова, двое миршѐнских стариков и поверенный вместе с нею поехали.

На вершине горы, что высится над Фатьянкой, Марья Ивановна вышла из коляски и с радостным видом посмотрела на испещренную цветами долину.

— Какое славное место! — сказала она.— Мое ведь оно?

— Ваше, сударыня, в вашем теперь владении,— отвечал голова.— Вся Фатьянка ваша, и Святой ключ тоже в вашей земле.

— Святой ключ? — переспросила Марья Ивановна.

— Святой, матушка,— сказал волостной голова.— По вере подает исцеления во всяких болезнях и недугах. Вон он, батюшка, в самом-то заду долины, где угоры-то сходятся. Видите часовенку? Возле самого Святого ключа она поставлена. Тут и гробница преподобного Фотина.

— Отца Фотина? — спросила Марья Ивановна.

И голова рассказал ей, что у них говорят про отца Фотина и про Святой ключ. О фармазонах не помянул, не зная, правду ль о них говорят, или вздор один болтают.

Марья Ивановна поехала на Святой ключ и усердно молилась на могиле Фотина. Помолившись, сказала поверенному:

— Мне очень нравится это место. Маленькую усадебку я тут построю — домик на случай приездов,— сказала Марья Ивановна.

— Летом тут ничего,— заметил голова,— а зимой совсем вас снегом занесет. Меж угоров такие сугробы бывают, что страсть.

— Ничего. И в сугробах люди живут,— улыбаясь, молвила Марья Ивановна,— я же ведь летом стану сюда приезжать.

С неделю прожила Марья Ивановна в Миршѐни, распоряжаясь заготовкой леса и другого для постройки усадьбы. Уехала она, обещаясь поскорости прислать управляющего для найма плотников и надзора за стройкой. Каждый день угощала она новых соседей, поила миршенцев чаем с кренделями, потчевала их медом, пирогами с кашей, щедро оделяла детей лакомствами, а баб

и девок дарила платками да ситцем на сарафаны; но вином никого не попотчевала. Иные, кто посмелее, и напрашивались было у нее на чарочку, но щедрая барышня им наотрез отказала, сердилась даже. Дивились тому, а пуще всего тому подивились, какая она постница, не то что хмельного, мясного в рот не берет.

Закипели работы в Фатьянке, и месяца через два саженях в двадцати от Святого ключа был выстроен поместительный дом. Много в нем было устроено темных переходов, тайников, двойных стен и полов, жилых покоев в подвалах с печами, но без окон. И дом и надворные строенья были обнесены частоколом с заостренными верхушками, воро́та были только одни прямо перед домом, а возле частокола внутри двора насажено было множество дерев и кустарников. Неподалеку от усадьбы с полдюжины крестьянских изб срубили.

Когда стройка была кончена, приехала Марья Ивановна на новоселье. С нею было человек двадцать прислуги, поселившейся внутри двора, обнесенного частоколом. Семь крестьянских семей, переведенных из симбирского поместья, заняли избы. Как только разместились все, тяжелые, железом окованные ворота усадьбы были заперты на три замка. Кто бы ни пришел, кто бы ни приехал, долго ему приходилось звонить в подвешенный у ворот колокол, пока выйдет, наконец, из караулки привратник и после долгих опросов не впустит пришедшего.

Поселок был назван Фатьянкой. Так его и в губернских списках записали.

* * *

Прове́дя в Фатьянке три недели, Марья Ивановна поехала в Рязанскую губернию, к двоюродным братьям Луповицким. Верстах в сорока от Миршéни свернула она с прямой дороги и заехала к Марку Данилычу Смолокурову.

Рад был такой чести Марко Данилыч; не веря глазам, бегом он выбежал и́з дома встречать знатную, почетную гостью и слов придумать не мог, как благодарить ее. Только что вошла в комнаты Марья Ивановна, вбежала радостная Дуня и со слезами кинулась в объятья нежданной гостьи.

Подивились ее приезду и Марко Данилыч и Дарья Сергевна. Еще больше подивились они Дуниной радости. Почти целый год, с самого приезда от Макарья, никто не видал улыбки на ее миловидном, но сильно побледневшем лице. Мало кто слыхал и речей. Всегда сумрачная, угрюмая, задумчивая, редко выходила она из своей спальни, разве только к обеду да к чаю; день-деньской сидела она над книгами. Похудел даже Марко Данилыч, глядя на дочь; ни журьба, ни ласки отцовские ее не трогали. Что бы ни говорили ей, она только молчала, вздыхала, а потом долго и неутешно плакала. Иной раз хоть и говорила с отцом, но ее речи были какие-то чудные, совсем ему непонятные. С сердечной болью стал Марко Данилыч придумывать, уж не тронулась ли в разуме дочка его ненаглядная. «Говорят же,— рассуждал он сам с собой,— говорят же, что люди Библии зачитываются и сходят от того с ума, может, и от других книг бывает не легче». Но сколько он ни советовал Дуне поменьше читать, его уговорам она не внимала... И другое иногда приходило на разум Марку Данилычу: «Девка на возрасте, кровь играет, замуж бы ее поскорей...» И приезжали женихи, все люди хорошие, богатые, а из себя красавцы — двое из Москвы, один из Ярославля, один из Мурома... Ни с кем ни слова Дуня, а когда отец стал намекать ей, что вот, дескать, жених бы тебе, она напомнила ему про колечко и про те слова, что сказал он ей, даря его: «Венцом неволить тебя не стану, отдай кольцо волей тому, кто полюбится...» Ни слова в ответ не сказал ей Марко Данилыч... Дарья Сергевна была иных мыслей: она думала, что Дуню испортили лихие люди, либо пó ветру тоску на нее напустили, либо след у ней вынули... Но ни шепот причитаний над сонной Дуней, ни заговоры, ни умыванья с уголька, ни спрыскиванья наговоренной водой — ничто не помогало. Дуня видимо стала удаляться от доброй Дарьи Сергевны, хоть назвáнная тетенька по-прежнему души в ней не чаяла... Вспомнил Марко Данилыч про Аграфену Петровну, писал ей слезные письма, приехала бы к Дуне хоть на самое короткое время. Приехала Аграфена Петровна, и Дуня сначала ей обрадовалась, разговорилась было, даже повеселела, но на другой же день опять за книги села, и «сердечный ее друг» не мог слова от нее добиться. С неделю прогостила Аграфена Петровна у Смолокуровых

и поехала домой с тяжелой мыслью, что Дуня стала ей совсем чужим человеком.

Не то случилось, когда нежданно-негаданно явилась Марья Ивановна. Ни на шаг Дуня не отходит от нее, не может наслушаться речей ее и до того вдруг повеселела, что даже стала шутить с отцом и смеяться с Дарьей Сергевной.

— Как обрадовали вы нас посещеньем своим, Марья Ивановна,— сидя за чайным столом, с доброй веселой улыбкой говорил Марко Данилыч.— А Дуня-то, моя Дуняшка-то, поглядите-ка, ровно из мертвых воскресла... А то ведь совсем было извелась. Посмотрите на нее, матушка, такая ли в прошлом году была, у Макарья тогда?

— Что ж это с тобой, душенька? — пристально посмотрев на Дуню, спросила Марья Ивановна.— Нездоровится, что ли?

— Нет, у меня ничего не болит,— несколько потупясь, ответила Дуня.

— Грустит все, о чем-то тоскует, слова от нее не добьешься,— молвил Марко Данилыч.— Сама йз дому ни шагу и совсем запустила себя. Мало ли каких у нее напасено нарядов — и поглядеть на них не хочет... И рукоделья покинула, а прежде какая была рукодельница!.. Только одни книжки читает, только над ними сидит.

— Какие же ты книжки читаешь, милая моя девочка?..— пытливо глядя на Дуню, спросила Марья Ивановна.

— «Правила жизни» госпожи Гион,— робко взглянув на Марью Ивановну, тихо промолвила Дуня.

— Хорошая книга, полезная,— сказала Марья Ивановна, обращаясь к Смолокурову.

— Хоша она и хорошая, хоша и полезна, а все же не след над ней почти целый год сидеть,— слегка нахмурившись, молвил Марко Данилыч.

Не ответила ему Марья Ивановна. И, чтобы переменить разговор, сказала:

— А ведь я, Марко Данилыч, сделалась вашей близкой соседкой. Неподалеку отсюда маленькое именьице купила.

— Слышал, матушка, слышал и много тому порадовался,— молвил Марко Данилыч.— Думаю: теперь почаще будем видаться с нашей барышней... Когда сам к

ней с Дуняшкой съезжу, а когда и она, может быть, к нам пожалует...

— Ну, вот видите, а я уж и пожаловала,— улыбаясь, сказала Марья Ивановна.— Прямо из Фатьянки... Еду в Рязань к братьям Луповицким, а вы от прямой-то дороги всего верстах в двенадцати.

— И того не будет, матушка, десятка не наберется,— заметил Марко Данилыч.

— Как же было не заехать-то? — сказала Марья Ивановна.— Я так люблю вашу Дунюшку, что никак не могла утерпеть, чтобы с ней не повидаться... А погостивши у братьев, может быть, и совсем в Фатьянку на житье перееду. Я там и домик уж себе построила и душ двадцать пять крестьян туда перевела.

— Наслышаны, матушка, и об этом наслышаны,— молвил Марко Данилыч.— У Святого ключа, слышь, построились?

— Возле самого Святого ключа,— сказала Марья Ивановна.— Очень понравилось мне тамошнее место, тихое такое, уединенное.

— Местечко хорошее,— подтвердил Смолокуров.— Доводилось мне раза два там побывать. Только не знаю, каково будет там весной во время водополи. Место-то низенько, всю долину сплошь водой заливает.

— Я ведь немножко повыше построилась, а впрочем, ежели б и стала вода одолевать — канав нарою, спущу ее,— ответила Марья Ивановна.

— В большую копейку это вам въедет,— сказал Марко Данилыч.— Канавы-то надо ведь на две версты вести, коли еще не больше, а они каждую весну будут илеть, каждое лето надо будет их расчищать. Дороговько обойдется.

— Деньги, Марко Данилыч, дело наживное,— с улыбкой молвила Марья Ивановна.— Не жалеть, ежели они на пользу идут.

— Оно конечно,— сказал Смолокуров.— А все-таки, по-моему рассужденью, не в пример бы лучше было на угоре построиться.

— Место-то очень уж мне понравилось,— не совсем охотно проговорила Марья Ивановна.

— Место точно что красота, на редкость, можно даже сказать,— молвил Марко Данилыч.— Да расходов-то лишних много с тем местом будет.

Не ответила Марья Ивановна.

Напившись чаю, пошла она в отведенную ей комнату. Дуня за ней. Заперла она дверь на крючок и стремительно бросилась к гостье.

— Родная, святая душа!.. Как благодарить? Как рассказать, что теперь у меня на душе?.. Свет увидала я...— Так в порывистых рыданьях говорила восторженная Дуня.

— Встань, дитя мое, встань, возлюбленная моя горлица! — тихо, с какой-то важностью в голосе, с какой-то торжественностью сказала Марья Ивановна.— Сядем поговорим.

Сели на диван. Обняв шею Дуни и с нежностью гладя ее по волосам, Марья Ивановна молвила ей полушепотом:

— Так ты уж и «Правила жизни» читаешь? Это хорошо... Все ли, однако, ты понимаешь?..

— Кажется, немножко понимаю, а, впрочем, там много такого, что мне не по уму,— с простодушной, детской откровенностью и милой простотой отвечала Дуня, восторженно глядя на Марью Ивановну и горячо целуя ее руку.— И в других книжках тоже не всякое слово могу понимать... Неученая ведь я!.. А уж как рада я вам, Марья Ивановна!.. Вы ученая, умная — теперь вы мне все растолкуете.

— Какие еще ты книги читала, голубок ты мой беленький? — с нежной лаской спросила Марья Ивановна.

Дуня назвала несколько мистических книг.

— Откуда тебе бог послал таких хороших книг? — с легким удивленьем спросила Марья Ивановна.

— Тятенька на ярманке в прошлом году купил,— ответила Дуня.

— Эти книги теперь очень редки,— заметила Марья Ивановна.— Иные можно купить разве на вес золота, а пожалуй, и дороже. А иных и совсем нельзя отыскать. Сам бог их послал тебе... Вижу перст божий... Святый дух своею благостью, видимо, ведет тебя на путь истинного знания, к дверям истинной веры... Блюди же светильник, как мудрая дева, не угашай его в ожидании небесного жениха.

Замолчала Марья Ивановна... Дуня тоже ни словечка...

— Полон короб старых книг купил мне тогда тятенька,— после недолгого молчанья сказала Дуня.— Много было комедий и романов; те я сожгла.

— Покажи-ка мне свои книги,— сказала Марья Ивановна.

Целый ворох принесла Дуня. Марья Ивановна, севши к столу, стала пересматривать.

— Хорошие книги, хорошие,— говорила она, внимательно перебирая одну за другой.— Какие же ты из них прочитала?

— Все,— ответила Дуня,— все до одной.

— И все поняла? — спросила Марья Ивановна.

— Нет, не все,— немножко смутясь, ответила Дуня.— По вашим словам, я каждую книгу по многу раз перечитывала и до тех пор читала одну и ту же, пока не казалось мне, что я немножко начинаю понимать. А все-таки не знаю, правильно ли понимаю. Опять же в иных книжках есть иностранные слова, а я ведь неученая, не знаю, что они значат.

— Эти книги нельзя читать как попало. Надо знать, какую после какой читать,— сказала Марья Ивановна.— Иначе все в голове может перепутаться. Ну, да я тебе растолкую, чего не понимаешь... Нарочно для того подольше у вас погощу.

— Голубушка!.. Марья Ивановна!..— радостно вскликнула Дуня.— Погостите подольше!.. Вы мне свет и радость! При вас я ровно из забытья вышла, ровно из мертвых встала... А без вас и день в тоске и ночь в тоске — не глядела бы на вольный свет...

С восторгом и радостными слезами, сама себя не помня, горячо целовала Дуня руки у Марьи Ивановны.

* * *

Вечером того же дня Марко Данилыч при Дуне и при Дарье Сергевне говорил своей гостье:

— Осчастливили вы нас, матушка Марья Ивановна, своим драгоценным посещением. И подумать вы, сударыня, не можете, какую радость нам доставили!.. Такой праздник сделали, что и сказать не умею... Дунюшка-то моя, Дунюшка-то!.. Посмотрите-ка вы на нее, на мою голубушку!.. Ведь совсем другая стала при вас... Прежде от нее и голосу было не слыхать; и сама-то она

ровно ничего не слышала, ровно ничего не видела, что вкруг нее делается... А вы точно осияли ее: и тоску ее и печаль как рукой сняли. Очень уж она полюбила вас... Как хотите, Марья Ивановна, гневайтесь, не гневайтесь, а уж я буду униженно и слезно просить вас, в ножки стану кланяться и не встану, покамест не получу вашего согласия. Погостите у нас подольше, порадуйте Дунюшку, авось при вас совсем спадет с нее тоска незнаемая... И бог знает, с чего она напала на нее.

— Рада у вас погостить, Марко Данилыч, благодарна за доброе приглашение,— сказала Марья Ивановна.— Братья не воротились еще из воронежских деревень, очень-то торопиться пока мне еще нечего. Недельки две могу погостить.

— Ах, Марья Ивановна!.. Зачем же так мало? — вскликнула Дуня, сердечно ласкаясь к ней.— Много ли это две недели? Вы бы месяца три погостили, а то и побольше...

— Нельзя, мой друг,— улыбаясь и целуя Дуню, сказала Марья Ивановна.— Ведь у меня тоже дела, хозяйство... Особенно теперь, как Фатьянку купила. Везде нужен свой глаз. Кому ни поручи, все не так выйдет. Так ли, Марко Данилыч?

— Истинная правда, сударыня,— отозвался он.— Хозяйский глаз дороже всего... Чужой человек железным обручем свяжет, и то лопается, а хозяин-от и лычком подвяжет, так впрок пойдет.

Печально посмотрела Дуня на Марью Ивановну. Отцовский глаз уловил ее взгляд. Он сказал:

— А ведь у вас на новоселье-то, поди, не все еще в полном порядке?

— Какой еще порядок! — отвечала Марья Ивановна.— В полный порядок разве через год приведу. Еще много хлопот впереди...

— Еще, поди, и горницы-то не прибраны как надо,— продолжал расспросы Марко Данилыч.— Не спокойно, думаю, вам?

— Конечно, еще не все устроено,— сказала Марья Ивановна.— Какой еще покой? И печи не все сложены, и двери не все навешены, надо оштукатурить, обоями оклеить, полы выкрасить, мебель перевезти из Талызина. Много еще, много хлопот. Ну, да бог милостив. По-

легоньку да потихоньку, с божьей помощью, как-нибудь устроюсь по времени.

— Так уж я стану просить вас, милостивая наша барышня, чтобы сделали вы нам великое одолжение и милость несказанную, и мне и Дунюшке,— говорил Смолокуров.

— О чем же это, Марко Данилыч? — спросила Марья Ивановна.

— Будьте милостивы, обещайте наперед, что нашу просьбу беспременно исполните...— вставши с места и низко кланяясь, сказал Марко Данилыч.

— Душой рада сделать что могу, но как же можно, не зная ничего, наперед обещать исполнить ваше желанье. Может быть, оно и не по силам мне будет? — говорила Марья Ивановна.

— По силам, барышня, по силам. Обещайте только, Христа ради!..— еще ниже, с покорностью и смиреньем, кланяясь почти до земли, умолял ее Смолокуров.

— Ежели можно будет исполнить ваше желанье, всегда готова,— сказала Марья Ивановна.— Только я, право, не знаю...

— Нижайше благодарим за ваши золотые слова,— радостно воскликнул Марко Данилыч.— Вот в чем дело, барышня!.. Домишко у меня, изволите видеть, не тесный, есть где разгуляться... Так вы бы, пока не устроились в Фатьянке, погостили у нас... Порадуйте... Так бы одолжили, так бы одолжили, что и сказать не умею... Матушка, сударыня Марья Ивановна!.. Хоша я теперь, по милости господней, и купец первой гильдии, хоша и капиталом владею, хоша и не малые дела по рыбной части веду, а все же я не забываю, что мы ваши прирожденные слуги... И деды наши и прадеды вашим родителям, матушка, вашему светлому, столбовому роду были верными слугами... И теперь, сударыня, не инаково почитаю, что мы ваши слуги, а вы милостивая наша барышня... Удостойте же за нашу любовь!.. Вам будет хорошо и спокойно; никакой заботы не доведем до вас... А до Фатьянки отсюда ведь рукой подать — летом часов пять езды, а зимой и три за глаза... Вздумается взглянуть на имение — коней у меня не занимать стать, и возки найдутся и кибитки, угодно, так и карету доспеем. Вздумается съездить в Фатьянку — поезжайте, осмотрите там все, распорядитесь, опять к нам, как в свой дом,

милости просим... А уж как бы Дунюшка-то рада была... Утешьте ее — согласитесь!..

Сначала Дуня не догадывалась, к чему отец речи клонит, но когда услыхала последние слова его, стремительно кинулась к Марье Ивановне, опустилась перед ней, положила русую головку ей на колени и со слезами в голосе стала молить о согласии.

— Марья Ивановна!.. Голубушка!.. Ясное солнышко!..— всхлипывая, говорила она вполголоса.— Согласитесь!.. Умру без вас!.. Не жаль разве будет вам меня?

— Полно, Дунюшка, полно, радость моя,— тихо поднимая ее, нежно промолвила Марья Ивановна и, горячо поцеловав взволнованную девушку, посадила ее рядом с собою.

— Проси и ты, Дуня, проси, голубка! — дрожащим голосом говорил Марко Данилыч.— Дарья Сергевна, вы-то что же не просите?

— Уважьте ихнюю просьбу, сударыня! — сухо и не совсем охотно, но с низким поклоном проговорила Дарья Сергевна.

Сама не зная почему, с самого первого знакомства с Марьей Ивановной невзлюбила ее добрая, незлобивая Дарья Сергевна, почувствовала даже незнакомую дотоле ей неприязнь. Когда же увидала, что давно уже чуждавшаяся ее Дуня внезапно ожила от встречи с Марьей Ивановной, безотчетная неприязнь выросла в ней до ненависти То не зависть была, не досада, а какое-то темное, непонятное Дарье Сергевне предвиденье чего-то недоброго...

После долгих колебаний Марьи Ивановны, после усильных просьб Марко Данилыча, после многих слез Дунюшки барышня согласилась.

— Но с условием,— сказала она.

— С каким, милостивая барышня? — с живостью спросил обрадованный Марко Данилыч.— С каким, сударыня?

— Иной раз как поеду я в Фатьянку, отпустите со мной Дунюшку. Я полюбила ее, как самую близкую родственницу... Отпустите? — сказала Марья Ивановна...

— С вами-то? — вскликнул Смолокуров.— Да не то что в Фатьянку, хоть на край света... Опричь добра, Дуня от вас ничего не может набраться... Навсегда вам благодарен останусь. милостивая, добрая барышня, за

вашу любовь. За счастье почту, ежели Дунюшка при вас будет неотлучно...

Все были довольны и радостны, кроме Дарьи Сергевны. Низко опустив голову, сидела она грустная; порой слезинка вздрагивала на ее ресницах, чуть слышно шептала: «Господи помилуй!.. Господи помилуй!».

А Марко Данилыч, ко сну отходя и даже стоя на молитве, иное в разуме держал. «Слава те господи,— думал он.— Какая, подумаешь, честь!.. Богатая барышня, дочь нашего барина, станет у меня проживать... И ведет себя с нами, как равная... «Люблю Дуню, говорит, как близкую сродницу!..» Ну-ка, Онисим Савельич, дождись-ка этакой чести!.. Вот озлится-то! Городничего когда залучит к себе на гостины, и тогда высоко́ голову носит, а тут знатная барышня, без малого тысяча душ! Лопнет пес с зависти, первым куском подавится!.. А Дунюшка-то, Дунюшка-то как рада, голубонька!.. Ожила, повеселела... Ох, Дуня, Дуня моя, Дунюшка! Милое ты мое, сердечное дитятко!.. Встала бы теперь покойница Олена Петровна!.. Посмотрела бы на свою доченьку... Ох, Оленушка, Оленушка!..».

И засверкали слезы на глазах Марка Данилыча.

Но вдруг иные мысли зароились у него в голове: «Отписывает Корней, всю, слышь, икру Орошин, подлец, на месте скупил в одни свои руки... Свинья чудская!.. Теперь у Макарья что хочет, то и почнет по части икры делать! Издохнуть бы тебе, окаянному!»

И долго на разные лады ругал он мысленно знаменитого поволжского рыбника.

«А наплел же я Марье Ивановне!.. И теперь будто считаю ее за госпожу свою!.. Холопом ее считаю себя!.. А она-то сердечная... уши-то господские и развесила!.. А мне бы только поддобрить ее, на Унже лесные дачи есть у Марьи Ивановны. Поддобрю, так, бог даст, задаром куплю их. Тысчонок сотенку достанется тогда Дуне-голубушке. Ах, Дунюшка, Дунюшка!.. Для тебя, ради одной тебя, все говорится, все и делается! Для тебя, милое сокровище, на то ли еще готов!.. На плаху, на̀ костер взойду — было бы только тебе хорошо. Как вспомню я про мой горький день, как кончала свою жизнь Оленушка!.. Младенчиком Дуня была тогда, посадили ее возле матери... Оленушка в последние разочки вздыхает, а младенчик смеется, веселехонько играет ленточкой, что

была в вороту у покойницы... Господи, господи!.. Взглянула тогда Оленушка... на меня и на Дунюшку... «Люби!» — чуть-чуть промолвила... Дунюшка радостно смеется, ангельски веселится, а душа Оленушки летит, летит в небеса к господу».

И обильно омочил слезами Марко Данилыч подушку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

На другой день по приезде Марьи Ивановны Смолокуров проснулся спозаранок. Не спалось ему в душной комнате. В спальне возле постели стоял железный сундук с деньгами. Хоть и был он привинчен и к полу и к стенам, хоть в окнах комнаты и вделаны были толстые железные решетки, но Марко Данилыч всегда помнил, что на свете много охотников до чужого добра. Потому зимних рам в спальне он не выставлял, а дверь всегда держал на заперти. Никому, кроме Дуни да еще Дарьи Сергевны, приходившей постель оправить да в комнате прибрать, без особого зова ходу туда не было.

Не спится Марку Данилычу. То об ненаглядной Дунюшке мыслями раскидывает, то о ненавистном Орошине помышляет. Давно он послал в Астрахань наперсника своего, Корнея Евстигнеева, ухитрился б там подставить ножку не в меру расходившемуся Орошину, но чтото долго от него никаких известий нет. Дождался, наконец, письма. Пишет Корней, что с Орошиным нет никакого сладу, все норовит к своим рукам прибрать, всем делом хочет завладеть, икру до последнего пуда заподрядил, теперь к суши подбирается. Денег привез кучу, Корнею с какими-нибудь двадцатью тысячами нечего и думать тягаться с ним.

«Пес смердящий,— мысленно ругает Марко Данилыч Орошина.— Притча во языцех!.. Ефиопская образина!.. Эх, надо бы мне самому сплыть в Астрахань, да поздно теперь! Привезти бы денег побольше, вырвать бы у собаки лакомый кус!.. А Корнею больше двадцати тысяч как доверить?.. Да, опоздал, упустил дорогой случай!.. Голову-то теперь как заломит, чертова плешь; рукой не достанешь... Потонуть бы твоим баржам, бесова кукла, всем бы до последней погореть у проклятика... [1]

[1] Проклятый.

А самого пострелом[1] бы положило, рукам, ногам отсохнуть бы у анафемы!..»

Не совсем доругавшись, встал Марко Данилыч с постели и подошел к окну освежиться. Увидел его со двора Василий Фадеев и тотчас к нему пошел. Постучался у дверей.

— Кто там? — с досадой крикнул Марко Данилыч.

— Я-с, Василий Фадеев,— робко ответил за дверью приказчик.

— Какого тебе дьявола надо? Черти еще на кулачки не дрались, а ты, подлец, уж и лезешь ко мне! — пуще прежнего кричал Смолокуров, отпирая дверь.

— Штафету пригнали,— протягивая в полуотворенную дверь гусиную шею, робко промолвил Фадеев.

— Отколь?

— Из Астрахани, сказал почтальон,— молвил Фадеев, протягивая в дверь руку с письмом. В спальню войти не посмел он.

Быстро сорвал печать Марко Данилыч и стал читать письмо. Из Астрахани оно было, от Прожженого.

— Почтмейстер наказывал напомнить вашей милости насчет осетрины...— начал было Василий Фадеев, но Марко Данилыч гневно прикрикнул:

— Убирайся, покамест цел!

Аки бес, опаленный крестным знаменьем, исчез Василий Фадеев.

Читает Марко Данилыч:

«Милостивейшему государю моему, благодетелю и отцу Марку Данилычу, во-первых, приношу нижайшее почитание с пожеланием со всем благословенным вашим семейством паче всего многолетнего здравия и всякого благополучия, а наиболее в делах скорого и счастливого успеха с хорошим прибытком и доброй наживой. Сим самонужнейшим с нарочитою штафетой письмом спешу почтеннейше вашей милости донести, что в препорученных делах тружусь со всяким моим усердием паче всякие меры, только в деньгах объявляется великая недостача, и о том я уж два раза отписывал вам, отец наш и великий благодетель, Марко Данилыч. Доносил я также вашей милости, что Онисим Самойлыч, будучи лично сам на Низу, завладал всем делом насчет икры и суши, однако ж благодаря всевышнему того сделать ему не сго-

[1] *Пострел* — апоплексический удар.

дилось. В сем деле помешали ему известные вам господа саратовские купцы Меркулов Никита Федорыч да Веденеев Дмитрий Петрович. В пятницу на прошедшей неделе оба они прибыли в Астрахань и тотчас зачали скупать икру и рыбу большими партиями и таким манером на весь рыбный товар много цены подняли, а платят все наличными без рассрочек и задатки наличными же дают, а задатки дают большие. А Онисим Самойлыч желает производить уплаты векселями на двенадцать да на осьмнадцать месяцев, и потому ему тягаться с ними не под силу. Он же по великой жадности своей наперед сего ни с кем письменных условий не заключал, потому что жалко было уплачивать пошлины. От того от самого, которые ему контрактом не обязались, теперь все до единого перешли к Меркулову да к Веденееву, а которые задатки от Онисима Самойлыча заполучили, те отплывают в Енотаевск да на Бирючью Косу и оттуда по почте деньги ему посылают, чтоб он не отперся в случае, что ихние задатки он не получил. Никто на его честь по здешним местам по всем ватагам ни одна душа с уверением положиться не может. Онисим Самойлыч с таковой досады теперь и рвет и мечет. Вечорашний день довелось мне видеть его: охрип, сердечный, от ругани, а третьего дня в трактире одному промышленнику[1] с сердцов в ухо даже заехал, а тот с своей стороны уважил и угостил его ладошками препорядочно, чуть-чуть обоих не забрали на съезжую. А Меркулов с Веденеевым, как только поженились на дочерях вашего благоприятеля Зиновья Алексеича Доронина, так свои капиталы и женины приданые деньги да и тестевых, может, половину, а пожалуй, и больше, вкупе сложили и повели в Астрахани дела на самую большую руку, никто таких больших делов не запомнит. И теперь у них товарищество на паях, а прозывается «Зиновий Доронин с зятьями». Сам Доронин тут ни при чем, для того что сами вы, отец наш и благодетель, по своей прозорливости лучше меня, неразумного, знать изволите, что рыбного дела он смыслом своим обнять не годится. Пребывание сам имеет в городе Вольске да на своей иргизской мельнице, а зятья в Астрахани икрой да рыбой ворочают. По моему рассужденью, Онисим Самойлыч по своей ненасытности и по великой отважности беспременно в большом накладе

[1] *Промышленник* — рыболов, имеющий свою косовую лодку.

останется, дело завел широкое, а закончить не стало силы. Намедни при моей бытности расхвастался, что при расчетах у Макарья он получит большие барыши, а на поверку выходит, что дал бы только ему бог свои воротить. Думал, заграбаставши и сушь и икру, поднять цены у Макарья копеек на сорок с каждого рубля, а Меркулов с Веденеевым ежели, как ходят слухи, повысят цены, так много, что разве гривну на рубль помимо того, во что самим обойдется. Только, по моему глупому разуму, вашей милости радоваться неудаче Онисима Самойлыча, кажись бы, не приходится, потому что все его подходы всякому человеку известны, как свои пять пальцев, во всякое, значит, время ему можно какой ни на есть подвох учинить, а Меркулов с Веденеевым люди тонкие, полированные; с ними ладить не в пример мудренее. Опять же и ловцам, и солельщикам, и икряникам, и жиротопам, и клеевщикам, и разъездным всем ни с того ни с сего они плату повысили, и это самое всем рыбным торговцам стало за великую обиду. Да еще обносится молва по народу, будто бы они и казенные и казачьи воды, а равно и вольный промысел и владельческих знатную часть берут себе на откуп на двенадцать лет [1]. Тогда на всех ватагах будет вся ихняя воля. И на Волге, на Низу, и на̀ море станут одни властвовать, другие, значит, из их рук гляди. От того от самого и нет стати, по моему рассуждению, оченно радоваться, что Онисима Самойлыча они крепко прижали. Господина Меркулова до сей поры я нигде не видал, да ежели и довелось бы столкнуться с ним, так полагаю, что он зло на меня мыслит большое за то, что в прошедшем году в Царицыне по вашему приказанию намеревался его обделать. А с Дмитрием Петровичем столкнулись вчера в трактире — ласковый такой и приветливый, чаем угостил и про вашу милость много расспрашивал. Наказывал безотменно об его почтении отписать вашей милости, а также и Авдотье Марковне от ихней супруги кланяться. Затем, пре-

---

[1] *Солельщик* — солит рыбу, *икряник* — вынимает икру и пропускает ее через грохот, *жиротоп* — вытапливает жир из бешенки или из тюленя, *клеевщик* — вынимает и сушит рыбий клей. *Казачьи воды* — принадлежащие астраханскому казачьему войску. *Вольный промысел* — воды в Каспийском море от земли уральских казаков или от Гранного Бугра до острова Ракуши, а отсюда до Жилой Косы (реки Эмбы) и дальше до Мангышлакских гор с заливами Мертвым Култуком и Сартажем.

кратя сие письмо, с достаточным уважением и нижайшею покорностью остаюсь, милостивейший отец и благодетель наш, всегда верный ваш приказчик *Корней Евстигнеев*».

И рад и не рад был Марко Данилыч астраханским вестям. Потешало его известье о неудаче Орошина, и не мог он вспомнить без смеха, что промышленник ему в Харьковскую губернию заехал, в Зубцовский уезд, в город Рыльск, в село Рождествино, но очень не радовало известие о Меркулове с Веденеевым... Дело, многими годами насиженное, чего доброго испакостят эти молокососы! Гневит и сильно заботит это Марка Данилыча, и переносит он злобу свою с Орошина на зятьев Зиновья Алексеича. «Угораздило же меня летось свести Доронина с Веденеевым — вот те и свел на свою голову... То хорошо, что сбили спеси у анафемы, да ведь того и гляди, что и всем рыбникам накладут в шапку окаянные слётышки... Цены спускать! Эх, что вздумали, отятые!..[1] Сквозь бы землю им в тартарары провалиться... А испек же промышленник, дай бог ему доброго здоровья, Орошину лепешку во всю щечку. Молодец!.. Чать, искры из глаз посыпались, небо с овчинку показалось!. Молодец промышленник!.. Люблю таких!..»

В одной рубахе, заткнув большие пальцы за шелковый скитский поясок, долго босыми ногами ходил взад и вперед по спальной Марко Данилыч. Сто раз на все лады передумывал, как бы и от доронинскиих зятьев без убытка остаться и проклятику Орошину насолить хорошенько. Не вольная пташка с сукà нà сук перепархивает, хитрый ум разгневанного рыбника с мыслей на мысли переносится. Мыслей много, а домысла[2] нет. Ничего на разум не приходит. Хватил Смолокуров с досады кулаком по столу, плюнул, выругался и стал одеваться. Чай пора пить с Марьей Ивановной.

* * *

— Вот, сударыня Марья Ивановна,— сидя за чаем, сказал Марко Данилыч, указывая на Дуню.— Хоть бы вы ее вразумили. Родительских советов не принимает и слушать не хочет их.

---

[1] *Отягóй* — прóклятый, отверженный, негодяй.
[2] Догадка, достигнутая путем размышлений.

— Что такое, Марко Данилыч? — с удивленьем спросила Марья Ивановна.

— Девица она, видите, уж на возрасте, пора бы и своим домком хозяйничать,— продолжал Марко Данилыч.— Сам я, покамест господь грехам терпит, живу, да ведь никем не узнано, что наперед будет. Помри я, что с ней станется? Сами посудите... Дарья Сергевна нам все едино что родная, и любит она Дунюшку, ровно дочь, да ведь и ее дело женское. Где им делами управить? Я вот и седую бороду нажил, а иной раз и у меня голова трещит.

Вспыхнула немного Марья Ивановна. Сжавши губы и потупив глаза, сморщила она брови.

— К чему говорить об этом прежде времени,— сказала она.— Бог даст, поживете, ваши годы не слишком еще большие.

— Шестой десяток, барышня, доживаю, до седьмого недалеко... А знаете, что татары говорят?.. «Шестьдесят лет прошел, ума назад пошел»,— с усмешкой молвил Марко Данилыч.— Ежель скоро и не помру, так недуги старости одолеют, да, по правде сказать, они, сударыня, помаленьку-то уж и подходят. А там впереди — труд и болезнь, как царь Давыд в псалтыре написал... А хворому да старому, барышня-сударыня, не до дел. Помощник нужен ему, а его-то у меня и нет. А ежели бы господь сынком богоданным благословил меня, всем бы тогда я доволен был. И о Дунюшке не гребтелось бы, и дело-то было бы кому передать... А теперь одни только думы да заботы!..

— Живут же, не выходя замуж,— возразила Марья Ивановна.— Возьмите хоть меня, а осталась я после батюшки не на возрасте, как Дуня теперь, а ребенком почти несмышленым.

— Ваше дело, барышня, дворянское. У вас девицам можно замуж не выходить, а у нас по купечеству — зазор, не годится,— сказал Марко Данилыч.— Опять же хоша вы после батюшки и в малолетстве остались, однако же у вас были дяденька с тетенькой и другие сродники. А Дунюшка моя одна, как перстик. Опричь Дарьи Сергевны, нет никого у ней.

— Сироту не покинет господь,— молвила Марья Ивановна.— Говорится же: «Отца с матерью бог прибирает, а к сироте ангела приставляет».

— Конечно, так, барышня,— отвечал Марко Данилыч.— Еще сказано, что «за сирого сам бог на страже стоит», да ведь мы люди земные — помышляем о земном.

— То-то и есть, Марко Данилыч, что мы только о земном помышляем, а о небесном совсем позабыли, да и знать его не хотим,— сказала Марья Ивановна.— А на земле-то ведь мы только в гостях, к тому же на самый короткий срок,— настоящая-то наша жизнь ведь там.

— Против этого неможно ничего сказать, Марья Ивановна. Ваши речи как есть правильные,— отозвался Марко Данилыч.— Да ведь я по человечеству сужу, что, пока не помер я, Дунюшке надо к доброму, к хорошему человеку пристроиться.

— Полноте, Марко Данилыч, не невольте вы ее,— сказала Марья Ивановна.— Станете неволить — великий грех примете на душу. Нет больше того греха, как у человека волю отнимать... Великий грех, незамолимый!.. Не греховное наше тело, ведь разум и свободная воля составляют образ и подобие божие... Как же сметь отнимать у человека свободную волю? Бог дал, а человек отнять хочет великий дар божий... Это значит бога обкрадывать. Подумайте об этом хорошенько. Нет, Марко Данилыч,— не принуждайте Дунюшки. Иначе бога обидите, и он вас накажет.

Со страстным увлеченьем, громко, порывисто говорила взволнованным голосом Марья Ивановна. Глаза горели у ней, будто у исступленной. Не мало тому подивился Марко Данилыч, подивилась и Дарья Сергевна, а Дуня, опустя взоры, сидела, как в воду опущённая. Изредка лишь бледные ее губы судорожно вздрагивали.

— Нешто ее неволю я? — воскликнул с досадой Марко Данилыч.— Да сохрани меня господи!.. А ваши речи, Марья Ивановна, скажу вам по душе и по совести, уж больно мудрены. Моему разуму их, пожалуй, и не понять... Говорите вы, что в свободе да в воле образ и подобие господне, а нас, сударыня, учили, что смиренство да покорность угодны господу... И в писании сказано: «В терпении стяжите души ваши». И хоша мне ваших речей не домыслить, а все-таки я с Дунюшки воли не снимаю — за кого хочет, за того и выходи. Об этом я давно уж ей говорю, с самого того времени, как она заневестилась, шестнадцать годов когда, значит, ей исполнилось.

— Дело доброе,— несколько спокойнее молвила Марья Ивановна.— И вперед не невольте: хочет — выходи замуж, не хочет, пускай ее в девицах остается. Сейчас вы от писания сказали, и я вам тоже скажу от писания: «Вдаяй браку, деву добре творит, а не вдаяй лучше творит». Что на это скажете?

— По писанию-то оно, пожалуй, и так выходит, да по человечеству-то не так,— отвечал Марко Данилыч.— Мало ль чего в писании-то: велено, к примеру сказать, око вырвать, ежели оно тебя соблазняет, а ведь мы все соблазняемся, без соблазна никому века не прожить, а кривых что-то немного видится. Опять же в писании-то не сказано, что худо тот творит, кто замуж дочь выдает, а сказано «добре творит». Хоша мы люди непоученные, а святое писание тоже сколь-нибудь знаем. Апостол точно сказал: «Не вдаяй лучше творит», да ведь сказал он это не просто, а с оговоркой: «Сие же глаголю по совету, а не по повелению» и паки: «О девах же повеления господня не имею» [1]. Вот тут, сударыня Марья Ивановна, и извольте-ка порассудить.

— Вот до чего мы с вами договорились,— с улыбкой сказала Марья Ивановна.— В богословие пустились... Оставимте эти разговоры, Марко Данилыч. Писание — пучина безмерная, никому вполне его не понять, разве кроме людей, особенной благодатью озаренных, тех людей, что имеют в устах «слово живота»... А такие люди есть,— прибавила она, немного помолчав, и быстро взглянула на Дуню.— Не в том дело, Марко Данилыч,— не невольте Дунюшки и все предоставьте воле божией, господь лучше вас устроит.

— Кто же ее неволит?— с ясной улыбкой ответил Марко Данилыч.— Сказано ей: кто придется по́ сердцу, за того и выходи, наперед только со мной посоветуйся, отец зла детищу не пожелает, а молоденький умок старым умом крепится. Бывали у нас и женишки, сударыня, люди все хорошие, с достатками. Так нет — и глядеть ни на кого не хочет.

— Пускай ее не глядит,— перебила Марья Ивановна.— Как знает, пусть так и делает. Верьте, Марко Данилыч, что господь на все призирает, все к лучшему для нас устрояет. Положитесь на него. Сами знаете, что на

[1] «Послание к Коринфянам», IX, 38, 6, 25.

каждую людскую глупость есть божья премудрость. На нее и уповайте.

Тем беседа и кончилась. Разошлись, осталась в столовой одна Дарья Сергевна.

«Эк богослов у нас проявился,— думала она, перетирая чайную посуду.— Послушать только! Чем бы уговаривать Дунюшку, она на-ка вон поди!.. В иночество, что ли, прочит ее? Так сама-то отчего же нейдет в монахини? Сбивает только у нас девку-то... А ведь как было распыхалась, глаза-то так и разгорелись, голос так и задрожал, ровно кликуша какая!.. Ох, Дунюшка, Дунюшка, чует мое сердце, что на горе да на беду подружилась ты с этой барышней!.. Как только спозналась с ней, бог знает, что забродило у Дуни в головушке. А что думает, о чем горюет — никому ни словечка. А вот принесла нелегкая эту анафему, шагу от нее не отходит... И что за тайности с ней, что за разговоры!.. Книжки какие-то все, вчера про каких-то «божьих людей» она рассказывала. Что за «божьи люди» такие? Все мы божьи, все его созданье... Ах, Дунюшка, Дунюшка, голубушка ты моя милая!.. Мудрена эта Марья Ивановна, вчера песню какую-то пела она, пó голосу, выходит «По улице мостовой», а святый дух поминается и пречистая богородица!.. Надо сказать Марку Данилычу — да как скажешь-то?.. Очень уж рад он ей, доволен-предоволен, что барышня гостит у него. Попробуй теперь сказать ему что-нибудь про нее, зарычит, аки зверь,— ног не унесешь... О господи, господи! Какую напасть ты послал на нас... Не думано, не чаяно... И что б такое было у этой окаянной, чем она прельщает Дунюшку?.. Добьюсь, беспременно добьюсь. Рядом каморка, оттоль слышно... Добьюсь, выведу на чистую воду еретицу, и только она со двора, все расскажу Марку Данилычу, все до последней ниточки. Хоть на весь свет раскричись тогда, пожалуй хоть побей, а уж выведу наружу все козни этой проклятой барышни».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Больше недели прошло с той поры, как Марко Данилыч получил письмо от Корнея. А все не может еще успокоиться, все не может еще забыть ставших ему ненавистными Веденеева с Меркуловым, не может забыть

и давнего недруга Орошина. С утра дó ночи думает он и раздумывает, как бы избыть беды от зятьев доронинских, как бы утопить Онисима Самойлыча, чтобы о нем и помину не осталось. Только и не серчал, что при Дуне да при Марье Ивановне, на Дарью Сергевну стал и ворчать и покрикивать.

Рвет и мечет Смолокуров. У приказчиков, у рабочих каждая вина стала виновата — кто ни подвернись, всякого ни зà что ни прó что сейчас обругает, а расходится рука, так, пожалуй, и прибьет, а что еще хуже, со двора сгонит. В иную пору не стали бы у него рабочие ни брани, ни побой терпеть, теперь все они безответны. Ни в дому, ни на прядильнях, ни на лесном дворе вот уж два месяца с великого еще поста громкого слова не слышно. Все присмирели, все бродят, как тени, ни живы ни мертвы... Такое время было: пролетье[1] проходит, петровки на дворе; а по сельщине, деревенщине голодуха. В летошном году везде был недород, своего хлеба до масленицы не хватило, озими от голой зимы[2] померзли, весной яровые залило, на новый урожай не стало никакой надежды. Покупной хлеб дорог, нового нет, Петров день не за горами — плати подати да оброки. В каждой семье лишний рот стал накладен, оттого рабочие и дорожили местами. В иное время у Марка Данилыча работники — буян на буяне, а теперь от первого до последнего тише воды, ниже травы, ходят, как линь пó дну, воды не замутят. Нужда учит обиды терпеть.

Пришел троицын день, работные избы и деловые дворы у Марка Данилыча опустели. Рабочие из соседних деревень пошли домой справлять зеленые святки, дальние гурьбой повалили в подгородную рощу, гулянье там каждый год бывает на Троицу. И в доме было нелюдно. В густом тенистом садике, под старыми липами и цветущей сиренью, вечером троицына дня сидел Смолокуров за чаем с Дуней, с Марьей Ивановной, с Дарьей Сергевной. Пили чай на прохладе — тоже зеленые святки справляли. Ради праздника немножко повеселел Марко Данилыч, забыл на время астраханские заботы. Напились чаю, наговорились, в это время надвинулись сумерки. Василий Фадеев, убирая самовар, раболепно наклонился к хозяину и шепнул ему на ухо:

---

[1] Конец весны.

[2] *Голая зима* — бесснежная.

— Корней Евстигнеев приехал.

— Как? — вскрикнул Марко Данилыч, вскочив с дерновой скамейки.— Что случилось? Что ж он нейдет?

— Наказывал доложить вашей милости, самим бы вам к нему пойти,— опять-таки шепотом сказал на ухо хозяину Фадеев.

— Это что за новости! — зычным голосом вскрикнул Марко Данилыч.— Тащи его сюда!

Василий Фадеев взялся было за опорожненный ведерный самовар, но...

— Успеешь! — Смолокуров гневно крикнул.— Корнея зови.

Склонив голову, зайцем в калитку Фадеев юркнул, но тотчас же назад воротился.

— Ну? — крикнул раздраженный Марко Данилыч.

— Ругается-с... Нельзя, говорит, ему на людях с вашей милостью разговаривать. Надо, говорит, одноличночно... Старик какой-то с ним...— пятясь от распалившегося хозяина, еле слышно прошептал Василий Фадеев.

— Не сметь умничать! Сию бы минуту здесь был! — во все горло закричал Марко Данилыч, забывши и про Марью Ивановну.

— Сыро что-то становится,— вставая с места, сказала Марья Ивановна.— Пойдем-ка, Дунюшка, Марко Данилыч делами здесь займется.

И, взявши Дуню под руку, скорыми шагами пошла из саду. За ними тихими неровными стопами поплелась и Дарья Сергевна.

Увидев, что хозяин один в саду остался, Корней бегом подбежал к нему. Василий Фадеев пошел было за ним вслед, но тот, грубо оттолкнув его, запер калитку на задвижку.

— Чего толкаешься! — вскинулся на Корнея Фадеев.— Чать надо самовар принять да посуду.

— А ты ухай, да не бухай,— с наглой усмешкой молвил Прожженный.— Убрать поспеешь, а ежели вздумаешь уши навостривать, так я их тебе засвечу,— прибавил он, поднимая увесистый кулак.

— Это что такое? — вскрикнул Марко Данилыч, завидев Корнея.— От делов уехал без спросу, да и глаз еще не кажет... Сам хозяин изволь к нему бежать... Я, брат, этого не больно жалую.

— Ругани-то я много слыхал, меня руганью не удивишь,— сердито пробурчал Корней Евстигнеев.— Чем бы орать, лучше путем спросить, для чего я, побросавши дела, наспех приехал.

— Что случилось?—уж без задора, но с тревожным беспокойством спросил Смолокуров.— Орошин, что ли?.. Аль еще что накуролесили зятьки доронинские?..

— Иная статья,— прищурив лукаво глаза и закинув руки за спину, промолвил Корней.

— Да говори же толком, леший ты этакой! Морить, что ли, вздумал меня? — во всю мочь закричал на него Смолокуров.

— Мокей Данилыч велел кланяться да про здоровье спросить,— с хитрой улыбкой протяжно проговорил Прожженный.

Как ярый гром из тихого ясного неба грянули эти слова над Марком Данилычем. Сразу слова не мог сказать. Встрепенулось было сердце радостью при вести, что давно оплаканный и позабытый уже брат оказался в живых, мелькнула в памяти и тесная дружба и беззаветная любовь к нему во дни молодости, но тотчас же налетела хмарая мрачная дума: «Половину достатков придется отдать!.. Дунюшку обездолить!.. Врет Корней».

— Что за рыба принесла тебе поклон от покойника?.. Тюлень морской, что ли, с тобой разговоры водил? — захохотав недобрым смехом, сказал Марко Данилыч.— Сорока на хвосте басни принесет, а он в самое нужное время бросает дела и мчится сюда без хозяйского спросу!.. С ума ты, что ли, сошел.

— Не сорока мне вести принесла, Хлябин Терентий Михайлов, что тогда на «беленького» с нами ездил,— сказал Корней.— Привез я его, пущай сам расскажет.

— Что за Терентий такой? — спросил Марко Данилыч.

— Из здешних местов он будет,— ответил Корней.— Оттого и кучился мне довезти его со сродниками повидеться. Летошним годом он от басурманов утек, а Мокей Данилыч и до сих пор у них в полону. Кликнуть, что ли, его, Терентья-то?

— Пошли,— немного повременя сказал Марко Данилыч.— А сам ступай отдыхать, надобен будешь — кликну.

Вышел и́з саду Корней, а Марко Данилыч, склонивши голову, медленными шагами стал ходить взад и вперед по дорожке, обсаженной стоявшею в полном цвету благоуханной сиренью.

Пришел необычайно рослый и собой коренастый пожилой человек. Борода вся седая, и в голове седина тоже сильно пробилась: русых волос и половины не осталось. Изнуренный, в лице ни кровинки, в засаленном оборванном архалуке из адряса [1], подошел он к Марку Данилычу и отвесил низкий поклон.

Сел на скамейке Марко Данилыч и зорко посмотрел прямо в глаза незнакомцу.

— Что скажешь, любезный? — нахмурясь, спросил он его, наконец.

— Про Мокея Данилыча доложить вашей милости,— вполголоса проговорил Терентий.

Не ответил на то Марко Данилыч. Низко наклонясь, стал он тросточкой по песку чертить.

— Сказывал Корней...— после долгого молчанья промолвил Смолокуров.— Да не врешь ли ты? — поднявши голову и вскинув глазами на Терентья, прибавил он.

— Как возможно мне врать вашему степенству? — скорбно и даже обидчиво промолвил Терентий Михайлов.— Помилуйте!.. Столько годов с вашим братцем мыкали мы подневольную жизнь, и вдруг я стану врать!.. Да сам господь того не попустит!.. Всего мы с Мокеем Данилычем нагляделись, всего натерпелись... Как же поворотится у меня язык сказать неправду?

— Сам-то ты кто таков? — спросил Марко Данилыч.

— Здешней округи [2] деревни Обуховой. Терентий Михайлов. Хлябины прежде звались, как теперь — не знаю. Дома-то еще не бывал.

— Барский? — спросил Марко Данилыч.

— Был барским, господ Раменских, а теперича, будучи выходцем из хивинского полону́, стал вольным,— ответил Хлябин.

---

[1] *Адряс*, или *падчай* — полушелковая ткань с волнистыми пестрыми узорами по одинаковому полю.

[2] Прежде (с екатерининского учреждения о губерниях до начала нынешнего столетия) уезды назывались округами. В народном языке местами и до сих пор это слово в ходу.

— Ишь ты! — насмешливо промолвил Марко Данилыч.— Недальний, значит, отсюда.

— Сорока верст не будет,— ответил Хлябин. — Да ведь я, ежель на памяти у вашего степенства, в работниках у вас служил. Тогда с Мокеем Данилычем и в Астрахань-то мы вместе сплыли. Вот и Корней Евстигнеич тоже с нами в те поры поехал... Конечно, время давнее, можно забыть. И братца-то, пожалуй, плохо стали помнить... Много ведь с той поры воды утекло... Давно, да, очень давно,— со вздохом промолвил Терентий Михайлов.

— Время давнее... точно что давнее,— сквозь зубы процедил Смолокуров.

Неохота была ему вдаваться в дальние расспросы. И верил он, и не хотелось ему верить.

Немного погодя Хлябин сам начал рассказывать.

— Когда на̀ море разорвало нашу льдину, на большой половине нас с Мокеем Данилычем было двадцать четыре человека, а кормов ничегохонько. Лошадь была, зарезали, съели кобылятину и чаяли потонуть либо голодную смерть принять... А ветер все крепче да крепче. Гонит нас на восток, подумали, авось живых принесет к Мангышлаку... Да где доплывешь до берега! Изноет льдина, растает — и сгинем мы в морской пучине. На четвертый день рано поу́тру видим — одна за другой выплывают три посудины, а какие — разглядеть не можем, далеко... Подняли мы крик, авось услышат и переймут нас... Услыхали ли на лодках наши крики, увидали ль нас, про то неизвестно, а к нашей льдине поворотили... Как стали они подъезжать, так мы и ужаснулись... трухменцы с самопалами, с чеканами[1]. Стали они перенимать нас со льдины. Кого возьмут, первым делом руки тому назад да ремнем либо арка̀ном скрутят, как белугу, на дно лодки и кинут. Ног не вязали, знали, собаки, что по морю нам не бежать... На каждую лодку нас пришлось по восьми человек, а их было по пяти; для того и вязали, чтоб мы не одолели да не отплыли бы с ними к русскому берегу... Не догадайся разбойники перевязать нас — так бы дело и было... На̀ полдень злодеи

[1] *Самопал* — фитильное ружье вроде пищали без замка, иногда с замком, но не с кремнем, а с тлеющим фитилем. *Чекан* — топорик с молотком на короткой рукоятке. У трухменцев до последнего времени держались самопалы, а лет 25 тому назад было их довольно много.

путь свой держали—и на другой день рано поýтру верстах в десяти завидели мы чèрни[1]. С того часу трухменцы чéрней не завешивали[2], тут и мне стало боязно — русских по тем местам нет. А держали окаянные, как и прежде, все нà полдень, на пятый день выплыли в Киндерлú[3]. Сил не жалели, веслами здорово работàли. Лодки не плыли, а ровно скакали по морю,— видно, разбойники ждали погони. Навряд ли русских они опасались, у самих у них есть много разных родов, и каждый род только и выжидает, как бы у другого добычу отбить. Самый разбойный народ.

Хоть бежать и было нельзя подумать, куда в голодной-то степи-то убежишь? Однако ж трухменцы и на берегу не дремали — боялись, чтобы мы у них не пропали. Были у них ножные железа — лошадиные путы, да всего только трое; шестерых нас перековали по двое ногу с ногой, в паре со мной довелось быть Мокею Данилычу. Других арканами скрутили, тоже нога с ногой. И ровно стадо стреноженных коней, погнали нас по степи. А есть давали только по чурекý[4] в день на человека, а как руки-то у нас были назад скручены, так басурманы из своих рук нас кормили... Погано, да с голодухи мы и тому были рады. Отошли от берега верст с десяток — тут у них временное кочевье; расковали нас злодеи, развязали, распутали, раздели дóнага и каждого, ровно продажную лошадь, стали осматривать и зубы во рту смотрели, и щупали везде, и пальцами ковыряли. Потом дележ добычи пошел у них. Целый день с утра до ночи шумели да спорили, а что говорят — понять не можем. Они спорят, а мы сидим на горячем песке голодные. К вечеру поделили нас. Мы с Мокеем Данилычем к одному хозяину достались — Чулим-ходже из адаевского рода. Был человек он богатый и властный, все его слушались, боялись и почитали, во всем ихнем кочевье старше Чулима никого не было. Дня через два трухменцы пе-

---

[1] *Чéрни* — плоский берег, видный с моря, когда еще мало на нем что-нибудь можно различить глазом. Это слово в ходу только на Каспийском море.

[2] *Завесить черни* — уйти из виду от берегов. Слово каспийское.

[3] Залив на восточном берегу Каспийского моря, южнее полуострова Мангышлака, севернее залива Карабугаза.

[4] Пресный хлеб в виде лепешки.

рекочевали от моря верст за двести. Всего тут много мы натерпелись: степи голые, безводные, ежель и попадется вода — в рот не возьмешь: голая соль. Ни деревца, ни кустика. Травы даже мало, и то одна полынь. А ящерицы, скорпионы, тарантулы по степи так и шныряют, а мы пеши и босы — сапоги-то еще в лодках разбойники с нас поснимали и одежу всю ограбили. Сами-то адаевцы с женами да с детьми на конях да на верблюдах, а мы двести верст пешечком. Думали, тут и жизни конец, однако же господь помиловал, кое-как доплелись. На новой кочевке тра̀вы хорошие и колодцы с пресной водой, отдавало немножко солью, да ничего, по ну́жде пить можно. Тут Чулим заставил нас коней да баранов пасти — вот и попали мы в пастухи. Хозяин много говорил с нами по-своему, ино слово и по-русскому скажет, а больше руками маячит: «Ежели, дескать, бежать вздумаете, голову долой». Чего тут бежать?.. Куда?.. Прожили мы на этой кочевке недель шесть, пожалуй, и больше. Все полонянники проживали в одном месте, а потом зачали нас поодиночке, либо по два и по три в Хиву продавать. Нарочно приезжали хивинцы к адаевцам за продажными кулами [1]. Дошла и до меня очередь, продали меня купцу, в какую цену пошел я тогда — не знаю. Горько было расставаться с товарищами, поплакали на прощанье, я только тем себя утешал, что Хива хоша и басурманский, а все-таки город, работа, может, будет там и потяжеле, зато кормить посытнее станут. Опять же наслышаны мы были, что в Хиве русских полонянников много, значит хоша и в неволе, а все-таки со своими... А купец, что купил меня у адаевцев, Зерьян Худаев, человек был богатый, и торговал он только одним русским полоном. Во всех трухменских родах были у него друзья-приятели, они ему и доставляли русских. Занимался Худаев таким торгом лет уж сорок и, водясь с русскими, научился с грехом пополам по-нашему говорить. Едем мы с ним, а он и говорит: очень, дескать, хотелось ему и товарища моего купить, Мокея, значит, Данилыча, да дорого, говорит, просят адаевцы, за такую цену его не перепродашь. Стал я расхваливать Мокея Данилыча: и моложе-то он, говорю, меня, и сильнее-то, а ежели до выкупа дело дойдет, так за него, говорю, не в пример больше дадут, чем за меня.

---

[1] *Кул* — раб.

— А зачем хвастал? — прервал Марко Данилыч Терентья Хлябина.

— Думал, не купит ли Худаев и Мокея Данилыча,— отвечал Хлябин.— Вместе бы тогда жили

— Напрасно,— с недовольством тряхнув головой, молвил Марко Данилыч.

Хлябин продолжал рассказ:

— У Худаева я недолго оставался — недели полторы либо две... Продал он меня самому хану, царю, значит, ихнему, басурманскому. А перед тем больно серчал. Плетью даже меня выхлестал... «Зачем, говорит, такой-сякой, выходил ты на улицу, когда хан мимо моего дома проезжал. Теперь он тебя к себе берет, а денег даст те же пятьдесят золотых, что и я за тебя дал адаевцам. Через тебя, русская собака, убыток мне. Напрасно я хлопотал, напрасно ездил в степь за тобой!.. Помни же ты меня, помни, русская неверна собака, помни Зерьяна Худаева». А сам плетью да плетью по голым плечам. И вот, подумаешь, судьба-то что делает: не прошло двух годов, как этот самый Зерьян сряду дня по три в ногах у меня валялся, чтобы я похлопотал за него у хана. А тогда ему за одну провинность хан голову хотел было срубить... Поминаючи божью заповедь, укланял я тогда хана — помиловал бы он Худаева. Велел только четыреста плетей ему влепить, нос окорнать да уши отрезать, и после этого много благодарил меня Зерьян Худаев и до самого конца благодетелем звал. Тридцать золотых подарил да — что греха таить, тогда еще я молодой был — свою племянницу, Селимой звали, в полюбовницы дал мне. Славная была девчурка, только ее до меня еще очень опорочили на базаре, убить даже хотели. Замуж, значит, она ни за кого из басурманов не годится, ну а мне ничего — можно.

— Ну тебя, про девок поганых расписывать,— молвил Марко Данилыч и плюнул даже в сторону

— Слушаю, ваше степенство, не буду, хоша и занятно,— сказал Хлябин. И стал продолжать рассказ: — Наутро отвели меня к самому хану. И велел он мне на страже у дворцовых дверей стоять. Рост мой ему полюбился, охоч был до высоких, по всему царству их отыскивал и набирал себе в прислугу, полонянников высоких тоже брал к себе. А рослые у него больше все из русских — иные из них даже побасурманились, детьми

обзавелись, и хан дает им всякие должности, и они живут в довольстве и почете. И меня уговаривали перейти в ихнюю бахметову веру, да господь бог помог — я укрепился. Мало кто из русских в полону веру свою оставляет, редкий который от креста отречется. А хан, хоть какой ни есть, все же государь, живет не больно по-государски — уж очень просто. Хоша и ковры везде, и серебряной посуды вдосталь, и дорогих халатов, и шуб, и камней самоцветных довольно, а по будням ходит, так срам поглядеть — халатишко старенький, измасленный, ичеги в дырах — а ему нипочем. А жен и дочерей водит в ситцевых платьях, самого дешевенького ивановского ситца, линючего. А еды у них только и есть что пилав да бишбармак, питья — айрян да кумыс[1]. Иной раз и наше зелено вино хан испивает. Ихний закон хмельного не дозволяет, да они то ставят в оправданье: запрещено-де виноградное вино, а русское — из хлеба, значит, его пить не грех. Любит еще хан пироги. Попала к нему наша полонянка, из Красного Яра, мещанка, Матреной Васильевной звали. Купил ее хан и велел стряпать на своих жен. И привел бог Матрену Васильевну в стряпках жить у хановых жен. Они очень ее полюбили за то, что рисовую кашу на кобыльем молоке с изюмом да с урюком больно вкусно варила им. Раз как-то любимая ханова жена вздумала попотчевать муженька русским пирогом с бараниной, Матрена испекла ей. Пирог хану пришелся по вкусу, и с того дня Матрена Васильевна каждый день должна была ему пироги печь. За дрождями нарочно в Оренбург купцов посылали. И в такую силу вошла Матрена Васильевна, что ханские министры боялись ее пуще бухарского царя али персидского шаха. Матрена Васильевна, дай бог царство ей небесное, баба бойкая была, расторопная, развеселая. Ханши без ума от нее были, и хан много дорожил ею. Полцарства бухарского не взял бы он за ее пироги с бараниной. А когда какой-то купец осетра в Хиву привез и поклонился им хану, так Матрена Васильевна такую кулебяку состряпала, что хан трое суток, сказывали, пальцы у себя лизал, и с той поры повариха в самой великой власти стала при

---

[1] *Бишбармак* — в переводе «пятипалое», потому что его едят горстью. Это вареная и накрошенная баранина с прибавкой к навару муки или круп. *Айрян* — разболтанная на воде простокваша.

нем находиться. Чего, бывало, Матрена Васильевна ни пожелает, все делается по ее хотенью. И смотреть ни на кого не хочет: придет на поварню бусурманский вельможа да подвернется ей не в добрый час, Матрена Васильевна, много не говоря, хвать его скалкой по лбу да на придачу еще обругает. А русским много добра делала, заступница была за них у хана. Многих даже от смерти освободила своими просьбами у хана. А ежели, бывало, не захочет он ее прошенья уважить, так она крикнет на него да ногой еще притопнет: «Так нет же тебе пирогов, ищи другую стряпку себе; а я стряпать не стану». Ну, хан по желанью Матрены Васильевны все и сделает. Много за нее бога молили, вот и мне с Мокеем Данилычем по милости ее много было в рабстве облегченья. Дай бог ей царство небесное!

Примолк Хлябин, а Смолокуров все сидит, все молчит, склонивши думную голову.

— Рассказывай, а ты рассказывай,— молвил он, наконец.— Очень занятно рассказываешь...

— Года этак через два, как стал я у хана проживать,— говорил Хлябин,— иду раз по базару, навстречу мне русский — там издали своего брата узнаешь. Идет, едва ноги волочит, в одних кожаных штанах, без рубахи, и на избитых голых плечах полубатманный[1] мешок с пшеницей тащит. Батюшки светы!.. Мокей Данилыч!.. Едва мог узнать — трудненько, вижу, его житье. И он узнал меня, разговорились. «Живу, говорит, у хозяина немилостивого, работой завален, побоев много, а кормят впроголодь». Тем же часом я к Матрене Васильевне: «Так и так, говорю, помилосердуй». Дён этак через пяток пристроила она его к ханскому дому — тут ему стало полегче. И выжили мы тут с вашим братцем без малого двадцать годов, и было нам житье хорошее, вольготное, а как померла Матрена Васильевна, и нам с Мокеем Данилычем и всем русским стало гораздо тяжелее... Тут я бежать надумал Сговорился с двумя астраханцами тайком выйти на Русь, молвил о том и Мокею Данилычу, он побоялся. И хорошо сделал на ту пору — пятидесяти верст мы не отъехали на краденых ханских лошадях, как нас поймали. Хан распорядился жи-

[1] *Батман* — в Хиве и Бухаре — восемь пудов, крымский и закавказский — 26 пудов, поволжский — 10 фунтов.

во — одного астраханца велел повесить, другому нос и уши окорнать, а меня помиловал, дай бог ему здоровья, портить человека рослого не захотел, а выше меня у него никого не было. Дали мне двести плетей да к виселице ухом пригвоздили — вот поглядите, ухо-то у меня поротое. Потом ничего, опять хан держал меня в милости, опять мне стало вольготно, да тоской уж я вовсе измучился —так вот и тянет на родину... Опять бежать решился— пущай, думаю, меня повесят, лучше смерть принять, чем с тоски погибать. Подговорил товарища из уральских казаков, летом прошлого года было это дело,— в ту пору хан на кочевке был, верстах во ста от города. Украли мы у него четырех аргамаков что ни на есть лучших из-под его седла. Вынес бог, слава те господи!.. А ехали только по ночам, днем в камышах залегали, лошадей стреножили да наземь валили их, чтоб хивинцы аль киргизы нас не заприметили. Как собирались бежать, опять уговаривал я Мокея Данилыча и опять не согласился он на побег, а только мне и тому уральскому казаку слезно плачучи наказывал: «Ежели, говорит, вынесет вас бог, повестите, говорит, братцы моего родимого Марка Данилыча, господина Смолокурова, а ежели в живых его не стало, племянников моих аль племянниц отыщите. Попросите их Христом богом — поболели бы сердцем по горьком, несчастном житье моем. Хан в деньгах теперь нуждается, казна у него пустехонька. Сот пять тиллэ, тысячу, значит, целковых, радехонек будет взять за меня».

— А дело надо делать,— прибавил Хлябин,— через оренбургского купца Махмета Субханкулова. Каждый год он ездит в Хиву торговать. С ханом в большой дружбе, иной раз по целым ночам с глазу на глаз они куликают. Вишневой наливкой всего больше хану он угождает. Много привозит ее, а денег не берет, а хан-от до вишневки больно охоч. Оттого и уважает Субханкулова. Немало русского полону тот татарин выкупил, ходок на это дело. Только и ему надо сот пять рублев за труды дать.

* * *

Кончил Хлябин, а Марко Данилыч все сидит, склонивши голову... Жалко ему брата, но жалко и денег на выкуп... Так и сверкает у него мысль: «А как воротит-

ся да половину достатков потребует? Дунюшка при чем тогда?.. Да врет Корней, врет и этот проходимец, думает за сказки сорвать с меня что-нибудь. Народ теплый. Надобно, однако, чтобы ни он, ни Корней никому ни гу-гу, по народу бы не разнеслось. Дарья Сергевна пуще всего не проведала бы... Обоих — и Корнея и выходца — надобно сбыть куда-нибудь... А жаль Мокеюшку!.. Шутка ли, двадцать с лишком годов в басурманской неволе? Сколько страху, сколько маяты принял сердечный!.. Да врет проходимец... Не может быть того».

А долговязый Хлябин все стоит да стоит, все ждет ответа на свои речи.

— Рассказал ты, братец, что размазал,— молвил, наконец, ему Марко Данилыч.— Послушать тебя, так и сказок не надо... Знатный бахарь! [1]. Надо чести приписать! А скажи-ка ты мне по чистой правде да по совести — сам ты эти небылицы в лицах выдумал али слышал от какого-нибудь бахвала?

— Истинную правду вам сказываю, вот как перед самим Христом,— вскликнул Терентий и перекрестился.— Опричь меня, других выходцев из хивинского полона довольно есть — кого хотите спросите; все они знают Мокея Данилыча, потому что человек он на виду — у хана живет.

— Знаю я вас, хивинских полонянников,— молвил, нахмурясь, Марко Данилыч.— Иной гулемыга [2], бежит от господ аль от некрутчины, да, нашатавшись досыта, и скажется хивинским выходцем. Выгодно — барский, так волю дадут, а от солдатчины во всяком разе ушел... Ты господский, говоришь?

— Был господским,— отвечал Хлябин.

— Я наперед это знал,— молвил Смолокуров.— И чего ты не наплел! И у самого-то царя в доме жил, и жены-то царские в ситцевых платьишках ходят, и стряпка-то царем ворочает, а министров-то скалкой по лбу колотит! Ну, кто поверит тебе? Хоша хивинский царь и басурманин, а все же таки царь,— стать ли ему из-за пирогов со стряпкой дружбу водить. Да и как бы она посмела министров скалкой колотить? Ври, братец, на здоровье, да не завирайся. Нехорошо, любезный!

---

[1] *Бахарь* — краснобай, а также сказочник.

[2] *Гулемыга* — праздный гуляка, шатун.

— Не верите мне, так у Корнея Евстигнеича спросите,— сказал на то Хлябин.— Не я один про Мокея Данилыча ему рассказывал, и тот казак, с коим мы из полону вышли, то же ему говорил. Да, опричь казака есть и другие выходцы в Астрахани, и они то же самое скажут. А когда вышли мы на Русь, заявляли о себе станичному атаману. Билеты нам выдал. Извольте посмотреть,— прибавил Хлябин, вынимая бумагу из-за пазухи.

Внимательно прочитал билет Марко Данилыч и, сложивши его, молча отдал Терентью. «А ведь дело-то на правду похоже! — подумал он.— Эх, Мокеюшка, Мокеюшка!.. Сердечный ты мой!.. Как же теперь быть-то? Дунюшку ведь этак совсем обездолишь.. Ах ты, господи, господи!.. Наставь, вразуми, как тут поступить».

— Вот что,— надумавшись, сказал он Хлябину.— По билету вижу, что ты в самом деле вышел из полону́. Хоша и много ты насказал несодеянного, а все-таки насчет брата я постараюсь узнать повернее, а потом что надо, то и сделаю. Этот оренбургский татарин к Макарью на ярманку ездит?

— Каждый год ездит; там у него и лавка в Бухарском ряду,— отвечал Хлябин.

— Даст бог, повидаюсь, потолкую с ним, ярманка не за горами,— сказал Смолокуров.— И ежели твои слова справедливы окажутся, уговорюсь с ним насчет выкупа. А теперь вот тебе,— прибавил Марко Данилыч, подавая Хлябину пятирублевую.

Тот с низким поклоном поблагодарил.

— Вы Субханкулову, ваше степенство, больше тысячи целковых ни под каким видом не давайте,— пряча бумажку в карман, молвил Хлябин.— Человек он хороший, добрый, зато уж до денег такой жадный, что другого такого, пожалуй, и не сыскать. Заломит и невесть что, узнавши про ваши достатки. А вы тогда молвите ему: «Как же, мол, ты, Махметушка, летошний год казачку Пелагею Афанасьевну у куш-бека[1] Рим Берды за пятьдесят тиллэ только выкупил, значит, меньше двухсот целковых, как же, мол, ты, дружище, енотаевского мещанина Илью Гаврилова у мяхтяра[2] Ата-Бишуева за семьдесят тиллэ выкупил?..» Я вам записочку напишу, за сколько кого

[1] *Куш-бек* — вроде министра.
[2] *Мяхтяр* — вельможа.

он выкупал. А ежели Субханкулов скажет, что Мокея Данилыча надо у самого хана выкупить, а он дешево своих рабов не продает, так вы молвите ему: «А как же, мол, ты Махметушка, два года тому назад астраханского купеческого сына Махрушева Ивана Филипыча с женой да с двумя ребятишками у хана за сто, за двести тиллэ выкупил?» Да тут же и спросите его: «А сколько, мол, надо тебе вишневки на придачу киевской, скажите, отпущу, знаю-де, что его ханское величество очень ее уважает». Только скажите — перестанет лишки́ запрашивать.

— Сам же ты говоришь, что цена на полонянников ниже тысячи рублей на серебро. Так за что же я этой бритой плеши, Субханкулову, тысячу, а пожалуй, и больше отвалю?

— Хана не согласишь взять дешево за Мокея Данилыча,— молвил Хлябин.— Ему известно, что он из богатого рода. И другие, что с нами вместе в полон попали, про то говорили, и сам Мокей Данилыч не скрывался.

— Вот нужно было! — молвил с досадой Марко Данилыч.— Языки-то больно долги́ у вас там! Говорили бы да оглядывались, а то сдуру, как с дубу!

— Купца Богданова семипалатинского летошний год из полону выкупали,— сказал Хлябин.— Хлопотал не Субханкулов, а сибирский купец, тоже татарин. Узнали в Хиве, что Богданов из богатой семьи, так восемьсот лобанчиков[1] сорвали, значит, больше тысячи тиллэ[2], без малого, значит, четыре тысячи целковых. А про Мокея Данилыча тоже знают, что он из богатых. Ведь иные хивинцы и сами на Макарьевскую ездят и оттоле всякие вести привозят. Мокею Данилычу про свои достатки было никак невозможно скрыть — и без того бы узнали. Прежний-то его хозяин для того больше и мучил его, что был в надежде хорошие деньги за него взять.

Замолчал Марко Данилыч и, зорко поглядев на Хлябина, сказал:

---

[1] *Лобанчик* — золотая двадцатифранковая монета времен Реставрации и Людовика Филиппа. До Крымской войны она была в большом ходу в России.

[2] *Тиллэ* — золотая бухарская монета, по достоинству равняется 3 рублям 84 копейкам металлическим.

— Что же ты теперь хочешь с собой делать?

— Перво-наперво в деревне у себя побываю, сродников повидаю,— отвечал Хлябин,— а потом стану волю от господ выправлять...

— А потом? — спросил Смолокуров.

— А потом буду работы искать,— сказал Хлябин.— Еще в Астрахани проведал от земляков, что сродников, кои меня знали, ни единого вживе не осталось, хозяйка моя померла, детки тоже примерли, домом владеют племянники — значит, я как есть отрезанный ломоть. Придется где-нибудь на стороне кормиться.

— Хочешь ко мне? — спросил Марко Данилыч.

— Не оставьте вашей добротой, явите милость,— низко кланяясь, радостно промолвил Терентий.— Век бы служил вам верой и правдой. В неволе к работе привык, останетесь довольны... Только не знаю, как же насчет воли-то?

— Я сам об ней стану хлопотать,— вставая со скамьи и выпрямляясь во весь рост, сказал Смолокуров.— Скорее, чем ты, выхлопочу. А тебя пошлю на Унжу, лесные дачи там я купил, при рубке будешь находиться.

— Всячески буду стараться заслужить вам, Марко Данилыч, не оставьте, Христа ради, при моей бедности,— сказал Терентий Михайлов.

— Насчет жалованья потолкуем завтра, теперь уж поздно. Да и тебе с дороги-то отдохнуть пора,— сказал Марко Данилыч, направляясь из сада вместе с Хлябиным.— Все будет сделано... Не забуду, что братнину участь ты облегчил. Не оставлю... Ступай с богом да кликни Корнея, в горницы бы ко мне шел... Вот еще что: крепко-накрепко помни мой приказ. Ни здесь, ни в деревне у сродников, ни на Унже и слова одного про Мокея Данилыча не моги вымолвить. Ранней болтовней, пожалуй, все дело испортишь. Про свои похожденья что хочешь болтай, а про братанича и поминать не смей. Слышишь?

— Слушаю, Марко Данилыч, исполню ваше приказанье,— ответил Хлябин.— Мне что? Зачем лишнее болтать?

— Ступай же со Христом. Спроси там у стряпки поужинать, да и ложись с богом спать,— сказал Марко Данилыч.— Водку пьешь?

— При случае употребляем,— сладко улыбаясь, ответил Хлябин.

— Пришлю стаканчик на сон грядущий,— молвил Смолокуров.— Прощай. Не забудь же кликнуть Корнея, сейчас бы шел,— промолвил он, входя по ступеням заднего крыльца.

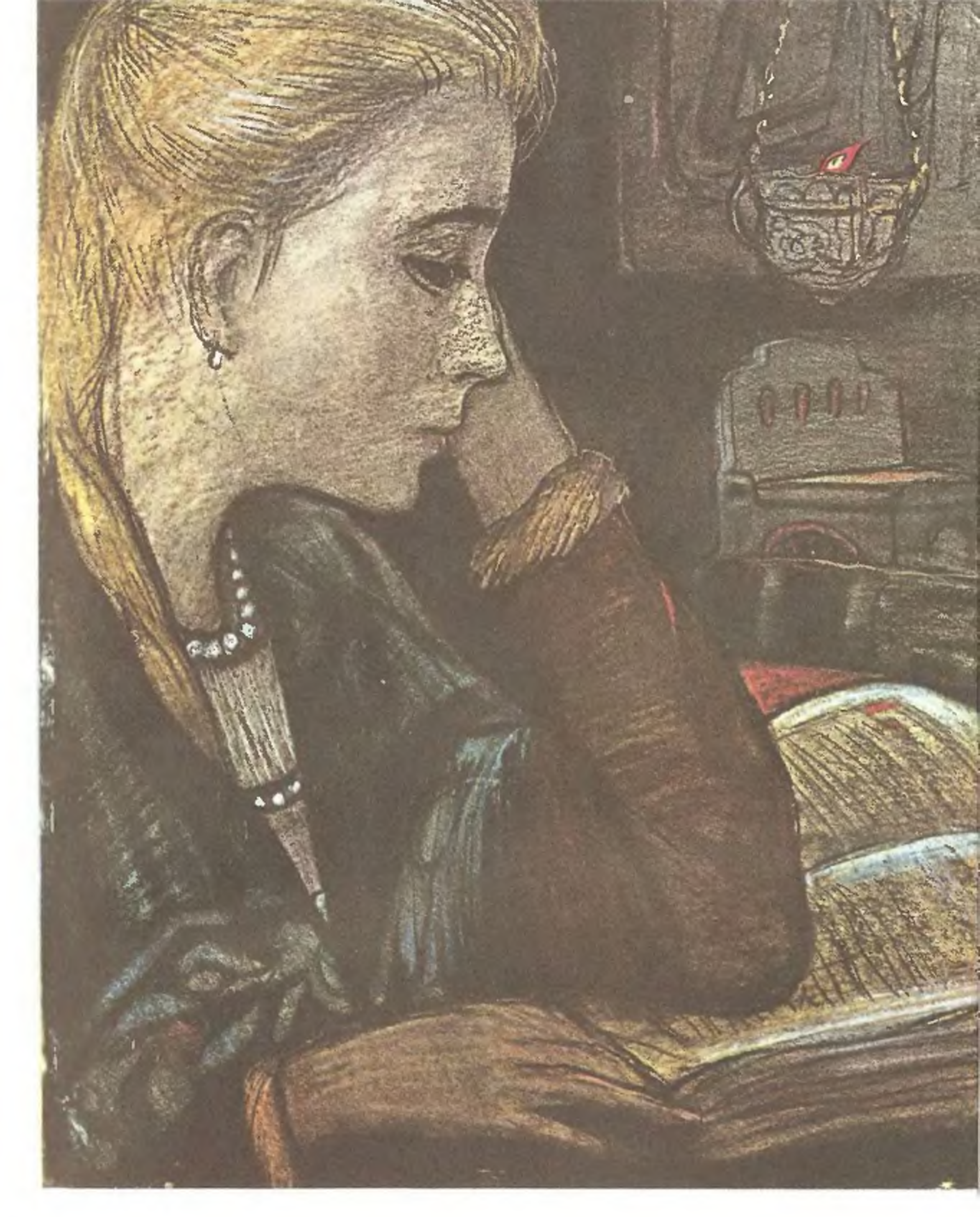
* * *

Пришел Марко Данилыч в душную горницу и тяжело опустился на кресло возле постели... «Ровно во сне,— размышлял он.— Больше двадцати годов ни слуху, ни духу, и вдруг вживе... Что за притча такая?.. На разум не вспадало, во снах не снилось... Знать бы это годика через три, как пропал на̀ море Мокеюшка, то-то бы радости было... А теперь... Главное, Дуня-то у меня при чем останется?.. Еще женится, пожалуй, на Дарье Сергевне, детей народят... А жаль Дарью Сергевну, не чует сердечная, что он вживе!.. Как бы не узнала?.. Поскорей надо отсюда Корнея в Астрахань. А Терентья на Унжу. Не то, наливши зенки, спьяну-то кому-нибудь и наболтают... А Субханкулова отыщу непременно...».

Вошел Корней. Не успел он положить уставного начала, как Марко Данилыч на него напустился:

— Тебя-то зачем нелегкая сюда принесла? Ты-то зачем, покинувши дела, помчался с этим проходимцем? Слушал я его, насказал сказок с три короба, только мало я веры даю им. Ты-то, спрашиваю я, ты-то зачем пожаловал? В такое горячее время... Теперь, пожалуй, там у нас все дело станет.

— Насчет этого нечего беспокоиться. Все дело в должном ходу, и всему будет хорошее совершенье,— с обычной грубостью ответил Корней.— А насчет Терентья, будучи в Астрахани, я так рассудил: слышу — на каждом базаре он всякому встречному и поперечному рассказывает про свои похожденья и ни разу не обойдется без того, чтобы Мокея Данилыча не помянуть. Думаю: «Как об этом посудит хозяин? Порадуется али задумает дело-то замять? На то его воля, а мне надо ему послужить, чтобы лишней болтовни не было». Пуще всего того я опасался, чтобы Хлябина речи не дошли до Онисима Самойлыча, пакости бы он из того какой не сделал. Оттого и вздумал я Терентья спровадить подальше от Астрахани и обещал свезти его на родину. А он тому и



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава XXI.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава III.

рад. Сам я для того поехал, чтобы дорогой он поменьше болтал. Глаз с него все время не спускал. Хорошо аль худо сделано?

— Хорошо,— помолчавши немного, сказал Марко Данилыч.

— То-то и есть, а то орать без пути да ругаться,— ворчал Корней.— И у нас голова-то не навозом набита, а мы тоже кой-что смекаем. Так-то, Марко Данилыч,— добавил он с наглой улыбкой.

— Ладно, ладно,— сказал Марко Данилыч.— Смотри только никому ни гу-гу, да и за выходцем приглядывай, не болтал бы. К себе его беру, на Унжу...

— Что ж? Дело не худое,— молвил Корней.— Отсюдова подальше будет.

— А насчет выкупа подумаю,— продолжал Марко Данилыч.— Надо будет у Макарья с этим Субханкуловым повидаться... Ну, что в Астрахани? Что зятья доронинские? Орошин что?

Обо всем стал Корней подробно хозяину докладывать, и просидели они далёко за̀ полночь. Марко Данилыч остался Корнеем во всем доволен.

Через день Корней сплыл на Низ, а Хлябин к сродникам пошел. Воротился он с горькими жалобами, что нерадостно, неласково его встретили. Понятно: лишний рот за обедом, а дом чуть ли не самый бедный по всей вотчине. Терентий, однако ж, не горевал, место готово. Скоро на Унжу поехал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В духов день Марко Данилыч, с семьей и с Марьей Ивановной, утром за чаем сидел. Весна была, радовалась вся живая тварь, настали праздники, и люди тоже стали веселы, а у Марка Данилыча не тем пахло. Все сидели сумрачны, все молчали, каждый свою думу думал. Как ни силился Смолокуров отделаться от тягостных мыслей, пленный брат, в непосильной работе, не сходил у него с ума. Но чуть только взглянет на Дунюшку, ровно искра стрекнет у него в голове: «Его избавить — ее обездолить!..» Борьба застывшей любви к брату с горячей любовью к дочери совсем одолела его.

Дарья Сергевна сидела мрачная и злобно молчала, искоса поглядывая на ненавистную Марью Ивановну. Сколько ни сидела она в каморке, сколько ни подслушивала, не могла понять хорошенько, о чем говорит барышня с Дуней. Всем было тоскливо.

Первый заговорил, наконец, Марко Данилыч, нельзя ж было хозяину при такой гостье молчать. Однако разговор не вязался. Марья Ивановна была задумчива и в рассеянье иногда отвечала невпопад. Жаловалась на нездоровье, говорила, что голова у ней разболелась.

Марко Данилыч стал беспокоиться, за лекарем хотел посылать, но Марья Ивановна наотрез отказалась от всякого леченья.

— В саду долго вчера сидели,— сказал Марко Данилыч,— а было сыровато. Дело ваше нежное, господское, много ли вам надо, чтобы простудиться.

— Нет, это бывает со мной,— молвила Марья Ивановна, взявшись руками зà голову.— Здоровьем-то ведь я не богата. Пойду лучше прилягу. Умеешь делать горчичники, Дунюшка?

— Умею,— ответила Дуня.

— Сделай мне, пожалуйста,— сказала Марья Ивановна.— Прощайте, Марко Данилыч. Обойдется, бог даст, и без доктора.

В Дуниной комнате Марья Ивановна прилегла на диване. В самом деле, она чувствовала себя не совсем хорошо. Дуня уселась возле нее на скамеечке и полными любви взорами уныло глядела на больную наставницу.

Марья Ивановна в эти дни возбудила в душе Дуни сильное, ничем неудержимое стремление к таинственной вере, которую она называла единою истинной. Взросшая на строгом соблюденье внешних обрядов, привыкшая только в них одних видеть веру, молодая впечатлительная девушка, начитавшись мистических книг, теперь равнодушно стала смотреть на всякую внешность. Дарья Сергевна еще до приезда Марьи Ивановны с ужасом стала замечать, что Дуня иной раз даже спать ложится, не помолившись. Не раз журила ее за то, и Дуня не оправдывалась, ссылаясь на забывчивость. С приездом Марьи Ивановны стала она еще равнодушнее к обрядам, хоть та сама не раз говорила ей, что должна непременно их соблюдать, не навести бы домашних на мысль, что хо-

чет она идти «путем тайной веры к духовному свету». И то говорила Марья Ивановна, что в церковных обрядах ничего худого нет, что они даже спасительны для тех, кто не может постигнуть «сокровенной тайны», открытой только невеликому числу избранных.

— Обещали вы, душечка Марья Ивановна, рассказать мне о «живом слове»,— сказала Дуня, сидя на скамеечке возле Марьи Ивановны.— Или, может быть, вам тяжело теперь говорить?

— Изволь, мой друг— ответила Марья Ивановна.— Расскажу кое-что, насколько ты сможешь понять. Помнишь ли, говорила я тебе про людей, просветленных благодатью, озаренных неприступным духовным светом. Своей жизнью и стремленьем к духовному получают они блаженство еще здесь на земле. Сам бог вселяется в них, и что они ни говорят, что ни приказывают, должно исполнять без рассужденья, потому что они не свое говорят, а вещают волю божию. Их речь и есть «живое слово». Перед тем, как говорить, они приходят в восторг неописанный, а потом читают в душе каждого, узнают чужие мысли и поступки, как бы скрытно они ни были сделаны, и тогда начинают обличать и пророчествовать... Увидишь таких.

Задумалась Дуня, ни слова не молвила в ответ. Разгорелась у ней душа, и чувствовала она неодолимое желанье как можно скорей увидать этих чудных людей и услышать живое их слово.

— Помнишь ли, Дунюшка, еще в прошлом году ты меня спрашивала, что такое значит «духовный супруг»,— продолжала Марья Ивановна.— Тогда я не сказала тебе, потому что ты не поняла бы моих слов, а теперь; как ты прочитала столько полезных книг и приняла сердцем все в них написанное, понять ты можешь, хоть покамест и не все еще. Слушай. Ежели кто проникнет во всю «сокровенную тайну», ежели кто всю ее познает и будет к ней «приведен», тот вступает в супружество с тем пророком, который его принял, или с тем человеком божиим, на которого ему укажет пророк. В духовное супружество вступает, не в плотское. Между людьми, познавшими «тайну», есть и мужчины и женщины, они водятся духом, они обитаемы богом. Такие мужчины приводят в тайну женщин, женщины — мужчин. Это и есть «духовное супружество». Оно вечно. Плот-

ское супружество длится до смерти жены или мужа, духовное не прекращается во веки веков. Оно сохраняется в будущей жизни, и нет конца ему... Тут великая премудрость... Нельзя постичь ее умом человеческим, нельзя и рассказать обыкновенным словом.

— Стало быть, у духовного супруга бывает по нескольку жен? — спросила удивленная Дуня.

— Что ж из того,— сказала Марья Ивановна.— Ведь это не плотские муж с женой. Не телесная между ними связь, а духовная. Все равно, что союз бестелесных ангелов. Тебе пока еще это непонятно, но, когда познаешь «сокровенную тайну», будет ясно как день. Тут творится божие дело, а не вражье. Враг в человеке только телом владеет, оттого что им оно сотворено, а богу принадлежит им созданная душа. Потому плотское супружество — служение врагу, а духовное — служение богу. Для того-то и надо всю свою жизнь хранить девство, чтобы не поработить себя врагу погубителю, для того-то и надо свое тело всяческими изнурять трудами, мучить его постом, страданьями... Тело — враг твой, оно — темница твоей души, ломай ее, разрушай, освобождай из нее свою душу. Но лишений и трудов еще мало, для спасения надо непременно проникнуть «сокровенную тайну», тогда только можешь бога вместить в себя. А вместишь — тогда уж враг тебе не страшен и плоть над тобой владеть уж не может. Праведницей станешь, и не будет в тебе греха, не будет над тобой ни власти, ни закона, потому что «праведнику закон не лежит». Будешь свободна все делать, будешь блаженна и здесь, на земле, будешь блаженна, как ангел небесный, будешь райские радости видеть, будешь сладкое ангельское пение слышать.

В это время за перегородкой возле дивана послышался какой-то шорох. Вздрогнула Марья Ивановна.

— Что это? — спросила она.

— Должно быть, мыши,— спокойно ответила Дуня.— Тут каморка есть, в ней никогда никого не бывает. Тетенька Дарья Сергевна иногда ставит там кое-что из съестного. Тем и развела их. А вы разве боитесь мышей?

— Не мышей я боюсь, а людей, не подслушал бы кто,— сказала Марья Ивановна.

— Кому же подслушать? — с улыбкой молвила Ду-

ня.— Никогда тут никого не бывает. Да и услыхал бы кто — разве поймет?

Марья Ивановна успокоилась.

— Ах, милая моя, дорогая Марья Ивановна,— после короткого молчанья, нежно ласкаясь к ней и целуя руку, заговорила Дуня.— Хоть бы глазком взглянуть на тех чудных людей, хоть бы словечко одно услышать от них.

— Имей терпение, мой друг,— сказала Марья Ивановна.— Ждать недолго, если ты твердо решилась «идти на путь» и принять «сокровенную тайну».

— Всей душой хоть сейчас,— вся дрожа от волненья, ответила Дуня.— Покажите их мне, Марья Ивановна, ради Христа,— покажите... Все сделаю, все, что нужно...

— Как же это сделать? — в раздумье сказала Марья Ивановна.— Разве вот что... Отпустит ли тебя Марко Данилыч погостить ко мне ну хоть на месяц, хоть на три недели?.. Я бы тебе показала.

— Не знаю,— грустно ответила Дуня.— Кажись бы, отчего не пустить? Сам он тоже собирается ехать на месяц... Попросите, Марья Ивановна, вас-то он послушает...

— Попробую...— сказала Марья Ивановна.— А теперь почитай мне, Дунюшка, что-нибудь из «Таинства креста» [1], а я буду тебе пояснять, что ты не вдруг поймешь.

* * *

Все утро просидела в каморке Дарья Сергевна, жадно прислушиваясь к словам Марьи Ивановны, но никак не могла взять в толк, о чем та говорила. Поняла только, что речь идет о вере и что Марья Ивановна чем-то смущает Дуню, в иную веру, что ли, хочет ее свести. В какую же? «Конечно, в никонианство, в свою смущенную великороссийскую церковь,— догадывалась Дарья Сергевна.— Ох, господи, господи!.. И отца убьет и себя на веки вечные погубит!.. Ох, уж эта проклятая Марья Ивановна!.. А насчет замужества уж так темно, так мудрено говорит, что и понять невозможно... Господи, го-

[1] Мистическое сочинение Дю Туа. Перевод на русский язык И. Ястребцова напечатан в 1820 году в Петербурге.

споди! Принесло же эту еретицу на нашу беду — совсем расстроит она Дунюшку, сгубит ее, сердечную!.. Да еще в гости зовет к себе. Нет, беспременно обо всем расскажу Марку Данилычу. А как не примет он слов моих?.. Она и его-то ровно околдовала. Что ни скажет, окаянная, то у него и свято... А все же попытаюсь, будь что будет, а уж скажу непременно».

И тотчас же решилась поговорить с Марко Данилычем.

Все еще волновали Смолокурова привезенные Корнеем вести. Пленный брат из ума не выходил, а любовь к дочери и жадность к деньгам не позволяли решиться на выкуп. А тут еще Дарья Сергевна со своими опасеньями.

— Свободно вам, Марко Данилыч? — спросила она, осторожно входя в его комнату.— Мне бы чуточку поговорить с вами.

«Не проболтался ли Корней? — подумал Марко Данилыч, и вся кровь бросилась ему в голову.— За жениха не пришла ли просить?»

С нетерпеньем вскинул он на Дарью Сергевну горевшие, как уголь, глаза.

— Что случилось?— тревожным голосом спросил он у нее.

— Покамест ничего еще особенного,— ответила Дарья Сергевна.— Насчет Дуни хотела поговорить с вами.

— Что такое? — спросил Марко Данилыч.

— Видите ли... Как бы это сказать?..— робко начала Дарья Сергевна.— Мне сдается, что-то не больно хорошее.

— Что такое? — сверкнув очами, беспокойно и громко вскрикнул Марко Данилыч.— Что такое случилось?

— Пока ничего еще, а стала я замечать, что, как только приехала к нам эта Марья Ивановна, Дунюшка совсем другая стала,— понизив голос, отвечала Дарья Сергевна.

— Повеселела? Ну и слава богу! — молвил Марко Данилыч.

— Богу перестала молиться... Вот что! — прошептала Дарья Сергевна.

— Как богу перестала молиться? — спросил, нахмурясь, Марко Данилыч.

— Ни вечером на сон грядущий, ни поутру, как встанет, больше трех поклонов не кладет и то кой-как да та-

ково неблагочестно. Не раз я говорила ей, не годится, мол, делать так, а она ровно и не слышит, ровно я стене говорю. Вам бы самим, Марко Данилыч, с ней поговорить. Вы родитель, ваше дело поучить детище. Бог взыщет с вас, ежели так оставите.

— Поговорю, надо поговорить. В самом деле, так не годится... Как можно бога забывать!..— ходя взад и вперед, говорил Марко Данилыч.— Сегодня же поговорю... Напрасно прежде не сказали... Молода еще... А надо поначалить, надо.

— Опять же вот что я замечаю, Марко Данилыч,— продолжала, ободренная успехом разговора, Дарья Сергевна.— Как только приехала эта Марья Ивановна, Дунюшка пост на себя наложила, мясного в рот не берет.

— Ну, в этом беды еще немного,— сказал Марко Данилыч.— Ее дело. Пущай постится, коли хочет.

— А в пятницу зашла к ней — сидит с Марьей Ивановной и пьет чай со сливками... По какому же это уставу? А все с Марьи Ивановны примеры берет. Во всем по ее следам идет.

— Хорошего тут не много, да и больно-то худого не вижу,— сказал Марко Данилыч.— Мы вот и до старости дожили, и то иной раз согрешишь — оскоромишься, особливо в дороге либо в компании. А поговорить и про это поговорю. Надо правила исполнять, надо.

— Главное-то вот в чем, Марко Данилыч,— продолжала Дарья Сергевна.— Прислушивалась я давеча к ихним разговорам — да никак не могу обнять их разумом. Что-то уж оченно мудрено, а хорошего, кажись, немного. Хотите — верьте, хотите — не верьте, а Марья Ивановна Дунюшку смущает.

— Чем же это? — быстро спросил Марко Данилыч.

— Насчет веры, Марко Данилыч, все насчет веры,— с глубоким вздохом, покачивая головой, отвечала Дарья Сергевна.— Про какие-то сокровенные тайны ей толкует, про каких-то безгрешных людей... что в них сам бог пребывает.

— Что же тут худого? — возразил Марко Данилыч.— Должно быть, про святых угодников говорила. Вредного не замечаю.

— А тайны-то сокровенные? — полушепотом спросила Дарья Сергевна.

— Какие сокровенные тайны? — спросил Марко Данилыч.

— Сама не знаю и домыслиться не могу, что за сокровенные тайны,— в недоумении разводя руками, отвечала Дарья Сергевна.— А сдается, что тут что-то не доброе. Сбивает она нашу голубушку с пути истинного. В свою, должно быть, великороссийскую церковь хочет ее совратить. Вот чего боюсь, вот чего опасаюсь, Марко Данилыч... Как подумаю, так сердце даже кровью обольется, так и закипит... Ох, господи, господи!.. До каких бед мы дожили.

— Какие тут беды? Где они? — сказал Марко Данилыч.— Помстилось вам, что Марья Ивановна в великороссийскую хочет Дуню свести... Поп, что ли, она консисторский? Нужно ей очень! Толком не поняли,— сами же говорите,— да не знай, каких страхо́в и навыдумали.

— Истосковалась я, Марко Данилыч, совсем истосковалась, глядя на Дунюшку,— продолжала, горько всхлипывая, Дарья Сергевна.— Вот ведь что еще у них затеяно: ехать Марья-то Ивановна собирается и хочет вас просить, отпустили бы вы погостить к ней Дунюшку.

— Отчего же не пустить? — сказал Марко Данилыч.— Я с первого же раза, как она приехала, обещался. Слова назад не ворочу.

— Ох, Марко Данилыч, Марко Данилыч! Быть, сударь, беде! Помяните мое слово! — плача навзрыд, говорила Дарья Сергевна.

— Полно хныкать-то, ничего не́ видя,— с досадой сказал Марко Данилыч.— Подите-ка лучше закусить припасите чего-нибудь — белужинки звено да провесной белорыбицы, икорки зернистой поставьте да селедочек копченых, водочки анисовой да желудочной, мадерцы бутылочку. Обедать еще не скоро, а пожевать что-то охота пришла.

И Дарья Сергевна тихими шагами пошла вон из комнаты.

* * *

На другой день вечером не совсем еще здоровая Марья Ивановна сидела за круглым чайным столом, укутавшись в большой теплый платок. Дуня с ней рядом, а напротив Марко Данилыч и Дарья Сергевна.

— Э, какую вдруг погодушку надуло,— молвил Марко Данилыч, прислушиваясь, как частый крупный дождик стучал в стекла, а от порывистого ветра тряслись оконницы, свистело и визжало по железным крышам и заунывно гудело в трубе.

— Боюсь, надолго бы не испортилась погода,— сказала Марья Ивановна.— Загостилась я у вас, Марко Данилыч, пора бы вам такую наянливую гостью и со двора долой.

— Что ж это вы, сударыня Марья Ивановна, так уж очень заторопились? Погостите,— отозвался Марко Данилыч.— Переждите хоть ненастье-то. Теперича не осеннее дело, дожди да холода долго не простоят.

— Пора мне, очень пора, Марко Данилыч,— ответила Марья Ивановна.— Вот уж ведь две недели, как я у вас гощу. Братья, наверно, теперь домой воротились, ждут меня не дождутся.

— Успеете повидаться с ними, барышня, а нас бы еще хоть сколько-нибудь деньков порадовали... Дунюшка у меня совсем без вас стоскуется,— говорил Марко Данилыч.

С полными слез глазами прижалась Дунюшка к Марье Ивановне и шепотом просила ее:

— Хоть немножко погостите... Без вас с тоски помру.

— Нельзя, Дунюшка, никак нельзя, моя милая. В другое время наговоримся,— с ласковой улыбкой отвечала на горячие просьбы Дуни Марья Ивановна.— Через месяц буду в Фатьянке. Тогда, надеюсь, Марко Данилыч посетит меня на новоселье и тебя привезет. Ягоды поспеют к тому времени, за ягодами будем ходить, за грибами. Ты любишь грибы брать?

— Никогда не хаживала,— отвечала Дуня.— Не с кем.

— Ну, бог даст, со мной ходить будешь. Это очень весело. Вы позволите? — спросила Марья Ивановна, обращаясь к Марку Данилычу.

— С вами-то не позволить! — молвил Марко Данилыч.— А здесь точно что ей скучновато; подруг таких, с какими бы можно ей знакомство водить, нет ни одной у нас в городу. Купцов хороших ни единого, дворян хороших тоже нет, одно только крапивное семя — чиновники. А с ихними дочерями, с мещанками да с крестьян-

ками не позволю я водиться Дунюшке. Народ балованный. Мало ли чего можно от них набраться.

— Могу вас уверить, Марко Данилыч, что ваша Дуня не такова, чтобы могла от кого-нибудь набраться дурного. Мало я встречала таких строгих к себе девушек,— сказала Марья Ивановна.— Бояться вам за нее нечего.

— Не о том речь веду, сударыня,— возразил Марко Данилыч.— Тут главная причина в том, что будет ей оченно зазорно, ежели с простыми девками она станет водиться. Не знаете вы, что за народ у нас в городе живет. Как раз наплетут того, что и во сне не виделось никому.

— Да, должно быть, ей скучно, бедненькой,— заметила Марья Ивановна.— А знаете ли, что мне пришло в голову,— прибавила она, немножко повременя.— Как-то вы мне говорили, что вам куда-то по делам нужно ехать. На месяц, помнится?

— Безотменно нужно,— отвечал Марко Данилыч.— В Астрахань, а оттоль в Оренбург, может статься!

— С месяц проездите? — спросила Марья Ивановна.

— Да, с месяц проезжу,— ответил Марко Данилыч.— Да навряд ли еще месяцем-то и управлюсь. Перед самым Макарьем придется домой воротиться.

— Отпустите-ка ко мне на̀ это время Дунюшку-то,— сказала Марья Ивановна.— Ей бы было повеселее: у меня есть племянница ее лет, разве маленько будет постарше. Они бы подружились. Племянница моя девушка хорошая, добрая, и ей тоже приятно было бы видеть у себя такую милую гостью, и Дуне было бы весело. Сад у братьев огромный, десятинах на четырех, есть где погулять. И купанье в саду и теплицы. Отпустите, Марко Данилыч, привезу ее к вашему возврату в сохранности.

— Право, не знаю, что вам на̀ это сказать, барышня,— молвил нерешительно Марко Данилыч.— Как же ехать-то ей к незнакомым людям?

— К каким незнакомым? Ведь она ко мне поедет! Обещали же ее ко мне отпускать? — сказала Марья Ивановна.

— К вам, барышня, в Фатьянку, значит. А как же я пущу ее к господам Луповицким? Ни я их не знаю, ни они ни меня, ни Дунюшки не знают,— говорил Марко Данилыч.

— Она не к Луповицким поедет, а ко мне,— возразила Марья Ивановна.— Ведь у меня и в Луповицах есть часть имения после матушки. Там и флигелек у меня свой и хозяйство кой-какое. Нет, отпустите ее в самом деле. Полноте упрямиться, недобрый этакой!

— Тятенька, пожалуйста! — тихо промолвила Дуня, склонивши русую головку на отцовское плечо.— Скучно мне ведь будет здесь — без тебя не буду знать, куда и деваться. Пожалуйста, отпусти!

А Дарья Сергевна так и сверкает глазами. Была бы ее воля, наотрез отказала бы.

— Отпустите, Марко Данилыч,— продолжала Марья Ивановна.— Каково в самом деле целый месяц ей одной быть. Конечно, при ней Дарья Сергевна останется; да ведь у нее и без того сколько забот по хозяйству. Дунюшке одной придется скучать.

— Одна не останется, об этом не извольте беспокоиться,— обидчиво промолвила Дарья Сергевна, злобно взглянувши на Марью Ивановну.

— Как же решите вы, Марко Данилыч? — спросила Марья Ивановна, не обращая вниманья на слова Дарьи Сергевны.

— Право, не знаю, что вам и сказать,— молвил в раздумье Марко Данилыч.— Дело-то, видите, новое, непривычное. Еще никогда она у меня в чужих людях не бывала.

— Так вы не доверяете мне, Марко Данилыч? Ай, ай, ай, как стыдно! Между друзьями так не делается,— с укоризной покачивая головой, говорила Марья Ивановна.— Согласились, да и слово назад. Не ожидала я этого.

— Тятенька, да отпусти же, ради господа, сделай такую для меня милость,— нежно обвивая руками отца, молила Дуня.

— Как тут устоишь, как не согласишься? — сказал, наконец, Марко Данилыч, гладя Дуню по головке.— Ну так и быть — поезжай.

Вспрыгнула от радости Дуня, схватила отцовскую руку и покрыла ее горячими поцелуями.

— Ну, полно, полно, Дунюшка, полно, голубушка, будет,— говорил Марко Данилыч.— А вы, милостивая наша барышня, поберегите уж ее у меня. Я на вас полагаюсь. Сделайте милость.

— Не беспокойтесь, Марко Данилыч,— сказала в ответ Марья Ивановна.— Дурного она у меня ничего не увидит, шагу прочь от нее не ступлю, с глаз не спущу.

— Дико будет ей, непривычно,— глубоко вздохнувши, промолвил Марко Данилыч.— Господский дом — совсем иное дело, чем наше житье. Из головы у меня этого не выйдет. Съедутся, например, к вашим братцам гости, а она на таких людях не бывала. Тяжело будет и совестно, станет мешаться, в ответах путаться. Какое уж тут веселье?

— Не знаете вы, Марко Данилыч, как мои братья живут,— возразила Марья Ивановна.— Какие у них гости, какие собранья? Просто-напросто монастырь. Старший брат, Николай Александрыч, почти совсем уж старик, чуть бродит. Андрей Александрыч, опричь хозяйства, знать ничего не хочет, жена у него домоседка, и целый год, может быть, раза два либо три к самым близким соседям выедет. А у них в доме чужих почти никогда не бывает, особливо летом, во время полевых работ. Живут тихо, уединенно. Говорю вам, монастырь, как есть монастырь.

На другой день начались Дунины сборы. Не осушая глаз, больше всех хлопотала угрюмая Дарья Сергевна, а ночью по целым часам стояла перед иконами и клала поклоны за поклонами, горячо молясь, сохранил бы господь рабу свою, девицу Евдокию, ото всяких козней и наветов вражиих.

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В степной глуши, на верховьях тихого Дона, вдали от больших дорог, городов и людных селений стоит село Луповицы. Село большое, но строенье плохое в нем, как зачастую бывает в степных малолесных местах — избы маленькие, крыты соломой, печи топятся по-черному, тоже соломой, везде грязь, нечистота, далеко не то, что в зажиточном, привольном Поволжье. Зато на гумнах такие скирды хлеба, каких в лесах за Волгой и не видывали.

Овраг, когда-то бывший порядочной речкой, отделяет крестьянские избы от большой, с виду очень богатой господской усадьбы. Каменный дом в два яруса, с двумя флигелями лицевой стороной обращен на широкий двор и окружен палисадником, сплошь усаженным сиренью, жимолостью, таволгой, акацией и лабазником[1]. За домом старинный тенистый сад с громадными дубами и липами. С первого взгляда на строенья кидается в глаза их запущенность. Видно, что тут когда-то живали на широкую руку, а потом или дела хозяина расстроились, или поместье досталось другим, изменившим образ жизни прежних владельцев и забросившим роскошные палаты в небреженье. В стороне от усадьбы был огромный, но уж наполовину совсем развалившийся псарный двор, за ним — театр без крыши, еще дальше — запустелый конный завод и суконная фабрика. Зато хозяйственные постройки были в редком порядке — хлебные амбары, молотильня, рига на славу были построены из здорового леса, покрыты железом, и все как с иголочки новенькие.

[1] *Жимолость* — Lonicera tatarica. *Таволга* — Spirea crenata. *Лабазник* — Spirea ulmaria.

Отец Луповицких был одним из богатейших помещиков той стороны. Смолоду служил, как водится, в гвардии, но после возврата наших войск из Франции вышел в отставку, женился и поселился в родовом своем именье. Заграничная жизнь хоть и порасстроила немножко его дела, но состояния не пошатнула. Луповицкий барином жил, гости у него не переводились: одни со двора, другие на двор. Пиры бывали чуть не каждый день, охоты то и дело, и никто из соседей-помещиков, никто из городских чиновников даже помыслить не смел отказаться от приглашенья гостеприимного и властного хлебосола. Иначе беда: Луповицкий барин знатный, генерал, не одно трехлетие губернским предводителем служил, не только в своей губернии, но в Петербурге имел вес. Связи у него в самом деле были большие — оставшиеся на службе товарищи его вышли в большие чины, заняли важные должности, но со старым однополчанином дружбу сохранили. Приязнь их тщательно поддерживалась породистыми конями Луповицкого, отводимыми в Петербург на конюшни вельможных друзей. На псарном дворе у Луповицкого было четыреста псов борзых да триста гончих. Оркестр крепостных музыкантов управлялся выписанным из Италии капельмейстером. Была и роговая музыка, было два хора певчих, актеры оперные, балетные, драматические, живописцы, всякого рода ремесленники, и всё крепостные. Так широ́ко и богато проживал в своем поместье столбовой барин Александр Федорыч Луповицкий.

Под шумок поговаривали, будто Луповицкий масонства держится. Немудрено — в то время каждый сколько-нибудь заметный человек непременно был в какой-нибудь ложе. Масонство, однако ж, не мешало шумной, беспечной жизни богатых людей, а не слишком достаточные для того больше и поступали в ложи, чтобы есть роскошные даровые ужины. Ежели Луповицкий и был масоном, так это не препятствовало ни пирам его, ни театру, ни музыке, ни охоте. Иное сталось, когда он прожил в Петербурге целую зиму. Воротившись оттуда, к удивлению знакомых и незнакомых, вдруг охладел он к прежним забавам, возненавидел пиры и ночные бражничанья, музыку и отъезжие поля — все, без чего в прежнее время дня не мог одного прожить. Музыканты, актеры, живописцы распущены были по оброкам, псарня частью распродана,

частью перевешана, прекратились пиры и банкеты. Для привычных гостей двери стали на запоре, и опустел шумный дотоле барский дом. Луповицкий с женою стали вести жизнь отшельников. Вместо прежних веселых гостей стали приходить к ним монахи да монахини, странники, богомольцы, даже юродивые. Иногда их собиралось по нескольку человек разом, и тогда хозяева, запершись во внутренних комнатах, проводили с ними напролет целые ночи. Слыхали, что они взаперти поют песни, слыхали неистовый топот ногами, какие-то странные клики и необычные всхлипывания. Через несколько времени, опричь странников и богомольцев, стали к Луповицким сходиться на ночные беседы солдаты, крестьяне, даже иные из ихних крепостных. Никто понять не мог, что этот сброд грубых невежд и шатунов-дармоедов делает у таких просвещенных, светских и знатных людей, как Луповицкие. Александр Федорыч и в другом изменился: любил он прежде выпить лишнюю рюмку, любил бывать навеселе, любил хорошо и много покушать — а теперь ни вина, ни пива, даже квасу не пьет, только и питья у него чай да вода. Не только мясного — рыбного за столом у него больше не бывало, ели Луповицкие только хлеб, овощи, плоды, яйца, молочное, и больше ничего. Зато и в светлое воскресенье и в великую пятницу с сочельниками подавалась у них одна и та же пища.

Сестра Луповицкого была замужем за Алымовым, отцом Марьи Ивановны, умерла она раньше перемены, случившейся с ее братом. Вскоре умер и муж ее,— тогда Луповицкие маленькую сиротку, Марью Ивановну, взяли на свое попеченье. Воспитанье давали ей обыкновенное для того времени — наняты были француженка, немка, учительница музыки, учительница пения, а русскому языку, русской истории и закону божию велели учить уволенному за пьянство из соседнего села дьякону. Два сына Александра Федорыча тоже дома воспитывались — целый флигель наполнен был их гувернерами и разного рода учителями от высшей математики до верховой езды и фехтованья. Всё иностранцы были, а русскую премудрость и сынки с Марьей Ивановной почерпали у пропившегося дьякона. Петербургские вельможные друзья в благодарность за резвых рысаков предлагали Луповицкому выхлопотать его сыновьям звание пажей, но Александр Федорыч, до поездки в Петербург

сильно тосковавший, что, не будучи генерал-лейтенантом, не может отдать детей в пажеский корпус, и слышать теперь о том не хотел. «Хочу из них сделать сельских хозяев»,— писал он к старым своим приятелям, и нельзя было разуверить друзей его, что бывший их однополчанин обносился умом, и на вышке у него стало не совсем благополучно.

Все дивились перемене в образе жизни Луповицких, но никто не мог разгадать ее причины. Через несколько лет объяснилась она. Был в Петербурге «духовный союз» Татариновой [1]. Принадлежавшие к нему собирались в ее квартире и совершали странные обряды. С нею через одного из вельможных однополчан познакомился и Александр Федорыч. Вскоре и сам он и жена его, женщина набожная, кроткая и добрая, вошли в союз, а воротясь в Луповицы, завели у себя в доме тайные сборища.

Между тем, когда о «духовном союзе» узнали и участников его разослали по монастырям, добрались и до Луповицких. Ни их богатства, ни щедрые пожертвования на церкви, больницы и богадельни, ни вельможные однополчане, ничто не могло им помочь. Кончил свои дни Александр Федорыч в каком-то дальнем монастыре, жена его умерла раньше ссылки.

И сыновья и племянница хоть и проводили все почти время с гувернерами и учительницами, но после, начитавшись сначала четьи-миней и «Патериков» об умерщвлении плоти угодниками, а потом мистических книг, незаметно для самих себя вошли в «тайну сокровенную». Старший остался холостым, а меньшой женился на одной бедной барышне, участнице «духовного союза» Татариновой. Звали ее Варварой Петровной, у них была дочь, но ходили слухи, что она была им не родная, а приемыш либо подкидыш.

---

[1] Екатерина Филипповна Татаринова, жена директора рязанской гимназии, урожденная Буксгевден, во втором десятилетии нынешнего столетия собирала таинственные собрания в квартире своей матери в Петербурге, в Михайловском замке. Это было собрание хлыстов из высшего общества, во многом сходное с нынешней редстоковщиной или пашковщиной. Оно называлось «духовным союзом». После того как собрания Татариновой были прекращены, они возобновились в Петербурге же за Московской заставой и в тридцатых годах снова были закрыты. В это время Татаринова и некоторые из ее последователей были разосланы по монастырям.

Ссылка отца научила сыновей быть скрытней и осторожнее. Не прекратились, однако, у них собранья, но они стали не так многолюдны. Не было больше на них ни грязных юродивых, ни шатунов-богомольцев, ни странников; монахи с монахинями хоть и бывали, но редко. Притаились и молодые Луповицкие, как-то проведавшие, что и за ними следят. Тогда Марья Ивановна из Луповиц переехала в свое Талызино и там выстроила в лесу дом будто для житья лесника, а в самом деле для хлыстовских сборищ. В тех местах хлыстовщина меж крестьянами велась исстари, и Марья Ивановна нашла много желавших быть участниками в «тайне сокровенной». Но через несколько лет, узнав, что об лесных ее сборищах дошли вести до Петербурга, она решилась переехать на житье в другую губернию. Кто-то сказал ей, что продается пустошь Фатьянка, где в старые годы бывали хлыстовские сходбища с самим Иваном Тимофеичем, христом людей божиих; она тотчас же купила ее и построила усадьбу на том самом месте, где, по преданьям, бывали собранья «божьих людей» [1].

Рады были Луповицкие сестрину приезду, давно они с ней не видались, обо многом нужно было поговорить, обо многом посоветоваться. Письмам всех своих тайн они не доверяли, опасаясь беды. Потому раза по два в году езжали друг к другу для переговоров. Луповицкие сначала удивились, что Марья Ивановна, такая умная и осторожная, привезла с собой незнакомую девушку, но, когда узнали, что и она желает быть «на пути», осыпали Дуню самыми нежными ласками. С хорошенькой, но как смерть бледной племянницей Марьи Ивановны, Варенькой, Дуня Смолокурова сблизилась почти с первого же дня знакомства. Молодая девушка с небольшим лет двадцати, с умными и немножко насмешливыми глазами, приняла Дуню с такой радостью, с такой лаской и приветливостью, что казалось, будто встречает она самую близкую и всей душой любимую родственницу после долгой разлуки.

---

[1] *«Божьими людьми»* называют сами себя хлысты. Иван Тимофеич Суслов, христос людей божьих, жил в конце XVII и в начале XVIII столетия, проповедовал свое учение в нынешних Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской губерниях, а также в Москве, где и умер.

Обстановка дома Луповицких поразила Дуню, до тех пор сидевшую в четырех стенах отцовского дома и не видавшую ничего подобного. Налюбоваться не могла она на убранство комнат, сохранивших еще остатки былой роскоши. Огромные комнаты, особенно большая зала с беломраморными стенами и колоннами, с дорогими, хоть и закоптелыми люстрами, со стульями и диванчиками, обитыми хоть и полинявшею, но шелковой тканью, другие комнаты, обитые гобеленами, китайские вазы, лаковые вещи, множество старого саксонского и севрского фарфора, вся эта побледневшая, износившаяся роскошь когда-то изящно и свежо разубранного барского дома на каждом шагу вызывала громкое удивленье Дуни. Варенька снисходительно улыбалась ей, как улыбается взрослый человек, глядя на любопытного ребенка. На восторженные похвалы Дуни она холодно, презрительно даже сказала:

— Суета! Язычество!.. Удивляюсь, как до сих пор не выкинут всего этого в помойную яму.

— Как это можно! — воскликнула Дуня.— Такие прекрасные, такие красивые вещи.

— Суета и пустота! — молвила Варенька.— Это ведь все от врага, это все на усладу язычникам.

— Каким язычникам? Кажется, теперь их больше нет,— с удивленьем сказала Дуня.

— Земля полна язычниками; избранное стадо не велико,— отвечала Варенька.

— Кто ж язычники? — спросила Дуня.

— Все,— ответила Варенька.— Все, кого до сих пор вы знали, кроме разве одной тетеньки,— сказала Варенька и, не дав Дуне слова вымолвить, спросила у нее:

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать,— ответила Дуня.

— Пора отложить суету, время вступить вам на «путь». Я сама в ваши годы пошла путем праведным,— понизив голос, сказала Варенька.— Однако пойдемте, я вам сад покажу... Посмотрите, какой у нас хорошенький садик — цветов множество, дядя очень любит цветы, он целый день в саду, и мама тоже любит... Какие у нас теплицы, какие растения — пойдемте, я вам все покажу.

И девушки, взявшись под руку, вышли на обильно установленную цветами мраморную террасу, а потом медленными шагами спустились в сад по широким ее ступеням.

* * *

Меж тем Марья Ивановна сидела в комнате старшего брата с меньшим братом и с его женою.

— Ну как, Машенька, устроилась ты в Фатьянке? — спросил Николай Александрыч.

— Слава богу, совсем почти обстроилась, остается внутри кой-что обделать да мебель из Талызина перевезти,— отвечала Марья Ивановна.— К осени, бог даст, все покончу, тогда все пойдет своей колеей.

— Что ж? В самом деле был там корабль Ивана Тимофеича? [1]— спросила Варвара Петровна.

— В самом деле,— отвечала Марья Ивановна.— И по преданиям так выходит и по всем приметам. Тут и Святой ключ и надгробный камень преподобного Фотина, заметны ямы, где стоял дом, заметны и огородные гряды.

— Хорошо, что в твои руки досталось место,— сказала Варвара Петровна.— Летом на будущий год непременно у тебя побываю. Теперь, говоришь, ничего еще у тебя не приспособлено?

— Еще ничего,— отвечала Марья Ивановна.— Сионскую горницу [2] сделали, не очень велика̀, однако человек на двадцать будет. Место в Фатьянке хорошее — уютно, укромно, от селенья не близко, соседей помещиков нет, заборы поставила я полторы сажени вышиной. Шесть изб возле дома также поставила, двадцать пять душ перевела из Талызина. Все «наши».

— А поблизости есть ли божьи-то люди? — спросил Андрей Александрыч.

— Еще не знаю,— отвечала Марья Ивановна,— пока до меня не доходило. Да я, впрочем, и разыскивать не стану. Не такое время теперь. Долго ли до беды?

— Ну а эта девушка, что с тобой приехала? в самом деле близка она к «пути»? — спросил Николай Александрыч.

---

[1] *Кораблем* называется общество хлыстов.

[2] *Сионской горницей* у хлыстов называется комната, где происходят их собрания.

— Совсем готова,— сказала Марья Ивановна.— Больше восьми месяцев над Штиллингом, Гион и Эккартсгаузеном сидела. И такая стала восторженная, такая мечтательная, созерцательная и нервная. Из нее выйдет избранный сосуд.

— Ну, это еще не угадано,— молвил меньшой Луповицкий.— Бывали и восторженные, бывали и мечтательные, а после назад возвращались в язычество, замуж даже выходили.

— Эта замуж не пойдет,— сказала Марья Ивановна.— Любовь житейская ей противна, в этом я успела настроить ее. И другая есть тому причина — я и той воспользовалась, хоть и ни разу даже не намекнула Дуне об ее сердечных ранах. Понравился ей какой-то купчик, познакомилась я с нею тотчас после разрыва, поговорила с ней, посоветовала читать мистические книги, а теперь, проживши у них больше двух недель, кажется, совсем ее укрепила. Много порассказала я ей, и теперь она горит желаньем услышать «живое слово». В первое же собранье можно будет ее допустить, разумеется, пока без «приводу» [1]. Я уверена, что она озарится. Когда будет у вас собранье-то?

— Хотелось бы в субботу на воскресенье,— сказал Николай Александрыч.— Не знаю, соберутся ли.

— А по многу ль теперь собираются? — спросила Марья Ивановна.

— Умалился корабль, очень умалился,— скорбно промолвил Николай Александрыч.— Которых на земле не стало, которые по дальним местам разошлись. Редко когда больше двадцати божьих людей наберется... Нас четверо, из дворни пять человек, у Варварушки в богадельне семеро. Еще человека два-три со стороны. Не прежнее время, сестрица. Теперь, говорят, опять распыхались злобой на божьих людей язычники, опять иудеи и фарисеи [2] воздвигают бурю на Христовы корабли. Надо иметь мудрость змиину и как можно быть осторожней.

И с покорным видом, с умильным взором на Спасителя с апостолами во время бури на Галилейском море,

---

[1] *«Привод»* — обряд поступления в секту.

[2] *Иудеями* и *фарисеями* хлысты называют православные власти, преимущественно духовные.

знаменитой кисти известного художника Боровиковского, запел Николай Александрыч вполголоса заунывную песню. Другие вполголоса припевали ему, а у него щеки так и орошались слезами.

Кораблик заливает морскими волнами,
Сверху грозят тучи, стоючи над нами,
Заставляют бедных страдать под водами,
Скудны мы, бедны — нищета вся с нами,
Скудость и бедность всегда жила с нами,
Как в прежних веках, так и ныне тоже.
Ох, много зачинающих, да мало скончевающих!
Припадем коленами на мать-сыру-землю,
Пролием мы слезы, как быстрые реки,
Воздохнем в печали к создателю света:
«Боже ты наш, боже отец наших,
Услыши ты, боже, сию ти молитву,
Сию ти молитву, как блудного сына,
Приклони ты ухо к сердечному стону,
Прими ты к престолу текущие слезы,
Пожалей, создатель, бедное созданье,
Предели нам, боже, к избра́нному стаду,
Запиши, родитель, в животную книгу,
Огради нас, бедных, своею оградой,
Приди в наши души с небесной отрадой
Всех поставь нас, боже,
Здесь на крепком камне,
Чтоб мы были крепки во время печали;
Мы всегда желаем быть в избра́нном стаде,
Ты наш учитель, ты наш попечитель,
Просим милости богатой у тебя, владыки,
И всегда ходить желаем под твоим покровом,
Ты нас, батюшка, питаешь и всем оделяешь,
В наших ско́рбях и печалях сам нас подкрепляешь,
Тебе слава и держава в пречистые руки[1].

Все сидели с благоговением и плакали. Не вдруг успокоились, долго сидели после того молча, вздыхая и отирая слезы. Наконец Марья Ивановна спросила у Николая Александрыча:

— А в «слове» кто теперь ходит?[2].

---

[1] Эта песня не без основания приписывается одному из участников татариновского корабля (рязанскому помещику Дубовицкому), отправленному лет пятьдесят тому назад в Саровскую пустынь, а потом едва ли не в Соловки. Первоначальная же редакция принадлежала Александру Иванычу Шилову, крестьянину из Орловской губернии, сначала хлысту, а потом скопческому Иоанну Предтече, умершему в самых последних годах прошлого столетия в Шлиссельбурге.

[2] *Ходить в «слове»* — пророчествовать во время исступления, находящего на иных хлыстов во время радения и после него.

— Да все те же. Племянненка наша, Варенька, стала в слове сильна и с каждым разом сильнее становится,— сказал Николай Александрыч.— Златой сосуд! По времени, будет в нем благодать великая.

— Слава в вышних богу! — благоговейно поднявши глаза, проговорила Марья Ивановна.— На Дуню я тоже много рассчитываю. Помните, как в прошлом году я под осень гостила у вас, про нее тогда я вам сказывала, что как скоро заговорила я с ней, едва открывая «тайну», дух на нее накатил [1] — вся задрожала, затрепетала, как голубь, глаза загорелись, и без чувств упала она ко мне на руки. Великим знамением тогда я это сочла. А теперь, как гостила у них, каждый почти день бывала она в восторге, так и трясет ее всю: судороги, истерика, пена у рта. Ни словом ей не заикнулась я, что бывает у нас на радениях, а все-таки ее поднимало.

— Дай господи такую подвижницу, подай истинный свет и новую силу в слове ее,— сложив руки, набожно сказал Николай Александрыч.— Ежели так, можно будет ее допустить на собрание, и если готова принять «благодать», то можно и «привод» сделать... Только ведь она у отца живет... Помнится мне, говорила ты, Машенька, что он раскольничает, и совсем плотской язычник, духовного в нем, говорила ты, нет ни капельки.

— Это так,— подтвердила Марья Ивановна.— Как есть плотской — только деньги на уме.

— Как же Авдотьюшка, познав тайну, станет в Гоморре жить? — сказал Николай Александрыч.— Тяжело ведь ей будет меж язычниками... Некому будет ни утешить ее, ни поддержать в ней святого пламени. Устоит ли тогда она на «правом пути», сохранит ли «тайну сокровенную»? Об этом надо обсудить хорошенько. То помни, Машенька, что ангелы небесные ликуют и радуются, когда языческая душа вступает в ограду спасения, но все небесные силы в тоске и печали мечутся по́ небу. ежели «приведенная» душа возвратится вспять и снова ступит на погибельный путь фарисейский.

— Со мной часто будет видаться, я буду ее поддерживать. Отец обещал отпускать ее ко мне в Фатьянку.

---

[1] *Дух накатил*, то есть сошел дух (по понятиям хлыстов, святой дух).

При мне не пойдет она в адские ворота, не возвратится в язычество,— твердо и решительно сказала Марья Ивановна.— На «приводе» я, пожалуй, буду ее поручницей и все время, пока обитаю в этом греховном теле, стану поддерживать ее на «правом пути».

— А дашь ли за нее страшное священное заученье? — строго спросил у сестрицы Николай Александрыч.

— Дам,— ответила Марья Ивановна.— Дам, потому что ручаюсь за нее, как за самое себя.

— Но ведь ты знаешь, Машенька, что́ бывает с заручниками, если приведенные ими отвергнутся «пути»? — спросил Николай Александрыч.

— Знаю,— слегка кивнув головой, ответила Марья Ивановна.

— Отлучение от части праведных, отлучение от небесных сил, отторжение от святейшего сонма поющих хвалебные песни пред агнцем, вечное страданье души в греховном теле, низведение в геенну на нескончаемую власть врага [1],— торжественно говорил Николай Александрыч,— вспомни, сестрица, вспомни, душевная моя.

— Не давала б я, Николаюшка, великого и страшного заручения, не ставила б за чужую душу в залог свою душу, ежели б не знала Дунюшки,— в исступленье, диким, дрожащим голосом сказала брату Марья Ивановна.

И, крепко стиснув руками грудь, со слезами на глазах, задыхаясь от беспрерывных вздохов и сильных судорожных движений тела, стала она «выпевать»: [2]

---

[1] Хлысты никогда не употребляют слов: «дьявол», «сатана», «черт» и тому подобных, дабы не осквернить проклятым именем своего языка. Одно у них имя ему — «враг», иногда «враг божий», редко «враг человеческий». Некоторые учители их о дьяволе так говорят: «Какой он враг человекам? — он друг им и покровитель, как любимым своим созданьям. Он враг только нам, пришедшим из внешнего мира и познавшим правый путь и сокровенную тайну». Хлысты вполне уверены, что смертное тело человека сотворил Сатанаил по образу и подобию своему, потому он и владеет телом, а бог в это тело вдунул дыхание жизни, то есть душу, по своему образу и подобию, оттого душа и бессмертна. Только познавшие правый путь и сокровенную тайну, по мнению их, войдут в селения праведных, остальные вечно будут мучиться, заключенные в тела и находясь в полной власти отца своего Сатанаила.

[2] *«Выпевать»* — в беспамятстве говорить с рифмами, импровизировать.

— Высокó будет ходить во «святом во кругу»[1]. Высокà ее доля небесная, всем праведным будет она любезная. Великѝ будут труды, да и правильны суды...

Все встали. На Марью Ивановну «накатило». Она была в восторге, в исступленье, слово ее было «живое слово, святое, вдохновенное, пророческое». Всем телом дрожа и сжимая грудь изо всей силы, диким, но торжественным каким-то голосом запела она:

Изведет из темниц
Сонмы чистых девиц.
Привлечет в божий чин
Сонмы грешных мужчин.
Сам спаситель ей рад,
Возведет в вышний град,
Осенит святой дух
Ее огненный дух,
И на радость она
Будет богу верна.
Поручусь за нее,
И молюсь на нее,
То — невеста Христа,
Снимет нас со креста,
Силу вышнюю даст,
Благодать преподаст.

С поникшими головами и сокрушенным сердцем слушали Луповицкие сестрицу свою, затрубившую в трубу живогласную, возглашавшую златые вещания, чудоносные, цельбоносные[2].

В изнеможенье, без чувств упала Марья Ивановна на диван. Глаза ее закрылись, всю ее дергало и корчило в судорогах. Покрытое пóтом лицо ее горело, белая пена клубилась на раскрытых, трепетавших губах. Несколько минут продолжался такой припадок, и в это время никто из Луповицких не потревожился — и корчи и судороги они считали за действие святого духа, внезапно озарившего пророчицу. С благоговеньем смотрели они на страдавшую Марью Ивановну.

Мало-помалу она успокоилась, корчи и судороги прекратились, открыла она глаза, отерла лицо платком, се-

---

[1] *«Святым кругом»* у хлыстов называется нечто вроде хоровода, исполняющего религиозные пляски.

[2] *Трубой живогласною и златыми вещаниями, чудоносными, цельбоносными* хлысты называют слова пророков, сказанные во время исступления.

ла на диван, но ни слова не говорила. Подошла к ней Варвара Петровна со стаканом воды в руке. Большими глотками, с жадностью выпила воду Марья Ивановна и чуть слышно промолвила:

— Еще.

Другой стакан подала Варвара Петровна, Марья Ивановна и его выпила, волнение стало в ней прекращаться, только грудь поднималась тяжело и порывисто.

«Живым словом» Марьи Ивановны была решена участь Дуни. Луповицкие с радостью согласились открыть ей всю «сокровенную тайну». В слове Марьи Ивановны и в постигшем ее после того припадке они видели явную на то волю божию.

— Я пойду... разденусь... лягу в постель...— слабым, упавшим голосом проговорила Марья Ивановна, приподнимаясь с дивана. Варвара Петровна подхватила ее под руку и тихонько, с осторожностью повела едва передвигавшую ноги пророчицу.

* * *

В родительском доме в последнее время все дни с утра до́ ночи Дуня проводила с Марьей Ивановной, в Луповицах стала она неразлучна с Варенькой. Погода на ту пору стояла тихая, теплая, и обе девушки и́з саду почти не выходили, они бывали в доме только за обедом и за чаем. Постель Дуни на первое время поставили в Варенькиной спальне, пока не приготовили заезжей гостье особой комнаты. Все это сделано было по желанью Марьи Ивановны. И во время прогулок, и по ночам, лежа в постелях, Дуня водила с Варенькой такие же разговоры, как прежде с Марьей Ивановной. Рассказы молодой девушки о таинственной вере нравились Дуне больше, чем рассказы Марьи Ивановны. Они были ей проще и понятнее. Иногда приходили к ним в сад и Варвара Петровна и Марья Ивановна, но всегда на короткое время. В совете Луповицких Дуня отдана была для вразумлений Вареньке, потому что эта ближе подходила к ней возрастом и потому могла иметь больше на нее влияния.

Однажды Варенька с Дуней, крепко обнявшись, сидели на уютном диванчике в обширной теплице, уставленной одними пальмами. Других растений в теплице не

было. Говорили девушки о «союзе», к которому так неудержимо влеклась мечтательная Дуня.

— Варенька, я тебе еще, кажется, не сказывала, что Марья Ивановна обещалась мне здесь, в Луповицах, показать таких праведных, что говорят «живое слово»,— сказала Дуня.— Теперь каждый день я ее спрашиваю, когда ж это будет, а у нее только и ответов: «погоди да погоди».

— А тебе хочется видеть их?— с улыбкой спросила Варенька.

— Господи! Да я бы жизнь отдала, только бы взглянуть на них, только бы одно «живое слово» услышать,— с живым нетерпеньем отвечала Дуня.

— Разве ты никогда не видала их? — улыбаясь, спросила Варенька.

— Где ж мне видеть их? — грустно промолвила Дуня...— Не такая жизнь выпала на долю мне. Не знаешь разве, что я выросла в скиту, а потом жила у тятеньки в четырех стенах. До знакомства с Марьей Ивановной о духовности и понятия у меня не было. Только она открыла мне глаза.

— А ты и не догадалась, что сама она «просветлена», что в ней самой дух божий живет, что сама она вещает «глаголы живота»? — спросила Варенька.

— Как? Неужели?— в изумлении вскрикнула Дуня и порывисто вскочила с диванчика.

— Да, «просветлена»,— сказала Варенька.— Она уж давно таинственно умерла и давно таинственно воскресла. Нет в ней греховного человека, нет в ней ветхого Адама. Не доступны ей ни грех, ни страсти, свойственные человеку.

Припомнила Дуня слова Марьи Ивановны о людях, что после таинственной смерти таинственно воскресают. Ее слова были памятны ей, в сердце носила их.

— Так в ней сам бог?.. Так от нее от самой можно слышать слово вечной жизни? — воскликнула Дуня задрожавшим от волнения голосом.

— Да, она «труба живогласная»,— молвила Варенька.— Она святая пророчица, устами ее дух волю свою вещает.

— А я и не знала... И в голову мне не приходило...— тихо опускаясь на диванчик, едва слышно промолвила Дуня.

— Чужому знать этого нельзя,— сказала Варенька.

— Зачем же она не сказала мне?.. Зачем говорила, что увижу таких людей только здесь, в Луповицах?..— тоскливо говорила Дуня, не слушая Вареньки.

— Услышишь... И ее услышишь и других услышишь,— сказала Варенька.— В пророческом слове не одна она ходит.

— Кто же еще? — спросила Дуня.

— Дядюшка и еще другие,— ответила Варенька.

— Как? Николай Александрыч?

— Да. Силен в нем дух, сильнее, чем в тете Машеньке. Он ведь кормщик корабля, всем руководит. В нем давно уж нет своей воли, она вся попалена небесным огнем, совсем уничтожена. В нем одна только святая воля духа. Что б он ни приказал, чего б ни захотел, все исполняй, как божье повеленье. Что б ни сказал он, во всяком слове его премудрость божия. Слепым, что живут языческой жизнью в плене вавилонском, тем, что валяются в смрадной тине грехов, слова его, конечно, покажутся безумием. Но помни, Дунюшка, слово, сказанное в писании: «Безумное божие мудрее людей, и немощное божие сильнее человеков» [1]. Всякий кормщик такой, как дядюшка, что бы ни сделал, все свято сделал. Как бы его поступок ни показался скверным, даже беззаконным, все-таки он безмерно выше, нравственнее и законнее высшей чистоты и праведности человеческой. Не кормщик так поступает, а живущий в нем дух. Читала ли ты преподобного отца Макария Египетского?

— Как же не читать? — отвечала Дуня.

— Вспомни, что говорит он: «Душа, которую дух, уготовляющий себе в престол и жилище, удостоит приобщиться его света, осияет неизреченною красотой его славы. Она сама вся становится светом, в ней не остается ни одной части, которая бы не была исполнена духовных очей». А со многими очами многоочитые кто?

— Херувимы,— сказала Дуня.

— Ну да,— подтвердила Варенька.— Так ты понимай, кому подобны божьи люди, особенно кормщики кораблей, одаренные духом сугубой благодатью. Макарий Египетский вот еще что говорит: «Не остается в той просветленной душе ничего темного, она вся делается

[1] 1. Коринф, 1—25.

светом и духом. Такие люди, соединенные с духом божиим, делаются подобными самому Христу, сохраняя в себе постоянно силы духа и являя для всех духовные плоды, потому что когда они духом соделаны чистыми и непорочными — то невозможно, чтобы вне себя приносили они плоды злые. Всегда и во всем являются у них добрые плоды духа» [1].

Долго ничего не могла сказать на это Дуня.

— Когда ж и где Николай Александрыч или Марья Ивановна говорят «живое слово»? Когда бы послушать их, Варенька?..— после долгого молчанья спросила Дуня.

— Когда корабль соберется, когда властью и велением духа будут собраны люди божьи во едино место в сионскую горницу,— ответила Варенька,— если будет на то воля божия и тебя допустят посмотреть и послушать, хоть ты пока еще и язычница... Кто знает? Может быть, даже слово будет к тебе. Редко, а это иногда бывает.

— Ах, всем бы сердцем, всей бы душой я хотела войти в корабль,— с глубоким вздохом сказала Дуня.

— Покамест нельзя, Дунюшка. Вдруг никак невозможно,— отвечала Варенька.— Может быть, собрание-то, когда побываешь в нем, соблазнит тебя. Может быть, ты станешь избегать его, как греховного.

— Что ты, что ты, Варенька! — вскликнула Дуня.— Я и так, кажется, довольно уж знаю... Сколько книг перечитала, сколько Марья Ивановна со мной говорила. Во все, во все верю, и всей душой стремлюсь к раскрытью «сокровенной тайны».

— Не говори так, Дунюшка,— прервала ее Варенька,— не говори с такой уверенностью. Сказала я тебе, что божие безумное премудрей человеческой мудрости, но ведь обыкновенные люди, язычники, в проявлениях духа видят либо глупость, либо юродство, либо даже кощунство и богохульство, кликушами божьих людей называют, икотниками да икотницами, даже бесноватыми [2]. Когда явишься ты в среде малого стада, в сонме

---

[1] Св. Макария Египетского «Беседа» I, п. 2, «Слово о любви», п. 7.

[2] *Кликуши*, на северо-востоке *икотницы* — люди, одержимые особого рода падучей болезнью, в припадках которой теряется сознание и больная (у мужчин эта болезнь бывает чрезвычайно редко) в корчах и судорогах беспрестанно икает либо кричит звери-

племени нового израиля, и божьи люди станут молиться на твоих глазах истинной молитвой, не подумаешь ли ты по-язычески, не скажешь ли в сердце своем: «Зачем они хлопают так неистово в ладоши, зачем громко кричат странными голосами?..» А когда услышишь вдохновенные, непонятные тебе речи, не скажешь ли: «Безумие это, сумасбродство»?.. Мало того — не скажешь ли ты самой себе: «Это кощунство». Так всегда говорит про божьих людей слепой и глухой языческий мир, так, пожалуй, скажешь и ты, потому что ты язычница.

— Зачем же, однако, на молитве хлопать в ладоши? — с удивленьем спросила Дуня.— По-моему, это нехорошо. Так не водится.

— Псалтырь читывала? — спросила Варенька.

— Как же не читать? Училась по псалтырю. Чуть не весь знаю наизусть,— ответила Дуня.

— Помнишь: «Восплещите руками, воскликните богу...» А дальше: «Взыде бог во воскликновении»,— сказала Варенька.

— Псалом сорок шестой, в конец о сынех Кореовых,— промолвила Дуня и смолкла.

— Оттого люди божьи и плещут руками. Царь-пророк их тому научил. И восклицают они громкими радостными голосами хвалебные песни,— сказала Варенька.— То не забудь, что сам бог ходит при восклицаниях и в гласе трубном, то есть с пением, с музыкой. Тебе покажется это соблазнительным, потому что привыкла ты к мертвому богопочтению. У вас только поклоны да поклоны. Знай одну спину гнуть — и будешь спасен... Так ведь по-вашему? А у божьих людей не так, у них все тело, все члены его поклоны бьют. А когда увидишь, как это делается, — непременно соблазнишься...

— Что ж это за поклоны всем телом? — с напряженным вниманьем спросила у Вареньки Дуня.

— С первого взгляда похожи они на скачку, на пляску, на языческие хороводы,— ответила Варенька.— И если бы увидал язычник святое «радение» людей божь-

---

ными голосами, изрыгая брань, ругательства и даже богохульство. Народ приписывает эту болезнь напуску от злых колдунов. Сами кликуши всегда почти выкликают, что такой-то испортил их. Считая эту нервную болезнь, истерику в самой сильной степени, за притворство, пробовали лечить баб розгами, иным это лекарство помогало, но в большей части случаев сводило больных в могилу.

их, непременно назвал бы его неистовым скаканьем, богопротивною пляской. Но это «радение» к богу. Сказано: «Вселюся в них и похожду» — и вот, когда вселится он в людей своих, тогда и ходит в них. Божьи люди в восторге тогда пребывают, все забывают, землю покидают; в небесах пребывают.

— Как же это можно плясать на молитве? — сказала совсем изумленная Дуня.— Ведь это грех... Подумать так страшно...

— Службу на Пасху знаешь? — спросила Варенька.

— Всю наизусть,— ответила Дуня.

— «Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше, играя...» — помнишь? — спросила Варенька.

— Помню,— тихо в раздумье ответила Дуня.

— А в писании читала, как царь Давид плясал перед господом? — спросила Варенька.

— Что-то не помню,— ответила Дуня.

— Шел он в Иерусалим с кивотом божиим, скакал перед ним и играл. Мельхола, дочь Саулова, как язычница, над ним насмехалась, а он ей сказал: «Буду играть и плясать перед господом» [1]. Теперь он в райских светлицах препрославлен, а она в адских муках томится, во власти божия врага.

Не отвечала Дуня. Поражена была она словами Вареньки. Та продолжала:

— Увидишь людей божьих, и мужчин и женщин вместе, в одних белых рубашках, с пальмами в руках — и тоже соблазнишься?.. А между тем тут тайна. Почему святых, праведных зовут «людьми божьими»? Потому что запечатлены они печатью бога живого.

— Об этом я в книге госпожи Гион читала,— молвила Дуня [2].

— Ну да,— подтвердила Варенька,— и в апокалипсисе тоже есть. Там сказано: «Вот множество людей ото всех племен стоят пред престолом и пред агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветками в руках и восклицают громким голосом...» [3] Потому люди божьи и «радеют» господу в белых одеждах с пальмами в руках... Конечно, не везде можно достать пальм — а у нас вот их целая

---

[1] II. Царств., гл. 6.
[2] Госпожа Гион. «Изъяснение на апокалипсис», Москва, 1821.
[3] Апокалипсис, гл. 7.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава VII.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава I.

теплица для того заведена. По другим местам вместо пальм вербы держат в руках, либо зеленые ветви от какого-нибудь дерева, не то белые платки либо жгутики... Вот отчего люди божьи молятся в одних белых рубашках... А тебе, пожалуй, и это за соблазн покажется.

Не отвечала Дуня, погрузившись в сильное раздумье.

— А когда услышишь, что́ восклицают в то время божьи люди, какие слова говорят и поют они — соблазнишься, непременно соблазнишься,— продолжала Варенька.

— Что ж такое они восклицают? — пытливым взором глядя на Вареньку, спросила Дуня.

— Они поют,— сказала Варенька.— Поют «песнь нову», и, кроме их, никто не может научиться ее петь,— прибавила она после короткого молчанья.— Певцы те искуплѐны, они первенцы богу и агнцу... В устах их нет лукавства... Непорочны они пред божьим престолом... На них печать божия [1].

— То же читала я в книге госпожи Гион,— сказала Дуня.— Я бы, кажется, услыхавши такую песню, слушала ее не наслушалась.

— А все-таки она бы соблазнила тебя,— ответила Варенька, устремляя пристальный взор на Дуню.— Не забывай, милый друг, что ты еще пока язычница и что враг имеет над тобой полную власть. Он-то и вложит в твою душу нечистый помысл, он-то и скажет тебе, что «новая песня» — безумие... Но помни всегда, всегда помни, моя милая, желанная, что «безумное божие премудрей человеческой мудрости». Что, если услышишь ты в собранье божьих людей не тот напев, к которому привыкла в своих часовнях? Услышишь, что новые песни поются на голос мирских песен — хороводных, например, или таких, что пьяные мужики поют на гуляньях, либо крестьянские девки на посиделках, иной раз плясовую даже услышишь?

— Зачем же так петь? — в сильном смущенье спросила Дуня.— Разве нельзя петь как следует?

— Можно бы,— ответила Варенька.— Очень бы можно, ежели бы новую песню пели, как у вас, бездушные кимвалы бряцающие. Но ведь на раденьях людей божьих не сами они поют, не своей волей, не своим хоте-

---

[1] Апокалипсис, гл. 7.

ньем; дух, живущий в них, и слова песен, и напев им внушает... Опять-таки прежнее тебе скажу, не знаю уж в который раз, помни слова писания: «Безумное божие премудрей человеческой мудрости»... Да, во всем, во всем у людей божьих для языческого греховного мира тайна великая. Люди божьи ежечасно славят творца, что дал им познать его тайны,— прибавила Варенька.— Утаил он тайны от премудрых и разумных, открыл младенцам своим неразумным!

— Какие ж это песни? Ты знаешь какую-нибудь? — спросила Дуня.

— Знаю, но далёко не все,— ответила Варенька.— Песен много — на каждом почти собранье новая бывает, и не одна, а сколько дух святой захочет, столько и дает их. Ведь это не то, что у язычников по тысяче лет одно и то же поется. Прислушались, и в старых песнях смысла не понимают. А и те песни святы, потому что в свое время и они внушены были духом же святым. У божьих людей новые песни поются по наитию духа, и никто не может навыкнуть петь эти песни, как сказано в писании... Но есть и старые песни, такие, что давно певались пророками и теперь по церквам и по вашим скитским часовням поются. Их тоже поют на собраньях люди, познавшие «тайну сокровенную».

— Если можно, богом тебя прошу, Варенька, спой какую-нибудь новую песню,— просила Дуня, крепко сжимая Вареньку в объятьях.

Немножко призадумалась Варенька, сказала, наконец:

— Изволь, так и быть, спою одну, но смотри, наблюдай за собой — не посеял бы враг соблазна в твоем сердце.

— Нет, Варенька, нет. Не мне, самому богу поверь, что не соблазнюсь. Пой, Варенька, пой,— со страстным увлеченьем говорила Дуня. А сама так и млеет, так и дрожит всем телом.

Помолчала Варенька, потом ясным чистым голосом запела:

Бога человекам невозможно видети,
На него ж не смеют чины ангельские взирати.

— Да это и у нас поется,— сказала Дуня.— Напев только не тот. У нас этот тропарь поют на глас шестый.

Не слыхала Варенька слов Дуни. Громче и громче

раздавалась ее песня в теплице под сенью длиннолистных пальм.

Тобою, пречиста, дева благодатна,
К нам господь явился в плоти человека.
Люди не познали, что бог с ними ходит.
Над ним надругались — вины не сыскали,
Все не знали в злобе, что тебе сказати,
Рученьки пречисты велели связати,
На тебя плевали, венец накладали,
Отвели к Пилату, чтоб велел распяти,
А ты милосердый, терпеливый агнец,
Грех со всех снимаешь, к отцу воздыхаешь:
«Отпусти им, отче,— творят, что не ведят»,
Благообразный Иосиф упросил Пилата
С древа тело сняти, пеленой обвити,
На тебя глядевши, стал он слезы лити,
И во гробе нове положил, покрывши,
Зарыл тело в землю, камень положивши.

— Это псáльма,— сказала Дуня.— Не эту самую, а другие такие же у нас по скитам поют, не в часовне только, а в келарне, либо в келье у какой-нибудь матери, где девицы на поседки сбираются.

Не отвечала Варенька. Она уж пришла в восторг и, не слушая Дуни, продолжала:

Ныне наш спаситель просит отпущенья;
Плачем и рыдаем, на страды взираем —
Сокати святый дух царствовать на землю!..
Повелел спаситель — вам врагам прощати,
Пойдем же мы в царствие тесною дорóгой,
Царие и князи, богаты и нищи,
Всех ты, наш родитель, зовешь к своей пище,
Придет пора-время — все к тебе слетимся,
На тебя, наш пастырь, тогда наглядимся,
От пакостна тела борют здесь нас страсти,
Ты, господь всесильный, дай нам не отпасти,
Дай ты, царь небесный, веру и надежду,
Одень наши души в небесны одежды,
В путь узкий, прискорбный идем — помогай нам!
Злые духи тати ищут нас предати,
Идут в путь просторный — над нами хохочут,
Пышность, лесть и гордость удалить не хочут,
Злого князя мира мы не устрашимся,
Всегда друг ко другу, как птицы, слетимся...
Что же нам здесь, други, на земле делити?
У нас един пастырь, а мы его овцы,
Сúлен всем нам дати, сúлен и отняти,
Мы его не видим, а глас его слышим:
«Заповедь блюдите, в любви все ходите,
Во Христово имя везде собирайтесь.
Хоть вас и погонят — вы не отпирайтесь»,

У пламя вы, други, стойте, не озябьте,
Надо утешати батюшку родного,
Агнца дорогого, сына всеблагого,
Авось наш спаситель до нас умилится,
В наших сокрушенных сердцах изволит явиться,
С нами вместе будет, покажет все лести,
Наших сил не станет тайну всю познати,
Надо крепким быти и всегда молиться,
Тогда и злодей всяк от нас удалится[1].

Пропев «новую песнь», Варенька склонилась на диванчик и долго оставалась в забытьи. Слезы орошали бледные ее ланиты. Молчала Дуня, перебирая складки передника, и она погрузилась в какое-то особенное состояние духа, не то забытье, не то дремоту... Когда, наконец, Варенька пришла в себя, она спросила у нее:

— А в собраниях ваших крестятся ли?

— Как же можно без креста? — чуть слышно, слабым голосом проговорила Варенька.— Но ты и тут, пожалуй, соблазнишься, увидавши, как божьи люди крестятся,— прибавила она.

— Неужели щепотью? — тревожно спросила Дуня.

— Нет. Крестятся больше двумя перстами, но не одной рукой, а обеими,— отвечала Варенька.

— Как обеими руками? Да разве это можно? — вскликнула Дуня.

— А что такое значит крестное знаменье на молитве? Что такое значит самая молитва? — спросила Варенька.

— Кто ж не знает этого? — слегка улыбнувшись, молвила Дуня.— Молиться — значит молитвы читать, у бога милости просить.

— Молитва — возношение души к богу,— прервала ее Варенька.— Молитва — полет души от грешной земли к праведному небу, от юдоли плача к неприступному престолу господню. Так али нет?

— Конечно,— тихо ответила Дуня.

— А крестное знаменье что значит в этом полете? — спросила Варенька

— Не знаю, как тебе сказать...— в недоуменье ответила Дуня.— А как по-твоему?

— В полете к небу, паренье к огнезрачному престо-

[1] Эта хлыстовская песня тоже принадлежит одному из участников общества Татариновой.

лу творца крестное знаменье крылья означает,— сказала Варенька.

— Да, и я, не помню, где-то об этом читала,— сказала Дуня.— Не в тех книгах, что Марья Ивановна советовала читать, а в отеческих... В «Цветнике» в каком-то или в «Торжественнике» — не припомню. Еще бывши в скиту, читала об этом.

— Ну хорошо,— молвила Варенька.— А где ж ты видала, чтобы птица летала одним крылом? Понимаешь теперь, почему божьи люди крестятся обеими руками?

Призадумалась Дуня. После короткого молчанья спросила она:

— Когда ж я увижу все это?

— Скоро,— молвила Варенька.— Твердо ли только решилась вступить на путь праведных?

— Целый год об этом только и думаю,— с увлеченьем ответила Дуня.— Сердцем жажду, душой алчу, умом горю, внутреннее чувство устремляет меня к исканию истины,— говорила она языком знакомых ей мистических книг.

— А знаешь ли, как горька и тяжела, как полна скорбей и лишений жизнь божия человека? — сказала Варенька.— Тесный путь, тернистый путь избираешь ты... Совладаешь ли с собой, устоишь ли против козней врага?.. А ведь он ополчится на тебя всей силой, только бы сбить тебя с пути праведных, только бы увлечь в подвластный ему мир, исполненный грехов и суеты...

— Не послушаю я наветов диавола...— начала было Дуня, но порывистым движеньем Варенька крепко схватила ее за руку.

— Не поминай, не поминай погибельного имени!..— оторопелым от страха голосом она закричала.— Одно ему имя — враг. Нет другого имени. Станешь его именами уста свои сквернить, душу осквернишь — не видать тогда тебе праведных, не слыхать ни «новой песни», ни «живого слова».

Смутилась Дуня, но, оправившись, сказала:

— Не знала я этого хорошенько.

— То-то, смотри,— молвила Варенька.— Не только не называй его, даже в мыслях не держи скверных имен его. Не то станет он в твоей душе сеять соблазны. Возбудит подозренье и недоверие... Будешь тогда навеки лишена ангельских лобзаний.

— Это что за ангельские лобзанья? — с живым любопытством спросила Дуня.

— Взаимные поцелуи божьих людей на собраниях. Эти лобзанья — великая тайна,— ответила Варенька.

— Как? И с мужчинами целоваться? — с испугом вскрикнула Дуня.

— У божьих людей, как у ангелов — нет ни мужчин, ни женщин,— сказала Варенька.

— Все-таки стыдно,— вся зардевшись, промолвила Дуня.

— Видишь ли? Враг-от не дремлет. Едва сошло с языка твоего прескверное его имя, он уж тут, он уж то́тчас к тебе с соблазном подъехал,— сказала Варенька.— Люди божьи, друг милый, живут не по-вашему, не по-язычески. Они живут в боге, в них вселена благодать, мирским людям недоступная. Нет у них приличий, нет запрещений, ни закона нет, ни власти, опричь воли божией. И греха у них нет, потому что они умертвили его в себе. Все они братья и сестры одного святого семейства, живут в чистоте небесной, в ангельской свободе. В их поцелуях ни стыда нет, ни соблазна, ничего нет дурного. Ангельские лобзанья — словословие бога. Великая в них тайна. К духовному супругу ведут они.

— Скажи мне, Варенька, пожалуйста, что это такое «духовный супруг»? — с живостью спросила Дуня.— Слыхала я об нем от Марьи Ивановны и в книгах тоже попадалось, но не могу ясно понять, что это такое..

— О! еще шагу не ступивши по правому пути, ты уж захотела проникнуть в одну из самых сокровеннейших тайн,— улыбаясь, сказала Варенька.— Но так как ты хорошо подготовлена, то можно перед тобой хоть немножко приподнять завесу этого таинства. Видишь ли — один человек не совершен. Сам бог сказал: «Не добро быть человеку единому» — и создал Еву для Адама. Это было еще до греха праотцев. Первые супруги, созданные богом, были «духовные супруги», на всю вечность супруги. Грех, внушенный им от врага, все изменил в них. С тех пор супружество стало только временным, на одну лишь земную жизнь. Со смертью одного супруга обыкновенному плотскому, языческому браку конец, он не может продолжаться на веки вечные. А между людьми, умертвившими в себе грех и ветхого Адама, заключает-

ся такое духовное супружество, в каком праотцы жили в раю. Духовное супружество бессмертно, как человеческая душа. Оно не разрывается при освобождении души из созданной врагом темницы смертью,— смертью, как зовете вы, язычники, освобождение души от вражеских уз и плачете притом и рыдаете. А люди божьи смерти праведника радуются — потому что освободил его господь, вывел из смрадной темницы тела, созданного врагом... Поняла?

— Кажется, немного понимаю,— думчиво ответила Дуня.— Но как же вступают в эти духовные супружества?

— Разумеется, они не так совершаются, как браки язычников,— ответила Варенька.— Нет ни предложений, ни сватовства, никаких обрядов. Нет даже выбора. Сам дух указывает, кому надо соединиться, кому из двух составить одно. Тут тайна великая!.. Знаю я ее, испытала, но теперь больше того, что сказала, тебе открыть не могу.

Весь день после этого разговора Дуня была сама не своя. Много думала она о том, что узнала от Вареньки, мысли роились у ней, голова кру́гом шла. Почти до исступленья дошедшая восторженность овладела ею.

Меж тем Варенька рассказала Луповицким и Марье Ивановне о разговоре с Дуней. Вовлеченную в сети девушку на весь вечер оставили в покое одну — пусть ее думает и надумается.

— Кажется, овечка на пажить готова,— сказала Варвара Петровна.— Когда ее приведем?

— До привода надо ей побывать на соборе,— сказал Николай Александрыч.— Да и не все вдруг обнаруживать.

— Кажется, завтра и Лукерьюшка из Маркова в богадельню придет,— сказала Варвара Петровна.— Надо и ее уговорить. Кажется, в ней много и силы и духа.

* * *

У Варвары Петровны было большое хозяйство — скотный двор, тонкорунные овцы, огромный птичник, обширные, прекрасно возделанные огороды, а за садом возле рощи вековых густолиственных лип большая пасека.

Все было в таком порядке, что из соседей, кто ни взглянет, всяк позавидует. Полевое хозяйство в Луповицах также шло на славу, хоть и велось старинным трехпольным порядком и не было заведено хитрых заморских машин. Оба брата редко-редко, бывало, когда выедут в поле или на ригу, а меж тем ни у кого так хорошо хлеб не родится, хоть земля была и не лучше соседской. На садовые плоды тоже никогда почти не бывало неурожая, в реке и в озерах рыбы налавливалось чуть ли не больше, чем в целом уезде, о лесных порубках, потравах, прорывах мельничных плотин и слухов не бывало. Народ в имении Луповицких был хоть не богат, но достаточен. Все были богомольны, каждый праздник в церкви яблоку бывало негде упасть, воровства и пьянства почти вовсе не было, убийств и драк никогда. И ни малейшей от господ строгости. Все мужики, жены и дочери их барской грозы никогда не видывали, даже сурового слова от них не слыхивали. Луповицкие считали крепостных своих за равных себе по человечеству и, говоря с ними, звали их Иванушкой да Романушкой, Харламушкой да Егорушкой, а баб и девок — Маланьюшкой, Оленушкой, Катеринушкой [1].

Завидовали Луповицким соседи и не могли придумать, отчего у них все спорится. Сами летом они каждый день с утра до́ ночи в поле, за всякой безделицей следят зорко, каждое яблоко у них на перечете, а все ровно ветром метется — нейдет в прок, да и по́лно. И народ совсем иной у них, чем у Луповицких, избаловался донельзя, воров не оберешься, пьяниц не перечтешь, лень, нищета в каждом доме. А, кажется, все держится строго — всякая вина виновата. «Тут не без колдовства,— говаривали соседи про Луповицких,— отец был фармазоном, зато на старости лет и в монастырь попал грехи замаливать. А что фармазонство, что чернокнижье — одно и то же. Пошло от колдуна Брюса и досель не переводится, проклятое. Сынки по стопам родителя пошли, яблочко недалеко от яблони падает, такие же фармазоны. С бесами знаются. Чему ж тут дивиться, что им удается все? Сатана на послугах — а такого работника не всякий наймет... Зато каково-то будет им, как на том свете очутят-

[1] Хлысты своих и тех из непосвященных, что по общественному положению ниже их, всегда зовут ласкательными полуименами.

ся в лапах у теперешних работников! Другую песню запоют!» То особенно досадно было соседям, что Луповицкие при таком состоянии отшельниками живут — ни псарни, ни отъезжих полей, ни картежной игры, ни безумной гульбы, ни попоек. Два-три раза в году зададут обед — и баста, а сами ни к кому ни ногой... Как ни досадовали соседушки, как ни честили они Луповицких, а ихних обедов не пропускали. Хоть и противно было Луповицким, а все-таки сзывали они изредка соседей на кормежку — иначе нельзя, не покормишь — как раз беду накачают.

Рано поутру́ осмотрев хозяйство, Варвара Петровна с пасеки пошла в богадельню. Устроенная ею женская богадельня стояла в самом отдаленном углу сада и была обсажена кругом густым вишеньем. Только крыша виднелась из-за кустов, а окна совсем были закрыты вишневыми деревьями, оттого в комнатах даже и в летние дни был постоянный сумрак. Одна комната была во всю длину дома, и в ней, как в крестьянских избах, вдоль стен стояли скамьи. В переднем углу, как водится, киот с образами, рядом на стене «Распятие плоти» [1], «Сошествие благодати» [2] и два портрета каких-то истощенных бледноликих людей. Комната эта называлась «столовою», хоть в ней ни посуды, ни других домашних вещей не было видно. Сзади столовой, от конца дома до другого, был коридор, а из него двери в темные кельи. Их было семь, и в каждой жило по женщине. К богадельне примыкала пристройка, там была стряпущая, еще три кельи и множество чуланов.

Войдя в столовую, Варвара Петровна села у окна, и к ней медленным шагом одна за другою подошли семь

---

[1] *«Распятие плоти»* — печатная мистическая картина, в особенности любимая хлыстами. Изображается распятый на кресте монах с замком на устах, с открытым сердцем в груди, в руках у него чаша с пламенем, а по сторонам диавол и мир, в виде вооруженного человека с турецкой чалмой на голове, стреляющего из лука в монаха, от его рта лента, на ней написано: «Сниди со креста». В Чернухинском ските на Керженце (поповщинского толка) было такое изображение, писанное на доске; оно стояло в часовне в виде местной иконы

[2] *«Излияние благодати»* рисуется красками от руки, оно изображает отрока в белой рубашке с поднятыми к небу руками и очами. В небесах изображен окруженный ангелами святой дух в виде голубя, изливающий на отрока благодать в виде сияния и огненных языков.

женщин. Все были одеты в черные сарафаны и повязаны черными платками. Ни серег, ни даже медных пуговиц, обыкновенно пришиваемых к бабьим сарафанам, ни у которой не было. Четыре женщины были пожилые, три помоложе, одной пó виду и двадцати лет еще нельзя было дать. У всех в лице ни кровинки, глаза тусклые, безжизненные. не было видно в них ни малейшего оживленья. Ровно мертвецы из своих могил пришли на поклон к Варваре Петровне.

Одна за другой подходя к барыне, они с ней целовались.

— Здравствуй, сестрица,— обращалась к каждой из них Варвара Петровна.

— Здравствуй, Варварушка,— каждая ей отвечала.

Затем уселись на скамьях по ту и другую сторону от Варвары Петровны.

— Ну что, Матренушка, как тебя государь святой дух милует?— обратилась Варвара Петровна к сидевшей возле нее старушке.

— Милует, Варварушка, милует. В нем, государе, каждый день пребываю. Велика милость, голубушка, велика благодать! — поникнув головой, отвечала старушка.

— Что дочка твоя духовная? — спросила Варвара Петровна, с ласковой улыбкой взглянув на севшую одаль молоденькую девушку.

— Приобыкает, Варварушка, приобыкает помаленьку, другиня моя,— отвечала Матренушка.— Нельзя вдруг — не сразу благодать-то дается... А скоро можно будет ее и к «приводу»,— шепотом примолвила Матренушка, наклонясь к уху Варвары Петровны.— Совсем на пути, хоть сейчас во «святой круг» [1], родимая.

— Доброе дело, спасённое дело, Матренушка,— отвечала Варвара Петровна.— Приведет господь, так дён этак через десять, что ли, разом двух приведем.

— Еще-то кого? — спросила Матренушка.

— А ту девицу, что гостит у нас,— сказала Варвара Петровна.— С Волги, купеческая дочь, молоденькая, еще двадцати годов не будет, а уж во многом искусилась, знает даже кой-что и про «тайну сокровенную».

— Не та ли, что с Марьюшкой приехала? — спросила Матренушка

[1] Нечто вроде хоровода пляшущих или вертящихся хлыстов.

— Та самая,— ответила Варвара Петровна.— Сам Николаюшка долго к ней приглядывался и говорит: велик будет сосуд.

— Хорошее дело, Варварушка, дело хорошее,— сказала Матренушка.— А родители-то ее? Тоже пойдут по правому пути?

— Не пойдут,— отвечала Варвара Петровна.— Матери у ней нет, только отец. Сама-то я его не знаю, а сестрица Марьюшка довольно знает — прежде он был ихним алымовским крепостным. Старовер. Да это бы ничего — мало ль староверов на праведном пути пребывает, человек-то не такой, чтобы к божьим людям подходил. Ему бог — карман, вера в наживе. Стропотен и к тому же и лют. Страхом и бичом подвластными правит. И ни к кому, опричь дочери, любви нет у него.

Под эти слова растворилась дверь, и в столовую вошла молодая крестьянская девушка, босая и беднó одетая. Истасканная понéва из ватýлы и синяя крашенинная занавеска[1] были у ней заплатаны разноцветными лоскутками. В одной руке держала она лукошко грибов, в другой — деревянную чашку с земляникой.

— Здравствуй, Лукерьюшка, здравствуй, родная,— приветливо молвила ей Варвара Петровна.— Как поживаешь, красавица?

— Все так же,— тихим, робким голосом сказала Лукерьюшка и, подойдя к Варваре Петровне, подала ей грибы и ягоды, примолвив: — Не побрезгуйте.

— Спасибо, родная, спасибо,— ласково ответила Варвара Петровна и поцеловала Лукерьюшку.— Поставь на скамейку, а ужо зайди ко мне, я тебе за этот гостинец платочек подарю, а то вон у тебя какой дырявый на голове-то.

— Не жалуйте платка, Варвара Петровна,— с горькой, жалобной улыбкой сказала Лукерьюшка.— Тетенька отнимет, Параньке отдаст.

---

[1] *Понева* в Рязанской, Тамбовской, Тульской, а отчасти и в Курской губерниях — юбка из трех разнополосных полотнищ. *Ватýла* или *ватола* — самая грубая деревенская ткань в Рязанской, Тамбовской и Воронежской губерниях. Основа ватулы из самой толстой пряжи, уток — из скрученных льняных охлопков. Идет больше на покрышку возов, на подстилку и на одеяла. То же самое, что *рядном* или *веретьем* по другим местам зовется. *Занавеска* — передник с лифом и рукавами. Иногда, особенно у бедных, она прикрывает только зад и бока женщины.

— Жаль мне тебя, сиротку бедную... Тяжело у дяди-то? — спросила Варвара Петровна.

— Как же не тяжело? — с глубоким вздохом молвила Лукерьюшка.— В дому-то ведь все на мне одной, тетенька только стряпает. Дров ли принести, воды ль натаскать. огород ли вскопать, корму ли коровушке замесить, все я да я.

— Что же нейдешь сюда, под начàл к Матренушке? — спросила Варвара Петровна.— И сыта бы здесь была, и одета, и обута, и никогда работы на тебе не лежало бы.

— Этого мне никак сделать нельзя, сударыня Варвара Петровна. Как же можно из дядина дома уйти? — пригорюнившись, с навернувшимися на глазах слезами, сказала Лукерьюшка.— Намедни по вашему приказанью попросилась было я у него в богадельню-то, так он и слышать не хочет, ругается. Живи, говорит, у меня до поры до времени, и, ежель выпадет случай, устрою тебя. Сначала, говорит, потрудись, поработай на меня, а там, даст бог, так сделаю, что будешь жить своим домком...

— Замуж прочит тебя? — спросила Варвара Петровна.

— Не знаю, что у него на разуме,— отвечала Лукерьюшка.

— А самой-то охота замуж идти? — спросила старая Матренушка.

— Где уж мне об этом думать! Кто нынче возьмет бесприданницу? — отвечала Лукерьюшка.

— И сыщется, так не ходи,— строго сказала Матренушка.— Только грех один. Путного мужа по твоему сиротству и по бедноте тебе не найти, попадется какой-нибудь озорник, век будет над тобой потешаться, станет пить да тебя же бить, ломаться над тобой: «То сделай да это подай, это не ладно, да и то не по-моему!»... А все из озорства, чтобы только над тобой надругаться... С пьянства да с гульбы впутается в нехорошие дела, а ты должна ему будешь потакать да помогать — на то жена. Узнают, раскроется дело — угодишь с ним, куда ворон костей не заносит... А в богаделенке-то не такая б тебе жизнь была. Была бы ты здесь человек божий, все бы тебя почитали, и денежки бы завелись у тебя, а работы да заботы нет никакой. Знай только молись да душеньку спасай.

Призадумалась Лукерьюшка. Хотелось ей привольной жизни, хотелось отдохнуть от тяжкой, непосильной работы у дяди.

— Дяденька-то не пустит,— со слезами, жалобно она промолвила.

— Пустит ли он даровую работницу! — сказала старая Матренушка.— Да ты пришита, что ли, к нему?.. Какой он тебе дядя? Внучатным братом твоей матери доводился. И родства-то между вас никакого нет, хоть попа спроси, и он то же скажет. Сиротинушка ты одинокая, никого-то нет у тебя сродничков, одна сама, как перстик,— вот что... Как же может он насильно держать тебя на работе? Своя у тебя теперь воля... На̀большого над тобою нет.

— Не пустит,— чуть слышно промолвила Лукерьюшка.

— А как он не пустит-то? — сказала Матренушка.— Что у тебя пожитков, что ли, больно много? Сборы, что ли, долгие у тебя пойдут? Пошла из дому по́ воду, а сама сюда — и дело с концом... Да чего тут время-то волочить — оставайся теперь же. Барыня пошлет сказать дяде, чтоб он тебя не ждал. Как, Варварушка, по-твоему? — прибавила она, обращаясь к Варваре Петровне.

— Что ж? Это можно,— сказала Варвара Петровна.— Оставайся в самом деле, Лукерьюшка.

— Боязно мне,— вздрогнув, промолвила оторопелая девушка.

— Чего боишься?.. Кого?..— вскликнула Матренушка.— Дяди, что ли, али тетки? Так уж сказано тебе, что нет у них над тобой власти. Плюнь на них, да и все тут.

— Прибьет тетенька-то...— шепотом сказала Лукерьюшка.

— Руки коротки — сюда не досягнут,— заметила Матренушка.— Ты то пойми, под чьей защитой будешь жить. Господа-то ведь сильней твоего дяди.

— Скажет за хлеб за̀ соль не заработала...— молвила Лукерьюшка, утирая рукавом слезы.

— Мало ль что скажут, да ведь на всякий сказ есть свой приказ,— сказала Матренушка.

— Намедни как сказала я ему, что зовут меня в Луповицы за старушками в богадельне ходить, так и дядя и тетка так развоевались, что даже страшнехонько ста-

ло,— молвила Лукерьюшка.— «Судом, говорят, тебя вытребуем, никому, говорят, не уважим»

— Пустые речи,— молвила Матренушка.— Напугать только хотели. Не бойся, не выдадут. Так али нет, Варварушка?

— Конечно, не выдадим,— отозвалась Варвара Петровна.— Нечего в самом деле тебе, Лукерьюшка, слушать ихние угрозы. Ну еще в самом деле родной бы дядя был, а то и сродником-то он тебе не доводится.

— Грозится дядя-то: «Господам, говорит, своим стану жалобиться, чтобы взяли из Луповиц ихнюю девку»,— сказала Лукерьюшка.

— Я у Оброниных тебя выкуплю — будешь моя,— молвила Варвара Петровна.— С Оброниным, с Михайлом Григорьевичем, с барином вашим, в ладах живем.

— Чего ж тебе еще, глупенькая? — подхватила Матренушка.— Целуй ручку, благодари барыню-то, да и пойдем, я тебе местечко укажу. А к дяде и не думай ходить — вот что. Живи с божьими людьми; в миру нечего тебе делать. Здесь будет тебе хорошо, никто над тобой ни ломаться, ни надругаться не станет, битья ни от кого не примешь, брани да попреков не услышишь, будешь слезы лить да не от лиха, а ради души спасенья.

Колебалась Лукерьюшка, но когда все пристали к ней с уговорами, выхваляя богадельню, где нет ни холоду, ни голоду, есть во что одеться, есть во что обуться, а жизнь ровно у птицы небесной — о завтрашнем дне и помышленья не имей, она согласилась остаться.

Выйдя из богадельни вдвоем с Матренушкой, Варвара Петровна сказала ей:

— Приучай ее помаленьку, учи, испытывай...

— Будет она, Варварушка, на корабле, безотменно будет. Об этом, голубушка, не беспокойся. Скоро уготоваем девицу к божьему делу...— сказала Матренушка.— Когда собранье-то думаете сделать? — спросила она.— Надо бы поскорее. Ох, как бы надо-то — давненько уж я не радела.

— С той субботы на воскресенье, думаю, соберемся,— отвечала Варвара Петровна.— Приводи Лукерьюшку-то.

— Приведу, Варварушка, приведу, моя родная. Как не привесть? Пущай приобыкает... Прощай, голубушка, прощай.

— Прощай,— сказала Варвара Петровна и медленными шагами пошла в дом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кормщик корабля возвестил верным-праведным, что в ночь с субботы на воскресенье будет собор. С радостной вестью Варвара Петровна поспешила к своим богаделенным и велела им, готовясь к великому делу, пребывать в посте, молитве и душевном смирении. Велела в субботу, как только смеркнется, приходить ко вратам сионской горницы и пребывать там в благоговейном молчанье, пока не отверзутся врата истинной жизни и не снимется завеса с сокровенной тайны. Наказывала Варвара Петровна Матренушке, приводила б она и Лукерьюшку, пусть ее поглядит, как радеют господу верны-праведные. Сказала Варвара Петровна про собор и двум своим наперсницам: старой ключнице Прохоровне, что за нею еще в нянньках ходила, да Серафимушке, молодой, но невзрачной и сильно оспой побитой горничной Вареньки.

Сам Николай Александрыч объявил «сионскую весть» дворецкому Сидору Савельеву, что без малого сорок годов, еще с той поры, как молодые барчата освободились от заморских учителей, находился при нем безотлучно. Сказал Николай Александрыч и пасечнику Кирилле Егорову, старичку седенькому, приземистому, что принят был в корабль еще покойником Александром Федорычем. Не часто «ходил в слове» Кирилло, зато грозно грехи обличал, громом гремел в исступленном восторге, в ужас и трепет всех приводил, в иное же время ни с кем почти не говаривал, редко кто слово от него слыхал. Тих был и кроток, на все безответен, из пасеки ходу ему только и было — в церковь на каждую службу да в сионскую горницу на раденья.

За три дня до собранья призвал к себе Николай Александрыч конторщика Пахома Петрова. Был тот конторщик человек пожилой, немногим помоложе господ, грамоте знал, силен был в счетоводстве, вел книги по име-

нию и служил правой рукой Андрею Александрычу по управленью деревнями. Целые дни корпел он в вотчинной конторе, но, ежели случалось послать куда-нибудь по делам, всегда его посылали; ловкий был человек, во всяких случа̀ях находчив, умел обращаться с людьми, умел и дела̀ обделывать с ними. Пахома рассылал Николай Александрыч и к божьим людям с вестями о днях, назначенных для раденья.

— Надо потрудиться, Пахомушка,— говорил он ему,— объезжай святую братию, повести, что в ночь на воскресенье будет раденье. В Коршунову прежде всего поезжай, позови матроса Семенушку, оттоль в Порошино заверни к дьякону, потом к Дмитрию Осипычу, а от него в город к Кисловым поезжай. Постарайся приехать к ним засветло, а утром пораньше поезжай в Княж-Хабаров монастырь за Софронушкой.

— Не натворил бы он опять чего-нибудь,— молвил Пахом.

— А что?

— Да как в тот раз,— сказал Пахом.— В радельной рубахе к попу на село не побежал бы. Долго ль до огласки? И то, слышь, поп-от грозил тогда: «До архиерея, говорил, надо довести, что у господ по ночам какие-то сборища бывают .. и на них монахов в рубахи тонкого полотна одевают».

— Хорошенько надо смотреть за ним, с глаз не спускать,— молвил на то Николай Александрыч.— А без Софронушки нельзя обойтись, велика в нем благодать — на соборах ради его на корабль дух свят скоро нисходит. Не для словес на святой круг принимаем его, а того ради, что при нем благодать скорее с неба сходит.

— Говорит-то всегда такое непонятное — смущает иных,— заметил Пахом.

— Рассуждать о странных и непонятных словах, Пахомушка, нам с тобой не приходится, и смысла в них искать не следует,— молвил Николай Александрыч.— Сказано: «Аще неблагоразумные, невразумительные значит, слова кто говорит на собрании верных языком странным и непонятным — как узна̀ют, что́ он говорит? Будет он на воздух глаголющ...» А ежели я, или ты, или другой кто не понимаем странного языка, то глаголющий для нас все одно что иноязычный чужестранец. Как поймем его? А что Софронушка угодное духу творит и угод-

ное ему на соборах глаголет, так и об этом сказано: «Ежели кто в собрании верных на странном, непонятном языке говорит, не людям тот говорит, а богу. Хоть его никто не понимает, а он все-таки тайны духом говорит» [1].

Сомнительно покачал Пахом головою и, немного помолчав, сказал Николаю Александрычу:

— К игумну-то письмецо, что ли, пожалуете? Без того не пустит.

— Как к нему писать? — молвил в раздумье Николай Александрыч.— Дело неверное. Хорошо, если в добром здоровье найдешь его, а ежели запил? Вот что я сделаю,— вложу в пакет деньги, без письма. Отдай ты его если не самому игумну, так казначею или кто у них делами теперь заправляет. А не отпустят Софронушки, и пакета не отдавай... А войдя к кому доведется — прежде всего золотой на стол. «Вкладу, дескать, извольте принять». Да опричь того, кадочку меду поставь. С пуд хоть, что ли, возьми у Прохоровны.

И, подавая Пахому запечатанный пакет и золотой, Николай Александрыч примолвил:

— Отправляйся же. Покров божий над тобою!.. Молви конюху Панкратью, заложил бы тебе рыженькую в таратайку... Спеши, пожалуйста, Пахомушка. Завтра к вечеру жду тебя. А о Софронушке не от меня проси, Марья Ивановна, мол, приехала и очень, дескать, желает повидать его. Ее там уважают больше, чем нас с братом; для нее отпустят наверно...

И через час Пахом на рыженькой кобылке ехал уж возвещать божьим людям радость велию — собирались бы они в Луповицы в сионскую горницу, собирались бы со страхом и трепетом поработать в тайне господу, узреть свет правды его, приять духа небесного, исповедать веру истинную, проникнуть в тайну сокровенную, поклониться духом господу и воспеть духу и агнцу песню новую.

* * *

С поля нà поле от Луповиц, в котловине, над безводной летом речкой раскинулась деревня Коршунова.

---

[1] I. Коринф., гл. 14.

Еще за три часа до полудня Пахом был уж там. Проехав улицей в конце деревни, своротил он направо, спустился по косогору в «келейный ряд», что выстроен курмышом [1] возле овражка. Там остановил он свою рыженькую у низенькой, старенькой, набок скривившейся избушки. Ворота были заперты, Пахом постучал в окошко, отклика нет.

Бежит мимо девочка подросток с кузовками в руках. Спрашивает у нее Пахом:

— Куда, красавица?

— В лес по грибы да по ягоды,— бойко отвечала ему девочка.

— Из коего дома? — спросил Пахом.

— У тетушки, у келейницы Катерины в сиротах живу,— молвила девочка.

— Семена Иваныча знаешь?

— Как не знать дедушки Семенушки? — улыбнулась девочка.— С тетушкой он в любви да в совете, в келью к нам похаживает, божественны книги почитывает.

— Что ж он? Ушел, что ли, куда из деревни? — спросил Пахом.

— На огороде работàет, гряды полет. Завороти за угол-от, видно оттоль.

— Спасибо, девонька, спасибо,— молвил Пахом и, привязав рыженькую у ворот, пошел по указанью.

Над грядкой капусты наклонился восьмидесятилетний старик, седой как лунь, приземистый и коренастый. Полет он грядку, а сам что-то вполголоса напевает. То был отставной матрос Семен Петров Фу́ркасов. Тридцать лет с годом служил он в ластовых экипажах в Кронштадте и там вступил в корабль божьих людей. Много было тогда матросов, даже и офицеров, принявших тайну сокровенную. Сначала из любопытства хаживал в их со́брании Фу́ркасов и в «братском обществе» [2]

---

[1] *Курмыш* — ряд изб, построенных не улицей, а односторонкой на окраине селения, иногда даже за околицей. *Келейным рядом* в Нижегородской губернии и в соседних с нею зовут особый ряд избушек, вроде курмыша, где живут бестягольные, одинокие, солдаты, солдатки, а также вдовы и девки, склонные к отшельничеству, к иночеству, ко хлыстовщине.

[2] Так назывались сходбища хлыстов, бывавшие в Кронштадте, на Низкой Широкой улице, в доме Родионова.

сошелся с пророком Яковом[1] и был им увлечен в хлыстовскую веру. С Яковом Фу́ркасов езжал в Зеленецкий монастырь к старцам Пармену и Савватею[2], бывал с ними на сходбищах у Фролова в Царской Славянке[3], у купца Ненастьева в Петербурге[4], а подружившись с пророком Никитушкой[5], был принят в сионскую горницу Татариновой. Там познакомился он со стариком Луповицким и с его женою. И когда генерал завел в Луповицах «дом божий», Фуркасов вышел в отставку и поселился на родине, в деревне Коршуновой, что была от Луповиц с поля на̀ поле. Тут он сделался одним из самых первых участников на соборах Луповицкого. Усердно радел на них престарелый матрос, и божьи люди надивиться не могли, как это он, такой дряхлый, с переломленной на государственной службе ногой, скачет, пляшет, кружится, ровно молоденький. «Свят дух укрепляет его, свят дух его водит»,— говорили они.

— Христос воскрес! — сказал Пахом Фуркасову и поклонился ему до земли.

— Христос воскрес! — отвечал матрос и тоже до земли поклонился.

Сказал ему Пахом, зачем приехал. Ровно малый ребенок давно желанному гостинцу, обрадовался старый матрос.

— Пора бы, давно бы пора Николаюшке парусами корабль снарядить, оснастить его да в Сионское море пустить,— радостно сказал он Пахому.— Вот уж больше шести недель не томил я грешной плоти святым радень-

---

[1] Яков Андреев Кушеревский, хлыстовский пророк — матрос, находившийся постоянно на вестях у корабельного мастера.

[2] Зеленецкий монастырь в Петербургской губернии. В нем бывали хлысты, даже евнухи. Инок Савватий — в мире Софон Авдеев Попов, родом из Моршанского уезда, в молодости (в 1775 году) за сектаторство сеченный публично батогами и сосланный в Динаминд. Он с иноком Парменом увлек в секту самого зеленецкого архимандрита.

[3] *Царская* (прежде Графская) Славянка близ Царского села. Там у купца Якова Фролова бывали хлыстовские сходбища.

[4] В Басковом переулке. Дочь купца Ненастьева. Вера Сидоровна, была пророчицей и в ненастьевском корабле и у К. Ф. Татариновой.

[5] *Никитушка* (Никита Иванов Федоров) — солдат, музыкант первого кадетского корпуса, был пророком сначала в корабле Ненастьева, а потом у Татариновой, где благодаря хлыстам из высокопоставленных лиц получал чины. И он и жена его за сектаторство сосланы были в новгородские монастыри.

ем, не святил души на божьем кругу... Буду. Пахомушка, беспременно буду к вам в Луповицы... Апостольски радуюсь, архангельски восхищаюсь столь радостной вести. Поклон до земли духовному братцу Николаюшке. Молви ему: доброе, мол, дело затеял ты, старик Семенушка очень, дескать, тому радуется...

— Тебе бы, Семенушка, в Луповицы-то накануне пожаловать. Переночевал бы у меня, голубчик... Поговорили бы с тобой, побеседовали, прославили бы божию милость и чудеса господни,— сказал Пахом.

— Ладно,— ответил матрос.— Рад гостить у тебя, Пахомушка, рад и побеседовать, духом святым с тобой, духовный братец, утешиться. А теперь пойдем-ка в келью да потолкуем, сколько господь нам беседы пошлет.

Келья у Фуркасова была маленькая, но светлая и держалась чисто, опрятно. В божнице стоял литой из меди крест да три образа — спасителя, богородицы, Иоанна Предтечи. Под божницей лежали пять-шесть книг и небольшой запас восковых свеч. На стене «Распятие плоти».

Введя гостя в келью, Фуркасов накрыл стол скатерткой, поставил на нее деревянную чашку с медом, горшок молока да белый ровно снег папушник. Затем стал просить гостя преломить хлеб и, чем господь послал, потрапезовать.

— Много ль на соборе-то божьих людей чаете? — спросил за трапезой матрос у Пахома.

— Человек двадцать будет, а может, и больше,— ответил тот.— Домашних пятнадцать, ты, Семенушка, дьякона стану звать, Митеньку, Кисловых, в монастырь по Софронушку еду.

— Ма̀лится божие стадо, ма̀лится,— грустно покачав головой, промолвил Фуркасов.— Много больше бывало в прежние годы. С той поры, как услали родимого нашего Александрушку, за̀чал наш кораблик умаляться. При Александрушке-то, помнишь, иной раз святых праведных по пятидесяти и больше вкупе собиралось... В двух горницах зараз радели — в одной мужеск пол, в другой женский. А подула-повеяла погодушка холодная, признобила-поморозила зѐлен божий сад.

— Да,— с тяжелым вздохом молвил Пахом.— Великой злобой дышат духи поднебесные, злобные начальники, власти вражие, миродержатели тьмы века сего. Как

противустать им в день лютый?.. Как их преодолеть?.. Как против них устоять?..

— И духом и умом надо молиться духу святому. Пой ему духом, пой и умом. Только тем и победишь злобу лукавого,— подняв седую голову, восторженно сказал Фуркасов...— Ведь мы сыны света, Пахомушка, сыны дня, не стать же нам спать да дремать, как язычникам... Мы дети дня и света, они сыны ночи и тьмы... Их дело спать, нам же подобает бодрствовать и трезвиться... Тем только и победим врага, тем только миродержатель тьмы века сего и посрамится от светло́ сияющего зрака людей божиих... Со всех сторон видим козни супротивника, хочет он нас обокрасть, и аще возможет, то и погубить... Но не дает отец небесный в обиду своих детушек. Дарует милость, оградой оградит, покровом святым покроет нас...

* * *

С час времени беседовал Фуркасов с Пахомом, наконец они расстались. Резвая кобылка с конюшни Луповицких быстро побежала в соседнее село Порошино. Там на поповке [1], возле кладбища, стояла ветхая избенка дьякона Мемнона Панфилова Ляпидариева. Возле нее остановился Пахом Петрович.

Мемнон прежде служил в соборе уездного городка, потом за какую-то провинность был уволен за штат. В чем состояла провинность его, никто хорошенько не знал. Одни говорили, что владыка, объезжая епархию, нашел у него какие-то неисправности в метриках, другие уверяли, будто дьякон явился перед лицом владыки на втором взводе и сказал ему грубое слово, третьи рассказывали, что Мемнон, овдовев вскоре после посвященья, стал «сестру жену водити» и тем навел на себя гнев владыки. Близко знавшие Ляпидариева говорили, что все это неправда.

С архиереем Мемнон учился в одних классах. Прошли многие годы — вдовый дьякон служил себе да служил, а товарищ его, постригшись в монахи и затем под-

[1] *Поповка* — слободка близ церкви, где живет сельское духовенство. Если при церкви нет крестьянских домов, а одни только поповские, поселок зовется *пого́стом*.

вигаясь дальше и выше, сделался на родине владыкой. Сильно возрадовался тому Мемнон. Зароились в голове его золотые мечты, спит он и видит, как бы скорей повидаться со старым товарищем. Увидались наконец... Мемнон был скор на язык, молвил владыке нечто неугодное, и с той поры черная полоса началась в его жизни. Его уволили за штат. В Порошине, где в прежние годы отец Мемнона был священником, оставалась ветхая его избенка. Там и поселился заштатный дьякон. Другой бы на его месте спился с кругу либо пустился во вся тяжкая, но он не упал духом. При веселом, шутливом и крайне беспечном нраве он относился к превратностям судьбы бесстрастно и оттого не знал ни горя, ни печали.

Прожив последние, что оставались от дьяконства, деньжонки, Мемнон должен был идти по миру; в это время об его судьбе узнали Луповицкие. Николай Александрыч, убедившись, что это был человек для него подходящий, звал его к себе, предлагая и стол, и квартиру, и все, что ему понадобится. Мемнон не согласился, но коротать время в беседах с Луповицким был рад, живал у них по неделям, беседуя о созерцательной жизни, о спасении души, об умерщвлении плоти и осыпая насмешками монашество, доставалось, впрочем, и белому духовенству. Дал ему Николай Александрыч мистических книг, и пытливый ум Мемнона весь погрузился в них. Года через два пожелал он войти в общество сокровенной тайны и был «приведен». Со страстной пылкостью предался Мемнон учению людей божиих, усердно исполнял их обряды, но не всегда мог совладать с собой — нет, нет, да и отпустит какое-нибудь словечко на соблазн святым праведным. Все они, сами даже Луповицкие, смотрели на его выходки, как на юродство Христа ради, и нимало не соблазнялись. Привыкнув к дьяконству, Мемнон нередко нарушал заведенный на раденьях порядок пением церковной песни, а не то пустится в присядку во время раденья либо зачнет ругать, кто ему подвернется. Но и это люди божьи почитали юродством и в выходках Мемнона думали видеть неизреченную тайну.

Палит июньский зной. Солнце только что своротило с полудня и льет с безоблачного неба на землю обильные потоки ослепительного блеска и нестерпимого, жгучего жара. По всему Порошину тихо, безмолвно, ни ве-

терок не потянет, ни воробушек не чиликнет, ни ласточка не прощебечет. Душно, чуть можно дышать — все примолкло, все притихло. Облитые по́том на утренней полевой работе, крестьяне, пообедавши чем бог послал, завалились часок-другой соснуть, кто в клети, кто в амбаре, кто на погреби́це. Высунув языки и тяжко дыша, приютившиеся в тени собаки ни одна не тявкнет — все спят, свернувшись в кружок. Лишь изредка в какой-нибудь избе послышится слабый голосок сонного младенца и затем скрип оцепа зыбки — то полусонная мать укачивает своего ребенка. Издали по временам доносятся веселые клики, резкий хохот и пронзительный визг резвой, шумной гурьбы купающихся в пруде ребятишек. Изредка пропищит парящий в поднебесье ястреб; зорко следит он, не задремал ли где в прохладной тени оплошный, но годный на обед цыпленок. И на поповке все тихо, лишь из крайней, ближайшей к кладбищу избенки через растворенные окна несутся громогласные густые звуки здорового баса. Кто-то распевает духовное.

У той избенки остановился Пахом. Вошел в калитку, растворил ворота̀ и, поставив рыженькую в тени крытого двора, по скривившемуся крылечку без перил и без двух ступенек вошел в тесную, грязную кельенку. Там, задрав ноги кверху и ловя рукой мух, осыпавших потолок и стены, лежал спиной на лавке, в одной рубахе, раскосмаченный дьякон Мемнон и во всю мочь распевал великий прокимен первого гласа: «Кто бог велий, яко бог наш...» Прерывал он пение только руганью, когда муха садилась ему на лицо либо залезала в нос или в уста, отверстые ради славословия и благочестного пения.

— Христос воскрес! — входя в избенку, сказал Пахом.

— «Ты еси бог творяй чудеса!» — допел дьякон прокимен и, лениво привстав на лавке, молвил: — ну, Христос воскрес!.. Эку жару бог послал, яйца на солнышке в песке пеку. Вечор вкрутую испек на завалинке. Что хорошенького?

— Заехал навестить тебя, Мемнонушка,— сказал Пахом.— На воскресенье будет у нас собранье. Придешь, что ли?

— Приду,— ответил дьякон,— чаю давно не пивал. Скажи там: целый бы самовар на мою долю сготовили.

Новую песню зато вам спою. Третий день на уме копошится, только надо завершить.

— Та только песня богу угодна и приятна, что поется по наитию, когда святый дух накатит на певца,— сказал Пахом.— А что наперед придумано, то не годится: все одно, как старая, обветшалая церковная песня.

— Зато выходит складней,— молвил дьякон.— Так в субботу приходить?

— В субботу,— ответил Пахом.

— Жарко,— молвил дьякон.— Хоть бы дождичка!

— Бог-от лучше нас с тобой знает, Мемнонушка, как надо миром управлять, в кое время послать дождик, в кое время жар, зной и засуху,— заметил Пахом.— Не след бы тебе на небесную волю жалиться.

Не ответил дьякон, опять лег спиной на лавку, опять задрал ноги и, глядя в потолок, забасил церковную стихиру на сошествие святого духа: «Преславная днесь видеша во граде Давидове».

Сколько Пахом ни заговаривал с ним, он не переставал распевать стихиры и не сводил глаз с потолка. Посидел гость и, видя, что больше ничего не добьется от распевшегося Мемнона, сказал:

— Поеду я, Мемнонушка. Покров божий над тобою!

Дьякон только рукой махнул.

* * *

Дальше погнал Пахом. Проехав верст пяток реденьким мелким леском, выехал он на совсем опаленную солнцем поляну. Трава сгорела, озимые пожелтели, яровые поблекли. Овод тучей носился над отчаянно махавшей хвостом, прядавшей ушами и всем телом беспрестанно вздрагивавшей рыженькой кобылкой... Но вот почуяла, видно, она остановку, во всю прыть поскакала к раскинувшемуся вдоль пруда сельцу всего-то с двенадцатью дворами. За тем сельцом виднелась водяная мельница, а повыше ее небольшая усадьба одинокого помещика, отставного поручика Дмитрия Осипыча Строинского.

В молодости служил он в 34-м егерском полку, а в том полку в двадцатых годах сильна была хлыстовщина. Стоя на зимних квартирах в Бендерах, Строинский, как сам после божьим людям рассказывал, впал в плотские грехи и, будучи с самых ранних детских лет верующим

и набожным, вдруг почувствовал в себе душевный переворот. Полная страстей жизнь вдруг показалась ему гадкою, и он с ужасом стал вспоминать об адских муках, считая их для себя неизбежными. День ото дня больше и больше приходил двадцатилетний юноша в умиление, плакал горькими слезами, часто исповедовался, приобщался и, по наставлению духовника, решился совершенно изменить образ своей жизни. Наложил на себя пост, стал все ночи напролет молиться богу, не пропускал ни одной церковной службы. Товарищи над ним подсмеивались, осыпали набожность его колкостями. Строинский все сносил, все терпел, не возражая ни единым словом насмешникам и не входя с ними ни в какие рассуждения. Не утаилось это от солдат, стали они с бо́льшим уваженьем глядеть на молодого поручика.

Раз приходит к нему с приказом по полку известный набожностью вестовой. Разговорился с ним Дмитрий Осипыч, и вестовой, похваляя его пост, молитву и смирение, сказал, однако, что, по евангельскому слову, явно молиться не следует, а должно совершать божие дело втайне, затворив двери своей клети, чтобы люди не знали и не ведали про молитву. Призадумался Строинский, сказал вестовому:

— Да ведь в церкви-то молятся же явно.

— Оттого, ваше благородие, внешняя церковь и не дает полного спасенья,— сказал вестовой.— Господь-то ведь прямо сказал: «Не воструби пред собою, яко же лицемеры творят в сонмищах и на стогнах, яко да прославятся от человек». Путь ко спасенью идет не через церковь... Это путь не истинный, не совершенный... Есть другой, верный, надежный...

— Ты назвал церковь внешнею. Разве есть другая какая-нибудь? — спросил удивленный Строинский.

— Есть, ваше благородие,— ответил унтер-офицер.

— Какая же это?..

— Внутренняя, ваше благородие,— ответил унтер-офицер.

— Хорошо, ступай,— приказал он унтер-офицеру, и тот ушел.

Смутил он поручика... С неделю Строинский ходил ровно в тумане. Достал Евангелие и увидал, что в самом деле там сказано о тайне молитвы и что установлена спа-

сителем только одна молитва: «Отче наш». Поразили его слова Евангелия: «Молящеся не лишше глаголите, яко же язычники, мнят да яко во многоглаголании услышаны будут, не подобитеся им...» «Яко же язычники!.. Яко же язычники!.. А у нас в церквах молитв сотни, тысячи, по целым часам читают да поют их. А что поют и что читают, не разберешь. Дьячок что барабанщик вечернюю зорю бьет. Яко же язычники, яко же язычники!.. Вот кто мы... Многие молитвы Христом отвержены, и мы язычникам подобимся, читая много молитв»,— так рассуждал поколебленный в основе верований Строинский и послал за смутившим его унтер-офицером. Тот пришел. Завязалась новая беседа.

— Ты уверил меня,— сказал поручик.— Читал я Евангелие и увидел, что твои слова правильны... Но если церковью нельзя спастись, где же верный путь?

— Знаю я, ваше благородие, «путь прямой и совершенный»,— молвил унтер-офицер.— Идя по тому пути, человек здесь еще на земле входит в общение с ангелами и архангелами.

— Где ж этот путь? Укажи мне его,— сказал удивленный словами нижнего чина поручик.

— Есть, ваше благородие, на земле люди святые и праведные... На них господь животворящий дух святый сходит с небеси,— сказал унтер-офицер.— Он пречистыми их устами возвещает всем спасение, а кто в сомненье приходит, чудесами уверяет.

— Где ж такие люди? — со страстным любопытством спросил Дмитрий Осипыч.

— Много есть таких людей, ваше благородие,— отвечал унтер-офицер.— В Бендерах есть такие, и в нашем полку есть, только все они сокровенны.

— Кто же в нашем полку? — спросил поручик.

— До времени не могу сказать о том, ваше благородие, а ежели решитесь вступить на правый путь, открою вам всю «сокровенную тайну»,— сказал унтер-офицер.— Господь утаил ее от сильных и великих и даровал ее разумение людям простым, нечиновным, гонимым, мучимым, опозоренным за имя Христово...

— Можешь ли довести меня до этой «сокровенной тайны»? — спросил Строинский.— Можешь ли поставить меня на верный путь ко спасению?

— Могу, ваше благородие,— отвечал унтер-офи-

цер.— Могу, ежели дух святой откроет на то свою святую волю.

После этого разговора Строинский по целым ночам просиживал с унтер-офицером и мало-помалу проникал в «тайну сокровенную». Месяцев через восемь тот же унтер-офицер ввел его в Бендерах в сионскую горницу. Там все были одеты в белые рубахи, все с зелеными ветвями в руках; были тут мужчины и женщины. С венком из цветов на голове встретил Строинского при входе пророк. Грозно, даже грубо спросил он:

— Зачем пришел? Тайны разведывать? Хищным волком врываться в избра̀нное стадо Христо́во?

Изумился Дмитрий Осипыч, узнав в пророке капитана ихнего полка Бориса Петровича Созоновича[1], молодого сослуживца, скоро нахватавшего чинов благодаря связям. Больше всех насмехался он над постом и молитвами Строинского, больше всех задорил его, желая вывести из терпенья. Наученный унтер-офицером, Строинский с твердостью отвечал Созоновичу:

— Душу желаю спасти, а не тайну врагам предать, как Иуда... И сердцем и душой желаю вечного спасенья. Жажду, ищу.

— На то есть архиереи, на то есть попы и монахи, а я человек неученый,— возразил Созонович.

Но Строинский настаивал, чтоб допустили его на собранье, а потом и «привели» бы, ежели будет то угодно духу святому.

— Без надежной поруки того дела открыть тебе нельзя,— сказал Созонович.— Нельзя и в соборе праведных оставаться. Оставьте нас, Дмитрий Осипыч. Одно могу позволить вам — посмотрите, чем занимаемся мы, слушайте, что читаем... Кого ж, однако, ставите порукой, что никому не скажете о нашей тайне, хотя бы до смертной казни дошло?..

Наученный унтер-офицером, Строинский отвечал:

— Христа спасителя ставлю порукой.

— Хорошо,— сказал на то Созонович.— Но в нашем обществе должно ведь навсегда удалиться от вина, от женщин, от срамословия и всякого разврата. Можешь ли снести это?.. Если не можешь, тайна тебе не откроется.

---

[1] *Созонович* — штабс-капитан 34-го егерского полка, в 1821 году был сослан за ересь в Соловки, где, кажется, и умер. Во время ссылки ему было всего 22 года.

На все согласился Дмитрий Осипыч и с клятвою дал обещание. Его допустили на беседу. Читали на ней «Печерский патерик», сказания о жизни святых, об их молитвенных подвигах, о смирении, самоотвержении и полной покорности воле божией... И сам Созонович и другие объясняли читанное, и Строинскому понравилась тайная беседа хлыстов. Чаще и чаще стал он бывать на их собраньях, узнал, что такое раденье, и сам стал в скором времени скакать и кружиться во «святом кругу». С каждым днем больше и больше увлекался он новою верою... Но вдруг о секте узнали, началось дело, участников разослали по монастырям, до Строинского не добрались. Тяжко ему было оставаться в полку после удаления собратьев по вере... Вышел он в отставку и поселился в маленьком имении своем, в сельце Муравьевке. Это было в то время, когда генерал Луповицкий, возвратясь из Петербурга, завел у себя корабль людей божиих. Строинский стал ежедневным и больше всех любимым гостем генерала, а когда старик попался, Дмитрию Осипычу опять, как и в Бендерах, посчастливилось. Его даже не заподозрили. С молодыми Луповицкими Строинский сошелся еще ближе, чем со стариком. Ни одного собора без него не бывало.

Маленький, чистенький, уютный домик Дмитрия Осипыча со всех сторон окружен был цветниками. Садоводство и музыка только и остались от прежних страстей у достигшего полного бесстрастия человека. Летом с утра до вечера проводил он в саду, долгие зимние вечера за роялью. И в летние ночи нередко из раскрытых окон его домика лились звуки Гайдна, Генделя, Моцарта, Бетховена; новой музыки Строинский не любил и говаривал, что никогда не осквернит ею ни своего слуха, ни пальцев. Вековые дубы и липы, густолиственные клены, стройные тополи и чинары во множестве росли в саду Строинского. Плодовые деревья всех возможных сортов разведены были его руками и содержались прекрасно. Но всего больше заботился Дмитрий Осипыч о цветах. Целые рощи высокоствольных розанов, красных, белых, желтых, бенгальских, чайных, моховых и центифольных, росли вкруг его домика, целые рабатки засажены были разнородными лилиями, нарциссами, тацетами, тюльпанами, гиацинтами. В трех теплицах содержались редкие растения, полученные большей частью из старинного луповиц-

кого сада. Имея с маленького именья доход незначительный, Строинский больше половины его употреблял на растенья. Без страстей, без прихотей, ведя жизнь, подобную жизни древних отшельников, питаясь только молоком, медом да плодами и овощами, он почти ничего не тратил на себя. Одно еще доставляло ему утешение и удовлетворяло прирожденное чувство красоты и изящества, но оно ничего не стоило. По целым часам слушал он певчих пташек, а весной целые ночи перекликался с соловьями. Соловьи заливаются, а он отвечает им звуками рояля, и слезы, сладкие слезы ручьми текут из очей его.

Дмитрий Осипыч копался в цветниках, пересаживая из ящиков в грунт летники [1], как заслышал конский топот и стук Пахомовой таратайки. Досадно ему стало, нахмурился. «Кому это нужно мешать мне?» — подумал он, но, завидев Пахома, тотчас повеселел и радостно засмеялся, как смеется ребенок, когда после отчаянного, по-видимому, ничем неутешного плача вдруг сделают ему что-нибудь приятное. Не этим одним Строинский походил на ребенка, младенческая простота его души и полное незлобие, детская откровенность, чистота души, не исказившейся в омуте праздных и суетных страстей, привлекали к нему всех, кто только ни знал его. С распростертыми объятиями пошел он навстречу Пахому.

— Христос воскрес! — радостно сказал он.

— Христос воскрес! — с ясной улыбкой отвечал Пахом.— Все в трудах, все за цветочками!

— Люблю, Пахомушка, цветочки, люблю, мой дорогой... Утешают они меня,— сказал Дмитрий Осипыч.— Налюбоваться не могу на них. И, глядя на цветочки и любуясь ими, ежечасно славлю и хвалю творца видимых всех и невидимых... Как он премудростью своей их разукрасил!.. Истинно евангельское слово, что сам Соломон никогда не украшался столь драгоценными одеждами, как эти господни созданья... Посмотри, какая свежесть красок, какая нежность в каждом цветочке... А запах!.. Это они, мои милые, молятся творцу всяческих, изливают из себя хвалебный фимиам, возносят к небесам его, как кадило, как жертву хваления.

---

[1] Однолетние цветы.

— А все-таки суета! — едва слышно, но строго промолвил Пахом.— Конечно, и цветы божья тварь, да все ж не след к ней иметь пристрастье. Душа, Митенька, одна только душа стоит нашего попеченья.

— Да ведь и душа и цветы одного же создателя творенье. Не от врага же родились и древа и цветы, как невесту в брачный день украшающие землю,— возразил Строинский.— Враг только злобу сеет, и потому все творенья его гадки, мерзки, противны... А взгляни на красоту этих цветочков... Разве они мерзки, разве противны? Нет, Пахомушка, и в цветах и в плодах видится великая милость господня к нам. Любуешься на чистые, прекрасные его творения, а трудясь над ними до́ поту лица, как повелено первому человеку, с любовью лобызаешь край господней ризы...

— Нет, Митенька, не так говоришь,— возразил Пахом.— Особенно про невест да про брачные дни не то чтоб говорить, но и в помышленье не след держать!.. Опричь души, что мы ни видим, что ни слышим, все от врага. Душа только дорога нам, тело и все ублажающее его — тюрьма души, темница, врагом сограждениая. Не любить, не ублажать надо эту темницу, а ненавидеть и всеми мерами сокрушать ее. По-настоящему, человеку-то божьему не след бы и глядеть на ви́димый мир. Слеп и глух должен быть праведник ко всему тленному... Довольно с него заботы и о душе... И ту помоги бог управить — а тут еще суета, мирские попеченья, тщета плотской жизни — один только грех. Нельзя так, Митенька, нельзя, мой возлюбленный, ежели хочешь нескончаемые веки предстоять агнцу, пребывать на великой его брачной вечери и воспевать господу аллилуию спасения, славу, честь и силу [1].

Не отвечал Дмитрий Осипыч — знал он, что упрямого Пахома не переспоришь. И Пахом замолчал, опустив в землю глаза, не соблазниться бы как-нибудь пышно расцветшими розами и душистыми пиониями.

— Что новенького? — после недолгого молчанья спросил у него Строинский.

— Сестрица Марьюшка приехала, девицу с собой привезла, купеческая дочь — кажется, желает на путь праведный стать. Приезжай в субботу, в ночь на воскре-

---

[1] Апокалипсис, гл. XIX.

сенье будет собранье. Повестить велел тебе Николаюшка,— сказал Пахом.

— Насилу-то надумал, давно бы пора,— молвил Дмитрий Осипыч.

— Приедешь?

— Как же не приехать! Жаждет душа духа святого, алчет небесной пищи и новых песен,— сказал Строинский.— Кого еще повещал?

— В Коршунове у матроса побывал, в Порошине у дьякона, от тебя проеду в город к Кисловым, а от них в монастырь за Софронушкой.

— Чайку не желаешь ли? — спросил Строинский, но Пахом отказался наотрез.

— Ехать пора, засветло, покамест у Кисловых спать не легли, надо в город поспеть,— сказал он.— Отдохну маленько у них, да пораньше и в монастырь. К вечеру завтра надо домой поспеть...

— Выпей хоть чашечку. Успеешь,— уговаривал его Дмитрий Осипыч.

— Нет, Митенька, не должно плоти угождать, когда творишь дело божие,— сказал, выходя из сада, Пахом.— Кстати ли чаи распивать, когда не успел еще повестить всю братию?..

И, не слушая уговоров Строинского, спешно влез в таратайку и крупной рысью погнал со двора. Дмитрий Осипыч к цветочкам воротился.

* * *

Среди необозримых, засеянных хлебом полей стоит уездный городок на речке, впадающей в Дон в его маловодных верховьях. В сухое время та речка совсем иссякает, и горожане испытывают всякого рода невзгоды и лишенья от недостатка в воде. Хоть при каждом почти доме выкопан колодезь, но колодезная вода жестка и для варки пищи непригодна. Городок бедный, крыт соломой, по окраинам и в подгородных слободах Казачьей да Солдатской не в редкость и черные курные избы без трубы, с одним дымоволоком [1]. Улицы прямы, широки́, но от малого ѐзду травой поросли. Тонут дома в зелени яблонных, вишневых и грушевых садов, а кругом города ни ле-

[1] Волоковое окно для выхода из избы дыма.

синки — степь, голая степь. В том городишке нет никаких промыслов. Опричь попов да чиновников, горожане пашут землю, а зимой ездят в извоз, только тем и кормятся. Торговля в городке грошовая, с выгодой одной водкой торгуют. Ярмарок нет, базары плохие, непривычному худо живется в том городишке.

Солнце уж закатилось, когда приехал Пахом. Почти на самом краю городка, в самом укромном уединенном уголке, стоял обширный деревянный дом, обшитый тесом, выкрашенный дикой краской с девятью окнами по лицу. И дом и надворные строенья были построены из хорошего леса, а это большая редкость в том краю. Был тот дом даже железом крыт, а это уж совершенная невидаль в таком городишке. Обширный плодовый сад за домом был без малого на трех десятинах. Урожай плодов бывал в нем обильный, и каждый год горожане от первого до последнего завидовали Степану Алексеичу Кислову, отставному почтмейстеру, хозяину того дома, и обкрадывали его сад без всякого милосердия. Напрасно бы Степан Алексеич стал хлопотать по начальству об опустошении его садов — земля бессудная. К тому ж Кислов не охоч был до судов и тяжеб. Кроткий и мирный, для всех безобидный нрав не позволял ему ни на кого жаловаться. Миролюбием и смиренством думал он обезоружить мелких врагов, но — воры и воришки в глаза насмехались над ним, больше и чаще опустошая его сад. И скоту Кислова порой доставалось: то барана, то теленка украдут, о курах да утках нечего и говорить, лошадей даже с конюшни сводили, и все оставалось без взысканья и наказанья. Тихоней горожане прозвали Степана Алексеича и открыто говаривали, что украсть у тихони и бог не взыщет и люди не осудят — тащи со двора, что кому полюбилось да под руку попало.

Кислов был старожилом в том городке: и отец и дед его служили там, сам Степан Алексеич, не выезжая из своего захолустья, выслужил Владимирский крест за тридцать за пять лет. С ранней молодости был он набожен и до страсти любил церковную службу, жизнь вел тихую, скромную, удаляясь от шумных сборищ, где господствовали картеж да водка. За то его не любили, звали святошей, чуждались. Любимым обществом Кислова были духовные, но и те мало удовлетворяли пытливую его душу. Любимым чтением его были церковные книги.

Сначала читал он четьи-минеи, «Прологи», «Патерики». Сказания о древних пустынниках, об их отвержении от мира сильно занимали Степана Алексеича, возвышали нравственные его силы, но не могли удовлетворить любознательности. Знал он, что в пустыне ему не живать, что проводить жизнь, подобную жизни отшельников первых веков христианства, теперь невозможно; знал и то, что подвиг мученичества теперь больше немыслим, ни страданий, ни смертных казней за Христа не стало. И начал Степан Алексеич смотреть на жития святых, как на любопытные сказанья. Зато стал углубляться в значение церковных песнопений, от одних умилялся душой, от других приходил в священный восторг; поэзия Дамаскина его восхищала. Но, слушая его песнопения в церкви, слушая чтение возвышающих душу псалмов Давида и молитв, сложенных древними учителями, Кислов доходил до отчаянья. Небрежность служения, мертвенность в духовной среде, господство одной внешности раздражали его и не давали покоя беспокойному и пытливому уму. Хотел доискаться всемирной истины, действительно спасительной веры, обращался с вопросами к духовным, но они либо не понимали вопросов его, либо советовали ему не мудрствовать, а, положась на волю божию, ходить усердно в церковь, чаще заказывать молебны да поднимать на дом иконы. Смеялись даже иные над ним, а искание истины называли ересью. Стал тогда Кислов углубляться в чтение священного писания, особенно Евангелия,— это подняло его нравственную силу и еще больше смягчило кроткий от природы нрав. А все-таки не мог он нигде сыскать духовного врача, ни от кого не мог услыхать разумного слова. Тут он понял пословицу: «Бывали встарь сосуды деревянные, да попы, золотые, а ныне сосуды золотые, да попы деревянные». Неотвязная мысль, где же всемирная истина, неискаженная Христова церковь, мучительно тяготила Кислова. Тут познакомился он с Луповицкими и по их совету принялся читать мистические книги.

Кислову показалось, что эти книги все ему разъяснили. Дни и ночи проводил он за ними. Еще больше удовлетворяли его пытливость беседы с Николаем Александрычем. Прошло три года, и Степан Алексеич вошел в корабль Луповицкого. За ним пошла и жена его, тихая, добрая, кроткая женщина, примерная жена и мать, предан-

ная церкви. С восторженной радостью ринулись Кисловы в секту, где все казалось им новым, истинным, святым; церкви не покинули, как и вообще все божьи люди ее не покидают. Усердней других исполняли они церковные обряды, чаще других приступали к таинствам, чаще других принимали попов для служенья молебнов и щедро им за то платили. Духовенство считало их лучшими, примерными чадами церкви.

Дочь росла у Кисловых — только всего и детей было у них. Из нее, выросшей в набожной семье, вышла богобоязненная и богомольная девушка. Никогда никто не слыхивал, чтоб она громко говорила, смеялась или пела мирскую песню, никто не видал, чтоб она забавлялась какими-нибудь играми либо вела пустые разговоры со сверстницами. Угрюмая, молчаливая, сосредоточенная в самой себе, никем, кроме отца с матерью, она не была любима. Ее считали полоумной, ни на̀ что не годной. Время проводила она за работой либо за книгами. Читала то же, что и отец с матерью, и оттого, будучи еще лет пятнадцати, стала стремиться к созерцательной жизни, желала монастыря. И мать и отец ее от того отговаривали, представляя жизнь монахинь вовсе не такою, как она думала. «Что за жизнь в монастыре? — убеждала ее мать.— Один только грех. По наружности там добры́, приветливы и снисходительны, готовы на всякую послугу, благочестивы, набожны. А поживи-ка с ними, иное увидишь...» Не внимала Катенька словам родителей. Случилось ей прогостить несколько дней в одном монастыре у знакомой монахини: там была она окружена такою любовью и внимательностью, провела время так приятно, что монастырь показался ей раем. Вспоминая о том, дни и ночи плакала она, умоляя отца с матерью позволить ей поселиться в какой-нибудь обители... Видя, что никакие убеждения не могут поколебать намерений дочери, Степан Алексеич сказал жене: «Отпустим, пусть насмотрится на тамошнее житье. Век свой после того ни в каком монастыре порога не переступит». Так и случилось. Полугода не выжила Катенька в честной обители. Послала к отцу письмо, слезно моля взять ее домой поскорее.

Болезненно отозвалась на ней монастырская жизнь. Дымом разлетелись мечты о созерцательной жизни в тихом пристанище, как искры угасли тщетные надежды на

душевный покой и бесстрастие. Стала она приглядываться к мирскому, и мир показался ей вовсе не таким греховным, как прежде она думала; Катенька много нашла в нем хорошего... «Подобает всем сим быти»,— говорил жене Степан Алексеич, и Катеньку оставили в покое... И тогда мир обольстил ее душу и принес ей большие сердечные тревоги и страданья.

Вскоре после ее возвращенья из монастыря был поставлен в городок на зимние квартиры гусарский полк. Постой большой, вовсе не по крохотному, бедному городку: квартир понадобилось много, и Степан Алексеич волей-неволей должен был принять к себе постояльца. У него в особом флигельке поселился красивый, с светским лоском молодой офицерик князь Рахомский, владелец восьмисот душ в одной из черноземных губерний. Приглянулась ему семнадцатилетняя Катенька, и он, помирая со скуки в уездной глуши, от нечего делать стал за ней ухаживать. Молоденькой, неопытной простушке трудно было устоять перед обаятельным красавцем — она полюбила его всем пылом сердца, еще не изведавшего любви. Зорко следили за ней отец с матерью, но не противились сближенью ее с молодым человеком. «Что ж,— говорили Степан Алексеич с женой,— вступит ли она на правый путь, познает ли сокровенную тайну, еще неизвестно. Те ведь только праведны и святы, кого дух привлекает, а кто своей волей, не по избранию духа, входит в корабль, повинен вечному осужденью. А в Катеньке нет «движений духа». Будет ли еще она угодна на служение богу, кто ее знает? Если ж не будет это, пускай ее в миру остается... И тогда чего бы лучше, если б стала она богатой княгиней. При нашей старости и нас бы призрела. А князь, по всему видится, человек хороший, к подвластным справедлив и милостив, много потаенного добра он делает. И умен, и благочестив, и родство у него знатное. Вдруг наша дочушка станет княгиней, с царскими вельможами в родстве... А впрочем, буди во всем власть господня».

Сближались молодые люди. Сказал князь Катеньке, что любит ее, она тем же ему отвечала. Он хотел было идти дальше, но, кроме поцелуев, ничего не получил. Тогда стал он уверять Катеньку, что женится на ней, только что съездит в Петербург на короткое время. Катенька сказала о том отцу с матерью. Степан Алексеич

завел с князем речь, князь смутился, но просил руки Катеньки. Согласие было дано, и князь с Катенькой стали женихом и невестой. Отъезд князя замедлялся; став в свободные отношения к невесте, молодой человек усилил исканья, но Катенька чиста̀ и непорочна вышла изо всех похождений с ним. Князь стал тревожен, сумрачен, осыпа̀л невесту упреками и страстными своими порывами то и дело до слез доводил ее. Наконец, уехал, обещал через месяц воротиться и обвенчаться... Получила от него два письма Катенька, одно другого холоднее; в последнем писал он, что раньше трех месяцев ему нельзя воротиться, и звал невесту в Петербург, обещая до свадьбы окружить ее такою роскошью, таким довольством, каких она и понять не может. По совету отца, Катенька отвечала, что приедет в незнакомый ей город не иначе, как с законным мужем. Ответа не было. Не прошло трех месяцев, как узнали о женитьбе князя Рахомского и об отъезде его с молодой женой за границу.

Когда узнала об этом Катенька, она вскрикнула, тяжело опустилась на стул и, сжав грудь руками, затрепетала, как подстреленный голубь, но ни одного слова не молвила, ни одной слезинки не выронила. Вдруг быстро вскочила и бегом из дому. Едва успели оттащить ее от колодца. Три дня ни слова не сказала она, потом начались у ней припадки падучей. Придя в себя, ничего не помнила, забыла и жениха. Прошлое исчезло для нее, как бы его совсем не бывало. Редко, редко вымолвит слово, все молчит, всегда в каком-то тяжелом раздумье.

Каждый отец, каждая мать убивались бы горем при таких страданьях дочери. Кисловы были им рады, ровно счастью какому. «Открылись движения духа»,— сказал Степан Алексеич, жена согласилась с ним, и оба благодарили бога за милости, излиянные на их дочь. «Пророчицей будет во святом кругу»,— сказал Степан Алексеич. «Может быть, и богородицей!» — отвечала жена. И стали готовить Катеньку ко вступлению «на правый путь истинной веры»; когда ж привезли ее в Луповицы и она впервые увидала раденье, с ней случился такой сильный припадок, что, лежа на полу в корчах и судорогах, стала она, как кликуша, странными голосами выкрикивать слова, никому не понятные. Это людьми божиими было признано за величайшую благодать. Все стали относиться

к Катеньке с благоговением, звать ее «златым сосудом», «избранницей духа», «божьей отроковицей». Через неделю она была «приведена» и тотчас начала пророчествовать. И не бывало после того собранья людей божьих без участья в них Катерины Степановны. Прежде езжала она на соборы с отцом и матерью, но вот уж четыре года минуло, как паралич приковал к постели ее мать, и Катенька ездит к Луповицким одна либо со Степаном Алексеичем.

Приехал к Кисловым Пахом и, не входя в дом, отпряг лошадку, поставил ее в конюшню, задал корму, втащил таратайку в сарай и только тогда пошел в горницы. Вообще он распоряжался у Кисловых, как у себя дома. И Степана Алексеича и Катеньку нашел он в спальне у больной и вошел туда без доклада. Все обрадовались, сама больная издала какие-то радостные звуки, весело поглядывая на гостя.

— Христос воскрес,— сказал Пахом, входя в комнату.

— Христос воскрес,— отвечали и Степан Алексеич и Катенька. Больная тоже какое-то слово прошамкала.

— Как тебя дух святый соблюдает, Пахомушка? — спросил хозяин, когда приезжий уселся на стуле возле больной.

— Хранит покамест милостивый,— отвечал Пахом.— Слава в вышних ему!

— Давно ль из Луповиц? — спросила Катенька.

— С утра,— отвечал Пахом.— В объезд послан. Оповестить. Приезжайте. На воскресенье будет собранье. Ждать али нет?

— Будем, будем,— отвечал Степан Алексеич.— Как же не быть? И то давненько не святили душ.

— Лошадку-то я поставил к тебе на конюшню, Степанушка. Переночую у тебя, а только что поднимется солнышко, поеду в монастырь.

— К Софронушке? — спросил Кислов.

— Да. С собой возьму блаженного, ежель отпустят,— отвечал Пахом.— У тебя, друг, все ль по-доброму да по-хорошему?

— Ничего. Все слава богу,— отвечал Степан Алексеич.— Хозяйка только вот нас с Катенькой сокрушает. Нет лучше, не поднимает господь.

Больная жалобно зашамкала, печальным взором взглянув на Пахома.

— Не испытывай, Степанушка, судеб божиих,— сказал Пахом.— Не искушай господа праздными и неразумными мыслями и словесами. Он, милостивый, лучше нас с тобой знает, что делает. Звезды небесные, песок морской, пожалуй, сосчитаешь, а дел его во веки веков не постигнешь, мой миленький. Потому и надо предать себя и всех своих святой его воле. К худу свят дух не приведет, все он творит к душевной пользе избра̀нных людей, искупленных первенцев богу и агнцу.

Замолчал Степан Алексеич, благоговейно поникнув головою.

— Марья Ивановна не приехала ль? — спросила Катенька.— Ждали ведь ее в Луповицах-то?

— Приехала, Катеринушка, вот уже больше недели, как приехала,— ответил Пахом.— Гостейку привезла. Купецкая дочка, молоденькая, Дунюшкой звать. Умница, скромница — описать нельзя, с Варенькой водится больше теперь. Что пошлет господь, неизвестно, а хочется, слышь, ей на пути пребывать. Много, слышь, начитана и большую охоту к божьему делу имеет... Будет и она на собранье, а потом как господь совершит.

— Молодая, говоришь ты? — спросила Катенька.

— Молодая,— ответил он.— На вид и двадцати годков не будет. Сидорушка, дворецкий, говорил, что и в пище и в питии нашего держится, по-божьему, и дома, слышь, воздерживает себя и от мясного и от хмельного.

— Родители-то ее на пути? — спросил Степан Алексеич.

— Нет,— отвечал Пахом,— родитель у ней старовер и не такой, чтобы следовать по божьему пути.

— Откуда она?

— С Волги откуда-то. Там ведь Марьюшка-то наша купила именье, Фатьянку, где в стары годы божьи люди живали. Был там корабль самого батюшки Ивана Тимофеича.

— Наслышаны мы о том, Николаюшка сказывал,— молвил Степан Алексеич.

— Родитель нашей гостейки по соседству с Фатьянкой живет,— продолжал Пахом.— Оттого и знакомство у него с Марьюшкой, оттого и отпустил он дочку с ней

в Луповицы погостить. Кажись, скоро ее приводить станут.

— Слава в вышних богу! — набожно промолвил Степан Алексеич. Катенька повторила отцовские слова.

После короткого молчанья Степан Алексеич, взяв с полочки книгу, сказал Пахому:

— Не почитать ли покуда? А после и порадеть бы для больной. Теперь при немощах ее редко ей, бедной, доводится освящать свою душу.

Согласился Пахом, и Степан Алексеич, раскрыв книгу, подал ее Катеньке. Та стала читать житие Иоасафа, индийского царевича, и учителя его, старца Варлаама.

После чтения началось пение и скаканье. «В слове ходила» Катенька. Придя в исступленье, начала она говорить восторженно глядевшей на нее матери, а Степан Алексеич и Пахом, крестясь обеими руками, стали пред пророчицей на колени.

— Духом не мятись, сердцем не крушись,— выпевала Катенька, задыхаясь почти на каждом слове.— Я, бог, с тобой, моей сиротой, за болезнь, за страданье духа дам дарованье!.. Радуйся, веселись верна-праведная!.. Звезда светлая горит, и восходит месяц ясный, будет, будет день прекрасный, нескончаемый вовек!.. Бог тебя просветит, ярче солнца осветит... Оставайся, бог с тобою, покров божий над тобою!

И накрыла лицо больной платком, что был у ней в руках во время раденья.

Перецеловались все, приговаривая: «Христос посреди нас со ангелами, со архангелами, с серафимами, с херувимами и со всею силою небесною».

Один за другим с теми же словами поцеловали и больную.

Затем перешли в другую комнату, там уж давно кипел самовар. Чаю напились, белого хлеба с медом поели, молока похлебали. Солнце стало всходить, и Пахом пошел закладывать быстроногую рыженькую. Не уснув ни на капельку, погнал он в Княж-Хабаров монастырь, чтобы к поздней обедне поспеть туда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Княж-Хабаров монастырь был основан больше двух с половиной веков тому назад. Строен он был вскоре после лихолетья одним из самых родовитых московских служилых людей, князем Хабаровым. Было у князя пять сыновей, но все они изгибли в смутное время московской разрухи. Трое честно пали в бою с людьми литовскими, четвертый живьем погорел, когда поляки Китай и Белый город запалили, а пятый перекинулся ко врагам русской земли, утек за рубеж служить королю польскому, и не стало вестей о нем. Говорили, что помер, говорили, что в латинство ушел и стал католицким монахом, а наверное никто сказать не мог.

Изводился старый славный род князей Хабаровых, один последыш в живых оставался — престарелый князь Федор княж Иваныч, что, будучи еще в молодых годах, под Казань ходил с первым царем Иваном Васильичем... Много было у князя Хабарова и вотчин и всякого добра — денег, дорогих уборов, золотой и серебряной посуды ни взвесить, ни сосчитать. А после смерти его некому тем богатством владеть — не оставалось ни рода, ни подродка, ни близких сродников, ни дальних. То пуще всего крушило князя Федора, то всего больше его печалило, что некому было приказать свою душу, некому по смерти его быть помянником... И то немало его сокрушало, что в грядущих поколеньях забудется громкое имя князей Хабаровых.

Однажды князь Федор Иваныч рано проснулся. Утренняя заря еще не загоралась. И был ли то сон, была ли явь, сам он не знал того,— видит у своего ложа святолепного старца в ветхой одежде, на шее золотой крест с самоцветными каменьями, такой дорогой, что не только у князя, да и в царской казне такого не бывало. И сказал неведомый старец: «Почто всуе мятешися, человече, помышляя о тленных сокровищах? Кто дал тебе богатство, тому и отдай его». Услышав старцевы речи, помыслил князь: «Кто ж дал мне мои именья? То моя отчина, то моя дедина, как же я могу отдать их родителям, дедам и прадедам, в давних летех скончавших живот свой?» И едва помыслил, старец сказал: «Не от родителей, не от дедов и прадедов получил ты богатства: Христос дал их роду твоему, Христу и отдай их, ибо род

твой преходит на земле... Монастырь соргади на горе возле твоего села, согради его во имя Спаса милостивого, и не будет забвенно на земле имя твое, станут люди честну́ю обитель звать Княж-Хабаровым монастырем. И много за то будет тебе милостей от господа, егда предстанешь пред лицо его». И по сем невидим был старец, князь же, рассудя о видении, познал, что он от самого бога, и все исполнил по велению святолепного старца. Так писано в старых монастырских записях о начале Княж-Хабаровской Спасской обители.

Княжеское наследство сразу сделало тот монастырь одним из богатейших в России, братии было в нем число многое, строения все каменные, церкви украшены иконами в драгоценных окладах, золотой и серебряной утварью, златотканными ризами и всяким иным церковным имуществом. За трапезу меньше четырех яств, а за ужином меньше трех не ставили. Меды, квасы сыченые, пиво мартовское бочками в монастырских погребах во льду засекались. По праздникам на тра̀пезе, опричь водки, ставились и фряжские вина и всякие сладкие овощи: дыни, арбузы, яблоки, груши и сливы. Рыбу из Саратова да из Черкасска каждый год по первопутице целыми обозами в монастырь привозили. Во всем было обилие и довольство.

По времени упал монастырь. Набеги разбойников и нередко бунтовавших инородцев, нескончаемые поземельные тяжбы, а больше всего непорядки, возникшие с тех пор, как люди из хороших родов перестали сидеть в настоятелях обители всемилостивого Спаса, а в монахи начали поступать лишь поповичи да отчасти крестьяне отъем населенных не одною тысячью крестьян имений — довели строенье князя Хабарова до оскуденья; затем в продолжение многих десятков лет следовал длинный ряд игуменов из поповичей, как всегда и повсюду, мало радевших о монастырских пользах и много о собственной мамоне и кармане. Тогда старинные сокровища были распроданы, и обитель вошла в неоплатные долги. По такой рачительности поповичей, начиная с архиереев до последнего привратника, почти запустело строенье князя Федора княж Иваныча Хабарова. Прежде монахов считали сотнями, теперь их стало человек двадцать пять. Прежде, когда Княж-Хабаровым монастырем правили люди из хороших родов, призревалось в нем до сот-

ни на войне раненных и увечных, была устроена обширная больница не только для монахов, но и для пришлых, а в страннoприимном доме по неделям получали приют и даровую пищу странники и богомольцы, было в монастыре и училище для поселянских детей. И все это рушилось по милости жадных поповичей. Деньги, что шли на училище, велено архиереем доставлять в семинарию, в страннoприимном доме срок дарового корма сокращался, а потом и совсем прекратился, больницу закрыли, перестали принимать увечных и раненых, потому-де, что монахи должны ежечасно проводить время в богомыслии, а за больными ухаживать им невместно. Так угасли и былая слава и былое богатство обители, сограждeнной последышем в роде князей Хабаровых... Кутейники ее съели да пропили.

Правил тем монастырем честной старец игумен Израиль. Роду был, разумеется, поповского и сам попом прежде был, но потом волей-неволей должен был принять на себя ангельский чин. Ради насущного хлеба в монахи постригся, кстати ж был вдов и бездетен. Ловкий инок в гору пошел при новом владыке и через малое время был поставлен в игумны Княж-Хабарова монастыря. И вот уж лет двадцать доедает, допивает и в карман кладет скудные остатки богатств князя Хабарова. Четыре архиерея сидело при нем на владычнем столе, и каждому из них отец Израиль приятен и весьма любезен был.

В Княж-Хабаровой обители жил рясофорный монах. Звали его отцом Софронием. Было ему лет за шестьдесят, а поступил он в монастырь лет десяти либо одиннадцати, будучи круглым сиротой. С детства нападала на него черная немочь: по часу и по два бьется, бывало, бедный, лежа на земле без памяти, корчит его и коробит, руки-ноги сводит судорогами. Такой ребенок был миру тягота, ни в работники взять, ни в солдаты отдать, одна маята с ним. Целой волостью кучились мужики игумну принять убогенького в монастырь, он-де ни на что не годен, разве только что богу молиться. Сложились мужики, поклонились, и был взят в монастырь полоумный. Когда мальчуган подрос, увидали монастырские поповичи, что польза из него может быть. Обительский приемыш не был чуток к холоду — в трескучие морозы босиком бегал, в одной рубашонке, и вел нескладные речи. Вышел из него юродивый первого, самолучшего сорта. Хоть поло-

умных в монахи не постригают, но ради монастырской пользы его постригли и нарекли Софронием. С той поры приезжих богомольцев стало бывать помногу. Усердствующие с любовью и благоговеньем посещали блаженного Софронушку, а купчихи с дочерьми верст даже из-за двухсот и больше приезжали к нему за полезными словами и пророчествами. В купеческих семьях ни одной свадьбы не венчали без того, чтобы мать нареченную невесту не свозила прежде к блаженному узнать, какова будет судьба ее, не будет ли муж пьяница, жену не станет ли колотить, сударочек не заведет ли, а пуще всего не разорится ли коим грехом. Разболеется кто из богатых, тоже к Софронушке узнать, к животу али к смерти болезнь приключилась. Ребенок родится — едут к юроду проведать, будет ли жить, будет ли умен да счастлив. Затевает купец новое дело, без того не начнет его, пока не спросит Софронушку насчет удачи. От окрестных деревенских баб блаженному не было отбоя, то и дело лезут, бывало, к нему с вопросами: бычком али телочкой отелится коровушка, огурцы да капуста хорошо ль уродятся, выгодно ль на базаре масло да сметану баба продаст. Софронушка когда коровой мычал, когда пел петухом, а иногда и человечьим языком бессмысленный вздор говорил. Но все это признавалось за пророчество, и жаждущие познания своей судьбы, подумавши меж собой, оставались уверенными, что они понимают и мычанье, и «кукуреку», и бессмысленные речи юрода. О будущем заключали даже по движеньям Софронушки. Язык высунет — к худу, выбранит кого, а лучше того если ударит — к счастью, свечку подаст либо деревянного масла — к покойнику, просвирку — к изобилию. Блаженный юрод иногда пропадал из монастыря по целым неделям. Чаще всего уходил он в соседний городок: там купцы наперебой его друг у дружки в лавки зазывали,— войдет Софронушка в лавку — счастье, с пользой, значит, будут в ней торговать. А ежель возьмет что в лавке Софронушка, не то чтобы деньги с него спросить, накланяются еще досыта за такую милость, руки и полы расцелуют, потому что если он хоть самую малость возьмет, значит хозяин весь залежалый товар поскорости с барышом распродаст. Брал Софронушка пустяки — орехов с горсточку, два-три пряника, подсолнухов, пареной груши, и все раздавал уличным мальчишкам, а кому

даст, того непременно за вихор либо за ухо. И это за благодать почиталось. Денег в руки никогда не бирал. Ежели вздумает кто подать, благим матом закричит: «Жжется! ой жжется!» — и убежит сломя голову. Это очень не нравилось отцу Израилю — «зачем,— говаривал он юроду,— призревшая тебя обитель лишается достодолжной благостыни?» У себя в келье Софронушка только деревянное масло да восковые свечи принимал от приходивших узнавать судьбу. Иная купчиха, желая знать, кого она родит — сынка или дочку, пудовую свечу, бывало, с собой привезет, а невеста, что за судьбой приехала, и пять таких свечей притащит Софронушке. А блаженный все в церковь несет. И бывал от того Княж-Хабаровой обители немалый припен. Иные ревнители выпрашивали у отца Израиля Софронушку погостить к себе. Великим божьим благословением, несказа̀нным счастьем почиталось, ежели он у кого в дому хоть ночь переночует, а с неделю прогостит — так благодати не огребешься, как говаривала благочестивая старуха, первостатейная купчиха Парамонова, век свой возившаяся с блаженными, с афонскими монахами, со странниками да со странницами. Отец Израиль много доволен бывал, ежели просили у него на время Софронушку — не даром ведь. Хорошей доходной статьей был юрод для обители.

Еще при жизни Александра Федорыча в Луповицах обратили на Софронушку внимание. Слыхал генерал Луповицкий чуть ли не от самой Катерины Филипповны, что в старые годы у божьих людей и христос и апостолы бывали из юродивых. Таков был Иван Тимофеич, таков преемник его нижегородский стрелец Прокопий Лупкин, таков был и следовавший по стопам его загадочный человек, известный под именем лжехриста Андрюшки. В безумии несчастных, подверженных падучей болезни, божьи люди видели «златые сосуды благодати», верили, что в них святой дух пребывает, «ходит» в них и хождение свое припадками изъявляет. Ни мычаний, ни мяуканья юродов, ни их неразумных слов не понимали познавшие тайну сокровенную, но верили твердо, что люди, подобные Софронушке, вместилища божественного разума и что устами их говорит сама божественная премудрость. Они полагали, что присутствие таких людей в корабле ускоряет нашествие святого духа. Оттого в Луповицах и дорожили Софронушкой.

Когда Пахом подъезжал ко Княж-Хабарову монастырю, совсем уже обутрело, а с высокой колокольни благовестили к поздней обедне. Несмотря на давнюю запущенность монастыря, строенья его были еще величественны. Кругом выведена высокая, толстая стена с огромными башнями и бойницами, не раз защищавшая обитель от бунтовавшей мордвы и других инородцев, что, прельщаясь слухами о несметных будто монастырских богатствах, вооруженными толпами подступали к обители и недели по две держали ее в осаде. Стены кой-где давно уж обвалились, зубцы давно пошли на выстройку бани, гостиницы и двух игуменских беседок, башни стояли без крыш... Построенные при царе Михаиле Федоровиче основателем монастыря, церкви были обширны, на них запечатлелась искусная рука знаменитого зодчего Возоулина, но они уж давно обветшали, обвалились, густо позолоченные главы собора облезли, черепица на других церквах и на высокой колокольне рассыпалась. Кельи, когда-то населенные не одной сотней монахов, теперь почти все пустовали. В них и в бывших училище, больнице, богадельне не было ни оконных рам, ни дверей, даже полы были выломаны. Печи разобраны, потолки провалились, а от крыш и следов не осталось. Обширный двор зарос бурьяном — на каждом шагу видно было запустенье.

Подъезжая ко святым воротам, Пахом увидел молодого, еще безбородого монаха. Сидел он на привратной скамейке и высоким головным голосом распевал что-то грустное, заунывное.

Прислушался Пахом к иноческому песнопению:

Не спасибо игумну мому,
Не спасение бессовестному:
Молодехонька во старцы постриг,
Камилавочку на голову надел...
Не мое дело к обедне ходить,
Не мое дело молебны служить —
Мое дело поскакать да поплясать,
Мое дело красных девок целовать!
Уж и четки-то под лавочку,
Камилавочку на стол положу...

— Дома ль отец игумен? — поверставшись с певцом, спросил у него Пахом.

— Дрыхнет,— отвечал монах и продолжал:

Я на стол положу, мою кралю подарю,
Я кралечку подарю, гулять в рощу с ней пойду.
Я в рощице нагуляюсь, со игумном распрощаюсь:
«Ты прощай, мой лиходей, с кралечкой
мне веселей».

С кадочкой меда пошел Пахом в игуменские кельи. В сенях встретился ему келейник.

— Встал отец Израиль? — спросил у него Пахом.

— Встал. Чаи распивает с казначеем,— отвечал келейник.

— Нездоров, слышь, он?

— Была хворость, точно что была, больше двух недель держала его. Третьего дня, однако ж, поправился,— сказал келейник.

— Чем хворал-то? — спросил Пахом.

— Известно чем,— отвечал келейник.

— А можно к нему? — спросил Пахом.

— Отчего ж не можно! Теперь к нему можно,— сказал келейник.— Обожди минуточку — доложу. От господ али сам по себе?

— От господ из Луповиц,— молвил Пахом.— Доложи отцу Израилю: приказчика, мол, господа Луповицкие до его высокопреподобия прислали с гостинчиком.

— Ладно, хорошо,— сказал келейник и через несколько минут позвал Пахома к игумну.

Высокий, плотный из себя старец, с красным, как переспелая малина, лицом, с сизым объемистым носом, сидел на диване за самоваром и потускневшими глазами глядел на другого, сидевшего против него тучного, красноличего и сильно рябого монаха. Это были сам игумен и казначей, отец Анатолий.

Войдя в келью, Пахом помолился на иконы и затем подошел к тому и другому старцу под благословенье.

— Здоровенько ли, Пахом Петрович, поживаешь? — недвижно сидя на кожаном диване, ласковым голосом спросил отец Израиль.— Господа в добром ли здоровье? Что Николай Александрыч?.. Андрей Александрыч? Барыня с барышней?

— Все слава богу,— отвечал Пахом.— Кланяться приказали вашему высокопреподобию. Гостинчик извольте принять от ихнего усердия.

И, положив на стол золотой, поставил кадочку у дивана.

— Медку своих пчелок прислали,— промолвил Пахом.

— Спасибо, друг, спасибо. Пошли господи здоровья твоим господам, что не оставляют меня, хворого, убогого. А я завсегда ихний богомолец. За каждой литургией у меня по всем церквам части за них вынимают, а на тезоименитства их бесперводно поются молебны Николаю чудотворцу, святителю мирликийскому, Андрею Христа ради юродивому, Варваре великомученице. Каждый раз во всей исправности справляем. А как яблочки у вас в саду?

— Яблоки хороши,— отвечал Пахом.— Ежели до съема хорошо выстоят — большой урожай будет. И груш довольно и дуль...

— А вишенки? — спросил отец Анатолий.

— И вишен довольно,— ответил Пахом.— Слава богу, все уродилось.

— А у нас и на яблонях, и на вишенье цвету было хоть видимо-невидимо, весь сад ровно снегом осыпало, а плода господь не совершил,— с сокрушенным видом, перебирая янтарные четки, сказал игумен.— Червяк какой-то зловредный напал, всю завязь, самый даже лист паутиной затянул. Так все и погибло — теперь редко-редко где яблочко, а вишен, почитай, вовсе нет. Молви, друг, Андрею-то Александрычу, по осени не оставил бы своих убогих богомольцев — прислал бы яблочков на мочку, сколько господь ему на мысли положит, да и вишенок-то в уксусе пожаловал бы бочоночек-другой. А что, поди теперь у вас и дыни и арбузы?

— Есть,— молвил Пахом,— только не совсем еще дозрели.

— Станут дозревать, прислал бы Андрей Александрыч сколько-нибудь на утешение нашему убожеству, а мы всегдашние его богомольцы,— сказал отец Израиль.— Да медку бы свеженького, сотовенького со своей пасеки пожаловал. Прошлого года, по осени, владыка изволил наш монастырь посетить, так очень похвалял он соты, что Андрей Александрыч прислал мне. Чего ни видал, где ни бывал владыко, в шестой, никак, епархии правит теперь,— казалось бы, ничем его удивить нельзя. А изволил говорить, что такого меду в жизнь свою-де не кушивал. Какой-то, говорит, особый, с нарочито

прекрасным запахом. Повелел он тогда мне доподлинно разузнать, отчего у вас такой мед выходит...

— Резеду вкруг пасеки-то сеют, дикий жасмин тоже насажен — пчела-то с них обножь[1] берет,— сказал Пахом.

— Ишь ты! — качнув головой, молвил игумен отцу Анатолию.— Для пчелы сеют особые травы, особые цветы разводят. Вот бы тебе, отец Анатолий, поучиться...

— Куда уж нам! — сказал казначей.— Пошлет господь и простенького медку, и за то благодарни суще славим великие и богатые его милости. Где уж нам с резедами возиться!.. Ведь у нас нет крепостных, а штатные служители только одна слава — либо калека, либо от старости ног не волочит. Да и много ль их? Всего-то шесть человек. Да и из них, которы помоложе, на архиерейский хутор взяты.

— Не моги роптать, отец Анатолий,— внушительно сказал ему Израиль.— Воля святого владыки. Он лучше нас знает, что нам потребно и что излишне. Всякое дело от великого до малого по его рассуждению строится, и нам судить об его воле не подобает.

— Да я и не сужу, отче святый,— робко ответил отец Анатолий.— Как можно мне судить о таком лице, как божий архиерей? Ума достаточно не имею на то... к слову только про штатных помянул, говоря про наши недостатки.

— И того не дерзай,— рек игумен.— И к слову не моги поминать о владыке, разве только прославляя святую его жизнь, ангельскую кротость, душевное смирение, неумытное правосудие и иные многие архипастырские добродетели... Да... Повеждь людям о милостях, на нас бывших, о великой премудрости святителя... а ты вдруг про хутор да про штатных. Не годится, даже очень не годится. Одобрить не могу. О том помысли, что было бы, ежели б, коим ни на есть случаем, сведал владыко о таковых мятежных речах твоих? Похвалил бы тебя?.. Ась?.. Как думаешь, отец казначей?

Вскочил Анатолий и, припав к стопам игуменским, промолвил со слезами:

---

[1] *Обножь,* также *взято́к, коло́шка, поноска* — все что пчела сбирает с цветов и уносит на ножках.

— Прости, отче святый. Не отринь покаяния. Прости великое мое прегрешение, прости мое неразумие и скаредную дерзость мою.

— Бог простит. Разрешаю и благословляю. Покаяние покрывает все грехи. Впредь не греши, отец Анатолий.

Встал казначей и облобызал игуменскую десницу.

А Пахом все стоит перед монастырскими властями. Наконец, игумен сказал ему:

— Вот, друг мой, Пахом Петрович, молви-ка господам, сколько мне труда и заботы предлежит по моей должности. Всякого научи, всякого наставь, иного ободри и похвали, иного же поначаль и в чувствие приведи, а иного, по писанию, и жезлом, яко сына отец, поучи. Ох, любезненький ты мой, ежели бы господа дворяне знали нашу жизнь, много бы благоутробнее были до нашего убогого смирения... Рыбку-то с Дону привезут — не оставил бы Андрей Александрыч. Дорогà нынче рыбка-то стала, в сапожках ходит. Нашей обители, аще забвенна будет благотворителями, и в рождество Христово и в светло воскресенье без рыбной яствы придется за трапезу сесть... Едина надежда на христолюбцев. Молви, друг.

— Доложу,— ответил Пахом.

— Конек угас [1] у меня по весне, любезный мой Пахом Петрович,— мало повременя, сказал игумен.— А славный был коняшка, сильный, работящий. И что попритчилось с ним, ума не могу приложить. Должно быть, опоили горячего мошенники конюхи. На все был пригоден — в дорогу ль ехать, возы ли возить. И всего-то девять годков было ему. Теперь у меня на конном дворе всего шесть лошадок, без седьмой невозможно... Достатки скудные, денег ни копейки, а долгов, что грибов в лесу. Озарил намедни меня господь мыслию: стану, думаю, униженно просить я Андрея Александрыча, не пожалует ли какого-нибудь немудрого конька... Не могу наверно сказать тебе, любезный мой Пахом Петрович, а от старых иноков слыхал я, что преславный боярский род господ Луповицких, по женскому колену, влечет племя свое от князей Хабаровых. Значит, господа твои сродственники приснопамятному зиждителю нашей обители. Воз-

[1] Околел.

радовал бы Андрей Александрыч преподобную душу по плоти своего сродника, ныне в небесных селениях пребывающего князя Феодора. Покучься, Пахом Петрович, не пожертвует ли от своих щедрот коняшку. Попомни, пожалуйста.

— Доложу,— молвил Пахом.

— Новенького нет ли чего у вас? — после недолгого молчанья спросил отец Израиль.

— Марья Ивановна приехала погостить, а больше того никаких нет новостей,— ответил Пахом.

— Ну вот! Впрямь приехала. Надолго ли? — спросил игумен.

— Не могу сказать.

— Не вздумает ли обитель нашу посетить? Давненько не жаловала, третий год уж никак... Поклон ей усердный от меня, да молви, отец, мол, игумен покорнейше просит его обитель посетить,— сказал Израиль.

— Доложу,— молвил Пахом. И, немного переждав, сказал: — Марья Ивановна, почитаючи отца Софрония, наказывала попросить у вашего высокопреподобия, отпустили бы вы его повидаться с ней.

Не сразу ответил отец Израиль. Нахмурился и принял вид озабоченный. Потом, не говоря ни слова, начал пальцами по столу барабанить.

— Ох, не знаю, что и сказать тебе на это, Пахом Петрович. Дело-то не совсем простое. Не в пример бы лучше было Марье Ивановне самой к нам пожаловать, здесь и повидалась бы она с Софронием. В прошлом году, как новый владыко посетил нашу обитель, находился в большом неудовольствии и крепко журил меня, зачем я его к сторонним людям пускаю. За ограду не благословил его пускать. Соблазну, говорит, много от него. Владыке-то, видишь, многие из благородных и даже из простых жалобы на него приносили — бесчинствует-де повсюду. Боюсь, Пахом Петрович, боюсь прогневить владыку. Он ведь строгий, взыскательный...

— Да ведь ежели, ваше высокопреподобие, отпустите отца Софрония, так я до самых Луповиц нигде не остановлюсь и назад так же повезу. А в Луповицах из барского дома ходу ему нет,— сказал Пахом.— Явите милость, Марья Ивановна крепко-накрепко приказала просить вас.

— Нет, друг, нельзя,— решительным голосом сказал Израиль.— Боюсь. Ну, как вдруг владыко узнает?.. Не тебя и не Марью Ивановну станет тазать. Так али нет, отец Анатолий?

— Известно,— молвил казначей, зевая всем ртом нараспашку и творя над ним крестное знамение.

— Видишь ли,— обратился игумен к Пахому.— Нет, друг, поклонись ты от меня благотворительнице нашей, Марье Ивановне, но скажи ей, что желания ее исполнить не могу. Очень, мол, скорбит отец игумен, что не может в сем случае сделать ей угождения... Ох, беда, беда с этими господами!..— прибавил он, обращаясь к казначею.— Откажи — милостей не жди, сделаю по-ихнему, от владыки немилости дожидайся... Да... Нет, нет, Пахом Петрович,— не могу.

— Да ведь не на долгое время, ваше высокопреподобие. Пробыл бы он в Луповицах какую-нибудь неделю, много что две,— начал было Пахом.

— Ишь что сказал! — воскликнул отец Израиль.— А разве неизвестно тебе, что к отцу Софронию богомольцы частенько за благословеньем приходят. В две-то недели сколько, ты полагаешь, обитель от того получит?.. Мне от отца казначея проходу не будет тогда. Так али нет, отец Анатолий?

Вместо ответа казначей громогласно икнул и в строгом молчанье перекрестил уста свои.

Вынул Пахом из кармана пакет и, подержав его в руках минуты две, спрятал опять за пазуху.

— Это у тебя что? — полюбопытствовал отец Израиль.

— Нет, это так,— молвил Пахом.— Теперича, значит, оно не годится,— и, сказав засим: — Прощайте, ваше высокопреподобие,— подошел к благословению.

— Что за пазуху-то сунул? Письмо, что ли?..— с живостью спросил игумен.

— Нет, это так... Пустое, значит, теперь дело,— молвил Пахом.

— Да что, что такое? — с нетерпеньем встав с места, сказал отец Израиль.

— Барышня Марья Ивановна приказала было отдать вашему высокопреподобию этот пакетец с деньгами, ежель отпустите отца Софрония,— сказал Пахом.

— Так ты должен мне отдать его, когда барышня приказала?.. Для чего ж не подаешь?.. Странно!..— молвил игумен.

— Барышня приказывала отдать пакет, когда получу отца Софрония, а ежель не получу, велела деньги назад привезти.

— Гм!.. Вот что!.. Слышишь, отец Анатолий?

Отец казначей вместо ответа опять икнул.

— Что с тобой, отче?..— спросил игумен.

— Со вчерашнего,— пробасил отец Анатолий.

— А-а! — протянул игумен.

— Кваску чрез меру испил...— молвил казначей.— Холодный, прямо со льду, а я был распотевши.

— Осторожней надо, отче, осторожней,— учительно промолвил отец Израиль.— Ты уж не молоденький, утроба-то обветшала.

— Точно,— заметил отец Анатолий и еще икнул на всю келью.

— Благословите, ваше высокопреподобие, на обратный путь,— сказал Пахом, подходя к игумену под благословенье.

— Постой, друг, погоди. Дай маленько сообразиться с мыслями,— сказал игумен Пахому, не подавая благословения.— Как бы это нам обладить по-хорошему? Отец Анатолий, как бы это?

— Мнение мое таково же, как и вашего высокопреподобия,— молвил казначей, сопровождая ответ свой икотой.

— Хоть бы водицы испил,— молвил игумен.— Слушать даже болезненно. Поди к келейнику — он даст тебе напиться. Да как стакан-от в руки возьмешь, приподними его да, глядя на донышко, трижды по трижды прочти: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его». Помогает. Пользительно.

Безмолвно поднялся с места отец Анатолий и, с поникшей главой и долу опущенными глазами, пошел из кельи.

Молчал игумен, молчал и Пахом.

— Какое ж будет решенье от вашего высокопреподобия? — спросил, наконец, Пахом.

— Не знаю, друг, что и сказать тебе,— покачивая в раздумье головой, сказал отец Израиль.— Дело-то опасное. Сам посуди! И обители изъян — ропот пойдет,

молва меж братии. И Марье-то Ивановне желательно угодить и владычнего-то гнева страшусь. «Ты, говорит, не смей Софрона никуда пускать». Так и сказал этими самыми словами. «И без того, говорит, много толков обносится про него, а читывал ли, говорит, ты «Духовный регламент» Петра Великого? Помнишь ли, что там постановлено о ханжах и пустосвятах, а равно и о разглашении ложных чудес и пророчеств?..» Вот какие слова говорил владыка. Доложи господам, отец, мол, игумен рад бы всей душой, да опасается — в ответ не попасть бы.

— Так уж благословите меня, ваше высокопреподобие, в путь отправляться,— снова подходя к благословению, молвил Пахом.

— Да ты повремени, отдохни сколь-нибудь,— сказал Израиль, не подавая благословения.— Обожди маленько, обедня отойдет сейчас, в трапезу пойдешь, преломишь хлеб с братиею. Сам-то я не совсем домогаю, не пойду, так отец Анатолий тебя угостит.

— Нет уж, увольте меня, ваше высокопреподобие,— сказал Пахом.— Надо к вечеру домой поспеть.

— Да ты не торопись... Ишь какой проворный,— тебе бы тяп-ляп, да и корабль. Скоро, друг, только блины пекут, а дело спехом творить только людей смешить. Так не подобает,— говорил игумен.

Под это слово воротился казначей. Ему облегчало, и он спокойно уселся на оставленное место.

— Как посоветуешь, отец Анатолий? — молвил ему игумен.— Не отпустить ли уж отца-то Софрония?..

— Все в вашей власти, ваше высокопреподобие,— сквозь зубы пробурчал казначей.

— Конечно, дело такое, что колется,— сказал отец Израиль.— Страшливо... Однако ж и то надо к предмету взять, что нельзя не уважить Марью Ивановну — она ведь наша истая благодетельница. Как по-твоему, отец казначей, можно ль ей не уважить?

— Не уважить нельзя,— ответил отец Анатолий.

— И сам я тех же мыслей,— решил игумен.— Хоть маленько и погрешим, да ведь ни праведный без порока, ни грешный без покаяния не бывают на свете. Пущу я Софрона-то.

— Отчего ж и не пустить? — промолвил отец Анатолий.— Пускали же прежде.

— Так облегчись, отче, сходи за ним сам, собери его да приведи ко мне в келью,— сказал игумен.

Поклонился отец Анатолий и пошел из кельи.

— Давай письмецо-то,— сказал игумен Пахому, как только вышел казначей.

Тот подал ему запечатанный пакет. Вскрыл его игумен — письма нет, только три синенькие. Нахмурил чело Израиль и, спешно спрятав деньги в псалтирь, лежавшую рядом с ним на диване, сказал вполголоса:

— Ох-ох-ох-ох-ох! На все-то теперь дороговизна пошла. Жить невозможно, особливо с этакой семейкой. А из братии никто и не помыслит попещись о монастырских нуждах. Как встал поутру, первым делом кричит: «Есть хочу». А доходы умалились — благочестия в народе стало меньше, подаяния поиссякли. Не знаешь, как и концы сводить. Хорошо другим обителям: где чудотворная икона, где ярманка, где богатых много хоронится, а у нас нет ничего. А нужды большие... Великие нужды! Попомни, Пахом Петрович, об этом Андрею Александрычу. Сделай милость.

Воротился казначей с Софронием. Блаженный пришел босиком, в грязной старенькой свитке [1], подпоясан бечевкой, на шее коротенькая манатейка, на голове порыжевшая камилавочка. Был он сед как лунь, худое, бледное, сморщенное лицо то и дело подергивало у него судорогой, тусклые глаза глядели тупо и бессмысленно.

— Кланяйся, проси благословения у отца игумена,— сказал Анатолий, нагибая голову юродивому.

Софроний засмеялся, но игумен все-таки благословил его и поднес руку к губам юродивого. А тот запел:

— Глас шестый, подымай шесты на игумена, на безумена.

— Дурак так дурак и есть,— сквозь зубы проворчал отец Израиль.— Что сегодня делал? — обратился он к Софронию.

— Ничего,— заливаясь смехом, тот отвечал.

— Для чего ж не потрудился над чем-нибудь? — спросил игумен.

— Грех!.. Седни праздник,— молвил юродивый.

— Какой праздник?

---

[1] Монашеская рубаха.

— Седни праздник — жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет — на тебе, муженек, горяченький пирожок! — нараспев проговорил Софроний и опять захохотал.

— В гости хочешь? — спросил Израиль.

— Харалацы, маларацы, стрень брень, кремень набекрень! — зачастил Софроний и потом высунул игумну язык.

Игумен отвернулся.

— Запри его, отче Анатолий, покамест не срядится Пахом Петрович,— сказал он.— В сторожку, что ли, на паперти. А то, пожалуй, еще забьется куда-нибудь, так целый день его не разыщешь.

— Да я бы сейчас же в обратный путь, ваше высокопреподобие,— начал было Пахом, но игумен не дал ему и договорить.

— Нет, друг, нет... Уж извини... Этого я сделать никак не могу. Хоть монастырь наш и убогий, а без хлеба, без соли из него не уходят. Обедня на исходе, отпоют, и тóтчас за трапезу. Утешай гостя, отец Анатолий, угости хорошенько его, потчуй скудным нашим брашном. Да мне ж надо к господам письмецо написать... Да вели, отец Анатолий, Софрония-то одеть: свитку бы дали ему чистую, подрясник, рясу, чоботы какие-нибудь. Не годится в господском доме в таком развращении быть.

Раздались редкие удары в подзвонок [1].

— Ну, вот и братия в трапезу пошла. Ступай, отец казначей, угощай Пахома Петровича, а Софронию пищи в сторожку поставить вели,— сказал Израиль.— Да чтоб чинно в трапезе сидели. А мне ушицу сварить вели — молви отцу эконому, да хоть звено осетринки с ботвиньей, что ли, подали бы, яичек в смяточку да творогу со сливками и с сахаром, да огурчиков молоденьких, да леща свеженького зажарить, яичками начинил бы его повар, и будет с меня. Неможется что-то, за трапезу не пойду — поем келейно. Ну, бог вас благословит — ступайте со Христом...

После трапезы, получив от игумна письмо и благословенье, Пахом отправился с блажным Софронушкой в Луповицы.

---

[1] *Подзвонок* — самый маленький колокол, которым пономари начинают трезвон.

— Тебе бы привязать его к таратайке-то веревкой, не то, пожалуй, соскочит,— советовал отец Анатолий, провожая Пахома.

Пахом не принял совета.

* * *

Приближался день, когда в луповицком корабле надлежало быть собору «верных-праведных». Ни возни, ни суеты, никаких приготовлений не было, все шло в доме обычной чередой. Блаженного сдали на пасеку под смотренье престарелого Кириллы. Николай Александрыч наказал ему, глаз бы не спускал он с Софронушки, на одну пядь от себя не отпускал бы, чтоб опять чего не накуролесил. В прежние приезды немало от него бывало проказ: то собак раздразнит, а они ноги ему искусают, то с песнию «яко по суху путешствова Израиль» пó пруду пойдет шагать и очутится на тинистом дне. Однажды, вообразив себя Христом, вспомнил, что пора ему возноситься на небеса, и вознесся с балкона второго этажа — едва вылечили. С того вознесенья блаженный стал еще глупее, зато стали считать его еще премудрее. «Хаpалацы да маралацы», «стрень да брень» стали чаще исходить из его уст, а божьи люди говорили одно: «Безумное божие превыше человеческой мудрости».

Вечером в пятницу пришел старый матрос Фуркасов прямо в вотчинную контору. Хоть от Коршуноза до Луповиц и трех верст не было, но Семен Иваныч с раннего утра шел почти до сумерек. Дорогой, что ни встретится ему живого на пути, надо всем-то он остановится и, не трогаясь с места, всем налюбуется. Жаворонок взовьется в поднебесье и начнет оттуда заливаться веселыми песнями, матрос замрет на месте, стоит ровно вкопанный, устремив взоры кверху и любуясь божьей пташкой. Заяц, заслышав шаги человека, порскнет из овсов к перелеску, присядет и, прядая ушами, начнет озираться — Фуркасов и на него залюбуется, стоит, пока косой не скроется из виду. Желтенькая стрекогузка [1] запрыгает

---

[1] *Стрекогузка, трясогузка,* иначе *мухоловка* — двух видов голубоватая и желтая motacilla. Прыгая, она беспрестанно трясет длинным хвостом своим.

вдоль по дороге — он ни с места, чтобы не потревожить чуткую птичку.

Рано в субботу в легоньком тарантасике, один, без кучера, приехал Дмитрий Осипыч Строинский, а вслед за ним, распевая во все горло «Всемирную славу», пришел и дьякон Мемнон, с сапогами за плечьми, в нанковом подряснике и с зимней шапкой на голове. Он тоже у Пахома пристал и, только что вошел в контору, полез в подполье и завалился там соснуть на прохладе вплоть до вечера. Кислов с дочерью приехал поздно, перед самым собраньем.

Часу в шестом Луповицкие с Дмитрием Осипычем поехали ко всенощной. Пошли в церковь и конторщик Пахом с матросом, и дьякон, и пасечник Кирилла с блаженным юродом. Пошли и богаделенки... Кисловы тогда еще не приезжали, а Марья Ивановна с Дуней остались дома. Несмотря на рабочую пору, церковь была полнехонька, точно в большой праздник. Особенно много было женщин. Разнеслось по селу, что Пахом привез блаженного, и все сошлись хоть поглядеть на него. Софронушка и в Луповицах пользовался всенародным уваженьем, и здесь его считали святым, принимая каждое слово юрода с благоговеньем.

Дьякон и матрос стали на крылосе дьячкам подпевать, а Софронушка к самому амвону подошел. Толпа расступилась перед ним, и он, усевшись середь церкви на полу, принялся грызть подсолнухи и кидать скорлупами в народ. Их тщательно подбирали и прятали. В кого бросит Софронушка — тому счастье. Кто достоился такой милости, тот отходит в сторону, давая место другим, жаждущим благодати во образе подсолнушных скорлуп. Еще не отошла всенощна, как Софронушке вздумалось выйти из церкви. Стремительно вскочил он на ноги и, бормоча какую-то бессмыслицу, быстро побежал к выходу. Народ расступался, давая блаженному дорогу, и весь почти вышел за ним из церкви. На погосте сел юрод на свежую могилу, и тотчас бабы окружили его, осыпая вопросами насчет судьбы. Одаль стоявшая старушка, опираясь на клюку, набожно крестилась и в сердечном умиленье плакала радостными слезами.

— На светика на моего, на Самойла Иваныча сел! — говорила недавно схоронившая мужа старушка.— Хорошо, надо быть, другу моему советному на том свете у

Христа, у батюшки! Веселится, знать, мой Самойло Иваныч во светлом раю! Недаром сел на могилку его блаженненький.

Молоденькая женщина лет двадцати подошла к Софронушке. Протягивает к нему исхудалого, чуть живого ребенка, а сама умоляет:

— Молви святое слово, батюшка отец Софрон, не утай воли божией... Будет аль не будет жить раб божий младенец Архипушка?

Вскочил блаженный с могилы, замахал руками, ударяя себя по бедрам ровно крыльями, запел петухом и плюнул на ребенка. Не отерла мать личика сыну своему, радость разлилась по лицу ее, стала она набожно креститься и целовать своего первенца. Окружив счастливую мать, бабы заговорили:

— Будет жив паренек, будет жив, родная! Молись богу, благодари святого блаженного!

Вынула молодица из-за пазухи бумажный платок и, с низким поклоном подавая его блаженному, молвила:

— Прими, батюшка отец Софрон, от всего моего усердия. Сделай милость, прими.

Софронушка взял платок, скомкал его и бросил в стоявшую неподалеку девушку.

— Замуж скоро выйти тебе, Оленушка,— заговорили бабы.— Готовь ручники [1], сударыня!

Закраснелась Оленушка, взяла платок и спрятала дар праведного мужа.

— Советно ли с мужем-то будет жить? В достатке ли?.. Молви, батюшка отец Софрон! — пригорюнясь, спрашивала, насилу пробившись сквозь толпу, мать Оленушки.

— А у дедушки Кириллушки пчелки-то гудят, гудят, колóшки на ножках несут да несут,— запел блаженный и, не допевши, захохотал во все горло.

— В богатстве жить Оленушке,— заговорили бабы.

— Советно ли жить-то будут — не утай, скажи, батюшка отец Софрон!..— приставала Оленушкина мать.

В это самое время сквозь толпу продрался мальчишка лет девяти. Закинув ручонки зà спину и настежь разинув рот, глядел он на Софронушку. А тот как схватит

---

[1] *Ручник* — полотенце. Ручниками просватанные невесты дарят жениховых поезжан.

его за белые волосенки и давай трепать. В источный голос заревел мальчишка, а юрод во всю прыть помчался с погоста и сел на селе у колодца. Народ вало́м повалил за ним. Осталось на погосте человек пятнадцать, не больше.

— Нишкни, а ты, Ермолушка, нишкни! — унимают бабы разревевшегося парнишку.— Бог здоровья даст, а вырастешь большой, ума у тебя много будет. Сча̀стливый будешь, таланливый.

Парнишка не унимался, хоть и отец его с матерью утешали и приказывали не реветь, а в церковь идти да за великую благодать богу помолиться. Насильно увели мальчугана с погоста.

— А Оленушке житьецо-то придется, видно, не больно ахти,— говорили на погосте бабы.— Бить станет сердечную... Недаром блаженный Ермолке вихры-то натрепал.

— Вестимо, будет драчун,— говорили другие.— Ермолку на счастье блаженный потаскал, а Оленушке горьку судьбину напророчил.

— Помните, бабы, как он Настасье Чуркиной этак же судьбу пророчил? — бойко, развязно заговорила и резким голосом покрыла общий говор юркая молодая бабенка из таких, каких по деревням зовут «урви да отдай».— Этак же спросили у него про ее судьбину, а Настасья в те поры была уж просватана, блаженный тогда как хватит ее братишку по загорбку... Теперь брат-от у ней вон какой стал, торгует да деньгу копит, а Настасьюшку муж каждый божий день бьет да колотит.

— А для че жену не поколотить, коли заслужила?..— с усмешкой молвил пожилой, мрачный и сердитый мужик.— Не горшок — не расшибешь!..

— А расшибешь, так берестой не обовьешь,— подскочив к нему, подхватила юркая бабенка.— Нам всем в запримету, у всех чать на памяти, как мужья по две жены в гроб заколачивают. Теперь и на третьей рады бы жениться, да такой дуры не сыскать на всем вольном свету, чтобы за такого драчуна пошла.

— Смотри, егоза, не больно сорочи́[1], не то тако словцо при народе скажу, что до утра не прочихаешься,— огрызнулся драчливый вдовец.

---

[1] *Сорочи́ть* — резко болтать вздор или пустяки, язык чесать.

— Ка́ко тако слово?.. Ка́ко?.. Говори, говори! — приставала бабенка да так начала на вдовца наскакивать, что тот, не говоря худого слова, долой с погоста.

А Оленушка стоит пригорюнившись, а у матери ее на глазах слезы. Бабы их уговаривают, хотят утешить:

— Эх, Оленушка, Оленушка! Да с чего ты, болезная, таково горько кручинишься?.. Такая уж судьба наша женская. На том свет стоит, милая, чтоб мужу жену колотить. Не при нас заведено, не нами и кончится! Мужнины побои дело обиходное, сыщи-ка на свете хоть одну жену небитую. Опять же и то сказать: не бьет муж, значит не любит жену.

Не утешили уговоры Оленушку, не осушили они глаз ее матери.

А на селе у колодца вкруг юродивого такой сход собрался, что руки́ сквозь людей не просунуть. Все лезут к Софронушке про судьбу спросить, а иным хочется узнать: какой вор лошадушку свел со двора, кто новину [1] с луга скрал, кто буренушке хвост обрубил, как забралась она в яровое, какой лиходей бабу до того испортил, что собакой она залаяла, а потом и выкликать зачала. Бабы и руки и одежу у отца Софрона целовали. До того были усердны, что вздумали, во что бы ни стало, волосиков с блаженного добыть — пользительны, слышь, очень они, ежель водицы на них налить и той водицей напоить недужного. И до того бабы усердствовали, что блаженный крепился, крепился да как заорет во всю мочь. Насилу вытащили его из толпы дворецкий с Пахомом и отвели из села в безопасное место — на пасеку. Бабы тем недовольны остались...

* * *

Увели блаженного, и все разошлись по домам. Дослушивать службу в церковь никто не пошел. Большухи [2], возвратясь домой, творя шепотом молитву, завертывали в бумажку либо в чистый лоскуток выплюнутые Софронушкой скорлупы, а те, что сподобились урвать цельбоносных волосиков со главы или из бороды блаженного, тут же их полагали, а потом прятали в божницу за ико-

---

[1] *Новина* — крестьянский суровый холст.

[2] *Большуха* — старшая в семье женщина.

ны вместе с хлопчатой бумагой от мощей, с сухим артосом, с огарком страстной свечи и с громовой стрелкой [1]. В каждом доме за ужином только и речи было, что про батюшку отца Софрона — припоминали каждое его слово, каждое движенье, и всяк по-своему протолковывал, что бы такое они означали. Поужинавши, спать полегли — кто в клети, кто на сеновале, кто на житнице, а кто и на дворе в уголку, либо на матушке на сырой земле в огороде... А в избах пусто. Жарко уж очень и душно, там никак не уснешь.

Сильней и сильнее темнеет, тихий безоблачный вечер сменяется такою же тихою, теплою, душною ночью. Луны нет, на бледно-сером небесном своде кой-где мерцают звездочки, а вечерняя заря передвигается с солнечного заката к востоку. Пала роса, хоть не очень обильная, но все-таки благоухание испарений с душистых трав и цветов наполнило воздух. Душно. Парит от долгой засухи, скоро, видно, дождется народ православный божьей благодати — грозы с дождем. Без того совсем беда, яровые пожелкли, озимый колос не наливается — травы выгорели. Чего уж ни делали православные! И молебны-то пели, и образа-то поднимали, и по полям со крестами ходили, и попов поили, кормили,— а все господь не шлет дождичка, что хочешь делай... По небесным закроям поминутно вспыхивает зарница. Быть грозе, быть дождю...

Færslа господь с тихого неба на шумную землю покой безмятежный. Ходит сон по селам, дрема по деревням; ни ближнего говора, ни дальнего людского гомона не слышно. Все затихло, все замолкло; лишь кузнечики тянут неугомонные свои песни, перепела во ржи перекликаются да дергач [2] резким голосом кричит на болоте.

---

[1] *Артос* — по-гречески, кислый хлеб. У нас артосом, или *артусом*, зовут хлеб, носимый на Пасху вокруг церкви, а в субботу святой недели раздаваемый народу. *Страстная свеча* — с которою стояли за церковными службами вербного воскресенья, великой пятницы, великой субботы и светлого воскресенья. *Громовая стрелка* — пальчатая сосулька, образовавшаяся от удара молнии в песок, часть которого мгновенно расплавилась. Также — белемнит, окаменелый допотопный червь. И то и другое зовется также *чертовым пальцем*.

[2] *Дергач*, иначе *коростель* — болотная птица, средняя между перепелом и водяной курочкой, Rallus rex.

Изредка собаки ни с того ни с сего поднимут бестолковый лай. Померещится кудлашке, что чужой на дворе, тявкнет раз, тявкнет другой, третий, и по всем дворам поднимается лай. Налаявшись досыта, один пес, опустив хвост, уляжется, бурча понемножку, зевнет и заснет. За ним и другая и третья собака, и опять на селе мертвая тишина, и опять нигде ни звука.

Спит село, а в барском доме глаз не смыкают. В ночной тиши незримо от людей нечто необычное там совершается.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В нижнем этаже барского дома, под той самой с мраморными стенами залой, что так понравилась Дуне в день ее приезда, была точно такая же обширная комната, хоть и не так разукрашенная. Никогда не отпиралась она, и ключ от нее всегда был в кармане у Николая Александрыча. Дневной свет не проникал в ту комнату, толстые ставни, вделанные в окна, не отворялись. Во время óно у генерала Луповицкого до перемены его бывало тут беспросыпное пьянство, и туда по бурмистрову приказу десятками приводили разряженных девок и молодиц... Теперь она зовется «кладовою», хоть ни старых, ни новых домашних вещей и никакого хламу в ней нет.

Это — сокровенная сионская горница. Тут бывают раденья божьих людей. Рядом вдоль всей горницы коридор, а по другую его сторону семь небольших комнат, каждая в одно окно без дверей из одной в другую. Во время óно в те комнаты уединялись генеральские собутыльники с девками да молодками, а теперь люди божьи, готовясь к раденью, облачаются тут в «белые ризы». Пред сионской горницей были еще комнаты, уставленные старой мебелью, они тоже бывали назаперти. Во всем нижнем этаже пахло сыростью и затхлостью.

Только что смерклось, в комнату, что перед сионской горницей, стали собираться люди божьи. Прежде всех пришли богаделенные. Привели они и Лукерьюшку, еще не видавшую соборов людей, познавших тайну сокровенную. Привела Матренушка и дочку свою духовную, не вполне еще приобыкшую к таинственным обрядам Василисушку. Раза три бывала она на раденьях, слыхала и словеса пророческие и новые песни, но еще не была «при-

ведена». На Лукерьюшке и на Василисе были надеты синие поневы, новенькие, с иголочки. В синих, а не в красных, как ходят девушки в той стороне, они были одеты — то знак отречения от суеты мира и от замужней жизни.

Богаделенные расселись по креслам и стульям, обитым обветшалым бархатом. Немного погодя пришел дворецкий Сидор с целым ворохом пальмовых ветвей. Молча, строгим взором окинул он богаделенных и приведенных ими девиц: нет ли на ком серег либо колец, чисты ль у всех платки и полотенца. За дворецким пришел приказчик Пахом с дьяконом и матросом, пасечник с Софронушкой. ключница с Серафимушкой. Все сидели молча, недвижно склонивши головы и не глядя друг на друга. Блаженный присел возле печки на полу и, рассыпав кучку лутошек, принялся строить из них домик. Никто на него не смотрел.

— Все, кажется, в сборе,— тихо промолвил дворецкий.— Пойти доложить господам. Время.

Ни словом, ни движеньем никто не отозвался ему. Только блаженный ни с того ни с сего захохотал во всю мочь, приговаривая:

— Баре придут, медку принесут, чайком попоят, молочка дадут...

Дворецкий пошел наверх, и не прошло пяти минут, как один за другим пришли: Николай Александрыч с братом, с невесткой и племянницей, Кислов с Катенькой, Строинский Дмитрий Осипыч.

Вошли, стали в круг и начали друг другу земно кланяться.

— Христос воскресе! — сказал Николай Александрыч.

— Свет истинный воскресе! — певучим голоском ответила Катенька Кислова.

— Бог истинный воскресе! — громко вскрикнул сам Кислов.

— Сударь батюшка воскресе! — еще громче закричал Дмитрий Осипыч.

— «Воскрес Иисус от гроба, яко же пророче, даде нам живот вечный и велию милость»,— скороспешно заревел дьякон на церковный напев.

А другие продолжали обычные у божьих людей друг другу приветствия.

— Царь царям воскрес!

— Бог богам воскрес!

А блаженный, сидя на полу, строит себе домик да под нос выпевает «Христос воскресе из мертвых».

Вынул из кармана ключ Николай Александрыч и отпер тяжелый замок, висевший на железных дверях сионской горницы. Вошел он туда только с братом и дворецким. Прочие остались на прежних местах в глубоком молчанье. Один Софронушка вполголоса лепетал какую-то бессмыслицу, да дьякон, соскучась, что долго не отворяют дверей, заголосил:

— «Возьмите врата князи ваша и возьмите врата вечные и внидет царь славы! Кто есть сей царь славы? Господь сил — той есть царь славы!» [1].

Как ни унимали Мемнона, ўйму не было. Очень уж расходился зычный голос отца дьякона.

Растворились, наконец, двери, и божьи люди один за другим вошли в ярко освещенную сионскую горницу. Там в двух старинной работы люстрах, похожих на церковные паникадила со множеством граненых хрустальных подвесок, горело больше полусотни свеч. В трех углах и по сторонам дверей входной и другой, что выходила в коридор, стояли высокие бронзовые канделябры тоже с зажженными свечами, а в переднем углу перед образами теплилось двенадцать разноцветных лампад. Весь потолок был расписан искусной кистью известного в свое время художника Боровиковского [2], бывшего в корабле Татариновой и приезжавшего в Луповицы для живописных работ в только что устроенной там сионской горнице. На потолке были изображены парившие в небесах ангелы, серафимы, херувимы, девятью кругами летали они один круг в другом, а в средине парил святый дух в виде голубя с сиянием, озаряющим парящие круги небесных сил. По стенам развешаны были картины того же художника: «Распятие плоти», «Излияние благодати», «Ликовствование», «Ангельский собор» точно такой же, как на потолке, а возле него собор Катерины Филип-

---

[1] Псалом XXIV.

[2] Советник Академии художеств, ученик Лампи (ум. в 1825 г.), был одним из деятельных членов хлыстовского корабля Татариновой. В 1819 году он на потолке сионской горницы, бывшей в квартире Татариновой, в Михайловском замке, написал святого духа, окруженного девятью кругами небесных сил. Писал картину с портретами членов корабля и другие. Он езжал и в провинции к богатым хлыстам-помещикам.

повны[1]. Она была изображена сидящею среди участников «духовного союза», между ними генерал Луповицкий с женой, трое важных духовных особ, несколько человек со звездами, на одном низеньком гладко выбритом старичке была даже андреевская. Вдоль стен расставлены были стулья и диванчики, другой мебели в сионской горнице не было, кроме стола в переднем углу, накрытого чистой скатертью из гладкого серебряного глазета. На нем лежали золотой напрестольный крест и в дорогом окладе Евангелие.

Кто ни входил в сионскую горницу, клал по нескольку земных поклонов перед образами и перед картинами, и после того уходил в коридор. Остались Лукерьюшка с Василисой; по приказу Матрены они сидели у входной двери. Вскоре пришла Марья Ивановна в черном платье и привела Дуню. На ней было белое платье из пике, подпоясанное белой лентой, на голове и на шее белые из плотной шелковой ткани платки, даже башмачки были белые атласные. Ни серег в ушах, ни колец на пальцах. Одевая ее, Марья Ивановна даже золотой тельной крест сменила ей на деревянный и повесила его на белом снурке.

Посадила Марья Ивановна Дуню возле Лукерьюшки, а по другую сторону сама села.

Поразил Дуню вид ярко освещенной и своеобразно убранной сионской горницы. Она пришла в недоуменье и на все смотрела удивленными глазами.

— Что это такое? — спросила она у Марьи Ивановны, указывая на потолок.

— Девять чинов агельских в небесном восторге носятся кругами, а посреди их дух святой,— сказала Марья Ивановна.— Знаешь стихеру на Благовещенье: «С небесных кругов слетел Гавриил»? Вот они те небесные круги. Такими же кругами и должны мы носиться пред богом и прославлять его в «песнях новых». Увидишь, услышишь...

— А это что? — спросила Дуня, указывая на картину «Ликовствование». На ней изображен был Христос с овечкой на руках, среди круга ликующих ангелов. Одни из них пляшут, другие плещут руками, третьи играют на гуслях, на свирелях, на скрипках, на трубах. Вни-

[1] Татариновой.

зу царь Давид пляшет с арфой в руках и плещущие руками пророки и апостолы. Подвела Марья Ивановна Дуню к картине.

— Читай,— сказала она.— Видишь, над Христом что написано? «Обретох овцу мою погибшую». Читай теперь нижнюю надпись: «Тако радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девятидесятих и девяти праведник, иже не требуют покаяния» [1]. Такое ликовствование бывает на небесах, такое же и здесь у нас бывает. Увидишь. Не блазнись только, но с верою твердо держи на умѐ, что враг не дремлет и такие теперь против тебя козни будет строить, каких никогда еще не строивал. Не хочется ему, чтоб ты, ругаясь его миру и злой его власти, вошла во святый круг божьих людей. Всячески будет он соблазнять тебя!.. Как только начнется святое дело, я ни на шаг не отойду от тебя. Сказывай мне каждую свою мысль, каждое сомненье, каждое недоуменье. Нарочно не пойду в святый круг, чтоб быть возле тебя.

— Что ж здесь такое? Ни такого убранства, ни такого множества свеч никогда я не видывала,— молвила Дуня.

— Здесь сионская горница,— сказала Марья Ивановна.— Такая же, в какой некогда собраны были апостолы, когда сошел на них дух святый. И здесь увидишь то же самое. Смотри,— продолжала она, подходя с Дуней к картине «Излияние благодати».

— Это что? — спросила Дуня.

— Видишь — отрок в белой одежде,— сказала Марья Ивановна.— Видишь, раскрылись над ним небеса, видишь, дух святый изливает на него свою благодать. Так и здесь, в сионской горнице, она невидимо на круг божьих людей изливается. «Тайная вечеря» здесь уготована, сокровенная небесная тайна земным людям здесь открывается. Блюди же себя, храни душу от лукавого, о каждом помысле мне говори... Забудь о мире и суетах его, забудь и о теле своем, будь равнодушна ко всему, что в мире. Тот лишь достигает блаженства, кто видя не видит, кто слыша не слышит... Тот блажен, кто глух к говору сердца, тот лишь блажен и преблажен, кто в печали не скорбит и в счастье не радуется. Тот блаженст-

---

[1] Луки. XV — 6 и 7.

ва преисполнен, для кого и радость, и горе, и счастье, и несчастье равны. Главное — возненавидь свое тело, возненавидь его, как темницу души, построенную врагом бога и человеков... Сама посуди, для чего это тело? На что оно уготовано? Чтобы черви потом съели его. Какая ни будь женская красота, хоть бы весь мир не мог надивиться ей,— что такое она?.. Пища могильных червей... Да и что это за тело? Полно́ нечистот, называть их даже за стыд почитается самими чувственными людьми. Кости, мясо, жилы, кровь, желчь — вот и все!.. Возьми каждое порознь — мерзость... А все вместе красивая, состроенная лукавым тюрьма для святой и вечной души человеческой, излиянной из самого божества. Давно хотела я сказать тебе все это, но, обсудивши, оставила до теперешних минут, когда воочию увидишь корабль людей божьих, управляемый небесным кормщиком, святым духом. Убивай грешное тело, умерщвляй пакостную плоть свою, не давай врагу веселиться. Всячески утомляй тело постом и трудом, чтоб не смело оно, скверное, с твоим духом бороться.

Молчала Дуня, складывая в сердце своем слова Марьи Ивановны.

Вошел в сионскую горницу Николай Александрыч в длинной до самых пят рубахе из тонкого полотна, с необыкновенно широким подолом. Подпоясан он был малиновым шелковым снурком, на ногах одни чулки. В правой руке держал он пальмовую ветвь, в левой белый платок. Через плечо у него было перекинуто тонкое полотняное полотенце без кружев, без вышивок. Точно так же были одеты и Андрей Александрыч, и Кислов, и Строинский. Варвара Петровна с дочерью и Катенька в таких же точно рубашках, шеи у них были повязаны батистовыми, а головы шелковыми белыми платками. Остальные люди божьи в таких же одеждах, только не голландского полотна, а тонкого крестьянского холста. У всех в руках пальмы, у всех белые платки, и у каждого через плечо полотенце. Платки «покровцами», полотенца — «знаменами» назывались.

Медленным шагом, с важностью во взоре, в походке и голосе, Николай Але́ксандрыч подошел к столу, часто повторяя: «Христос воскресе, Христос воскресе!» Прочие стали перед ним полукругом — мужчины направо, женщины налево. И начали они друг другу кланяться

в землю по три раза и креститься один на другого обеими руками.

— Зачем это они друг на друга молятся? — прошептала Дуня.— Разве можно молиться на людей? Ведь они не святые, не угодники.

— Именно они святые угодники,— сказала Марья Ивановна.— Великой ценой искуплены они богу и агнцу. Все мы святые праведные, нет между нами ни большого, ни малого, все едино во Христе. Ни муж, ни жена, ни раб, ни господин, ни богатый, ни убогий, ни знатный, ни нищий — не разнятся в сионской горнице. Все равны, все равно святы и праведны.

— Да зачем же молиться на людей? — в недоуменье спрашивала Дуня.

— А помнишь заповедь? — сказала Марья Ивановна.— «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия, да не поклонишися им и не послужиши им»... Когда мы бываем в искаженной и забывшей божьи уставы мирской церкви, то и мы поклоняемся подобиям, то есть образам, но делаем это, чтоб избежать подозрений. А здесь, в тайне от темных людей, не разумеющих силы писания, поклоняемся единому истинному образу и подобию божию... В чем его образ и подобие?.. В человеке... Одного человека создал господь по образу своему и подобию. Не тело — снедь червей, а душа, излияние божества его, образ его и подобие. Ей божьи люди и поклоняются.

Сел у стола Николай Александрыч, остальные расселись по стульям и диванчикам. Мало посидя, встал он и, поклонясь собранию в землю, возгласил:

— Простите, братцы и сестрицы мои любезные, простите, ради государя нашего милостивого, ради батюшки нашего света искупителя, ради духа святого, нашего утешителя.

И все земно ему поклонились. И каждый, кланяясь, приговаривал.

— Ты нас прости, батюшка, ты нас прости, красное солнышко, ты нас прости, труба живогласная!.. Созови к нам с небес духа святого утешителя, покрой нас, грешных, господним покровом!..

Снова кормщик сел у стола, выдвинул ящик, вынул книгу, стал ее читать. Все слушали молча с напряженным вниманием, кроме блаженного Софронушки. Разлег-

ся юрод на диванчике и бормотал про себя какую-то чепуху. А Николай Александрыч читал житие индийского царевича Иоасафа и наставника его старца Варлаама, читал еще об Алексее божием человеке, читал житие Андрея Христа ради юродивого. Потом говорил поучение:

— Прославляйте бога в грешных телесах, прославляйте его во святых душах ваших. Плоть смиряйте, без жалости умерщвляйте, душу спасайте, из вражьей темницы свобождайте. Лукавому не предавайтесь, бегайте его, храните чистоту телесную и душевную. Телесную чистоту надо постом хранить, трудами, целомудрием, больше всего целомудрием. Вы, мужеск пол, сколь можно реже глядите на жен и девиц. Вы, жены и девицы, пуще огня мужчин опасайтесь, враг не дремлет, много святых и праведных погублял он плотскою страстью. Ничего, что живет и что движется на земле и в воздухе, отнюдь не вкушайте, рыбу вкушать можно, а лучше и ее в рот не брать. Вина не пейте, ни браги, ни пива, ничего хмельного,— вино кровь самого князя врагов божьих — бойтесь к нему прикасаться, проклято оно богом вышним. Всего лучше, всего праведней — питаться духом, телесный голод утолять пением и радением. На свадьбы, на родины, на крестины, даже на похороны не ходите, суетных мирских веселий бегайте, как огня, всячески их чуждайтесь. То служение врагу, отцу лжи и всякого зла. Сердце чисто созиждите в себе, дух правды храните в душах своих праведных.

И долго, долго говорил Николай Александрыч поучение. Дуне понравилось оно.

Близко к полночи. Божьи люди стали петь духовные песни. Церковный канон пятидесятницы пропели со стихирами, с седальнами, с тропарями и кондаками. Тут отличался дьякон — гремел на всю сионскую горницу. Потом стали петь псальмы и духовные стихи. Не удивилась им Дуня — это те же самые псальмы, те же духовные стихи, что слыхала она в комаровском скиту в келарне добродушной матери Виринеи, а иногда и в келье самой матушки Манефы.

На колокольне сельской церкви ударило двенадцать. Донеслись колокольные звуки и в сионскую горницу. Божьи люди запели церковную песнь: «Се жених грядет в полунощи», а потом новую псальму, тоже по скитам

знакомую Дуне. Хоть и не слово в слово, а та же самая псальма, что скитская.

Тайно восплещем руками,
Тайно воспляшем, духом веселяще,
Духовные мысли словесно плодяще!
Яко руками, восплещем устами —
Дух святый с нами, дух святый с нами!
Гласы различны днесь съединяйте,
Новые песни агнцу вспевайте,
Дух свят нас умудряет,
Яко же хощет дары разделяет —
Дары превелики — апостольски лики,
Ангельское пенье, небесно раденье...
Да́ры премноги шлет дух во языки,
Шлет во языки, шлет во языки...
Мужие и жены, силы всполнися,
Яко пианы, язычником явишася,
Древле не знанны, сташа познанны,
Гласы преславны, гласы преславны!..
В немощах силу нам бог обещает,
Дух святый здесь приход совершает,
Из пастырей — царей, из немудрых рыбарей
Апостолов творит, апостолов творит!

Только что кончили эту псальму, по знаку Николая Александрыча все вскочили с мест и бросились на средину сионской горницы под изображение святого духа. Прибежал туда и блаженный Софронушка. Подняв руки кверху и взирая на святое изображенье, жалобным, заунывным напевом божьи люди запели главную свою песню, что зовется ими «молитвой господней».

Дай к нам, господи, дай к нам Исуса Христа,
Дай к нам сына божьего и помилуй, сударь нас!.
Пресвятая богородица, упроси за нас сына твоего,
Сына твоего, Христа бога нашего,
Да тобою спасем души наши многогрешные [1].

---

[1] Из производившихся о хлыстах дел известно, что эта молитва была у них в употреблении еще в начале XVIII столетия. Ею начинается каждое собрание божьих людей. Хлыстовских песен известна не одна тысяча: иные поются в одном корабле, другие — в другом, но «Дай к нам, господи» — во всех непременно. Ее певали у Татариновой, где участвовали очень знатные лица, ее в прошлом столетии певали в тех мужских и женских монастырях Москвы, откуда и распространилась по народу хлыстовщина. Ее поют и во всех крестьянских домах, где только собираются божьи люди. Есть несколько вариантов этой песни, но они незначительны. Здесь приведена она в том виде, как певалась у Татариновой и у других хлыстов из образованного общества.

Громче и громче раздавалась хлыстовская песня. Закинув назад головы, разгоревшимися глазами смотрели божьи люди вверх на изображение святого духа. Поднятыми дрожащими руками они как будто манили к себе светозарного голубя. С блаженным сделался припадок падучей, он грянулся оземь, лицо его исказилось судорогами, вокруг рта заклубилась пена. Добрый знак для божьих людей — скоро на него «накатило», значит скоро и на весь собор накатит дух святой.

Только что кончилось пение «молитвы господней», женщины составили круг, а вне его составился другой из мужчин. Новую песню запели.

Царство, ты царство, духовное царство,
Во тебе, во царстве, благодать великая,
Праведные люди в тебе пребывают,
Живут они себе, ни в чем не унывают...
Строено ты, царство, ради изгнанных,
Что на свете были мучимы и гнаны,
Что верою жили, правдою служили,
От чистого сердца бога возлюбили.
Кто бога возлюбит, его не забудет,
Часто вспоминает, тяжело вздыхает:
«Бог ты, наш создатель, всяких благ податель,
Дай нам ризы белы и помыслы целы,
Ангельского хлеба со седьмого неба,
Сошли к нам, создатель, не умори гладом,
Избави от глада, избави от ада,
Не лиши духовного своего царства!» [1]

Еще половины песни не пропели, как началось «раденье». Стали ходить в кругах друг за̀ другом мужчины по солнцу, женщины против. Ходили, прискакивая на каждом шагу, сильно топая ногами, размахивая пальмами и платками [2]. С каждой минутой скаканье и беганье становилось быстрей, а пение громче и громче. Струится пот по распаленным лицам, горят и блуждают глаза, груди у всех тяжело подымаются, все задыхаются. А песня все громче да громче, бег все быстрей и быстрей. Переходит напев в самый скорый. Поют люди божьи:

Как у нашего царя, Христа батюшки,
Так положено, так уложено:
Кому в ангелах быть и архангелом служить,
Кому быть во пророках, кому в мучениках,
Кому быть во святых, кому в праведных.
Как у нашего царя, Христа батюшки,

---

[1] Редакция песни из корабля Татариновой. Есть и варианты.
[2] Это называется «раденье кораблем».

Уж и есть молодцы, все молоденькие,
Они ходят да гуляют по Сионской по горе,
Они трубят во трубы живогласные,
От них слышны голоса во седьмые небеса...
Как у нашей-то царицы богородицы —
У нее свои полки, все девические,
Они ходят да гуляют во зеленом во саду.
Во зеленом во саду, во блаженном во раю,
Они яблочки-то рвут, на златом блюде кладут,
На златом блюде кладут, в терем матушке несут.
Государыня примала, милость божью посылала,
Духа свята в них вселяла и девицам прорекала:
«Ай вы, девушки, краснопевушки,
Вы радейте да молитесь, пойте песни, не ленитесь,
За то вас государь станет жаловать, дарить,
По плечам ризы кроить, по всему раю водить».

Вдруг песня оборвалась. Перестали прыгать и все молча расселись — мужчины по одну сторону горницы, женщины по другую. Никто ни слова, лишь тяжелые вздохи утомившихся божьих людей были слышны. Но никто еще из них не достиг исступленного восторга.

— Ни на кого не накатило! — жалобно молвил старый матрос.— Никому еще не сослал господь даров своих. Не воздвиг нам пророка!.. Изволь, кормщик дорогой, отец праведный, святой, нам про духа провестить,— сказал он, встав с места и кланяясь в ноги Николаю Александрычу.

И другие подходили к кормщику и земно ему кланялись, прося возвестить от святого писания, как дух сходит на божьих людей. И мужчины подходили, и женщин бо́льшая часть.

Подошел к столу Николай Александрыч, взял крест и высо́ко поднял его. Стали на колени, и Софронушка стал. Стих припадок его.

— Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! — торжественным голосом возгласил кормщик.— От бога, от Христа, от духа святого возвещаю вам слово, братцы и сестрицы любезные!.. Скажу вам, возлюбленные, не свои речи, не слова человеческие, поведаю, что сам бог говорит: «В последние дни излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы ваши сония увидят, и на рабов моих и на рабынь моих излию от духа моего, и будут пророчествовать... И дам чудеса на небеси и знамения на земле» [1].

---

[1] Деяния. II — 17 и 18.

— Глаголет бог! — густым басом запел дьякон, и все другие тоже пропели.

И, стоя на коленях, подняв кверху руки, потрясая пальмовыми ветвями и махая платками, «манят» божьи люди святого духа:

Подай, господи!
Тебе, господи,
Порадеть, послужить,
Во святом кругу кружить,
Духа с небеси сманить
Да в себя заманить! Собирались мы, дружки,
Во святы божьи кружки,
Грешны плоти умерщвлять,
Души к небу обращать,
Бога петь, воспевать.
Уж мы пели, воспевали,
Руки к небу воздевали,
Сокола́ птицу манили:
Ты лети, лети, сокол,
Высоко и далеко,
Со седьмого небеси.
Нам утеху принеси —
Духа истинного,
Животворного,
Чудотворного!
Мы тем духом завладаем,
На соборе закатаем...
Накатись, накатись,
Святый дух, к нам принесись,
Согрей верны их сердца,
Сотвори в нас чудеса,
Избери себе слугу
На святом божьем кругу,
Прореки в нем, прорекай,
Грехи наши обличай,
А праведных утешай,
Ах ты!.. Дух свят, голубок,
Наш беленький воркунок!..
Не пора ли тебе, сударь,
На сыру землю слететь,
На труды наши воззреть?..
Скати, батюшка, скати,
Скати, гость дорогой,
Во чертог свой золотой,
В души праведные,
В сердца пламенные.
Богу слава и держава
Во века веков. Аминь.

Кончилась новая песня, но все еще оставались на коленях с воздетыми руками, умиленно взирая на изображение святого духа, парящего середи девяти чинов ан-

гельских. Стали потом божьи люди класть земные поклоны и креститься обеими руками, а Николай Александрыч читал нараспев:

— Благослови нас, государь наш батюшка, благослови, отец родной, на святой твой круг стать, в духовной бане омыться, духовного пива напиться, духом твоим насладиться!.. Изволь, батюшка творец, здесь поставить свой дворец, ниспослать к нам благодать — духом дай нам завладать.

Тут разом все вскочили. Большая часть женщин и некоторые из мужчин сели, другие стали во «святой круг». Николай Александрыч стоял посередине, вокруг него Варенька, Катенька, горничная Серафима и три богаделенные. За женским кругом стал мужской.— Тут были Кислов и Строинский, дворецкий Сидор, Пахом, пасечник Кирилла, матрос. И блаженный Софронушка, напевая бессмыслицу и махая во все стороны пальмовой веткой, подскакал на одной ноге и стал во «святом кругу». Началось «круговое раденье».

— Христос воскресе! — кричал Николай Александрыч.— Братцы, сестрицы! Хорошенько порадейте, батюшку утешьте!.. Не ленитесь, порадейте, своим потом вы облейте мать сырую землю!.. Освятите вы ее, чтоб враги не бродили, одни ангелы ходили, чистоту бы разносили промеж божьих людей!.. Братцы, сестрицы любезны, удаляйтеся вы бездны, походите во кругу — во святом божьем дому!.. Хорошенько порадейте, вы Марию позовите, грешну Марфу прогоните!.. [1] Поднимайте знамена̀ во последни времена, послужите вы отцу, богу нашему творцу!..

И вдруг смолк. Быстро размахнув полотенцем, висевшим до того у него на плече, и потрясая пальмовой веткой, он, как спущенный волчок, завертелся на пятке правой ноги. Все, кто стоял в кругах, и мужчины и женщины, с кликами: «Поднимайте знамена!» — также стали кружиться, неистово размахивая пальмами и полотенцами. Те, что сидели на стульях, разостлали платки на коленях и скорым плясовым напевом запели новую песню,

---

[1] Хлысты, также последователи некоторых рационалистических сект (молокане, духоборцы и проч.), отрицают действительность существования евангельских сестер Лазаря, утверждая, что это притча и что Мария означает душу, а Марфа — плоть.

притопывая в лад левой ногой и похлопывая правой рукой по коленям. Поют:

Рай ты мой, рай,
Пресветлый мой рай!..
Во тебе, во рае,
Батюшка родимый
Красное солнышко
Весело ходит,
Рай освещает,
Бочку выкатает...
Бочка, ты, бочка,
Серебряна бочка,
На тебе, на бочке,
Обручья златые,
Во тебе, во бочке,
Духовное пиво.
Новое пиво,
Духа пресвятого,
Пророка живого...
Станемте мы, други,
Бочку расчинати,
Пиво распивати,
Бога государя
В помощь призывати,
Авось наш надёжа
До нас умилится,
Во сердца во наши
Он, свет, преселится...
Завладал надёжа
Душою и сердцем,
И всем помышленьем,
Он станет гостити,
Про все нам вестити.

Живей и живее напев, быстрей и быстрее вертятся в кругах. Не различить лица кружащихся. Радельные рубахи с широкими подолами раздуваются и кажутся белыми колоколами, а над ними веют полотенца и пальмы. Ветер пошел по сионской горнице: одна за другой гаснут свечи в люстрах и канделябрах, а дьякон свое выпевает.

— «Бысть шум яко же носиму дыханию бурну и исполни дом, иде же бяху седяще, и вси начаша глаголати странными глаголы, странными учении, странными повелении святыя троицы» [1].

Быстрей и быстрее кружатся. Дикие крики, резкий визг, неистовые вопли и стенанья, топот ногами, хлопа-

[1] Из стихири на день пятидесятницы.

нье руками, шум подолов радельных рубах, нестройные песни сливаются в один зычный потрясающий рев... Все дрожат, у всех глаза блестят, лица горят, у иных волосы становятся дыбом. То один, то другой восклицают:

— Ай дух! Ай дух! Царь дух! Бог дух!

— Накати, накати! — визгливо вопят другие.

— Ой ева! Ой ега! — хриплыми голосами и задыхаясь, исступленно в диком порыве восклицают третьи.

— Благодать! Благодать! — одни с рыданьем и стонами, другие с безумным хохотом голосят во всю мочь вертящиеся женщины.

Со всех пот льет ручьями, на всех взмокли радельные рубахи, а божьи люди всё радеют, лишь изредка отирая лицо полотенцем.

— Это духовная баня. Вот истиная, настоящая баня паки бытия, вот истинное крещение водою и духом,— говорила Дуне Марья Ивановна, показывая на обливающихся потом божьих людей.

С удивленьем и страхом смотрела Дуня на все, что происходило перед ее глазами, но не ужасало ее невиданное дотоле зрелище... Чувствовала, однако, она, что сердце у ней замирает, а в глазах мутится и будто в сон она впадает.

— Что с тобой? — спросила Марья Ивановна, заметив, что вдруг она побледнела.

Дуня сказала.

— Благодари бога,— молвила Марья Ивановна.— Это значит дух тебя, еще не приведенной в истинную веру, коснулся своей благодатью... Будешь, будешь по времени богом обладать!.. Велика будешь в божьем дому — во пресветлом раю.

Блаженный радел с великим усердием, выкликивая непонятные слова. Наконец, закричал:

— Пива, пива!

Быстрей закружились в кругах, а сидевшие, привскакивая на стульях, громче и еще более скорым напевом запели:

Эй, кто пиво варил? Эй, кто затирал?
Варил пивушко сам бог, затирал святый дух.
Сама матушка сливала, с богом вкупе пребывала,
Святы ангелы носили, херувимы разносили,
Херувимы разносили, архангелы подносили..
Скажи, батюшка, родной, скажи, гость дорогой,
Отчего пиво не пьяно? Али гостю мы не рады?
Рады, батюшка родной, рады, гость дорогой,

На святом кругу гулять, света бога прославлять,
В золоту трубу трубить, в живогласну возносить [1].

Громче и еще неистовей кричит блаженный:

— Пива, пива!

И упал в судорогах и корчах на пол. Пена пошла у него изо рта. А дьякон церковным напевом громогласно поет из пасхального канона:

— «Приидите пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, в нем же утверждаемся».

Тут Катенька вдруг вся затрепетала, задрожала и, перестав кружиться, звонким, резким голосом закричала в ужасе:

— Накатил!.. накатил!..

Все остановились. Едва переводя дыханье, пошатываясь, ровно пьяные, все пошли к стульям.

— Дух свят!.. Дух свят!.. накатил!.. накатил!..— громче прежнего кричала Катенька и грянулась на руки подбежавшей Матренушке. Та довела ее до диванчика и с помощью Варвары Петровны уложила. На другом диванчике уложили бившегося о̗ пол блаженного.

Только что уложили Катеньку, радостными голосами божьи люди запели:

Ай у нас на Дону
Сам спаситель во дому.
Со ангелами, со архангелами,
С серафимами, с херувимами
И со всей-то силой небесною...
Эка милость, благодать
Стала духом обладать!..
Богу слава и держава
Во веки веков. Аминь.

Пока пели, Катенька привстала. Она села на диванчик и раз десять провела пальцами по зардевшемуся, как маков цвет, лицу своему. Зарыдала она и, едва переступая, вышла на середину сионской горницы. Глаза горели у ней необычным светом. Они остолбенели, зрачки расширились, полураскрытые посиневшие губы беспрестанно вздрагивали, по лицу текли обильные струи пота и слез, всю ее трясло и било, как в черной немочи [2]. Креп-

[1] Эта песня сделалась известною из донесения святейшему синоду одного из калужских священников (Сергеева), который в первых годах нынешнего столетия сам участвовал в хлыстовских радениях. Песня эта несколько раз была напечатана.

[2] Эпилепсия, то же почти, что падучая болезнь.

ко стиснув руками голову и надрываясь от рыданий, неровными шагами, нетвердой поступью сделала она вперед несколько шагов и остановилась. Все встали и обеими руками начали креститься на Катеньку, а дьякон возгласил:

— Вонмем! Премудрость! Глаголет бог!

Все встали на колени, и начала Катенька возглашать «живое слово» и «трубить в трубу живогласную». Сначала всему собранью «общую судьбу» говорила, «пророчество сказывала».

— Вы, любезные мои детушки! Святые, праведные агнцу и мне, богу, искупленные первенцы!.. Молите меня, отца, и будьте мне верны до конца, за то не лишу вас золотого венца... Я, дух свят, с вами пребываю, душеньки ваши в небесный убор убираю... все ваши помышления сам я, дух свят, в сердцах ваших читаю... За добрый помысел сторицей заплачу, а лукавого врага во гроб заколочу... Не смел бы пугать мой небесный синод, не смел бы тревожить моих верных рабов... А над вами, мои детушки, мой благодатный покров... Вот вам о́т бога сказ, от меня, духа свята, указ... Оставайтесь, господь с вами и покров божий над вами!..

И на всех махала Катенька платком, что был в руках у ней. Покровцем называют его божьи люди.

Все встали и расселись по стульям, один блаженный все еще бился в припадке на диванчике. Едва переступая, покачиваясь, меденно подошла Катенька к Николаю Александрычу и тот, хоть и кормщик, стал пред нею на колени. Стала Катенька ему «пророчество» выпевать:

— Здравствуй, верный, дорогой изообра̀нный воин мой... Со врагом храбрей вою́й, ни о чем ты не горюй! Я тебя, сынок любезный, за твою за верну службу благодатью награжу — во царствие пределю, с ангелами поселю. Слушай от меня приказ: оставайся, бог с тобой и покров мой над тобой.

И трижды махнула на него платком, а он ей еще раз до земли поклонился.

Пошла после того от одного к другому и каждому судьбу прорекала. Кого обличала, кого ублажала, кому семигранные венцы в раю обещала, кому о мирской суете вспоминать запрещала. «Милосердные и любовно все покрывающие обетования» — больше говорила она. Подошла к лежавшему еще юроду и такое слово ему молвила:

— Ты, блаженный, преблаженный, блаженная твоя часть, и не может прикоснуться никакая к тебе страсть, и не си́льна над тобою никакая земна̀ власть!.. Совесть крепкая твоя — сманишь птицу из ра́я. Ты радей, не робей; змея лютого бей, ризу белую надень и духовно пиво пей!.. Из очей слезы лей, птицу райскую лелей,— птица любит слезы пить и научит, как нам жить, отцу богу послужить, святым духом поблажить, всем праведным послужить!.. Оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!..

К Марье Ивановне подошла, хоть та и сидела одаль от круга божьих людей. Встала Марья Ивановна, перекрестилась обеими руками, поклонилась в землю и осталась на коленях. Затрубила пророчица в трубу живогласную:

— Тебе, любезная овца — живое слово от отца, всемирного творца, из небесного дворца. Пребудь в вере до конца. К богу сердцем ты пылай! свое сердце надрывай!.. Я тебя, бог, доведу, до Едемского края, до блаженного рая. Я тебя доведу, да и дочку приведу, будешь с нею ликовать, в вечной славе пребывать!.. Ты на месте на святом, над чистым ключом, устрояй божий дом, буду я, бог, жить в нем... Благодать наведу и к себе вас приведу. А последний тебе сказ, крепкий божий мой наказ — оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!..

Удивились люди божьи, когда Катенька, отступя от Марьи Ивановны, подошл к не приведенной еще Дуне, в первый только раз бывшей в собрании познавших тайну сокровенную. Подошла она к Дуне, хоть никогда ее прежде не видывала.

Оторопела Дуня, недвижно сидела она, вперя испуганный взор на Катеньку.

— На колени стань!.. на колени!..— тихонько сказала ей Марья Ивановна.

Но Дуня будто не в себе была, ничего не слышала, ничего не видела, кроме исступленьем сверкавших глаз пророчицы и жаром пышущего ее лица.

— На колени становись!.. Крестись перед духом святым! В землю кланяйся! — заговорили вкруг нее, но Катенька вдруг «затрубила в трубу живогласную», и люди божьи смолкли.

— Стой, стой, крепко стой на ногах, зеленое мое древо, изобранное, возлюбленное!.. Открою я тебе, отец, великое божие дело, утешу, ублажу, в сердце благодать вложу! Сокровенную тайну открою и чисту овечку, тебя, в седьмом небе устрою... Дам тебе ризу светлу, серафимские крылья, семигранный венец, и тут еще милости моей не конец. Я, бог, никогда тебя не оставлю, сотню ангелов к тебе приставлю. Со страхом и с верой, с надеждой и с любовью слушай, непорочная дева, мое пречистое слово живое: в тайну проникай, знамя божье поднимай, душу духу отдавай! Хоть головушку ты сложишь, зато верно мне послужишь, всем праведным угодишь, свою душу украсишь, будешь духом обладать, хвалы богу воссылать, будешь в трубушку трубить, в живогласну возносить. Оставайся, бог с тобой, покров божий над тобой!

И трижды по трижды махнула на нее покровцем.

Все были вконец изумлены. Редко «ходящие в слове» обращаются к неприведенным в корабль, не давшим страшных клятв сохранять сокровенную тайну. Вдруг такие обетования Дуне!

— Преславное видим, пречудное слышим здесь, братцы и сестрицы любезные! — возгласил Николай Александрыч.— Видим духа пришествие, слышим обетования. Да исполнятся наши надежды скорым исполненьем пророчества! Да сбудется славное, великое проречение!

Как мертвец бледная, в оцепенении стояла Дуня. Вне себя была она, дрожала всем телом и плакала. Бережно довела ее Марья Ивановна до ближайшего диванчика и уложила. Варенька села возле Дуни, махая над ней пальмовой веткой.

А дьякон, обращаясь к Дуне, изо всей мочи заголосил из «Песни Песней»:

— «Вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в тебе! Гряди от Ливана, невесто, гряди от Ливана!.. Прииди и прейди из начала веры, от главы Санира и Аэрмона, от оград львовых, от гор пардалеов...»

— Подальше от нее, отец Мемнон, она непривычна,— сказала дьякону Варвара Петровна.

Дьякон отошел, но не мог уняться. Восторг и его обуял. Лег он в переднем углу на спине и, неистово размахивая над собой пальмой, свое продолжал:

— «Сердце наше привлекла еси, сестро моя, невесто! Сердце наше привлекла еси единым от очию твоею, единым монистом выи твоея!.. Что удобреста сосца твоя, сестро моя, невесто? Что удобреста сосца твоя паче вина, и воня риз твоих паче всех аромат? Сот искапают устне твоя, невесто! Мед и млеко под языком твоим и благовоние риз твоих, яко благоухание Ливана!»

— Да уймись же ты, Мемнонушка! — тихонько сказал ему Николай Александрыч.— Зачем нестроение творишь в доме божием?

— Духом вещаю,— отвечал Мемнон.

— И вовсе не духом,— сказал Николай Александрыч.— Не возлагай хулы. Ведь это грех, никогда и никем не прощаемый. Уймись, говорю!

— По мне и замолчу, пожалуй,— молвил сквозь зубы дьякон и, севши на диванчик, низко склонил голову, думая: «Хоть бы чайку поскорей да поесть».

Очнулся блаженный, тоже на диванчик сел, зевнул раза четыре и, посидев маленько, платком замахал.

— На Софронушку накатило! На блаженного накатило!..— заговорили люди божьи.

Вышел блаженный на середину сионской горницы и во все стороны стал платком махать. Потом, ломаясь и кривляясь, с хохотом и визгом понес бессмысленную чепуху. Но люди божьи слушали его с благоговением.

— Слушай лес — бор говорит,— начал юродивый...— игумен безумен — бом, бом, бом!.. Чайку да медку, да сахарцу! Нарве стане наризон, рами стане гаризон [1].

И, захохотав во все горло, начал прыгать на одном месте, припевая:

Тень, тень, потетень,
Выше города плетень,
Садись, галка, на плетень!
Галки хохлуши —
Спасенные души,
Воробьи пророки —

[1] Эти бессмысленные слова и подобные им в ходу у хлыстов, особенно на Кавказе, где тамошние «прыгунки» (то же, что хлысты) уверяют, будто это на иерусалимском языке. Непонятные слова в кораблях говорятся больше безумными и юродивыми, которых охотно принимают в корабли, в уверенности, что при их участии на других дух святый сходит скорее.

Шли по дороге,
Нашли они книгу.
Что в той книге?

Хоть и знали люди божьи, что Софронушка завел известную детскую песню, но все-таки слушали его с напряжённым вниманием... Хоть и знали, что «из песни слова не выкинешь», но слова: «нашли пророки книгу» возбудили в них любопытство. «А что, ежели вместо зюзюки [1] он другое запоет и возвестит какое-нибудь откровение свыше?»

В самом деле, блаженный не зюзюку запел, а другое:

А писано тамо:
«Савишраи само,
Капиласта гандря
Даранатá шáнтра
Сункара пируша
Моя дева Луша» [2].

Только и поняли божьи люди, что устами блаженного дух возвестил, что Луша — его дева. Так иные звали Лукерьюшку, и с того времени все так стали звать ее. Твердо верили, что Луша будет «золотым избранным сосудом духа».

И стали ее ублажать, Варвара Петровна первая подошла к ней и поцеловала. Смутилась, оторопела бедная девушка. Еще немного дней прошло с той поры, как, угнетенная непосильной работой в доме названного дяди, она с утра до ночи терпела попреки да побои ото всех домашних, а тут сама барыня, такая важная, такая знатная, целует и милует ее. А за Варварой Петровной и другие — Варенька, Марья Ивановна, Катенька ее целовали.

— Приидите друг ко другу, люди божии,— церковным напевом запел Николай Александрыч.— Воздадим целование ангельское, лобызание херувимское. Тако дух святый повеле.

---

[1] Детская песня. После слов «что в той книге», она так продолжается:

Зюзюка, зюзюка,
Куда нам катиться?
Вдоль по дорожке, и пр.

Зюзюка — картавый, шепелявый.

[2] В двадцатых годах в корабле людей божьих отставного полковника Александра Петровича Дубовицкого этими словами говорил один из пророков. Члены корабля думали, что это по-индийски. Последний стих в нашей рукописи: «Майя дива луча».

И все стали целоваться, говоря «Христос воскресе!» Только к Дуне да к Лукерьюшке с Василисой никто не подходил — они не были еще «приведены».

Все вышли в коридор. Марья Ивановна осталась с Дуней в сионской горнице. Осталась там и Луша с Василисой.

— Ну что? — спросила Марья Ивановна у Дуни.

— Я как во сне,— ответила Дуня.— Все так странно, так диковинно. А сердце так и горит, так и замирает.

— Пресвятый голубь пречистым крылом коснулся сердца твоего, Дунюшка,— сказала Марья Ивановна.— Верь и молись, больше углубляйся в себя, а будучи на молитве, старайся задерживать в себе дыханье [1] и тогда скоро придет на тебя благодать. На сколько сил твоих станет, не вдыхай в себя воздуха, ведь он осквернен врагом, день и ночь летающим в нем... Бывали такие праведники, что, задерживая дыханье, достигали высочайшего блага освобождения святой, чистой, богом созданной души из грязного, грешного тела, из этой тюрьмы, построенной ей на погибель лукавым врагом. Конечно, таких немного, но блаженны и треблаженны они в селениях горних. Место их среди серафимов, а серафимы самые великие чины небесного воинства. Они одни окружают огневидный престол царя царей и во всякое время видят лицо его.

Под эти слова воротились люди божии. Они были уже в обычной одежде. Затушив свечи, все вышли. Николай Александрыч запер сионскую горницу и положил ключ в карман. Прошли несколько комнат в нижнем этаже... Глядь, уж утро, летнее солнце поднялось высо́ко... Пахнуло свежестью в растворенные окна большой комнаты, где был накрыт стол. На нем были расставлены разные яства: уха, ботвинье с осетриной, караси из барских прудов, сотовый мед, варенье, конфеты, свежие плоды и ягоды. Кипел самовар.

И сидели божьи люди за трапѐзой чинно и спокойно. Проводили они время в благочестных разговорах. Послышался благовест к обедне, и тогда разошлись они по своим местам и улеглись, утомленные, на постелях.

---

[1] Хлысты на молитве и во время радений задерживают дыхание. Этому учили и древние отшельники и пустынножители. Это же в практике и у индийских факиров и у трамблеров Америки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Умаялись люди божьи от радельных трудов. Солнце давно уже с полдён своротило, а они все еще покоятся. Дуня пробудилась всех прежде. Тихо поднялась она с постели, боясь разбудить Вареньку, и неодетая села на кровати.

Сидит и вспоминает сновиденья... Вспоминает и виденное в сионской горнице. Мутится на уме, и не вдруг может она различить, что во сне видела и что наяву...

Не того она ждала от божьих людей. Не такие обряды, не такое моление духом она представляла себе. Иного страстно желала, к иному стремилась душа ее. Бешеная скачка, изуверное круженье, прыжки, пляска, топот ногами, дикие вопли и завыванья мужчин, исступленный визг женщин, неистовый рев дьякона, бессмысленные крики юрода казались ей необычными, странными и возбуждали сомненье в святости виденного и слышанного. Ни о чем подобном в мистических книгах Дуне читать не доводилось. Говорили ей про тайные обряды и Марья Ивановна и Варенька, но не думала Дуня, что это будет так дико, неистово и бессмысленно.

«Не враг ли смущает меня? — приходит ей на мысль.— Ему хочется не допускать меня до общения с людьми божьими? Так и Марья Ивановна говорила, и Варенька, и все. Хитрой, злобной силой ополчается он на меня... Прочь, лукавый!.. Не смутить тебе меня, не совратить!.. Помню писание: «Безумное божие премудрей человеческой мудрости».

А нà сердце болезненно. То сомненья пронесутся в отуманенной голове, то былая, давнишняя жизнь вдруг ей вспомнится.

Вот завывает вьюга, закидало снегом оконные стекла. В жарко натопленной келье Манефы обительские девицы, усевшись кругом стола, в строгом молчанье слушают мать казначею Таифу. Читает она «Стоглав», и после каждого «ответа» [1] Манефа толкует прочитанное. Все за рукодельем, кто шьет, кто вяжет, Дуня кончает голубой бисерный кошелек отцу в подаренье. До того места доходит Таифа, где собор отцов хулит и порицает пляски,

[1] «Стоглав» состоит из вопросов царя Ивана Васильевича и Ответов московского собора.

скаканья, плещевания руками, ножной топот и клич неподобный. «Все сие от диавола,— учительно говорит Манефа,— сими кобями приводит он к себе людей, дабы души их в вечной гибели мучились с ним». И начнет, бывало, рассказывать про адские муки, уготованные уловленным в сети врага божия, отца лжи и всякого зла. «Не то ль и у них в сионской горнице?..— приходит в голову Дуне.— Не то ли же самое, о чем в «Стоглаве» говорится?» И сильней и шире растут в ней сомненья, колеблются мысли, и нападает тяжелое раздумье...

Вот она еще маленькая, только что привезли ее в Комаров... Лето, в небе ни облачка, ветерок не шелохнется, кругом кричат кузнечики, высоко́ в поднебесье заливается песнями жаворонок; душно, знойно... С матерью Манефой да с тетенькой Дарьей Сергевной идет Дуня по полю возле Каменного Вражка. Пробираются они в перелесок на прохладе в тени посидеть... Вот яркая зеленая луговина вся усеяна цветами — тут и голубые незабудки, и белоснежные кувшинчики, и ярко-желтые купавки, и пестро-алые одолѐни. Вскрикнула от радости маленькая Дуня и в детском восторге вихрем помчалась к красивым цветочкам... Манефа не может за нею бежать. Дарье Сергевне тоже не под силу догнать резвого ребенка... «Стой, Дуня, стой! — кричит ей Манефа.— Тут болото!.. Загрязнешь, утонешь!..» И теперь только что вспомнит она про раденье. Манефы голос ей слышится: «Загрязнешь, утонешь!..»

«Отчего ж во время раденья так горело у меня в голове, отчего так пылало на̀ сердце? — размышляет Дуня.— Отчего душа замирала в восторге? Марья Ивановна говорит, что благодать меня озарила, святой голубь пречистым крылом коснулся души моей... Так ли это?..»

И стали вспоминаться ей одно за другим только что оставившие ее сновиденья... Вот она в каком-то чудном саду. Высокие, чуть не до́ неба пальмы, рощи бананов, цветы орхидей и кактусов, да не такие, что цветут в луповицких теплицах, а больше, ярче, красивей, душистей. Бездна их, бездна... Тут и диковинные деревья — золотые на них яблоки, серебряные груши, и на листочках не капли росы, а все крупные алмазы... птицы распевают на разные голоса, и тихая музыка играет где-то вдали... А вот и луговина, усыпанная цветами, да не такими, что

видала она когда-то у Каменного Вражка, здесь все чудные, нигде не виданные... А как светло, хоть солнышка и нет. Как тепло, хорошо... И вдруг все мраком подернулось. Гремит несмолкаемый гром, по всем сторонам сверкают синепламенные молнии... Мчатся в воздухе крылатые чудища, раскрыты их пасти, высунуты страшные клыки, распущены острые когти, зелеными огнями сверкают глаза. И по земле со всех сторон ползут седмиглавые змии, пламенем пышут их пасти, все вокруг себя пожигая, громадными хоботами ломают они кусты и деревья. А из-под земли, из-за кустов, изо всех оврагов выбегают какие-то ужасные, неведомые люди, дикие крики их трепет наводят, в руках топоры и ножи... Всё на Дуню. Всё кидается на беззащитную... Нож у груди. Кто-то взмахнул топором над ее головой... Хочет бежать — недви́жимы ноги, хочет кричать — безгласны уста... И вдруг — Петр Степаныч... Не то на земле он, не то на возду́сех... Недвижно стоит в величавом покое, светлые взоры с любовью смотрят на Дуню, проникая в глубь ее сердца... В руке у него пальмовая ветка. Раз махнул — исчезли чудовища, вдругорядь махнул — скрылись страшные люди... Опять светло, опять дивный сад, опять поют птички и слышится упоительная, тихая музыка... Нет, это не музыка — это поют... Мужские голоса... Поют стройно и громко. Страстью, любовью дышит их песня:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой,
На белу́ю грудь цепочку,
На шею жемчужок.
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок!..
Полюби меня, Дуняша,
Люби, миленький дружок!..

Замерло сердце у Дуни... Вспомнила песню... Вот по сонной, широкой реке тихо плывет разубранная, расцвеченная лодка... Вечереет, темно-вишневыми пятнами стелются тени облаков по зеркальному водному лону, разноцветными переливами блистает вечернее небо... Вот красавец собой, удало́й молодец со стаканом «волжского кваса»... стоит перед нею... Низко склоняется он, и слышно Дуне перерывчатое, жаркое дыханье удало́го до́бра мо̀лодца... «Пожалуйте-с! сделайте такое ваше одолжение!..» — говорит он, глядя на нее палючими

глазами... Но где ж он, где ее избавитель от страшных чудовищ, от ужасных людей?.. Исчез... «Да, он уехал, уехал,— вспадает на ум Дуне.— Покинул, к Фленушке уехал!.. Бог с ним!.. Не надо мне его, не надо!»

И сменяются воспоминанья сновидений воспоминаниями о Манефиной келье. Сидит игуменья середи девиц. Вот и бойкая, разбитная Фленушка, вот и задумчивая Настя, и сонливая Параша, и всем недовольная Марья головщица... Вот и сама Дуня с бисерным кошельком в руках. Перебирая лестовку, кротко, любовно, учительно говорит им игуменья: «Блюдитесь, девицы, да не како лукавый коснется вас своими наважденьями — телесною страстью или душевным беснованием. Ежечасно, ежеминутно строит окаянный враг божий коби и козни, всякими способами соблазняет правоверующих, хотяй от благочестия к нечестью привесть. Всякие соблазны творит он — даже в светлую ризу ангелов иногда облекается и слабых яко бы ко спасению ведет в ров вечной погибели. Чудеса даже творит премерзкий, яко бы от господа бываемые — ложных пророков воздвигает, влагая в уста их словеса неправды, яко бы слово господней истины».

Смущают Дуню забытые слова Манефы...: «А ту пророчицу, что мне судьбу прорекала, неужели и ее враг воздвиг?.. Что, если и она от врага?.. Но нет!.. Ясно было видимо наитие свыше на Катеньку. В духе была она, в восторге неизреченном, преисполнена была благодати... Лицо сияло, из глаз огненные лучи лились. Дрожа и млея, в священном трепете не свои слова изрекала она — дух, в нее вселившийся, устами ее говорил... Никогда меня она не знавала, никогда слыхать обо мне не слыхивала, а что говорила!.. Ровно по книге читала в душе моей!.. Нет... Нет тут ни спора, ни сомнений... Зачем же этот «клич неподобный», зачем эти круженья, неистовые крики, бешеные пляски? О! кто бы вразумил, научил меня!..»

И решилась Дуня богу помолиться, трижды по трижды прочесть псалом «Да воскреснет бог» на отогнание супротивного. «Тогда, по моей вере, господь пошлет извещенье, где истина... там ли, откуда хочу уйти, там ли, куда иду... Пускай он сам спасает меня, какими хочет путями!.. Пожалеет же он созданье свое!.. Должен же он пожалеть, должен вразумить, указать на путь истинный

и правый!.. Если нет — так что ж это за бог!..» И вот Дуня, еще так недавно, стоя на молитве, говорившая в сердечном сокрушенье: «Не вниди в суд с рабой твоей», теперь гордостно и высокомерно вздумала судить бога вышнего!..

Встала с кровати, чтобы стать перед иконой, и нечаянно задела стоявший у изголовья столик. Он упал. Варенька от испуга проснулась.

— Что я наделала! — подбегая к ней, вскрикнула Дуня.— Ты так крепко спала, а я разбудила!.. Господи!.. Да что ж это!.. Прости меня, глупую, прости, Варенька, неопасливую.

— Полно, полно,— потягиваясь и зевая на постели, говорила Варенька.— Пора вставать. Который час?

— Третий,— отвечала Дуня.

— Вон как долго я нежилась,— молвила Варенька.— А плоти не надо угождать, не надо нежиться, не надо пребывать в лености, не то Марфа как раз поборет Марию.

И, быстро спрыгнувши с кровати, стала надевать утреннее платье.

— А ты давно проснулась? — спросила она.

— Давненько уж,— ответила Дуня.— Часа полтора.

— Видишь, какая ты! — улыбнувшись, молвила Варенька.— Нет, чтоб разбудить меня, сонливую, нерадивую. Что ж ты делала, си́дя одна?

— Все думала,— чуть слышно проговорила Дуня.

— О чем?..

— Да все о том... о вашем раденье...

— Что ж ты думала?

— Чудно́ мне, Варенька,— прошептала Дуня.

— Да. Ты правду сказала. Дела̀ поистине чудные. Устами людей сам бог говорит... При тебе это было. И чем говорил он, превечный, всесовершенный, всевысочайший разум? Телесными устами ничтожного человека, снедью червей, созданьем врага!.. Поистине чу́дное тут дело его милосердья к душам человеческим.

— Не про то говорю я,— молвила Дуня.— То чудно́ мне, то непонятно, зачем у вас скачут, зачем кружа̀тся, кричат так бесчинно?

— Враг тебя соблазняет,— строго сказала Варенька, став перед Дуней.— Сколько раз говорила я тебе, сколько и тетенька говорила: чем ближе час «привода», тем

сильней лукавый строит козни... Ежель теперь, именно теперь напало на тебя неверие в тайну сокровенную, явленную одним только избранным,— его это дело. Не хочется ему, чтобы вышла ты из-под его злой и темной власти, жаль ему потерять рабыню греха. Всегда так бывает... Погоди, не то еще будет. Тоску нагонит он на тебя, такую тоску, что хоть руки на себя наложить. Ему от того ведь польза, барыш, ежели кто руки на себя наложит... К нему пойдет... Лишнее ему козлище...

— Ах, Варенька! — в сильном смущенье, всплеснувши руками, вскликнула Дуня.

И опустилась на стул и закрыла руками лицо.

— Сама я,— медленно продолжала Варенька, не глядя на Дуню,— сама я перед самым «приводом» хотела с тоски посягнуть на свою душу... Из петли вынули... Вот здесь, в этой самой комнате... Видишь, крюк в потолке, лампа тут прежде висела... И быть бы мне теперь в работе лукавого, быть бы вековечно в его тьме кромешной!.. Но избавлена была богом бедная душа моя. Наблюдали тогда за мной, на шаг от меня не отступали... И я теперь не отступлю от тебя, ночи спать не буду, сидючи над тобою... И все будут наблюдать, чтобы враг не одолел тебя... Надо скорей «привести» тебя... Тогда наважденье врага как рукой снимется, и святый дух освятит твою душу. Как дым, исчезнут все сомненья, как восходящее солнце, возвысится душа твоя во свете, и посрамленный враг убежит... И с того часа навсегда пребудешь в неизглаголанном блаженстве, в общении с творцом.

— Ох, уж не знаю я, Варенька, что и сказать тебе нà это,— с отчаянной тоской отвечала Дуня.— Влечет меня сокровенная тайна. Но зачем эти скаканья, зачем прыганья и круженья? Соблазняет... Зачем кричат, зачем машут полотенцами?.. Ей-богу, ровно пьяные...

— Ты правду сказала,— молвила Варенька.— Не ты первая это говоришь... Тысяча восемьсот лет, даже побольше того, то же самое говорили язычники, увидавши божьих людей, когда на них сошел дух святый. Да, мы все были пьяны, напившись духовного пива... Не глумись!.. Вспомни, что сказано в писании о сошествии святого духа на апостолов? Неверные, глядя на них, говорили, что они пьяны. «Ругающеся глаголаху, яко вино исполнени суть». Не новое сказала ты, Дунюшка; восьм-

надцать веков тому назад... рабами лукавого твое слово было уж сказано.

— Да ведь апостолы не плясали, не кружились,— сказала Дуня.

— О том в писании прямо не говорится, но предание осталось. А в самом писании нигде нет отрицанья, чтоб у апостолов не было тех самых радений, какие дошли до нас,— сказала Варенька.— Говорится там: «Вселюся в них и похожду». Вот он и ходит в своих людях, и тогда не своей волей они движутся, но волей создателя их душ... И прежде, гораздо прежде апостольских времен бывало то же самое. Вспомни царя Давида, как плясал он перед кивотом. Что ты ни видела в сионской горнице, что ни слышала там — это все земное выраженье небесной радости... Пока ты еще не можешь постигнуть священного таинства, поймешь его, когда будешь приведена. Разверзнутся тогда очи твои, и все непонятное станет тебе ясно, как день... О!.. велика благодать постигнуть тайну сокровенную!

Задумалась Дуня. Спустилась с ее плеч сорочка, обнажилась белоснежная грудь. Стыдливо взглянула она и торопливо закрылась.

— Что? На тело свое полюбовалась? — с усмешкой спросила ее Варенька.— Что?.. Хороша пища для могильных червей? Красиво созданье врага? На темницу своей души залюбовалась?.. Есть чем любоваться!.. Что росинка в море-океане, то жизнь земного тела в вечности!.. Не заметишь, как жизнь кончится, и станешь прахом... Гадко тогда будет живому человеку прикоснуться к твоей красе... Презирай, угнетай, умерщвляй пакостное тело свое, душу только блюди, ее возвышай, покорила б она скверную плоть твою!.. Да будет мерзка тебе красота!.. Она от врага!.. Презирай, губи ее, губи ее, гадкую, мерзкую!..

Так говорила девушка в полном цвете молодости, пышная, здоровая, несмотря на давнее уж умерщвление плоти

Промолчала Дуня.

— Что ж, однако, эта за тайна сокровенная? — промолвила она после недолгого молчанья.— Сколько времени слышу я про нее... Вот и на собранье была, а тайны все-таки не узнала... Где ж она, в чем?.. Не в пляске же,

не в круженье, не в безумных речах Софронушки, не в дурацком реве дьякона...

— Тайна, от веков сокровенная, избрaнным только открыта,— строгим, не допускающим противоречия голосом, садясь на диван, проговорила Варенька.— Тайну от веков и родов сокровенную, ныне же одним святым только открытую, которым восхотел бог показать, сколь велико богатство славы его, сокрытое от язычников в тайне сей [1]. Поняла?

Молчала Дуня.

— Ты внешний только образ сокровенной тайны видела,— продолжала Варенька,— а пока останешься язычницей, не можешь принять «внутренняя» этой тайны. Когда «приведут» тебя — все поймешь, все уразумеешь. Тогда тайна покажет тебе богатство господней славы... Помнишь, что сказал он тебе устами Катеньки?.. Не колебли же мыслей, гони прочь лукавого и будешь избрaнным сосудом славы... Истину говорю тебе.

А Дуне слышится голос Манефин: «Болото!.. Загрязнешь, утонешь!..»

— Не знаю, что тебе сказать...— молвила она Вареньке после долгого раздумья.— Сомненье...— чуть слышно она прибавила.

— А ты кто, что с богом споришь? — восторженно вскликнула Варенька.— Господь тебя сотворил сосудом избрaнным, а ты смеешь спорить, сомневаться?.. Что Катенька сказала тебе?.. Не ее было слово, а слово вышнего... «Дам тебе ризу светлу, серафимские крылья, семигранный венец, и тут милости моей не конец!..» Вот слова духа святого о тебе, а ты вздумала с богом бороться!.. Он тебя призывает, а ты слушаешь врага!.. Не внимай козням его, плюнь на супостата, отвернись от него, обратись к богу истинному... Пощади душу свою, милая Дунюшка!

— Боюсь я... Страшно...— после недолгого молчанья, трепетным голосом промолвила Дуня.— Все у вас так странно!.. Как же можно богу пляской молиться?

— Боязнь твоя от лукавого. Он вселяет в тебя страх,— сказала Варенька.— Не в телесных движеньях, не в круженьях, не в пляске бог силу свою являет, но в откровеньях... Наитие святого духа — вот цель радений... Иного средства призвать его сошествие не знаем. Но так

[1] Послание к Колоссеям, I, 26.

ли, этак ли привлечь его на себя — все равно... Видела Катеньку? Какова она была в святом восторге?.. А не все ли равно, каким путем благодать ни сошла на нее? Скаканьем ли, пляской ли, земными ли поклонами? Подумай хорошенько об этом, обсуди без пристрастья... Пойми, что слава божия, каким бы путем ни сошла она на избранных,— спасительна. Сомненья твои — хула на святого духа, а этот грех не прощается. И в писании так сказано... Помнишь?

— Не то я в книгах читала,— дрожащим голосом скорбно промолвила Дуня.

— А ты хочешь, чтоб сокровенная тайна в книгах была открыта?..— возразила Варенька.— Да ведь книгу-то всякий может читать, а тайна божия совершается тайно... Нельзя ее всякому открывать — сказано: «Не мечите бисера перед свиньями...» Ты только телесными очами видела и телесными ушами слышала, как совершается тайна; но ведь ты еще не познала ее. Вот когда будешь приведена, тогда очи души твоей откроются и уши твоего ума разверзнутся. Тогда и в прочитанных тобой книгах поймешь все. Сотканная врагом темная завеса спадет с твоих глаз и со слуха.

Молчала Дуня. Борьба веры с сомненьями все ее потрясала... И к тайне влекло, и радельные обряды соблазняли. Чувствовала она, что разум стал мутиться у ней. После долгого колебанья сказала она Вареньке:

— Ни Марья Ивановна, ни ты не говорили мне про то, что видела и слышала я на раденьях. Я представить себе не могла, чтоб это было так исступленно, без смысла, без разума.

— «Безумное божие превыше человеческой мудрости»... Кто сказал это? — вскликнула Варенька.— Да, ни я, ни тетенька тебе не открыли всего, и сделано это не без разума. Скажи мы тебе обо всем прежде времени, не так бы еще враг осетил твою душу. Впрочем, я говорила, что радельные обряды похожи на пляску, на хороводы... Говорила ведь?

— Говорила,— тихо промолвила Дуня.

— Говорила, что в минуты священного восторга сам бог вселяется в людей и входит в них, по писанию: «Вселюся в них и похожду»! — с жаром продолжала Варенька.

— Говорила,— чуть слышно ответила Дуня.

— А про то говорила, что в эти минуты люди все забывают, землю покидают, в небесах пребывают?— еще с большей горячностью в страстном порыве воскликнула Варенька.

— Да, помню... Под пальмами ты говорила это,— ответила Дуня.

— Что делают в то время избранные люди — они не знают, не помнят, не понимают... Только дух святый знает, он ими движет. Угодно ему — люди божьи скачут и пляшут, не угодно — пребывают неподвижны... Угодно ему — говорят, не угодно — безмолвствуют. Тут дело не человеческое, а божье. Страшись его осуждать, страшись изрекать хулу на святого духа... Сколько ни кайся потом — прощенья не будет.

— Непостижимо уму и страшно,— чуть слышно промолвила Дуня.

— Мысль вражья!..— воскликнула Варенька.— Гони губителя душ, гони от себя!.. Веруй без рассуждений, без колебаний!.. Веруй, и вера твоя спасет тебя. На господа возложи тревожные думы — он избавит тебя от сети ловчей и от слов мятежных.

Долго говорила с Дуней Варенька. Одевшись, они пошли в пальмовую теплицу и там еще много говорили. Рассеялись отчасти сомнения Дуни.

* * *

Идут дни за днями, идет в Луповицах обычная жизнь своей чередою. На другой день после раденья разошлись по домам и матрос и дьякон, уехали Строинский и Кислов; Катенька осталась погостить. Остался на пасеке и блаженный Софронушка; много было с ним хлопот старому пасечнику Кирилле.. Нет отбоя от баб... Из-за пятнадцати, из-за двадцати верст старые и молодые гурьбами приходили в Луповицы узнавать у юрода судьбу свою. С пасеки его никуда не пускали, бед бы не натворил, потому Кириллина пасека с утра до́ ночи была в бабьей осаде.

Катеньку поместили в комнате возле Вареньки и Дуни. Все вечера девушки втроем проводили в беседах, иной раз зайдет, бывало, к ним и Марья Ивановна либо Варвара Петровна. А день весь почти девушки гуляли по́ саду либо просиживали в теплице; тогда из богадельни приходили к ним Василиса с Лукерьюшкой. Эти

беседы совсем почти утвердили колебавшуюся Дуню в вере людей божиих, и снова стала она с нетерпеньем ждать той ночи, когда примут ее во «святый блаженный круг верных праведных». Тоска, однако, ее не покидала.

Грустит, а сама не знает, о чем тоскует. По отце Дуня не соскучилась, к Дарье Сергевне давно охладела, Груню забыла, забыла и скитских приятельниц. «По разным мы пошли дорогам,— думает она,— зачем же мне об них думать? Им своя доля, мне иная...» Не могла, однако, равнодушно вспомнить про Фленушку. Не знала еще Дуня, чем кончилась поездка к ней Самоквасова, и хоть всячески старалась забыть былое, но каждый раз, только что вспомнится ей Фленушка, ревность так и закипит в ее сердце. И вспадет ей тогда на память либо сон, что виделся после раденья, либо катанье в косной по Оке. Нет, нет и послышится песня гребцов:

Полюби меня, Дуняша,
Люби миленький дружок.

«Да ведь не мне была та песня пета...— думает она, а тоска щемит да щемит ей сердце.— Наташа замужем, а он меня покинул... Не надо его, не надо!.. И думать о нем не хочу!»

А сама все думает.

Раз с Катенькой вдвоем сидела Дуня в тенистой аллее цветущих лип. Было тихо, безмолвно в прохладном и благовонном местечке, только пчелы гудели вверху, сбирая сладкую добычу с душистых цветов. Разговорились девушки, и обмолвилась Дуня, помянула про Самоквасова.

— Когда я в первый раз увидала тебя, Дунюшка, была я тогда в духе, и ничто земное тогда меня не касалось, ни о чем земном не могла я и помышлять,— сказала Катенька, взявши Дуню за руку.— Но помню, что, как только я взглянула на тебя,— увидала в сердце твоем неисцелевшие еще язвы страстей... Знаю я их, сама болела теми язвами, больше болела, чем ты.

— Ах нет, ведь я покинутая. Как было мне горько, как обидно,— низко склонив голову и зардевшись, чуть слышно промолвила Дуня.

— Целовал он тебя?.. Обнимал? — бледнея и пылая глазами, спросила Катенька.

— Как можно!..— пуще прежнего зардевшись, ответила Дуня.— Разве бы я позволила?

— Говорила ему, что полюбила его?

— Что ты?..— почти с ужасом вскликнула Дуня.

— Так он один говорил тебе про любовь?.. Что ж он? Уверял, заклинал, что век будет любить?.. Сватался?..— спрашивала Катенька.

А глаза у ней так и пышут, и трепетно поднимается высокая грудь. Едва переводит дыханье.

— Никогда не бывало того,— потупившись, отвечала Дуня.

— Верно говоришь?

— Верно.

— Значит, меж вас ничего и не было,— молвила Катенька.— Не о чем тут и говорить — не язва у тебя на̀ сердце, а пустая царапинка... Не то я испытала... Не то я перенесла...

— Ах, Катенька, не знаешь ты, каково мне было тогда... Исстрадалась я совсем,— крепко прижимаясь к подруге, вскликнула Дуня.— Даже и теперь больно, как только вспомню... Царапина!.. Не царапина, а полсердца оторвалось, покой на̀век рушился, душа стала растерзана.

И, стремительно махнув рукой, вперила на Катеньку страстно загоревшиеся очи.

— Слушай теперь мою исповедь,— с грустной улыбкой молвила Катенька.— Слушай, словечка не пророни, а потом и равняй себя со мной...

Твоих лет я была, как спозналась с любовью. Собой красавец, тихий, добрый, умница, скромник, каких мало, богат, молод, со всей петербургской знатью родня, военный князь... Мне, бедной, незнатной, неученой, и в голову не приходило, что я могу понравиться такому человеку... А он ищет моей любви, открывается в ней... И я полюбила его... И как любила-то!.. Присватался... Батюшка с матушкой согласны, обо мне и говорить нечего — себя не помнила от радости и счастья... И не видала я, как пролетели три месяца, пролетели они, ровно три минутки... Одни были у нас с ним чувства, одни думы, и ни в чем желанья наши не расходились... Страстен и пылок он был, но смирял порывы... Предупреждал каждое мое желанье, а когда, бывало, по неуменью не так что скажу, научит так кротко, с такою любовью... Нагля-

деться на него я не могла... Возненавидела ночи, нельзя было по ночам оставаться с ним, жадно желала венца, чтобы после венчанья ни на миг не разлучаться с ним... Пришла надобность ему быть в Петербурге, поехал ненадолго, и уговорились мы на другой же день после его возврата венчаться... Сколько было слез на расставанье, и он рыдал, жгучими слезами плакал, а я уж и не помню ничего, была вне ума... Писал... Сколько счастья, сколько радостей письма его приносили!.. В разлуке еще сильней я полюбила его... И вдруг!.. Женился на другой, уехал за границу... С ума, слышь, сходила я... Поднял меня всемогущий отец, возвратил потерянный разум, возвратил и память... Тогда я возненавидела князя... Если бы, кажется, попался он мне, я б на куски его растерзала... Никому ни слова о нем не говорила, и все думали, что он у меня из памяти вон... Но я ничего не забыла... Все думала, как бы злом за зло ему заплатить... Не могла придумать... Писать к нему, осыпать проклятьями, но в объятьях жены он и не взглянет на мое писанье, а ежель и прочитает, так разве только насмеется... Ехать к нему собралась было, пощечиной думала в глазах жены его осрамить, либо подкупить кого-нибудь, чтоб его осрамили,— на поездку средств не достало... Да и то — рассудила я — оплеуха женщины мужчине не бесчестье, они целуют ударившую руку и потом всякому поперечному рассказывают об этом и вместе смеются... Станут говорить о тебе, как о брошенной наложнице... Будь чиста, будь свята и непорочна — все-таки на тебе бесчестье...

С каждым словом Катенька воспламенялась больше и больше. И вдруг, облокотившись на столик руками и закрыв лицо ладонями, она замолкла, сдерживая подступавшие рыданья. Дуня ни слова.

Отвела руки от лица Катенька, гордо закинула назад красивую головку и сказала, ровно отчеканила:

— Что было, то минуло. От прожитóго не осталось ничего.

Глаза горели, но уж не по-прежнему. Иной огонь, яркий и резкий, блистал в ее взорах,— то был огонь исступленья, огонь изуверства.

— Все с меня сошло, все во мне исчезло,— восторженно продолжала она.— Утолились сердечные боли, настал душевный покой. Новое счастье, ни с чьим не срав-

нимое, я познала... Не может рассказать о нем язык человеческий... Самое полное счастье земной любви ничто перед тем блаженством небесной любви, что ощущаешь в себе во время наития святого духа. То мрак, а это свет лучезарный, то земля, полная горя и плача, а это светлое небо, полное невообразимых радостей, то блужданье во тьме кромешной, это — паренье души в небеса.

— В чем же то счастье? В чем блаженство? Я все еще не могу понять,— после короткого молчанья спросила Дуня.

— Когда дух святый снидет на тебя, душа твоя и тело обратятся в ничто,— сказала Катенька.— Ни тело тогда не чувствует, ни душа. Нет ни мыслей, ни памяти, ни воли, ни добра, ни зла, ни разума, ни безумия... Ты паришь тогда в небесных кругах, и нет слов рассказать про такое блаженство... Не испытавши, невозможно его понять... Одно слово — соединенье с богом. В самом раю нет радостей и наслажденья больше тех, какие чувствуешь, когда дух святый озарит твою душу.

— А в другое время? — спросила, подумавши, Дуня.— Тоскуешь? Ведь ежели кто узнал хорошее и потом нет его, тогда и скорбь, и грусть, и тоска.

— Душе, коснувшейся огненного языка святого духа, озаренной его светом, нет ни тоски, ни скорби, ни грусти. Нет для нее ни горя, ни печали, нет и греховных земных радостей... Бесстрастна та душа — и беды, и счастье, и горе, и радость, и скорбь, и веселье не могут коснуться ее... Она бесстрастна — нет для нее ни злобы, ни любви, ни желаний, ни стремлений... Она спит в вечном, невозмутимом покое... Сердце умерло, страстей нет — сожжены они огненным языком святого духа, их нет, и ничего нет, что исходит из страстей: злобы, лжи, вражды, зависти, нет и добра, нет и любви, нет и забот о чем бы то ни было... Одна только забота, одно желанье — поскорей разбить темницу, врагом для души построенную, умертвить греховную плоть... Все остальное чуждо таинственно умершему и таинственно воскресшему... Если б перед его глазами и земля, и весь небесный свод разрушились, и тогда бы он с полнейшим бесстрастьем, безучастно глядел на такое разрушенье. Оно бы и не коснулось его, разрушилось бы только тленное тело, но туда ему и дорога!

Еще долго говорила Катенька и совсем склонила Ду-

ню на прежнее. И душой, и сердцем стала теперь она стремиться к «приводу».

И ночь «привода» не замедлила.

* * *

Ровно через неделю после собора божьих людей, также в субботу, под вечер, приехали в Луповицы Кислов и Строинский, пришли матрос Фуркасов и дьякон Мемнон. Был на тот день назначен «привод» Дуни и Василисушки.

Смеркалось, собрались божьи люди перед входом в сионскую горницу. Когда Николай Александрыч, осветив ее, отворил двери, прежде всех вошли Дуня с Марьей Ивановной, Варенька с Катенькой, а за ней Василисушка с Варварой Петровной, с Матренушкой и еще с одной богаделенной старушкой. Из сионской горницы они тотча̀с пошли в коридор. Там в одной комнате Дуню стали одевать в «белые ризы», в другой Василисушку.

Когда другие божьи люди облеклись в «белые ризы», они пошли друг за другом в сионскую горницу, а Дуня и Василисушка остались в полном уединенье.

— Углубись в себя, Дунюшка, помни, какое время для души твоей наступает,— говорила ей перед уходом Марья Ивановна.— Отложи обо всем попечение, только о боге да о своей душе размышляй... Близишься к светозарному источнику благодати святого духа — вся земля, весь мир да будет скверной в глазах твоих и всех твоих помышленьях. Без сожаленья оставь житейские мысли, забудь все, что было,— новая жизнь для тебя наступает... Всем пренебрегай, все презирай, возненавидь все мирское. Помни — оно от врага... Молись!!

Поцеловала Дуню, перекинула ей через плечо «знамя», а сама тихими шагами пошла в сионскую горницу.

Долго еще оставалась Дуня в одиночестве. Пока у божьих людей было общее прощение, пока кормщик читал жития и говорил поучение, она была одна в пустой комнате. И чего тогда она не передумала.

Вспомнила наставленье Марьи Ивановны — думать лишь о боге и душе — и стала молиться на стоявший в углу образ. В небреженье он был — весь в паутине... Молилась Дуня, как с детства привыкла,— с крестным знаменьем, земными поклонами.

Много раз говаривала ей Марья Ивановна, говорила и Варенька, что, вступая на путь божий, должно отречься от мира, от отца с матерью, ото всего рода, племени. «Ведь сказано,— стоя на молитве, думает Дуня,— оставит человек отца своего и матерь свою и грядет по мне... Ах, тятя, тятя!.. Ах ты, милый мой, милый тятенька!.. Как же я покину тебя, как забуду, что я дочь твоя, рожденье твое?.. Притворяйся,— говорила намедни мне Марья Ивановна,— притворяйся, чтоб отец не заметил в тебе перемены... Не умею я, не смогу притворяться... Ведь это значит лукавить... А лукавить — служить лукавому, его волю творить... А я от него бежать хочу... Как же это?»

С того времени, как познакомилась Дуня с Марьей Ивановной и начиталась мистичесих книг, ко всем ближним своим, даже к отцу, она стала холодна и неприветлива. Не то чтоб она разлюбила отца, но как-то, сама не постигая отчего, сделалась к его горячей, беззаветной любви совсем равнодушною. Не заботили ее отцовские заботы, не радовали его радости, не печалили его неудачи. А когда, поддаваясь увлеченьям крутого, вспыльчивого нрава, Марко Данилыч оскорблял кого-нибудь, тогда Дуня почти ненавидела его. Охлажденье росло с каждым днем и особенно усилилось во время разлуки под влияньем Марьи Ивановны и других людей божиих. По нескольку дней отец даже на память ей не прихаживал... И вдруг перед самым тем часом, как должна она разорвать навсегда сердечные с ним связи, воскресла в ее душе прежняя любовь. Так бы вот вольной пташкой и полетела к нему, так бы вот и бросилась в его объятья, так бы и прижалась к груди родительской.

Припоминает Дуня отцовские ласки, вспоминает его доброту к ней и заботливость, вспоминает и тот день, когда он подал ей обручальное кольцо... «К чему оно теперь!.. Кому?..» — думает Дуня, и вдруг перед душевными ее очами восстает Петр Степаныч... Неясные, однообразные звуки чтения Николая Александрыча едва доносятся из сионской горницы, но вместо их Дуне слышится песенка:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой...

Вздрогнула она, перекрестилась... «Искушение,— подумала она,— князь мира смущает... Отыди, исчезни!!.» Но не слышит князь мира ее заклинаний, по-прежнему слышится ей:

На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок,
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок!..

«Господи, господи! — молится Дуня, взирая на подернутый паутиною образ.— Запрети лукавому... К тебе иду. . Порази его, супротивного, своей яростью...»

А Петр Степаныч ровно живой стоит перед ней. Вьются темно-русые кудри, пышет страстью лицо, горят любовью искрометные очи, гордо, отважно смотрит он на Дуню; а гул чтения в сионской горнице кажется ей страстным напевом:

Полюби меня, Дуняша,
Люби, миленький дружок!

Бросилась она на колени и, опершись локтями на кресло, закрыла руками лицо. Слезы ручьями текут по бледным щекам.

Звон на колокольне — двенадцать.

Тихо, беззвучно растворилась дверь,— в белой радельной рубахе, с пальмовой веткой в руке, с пылающим взором вошла Марья Ивановна.

— Молилась? Это хорошо! — сказала она.— Идем.

И, не выждав ответа, торопливо схватила Дуню за руку и повлекла в сионскую горницу.

Там сидели божьи люди, у всех в руках зажженные свечи, пальмы лежали возле. Сто́я у стола, Николай Александрыч держал крест и Евангелие.

Дуня остановилась в дверях, рядом с ней ее восприемница Марья Ивановна. Божьи люди запели церковную песнь. «Приидите поклонимся и припадем ко Христу». Дьякон Мемнон так и заливался во всю мочь богатырского своего горла.

— Зачем ты пришла сюда? — строгим голосом спросил Дуню Николай Александрыч.

Дуня смешалась. Забыла наставленья, из памяти вон, что надо ей отвечать. Марья Ивановна подсказала, и она, опускаясь на колени, слабым голосом ответила:

— Душу спасти.

— Доброе дело, спасенное дело,— сказал Николай

Александрыч.— Благо твое хотение, девица. Но без крепкой поруки невозможно мирскому войти во святый круг верных-праведных. Кого даешь порукой?

— Матушку царицу небесную,— чуть слышно промолвила Дуня.

— Хорошо, если так,— сказал Николай Александрыч.— Смотри же, блюди себя опасно, не была б тобой поругана царица небесная.

— Всегда обещаюсь пребывать в заповедях истинной веры, никогда не поругаю свою поручительницу.

— Доброй ли волей пришла в сей освященный собор?—продолжал Николай Александрыч.— Не по страху ли, или по неволе, не от праздного ли любопытства?

— Доброй волей пришла. Спасенье получить желаю,— отвечала Дуня.

— А известны ль тебе тягости и лишения, что тебя ожидают? Не легко знать, не легко и носить утаенную от мира тайну,— сказал Николай Александрыч.— Иго тяжелое, неудобоносимое хочешь ты возложить на себя. Размыслила ли о том? Надеешься ли на свои силы?

— Размыслила, решилась и на себя надеюсь,— подсказала Дуне Марья Ивановна, и та повторила.

— Должна ты отречься от мира и ото всего, что в нем есть,— продолжал Николай Александрыч.— Должна забыть отца и мать, братьев, сестер, весь род свой и племя. Должна отречься от своей воли, не должна иметь никаких желаний, должна все исполнять, что б тебе ни повелели, хотя б и подумалось тебе, что это зазорно или неправедно... Должна ты не помышлять о греховной мирской любви, ничего не вспоминать, ни о ком не думать. Должна избегать суеты, в гости не ходить, на пирах не бывать, мясного и хмельного не вкушать, песни петь только те, что в соборах верных поются. Должна ты быть смиренною, изо всех грехов нет тяжелей гордости, это самый великий грех, за гордость светлейший архангел был низвергнут во ад. Ничем не должна ты гордиться, ни даже своим целомудрием... Если б даже было тебе повелено лишиться его — не колеблясь, должна исполнить сказанную тебе волю... О тайне же сокровенной, о святом служении богу и агнцу не должна никому сказывать: ни отцу родному, ни отцу духовному, ни царю и никому, кто во власти... Доведется пострадать

за тайну, должна безропотно принять и гонения и всякие муки — огонь, кнут, плаху, топор, но тайны сокровенной никому не поведать... Если же предашь ее — будет тебе одна участь с Иудой. Исполнишь ли все, что говорю?

— Исполню,— дрожа от волнения, прошептала Дуня.

— Поди сюда,— сказал Николай Александрыч.

Дуня подошла к столу. Положив крест и Евангелие, кормщик взял ее за̀ руку и трижды по́солонь обвел вокруг стола. Марья Ивановна шла за нею. Все пели: «Елицы от Христа в Христа крестистеся, во Христа облекостеся».

Поставив Дуню перед крестом и Евангелием, Николай Александрыч велел ей говорить за собою:

— Пришла я к тебе, господи, на истинный путь спасения не поневоле, а по своей воле, по своему хотенью. Обещаюсь я тебе, господи, про сие святое дело никому не открыть, даже пред смертною казнию, в чем порукою даю царицу небесную пресвятую богородицу. Обещаюсь я тебе, господи, на всякий день и на всякий час удаляться от мира и всей суеты его и всего разврата его. Обещаюсь я тебе, господи, не иметь своей воли, во всем творить волю старших, что б они ни повелели мне,— все исполнять безо всякого сомнения... Прости меня, господи, прости, владычица богородица, простите, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся сила небесная!.. Прости, небо, прости, солнце, простите, месяц, звезды, земля, озера, горы, реки и все стихии небесные и земные!..

После того Дуня приложилась ко кресту и Евангелию, и кормщик сказал ей:

— В сие время божий ангел сходил с неба. Он стоял перед тобой и записывал обещанья твои. Помни это.

По слову Марьи Ивановны, Дуня перекрестилась обеими руками и поклонилась в землю Николаю Александрычу. Он тем же ответил ей. Потом Марья Ивановна подводила ее к каждому из людей божьих и на каждого она крестилась и каждому отдавала земной поклон. И они тем же ей отвечали, поздравляя с обновлением души, с крещением святым духом. Поздравляли друг друга с прибылью для корабля, с приводом новой праведной души.

Подала Марья Ивановна Дуне белый батистовый платок, пальмовую ветку и рядом с собой посадила. После того был «привод» Василисушки. Затем, обращаясь к обеим новым сестрицам, божьи люди запели «приводную песнь».

Ай вы, девушки, девицы,
Вы духовные сестрицы,
Когда богом занялись,
Служить ему задались —
Вы служите, не робейте,
Живу воду сами пейте,
Нá землю ее не лейте,
Не извольте унывать,
А на бога уповать,
Рая в нем ожидать.

Потом запели: «Дай к нам, господи», и началось раденье. Сначала тихо и робко Дуня ходила в женском кругу, но потом стала прыгать с увлеченьем, потрясая пальмой и размахивая батистовым покровцем.

* * *

На другой день после привода Дуни ей отвели особую от Вареньки комнату. В то же время привезли к Луповицким почту из города. Между письмами было и к Дуне от Марка Данилыча. Послано оно из Казани. Было в нем писано:

«Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас. Аминь. Любезной и дражайшей дочке моей Авдотье Марковне при сем кланяюсь и посылаю родительское мое благословение, навеки нерушимое. Желаю ото всего моего родительского сердца знать про здоровье и благополучно ли ты доехала с почтеннейшей и нами завсегда уважаемой госпожою Марьей Ивановной до своего места. Потому отпиши беспременно, единого дня не медля, на мое имя в Саратов, в гостиницу Голубова, для того, что там я располагаю пристать, а в Саратов намерение имею сплыть из Казани на пароходе после завтрашнего числа. А еще более того желаю знать, каково тебе в гостях; ты еще николи не покидала дома родительского, и для того мне оченно желательно знать, как с тобой господа обходятся, потому что ежели что нехорошее, так я свое рождение в обиду не дам, и будь обидчик хоша разгенерал, добром со мной не разделается. Всего имения и капиталов не пожалею, а до него доберусь и сделаю над

ним свое дело. Так ты и скажи господам Луповицким и другим господам, которы компанию с ними водят, что, мол, тятенька за какую ни на есть обиду полмиллиона, а надо, так и больше не пожалеет, а обидчика, мол, доедет. Скажи им всем — потому они и поопасятся. Ежели какую, хоша самую малую, обиду от кого получила, отпиши без замедления на мое имя в Саратов, в гостиницу Голубова, а я тем же часом сряжусь и приеду, и тогда обидчик милосердия и ожидать не моги. А ежели тебе, дражайшая моя дочка Авдотья Марковна, житие в Луповицах хорошее и безобидное, то живи у Марьи Ивановны дольше того срока, какой я тебе на прощанье дал, для того, что я из Саратова сплыву в Астрахань, а управившись там, проеду, может статься, в Оренбург по некоему обстоятельству, а домой ворочусь разве к самому Макарью. А потому или я сам приеду за тобой, или Дарью Сергевну с Корнеем пришлю, а не то с Васильем Фадеевым, чтобы доставила тебя домой в сохранности, ежель Марья Ивановна заблагорассудит долго гостить у сродников. А мне было бы желательно попрошлогоднему свозить тебя на ярманку и потешить в Нижнем, как прошлого года. А ежели, паче чаяния, отпишешь ты ко мне про обиды, тогда не токма в Оренбург — и в Астрахань не поеду. Корнея заместо себя пошлю, а сам самолично приеду в Луповицы и за всякое зло воздам сторицею. Так они это и знай, так им скажи. Оченно мне гребтит, что ты, любезная дочка, возлюбленное мое рождение, отчуждена, живучи у господ, от истинной, святоотеческой древле-православной веры — смотри же у меня, не вступай во двор козлищ, иже имут левое стояние пред господом на страшном суде. В ихнюю церковь входить не дерзай и ото всяких ересей блюди себя опасно, дабы не погрешить и к осужденным на вечные муки не быть сопричтенной. А насчет рыбы дела плохие, одначе сего не сказывай никому. Веденеев с Меркуловым все дело испортили. Убытков хоша не приму, а барышей и половины не доспею супротив того, как по весне рассчитывал. Одно только и есть утешение, что Орошину при таких ценах совсем несдобровать, и ежели явит господь такую милость, так ему, пожалуй, по скорости придется и несостоятельным объявиться. Оченно вздонжили его Веденеев с Меркуловым — изо рта кусок вырвали. А здесь, будучи в Казани, повстре-

чалась мне в Коровинской часовне комаровская мать Таифа. Покамест до Макарья поехала за сборами на Низ, сказывала она про твоих подруг: Флена Васильевна, благую часть избра, яже не отымется от нее,— ангельский чин приняла и пострижение, и, как надо полагать, по кончине матушки Манефы, сидеть ей в игуменьях. А Патапа Максимыча дочка Прасковья Патаповна тяжела, на сносях, а зятька ихнего Таифа не одобряет: был-де архирейский посол, а стал собачий мосол — от одного берега отстал, к другому не пристал. Так этими самыми словами и говорит. Аксинья Захаровна, сказывала мать Таифа, оченно скорбна̀, разболелась вся, на ладан, слышь, дышит. Аграфена Петровна тоже недомогает. От Дарьи Сергевны третьего дня письмо получил — в доме у нас все благополучно, только Василий Фадеев ненароком ногу себе топором порубил. А здесь, в Казани, в Рыбнорядском трактире третьего дня виделся с Петром Степанычем Самоквасовым — может, не забыла, тот самый, что в прошлом году у матери Манефы в обители с нами на Петров день кантовал [1], а после того у Макарья нас с Дорониными в косной по реке катал. Еще рыбу тогда ловили. Дельцо у него есть с дядей по наследству. Хоша его дело и чисто, да у дяди, надо думать, рука сильна, не миновать, слышь, Петру Степанычу, чтоб до московского сената не дойти,— посудят ли там по-божески — один господь ведает, а теперь покаместь все закрыто. А Петр Степаныч ровно сам не свой: «Один конец, говорит, хоть в омут головой!» А насчет Коровинской часовни дела происходят не очень того чтобы ладные; склоняются многие на единоверие. Засим, прекратя сие письмо, еще посылаю тебе, любезная дочка моя Авдотья Марковна, заочное родительское благословение, навеки нерушимое, ото всего моего сердца желаю тебе доброго здравия и всякого рода благополучия, а засим остаюсь любящий тебя отец твой Марко Смолокуров. А от бояр и ото всяких господ мужеска пола всячески берегись, дражайшая моя дочка Авдотья Марковна, блюди себя во всякой сохранности, дабы не было бесчестья, на то посылаю тебе строгий мой родительский приказ. Сколько ни люблю те-

---

[1] *Кантовать* — пировать, с гульбой, с песнями.

бя и ни жалею, а ежели, помилуй бог, такой грех случится, тогда не токма ему, треклятому, но и тебе, моей дочке, с плеч голову сорву. Более сего писать не предвижу и потому, прекратив сие письмо, посылаю тебе родительское благословение, навеки нерушимое».

Равнодушно прочитала отцовское письмо Дуня. Тому лишь порадовалась, что можно ей дольше гостить в Луповицах. Что за дело ей до разъездов отца, до Параши, до Аксиньи Захаровны, до всех, даже до Груни. Иные теперь мысли, иные стремленья. Злорадно, однакож, подумала она о пóстриге Фленушки...

«Ото всяких ересей блюди себя опасно...» — при первом чтении письма эти слова прошли незамеченными, но потом то и дело стали звучать в ушах Дуни. Слышала она, ясно слышала, особенно в ночной тиши, голос отца, тихий и ласковый, каким всегда он говаривал с ней. И задумывалась Дуня, вспоминая, где она теперь, куда ее привели... Всеми силами старается прогнать тревожную мысль. «Вражье искушение! — думает она.— Отец — человек плоти, над ним власть лукавого. Он эти слова ему подсказал... Какая тут ересь?.. Служение богу и агнцу!»

А все-таки ни одной ночи Дуня не может провести спокойно: то звучат отцовские слова, то видится ей Петр Степаныч, скорбный, унылый... И становится Дуне жалко отца, жалко становится и Петра Степаныча.

* * *

Из писем к Николаю Александрычу одно всех порадовало. Прислано было оно из Тифлиса племянником Варвары Петровны Егором Сергеичем Денисовым. Ездил он за Кавказ по какому-то казенному порученью. Вот что писал он между прочим:

«Дела подходят к концу, скоро ворочусь в Россию, сверну с прямой дороги и заеду к вам в Луповицы. Был в Ленкоране и везде вокруг Александрополя, видел, беседовал, лично обо всем расскажу».

Все, кроме не знавшей Денисова Дуни, просияли от этого послания.

— Егорушка приедет, Егорушка Денисов! — радостно говорил Николай Александрыч жене, брату, невестке и племяннице. И те были также в восторге.

Егор Сергеич Денисов повсюду у хлыстов был велик человек. Знали его и образованные люди божьи, и монахи с монахинями, и сестры женских общин, приведенные к познанию тайны сокровенной, слыхали о нем по всем городам, по всем селам и деревням, где только живут хлысты. Не раденьями, не пророчествами достиг он славы, а беседами своими, когда объяснял собратьям правила сокровенной веры, служение богу и агнцу. Был еще он молодой человек с небольшим тридцати лет. Был бы редким красавцем, если б не мертвенная бледность истомленного лица, не вид полуживого человека. Зато большие черные глаза горели у него таким огнем, и было в них так много жизни, что он, смотря на человека, казалось, проникал в его душу. Никто не мог долго смотреть на Денисова, невольно потуплялись глаза, не вынося блеска проницательных глаз его. Еще в детстве лишившись отца с матерью, был он под опекой Луповицкого. В ранней молодости служил моряком, и тогда в Кронштадте хаживал в «братское общество», где уж мало тогда оставалось людей образованных: Татаринову из Петербурга уж выслали, одноверцев ее тоже разослали по монастырям [1]. Еще в Луповицах, где жил он в детстве до поступления в морской корпус, Денисов знал кое-что про людей божьих, но был еще так мал, что не решались ему показать раденья. В Кронштадте случайно узнал он, что тамошнее «братское общество» те же божьи люди, что и в Луповицах. Стал он туда похаживать, но не могли матросы объяснить ему таинственной веры своей. Тогда решился Денисов искать разъяснений ее по хлыстовским кораблям. Рассудив, что на морском корабле не доехать ему ни до какого корабля людей божьих, он вышел в отставку и в гражданской службе занял должность не большую, но и не маленькую. То было ему дорого, что она требовала дальних разъездов. Сряду несколько лет разъезжал Егор Сергеич то по средней России, то по Волге, то по Новороссии, был даже в Сибири и за границей, в Молдавии. Везде сводил он знакомство с людьми божьими и теперь возвращался из-за

---

[1] Это было в 1837 году, Татаринова сослана в Кашинский монастырь, тайный советник Попов — в Зилантов монастырь в Казани, Федоровы, муж и жена,— в новгородские монастыри, Дубовицкий — в Саровскую пустынь, а потом в суздальский Спасо-Ефимьев монастырь либо в Соловки и т. д.

Кавказа, познакомившись там с «веденцами» [1], известными больше под именем «прыгунков».

С нетерпением ждали Луповицкие Егора Сергеича. Ехал он с подошвы Арарата, с верховьев Евфрата, из тех мест, где при начале мира был насажден богом земной рай и где, по верованьям людей божиих, он вновь откроется для блаженного пребывания святых-праведных, для вечного служения их богу и агнцу. Доходили слухи до Луповиц, что там, где-то у подножья Арарата, явился царь, пророк и первосвященник, что он торжественно короновался и, облачась в порфиру, надев корону с другими отличиями царского сана, подражая Давиду, с гуслями в руках, радел среди многочисленной толпы на широкой улице деревни Никитиной [2]. Доходило до Луповиц и то, что царь Комар, опричь плотской жены, взял еще духовную и что у каждого араратского святого есть по одной, по две и по три духовные супруги. О духовных супругах Луповицкие имели самые неясные понятия. Читывали они про них в мистических книгах, знали, что тотчас после падения Бонапарта духовные супруги явились в высшем прусском обществе между придворными, принявшими секту мукеров; знали, что есть духовные жены у сектантов Америки, знали, что из Пруссии духовное супружество проникло и в Петербург, но не могли понять, как это учение проникло за Кавказские горы и как ссыльный крестьянин Комар мог усвоить учение кенигсбергского архидиакона Эбеля, графини Грёбен и других знатных дам и государственных людей Пруссии... «Денисов знаком с царем Комаром, он все разъяснит»,— думали Луповицкие... Больше других ожидала гостя Марья Ивановна, хотелось ей хоро-

---

[1] «Веденцами» (от слова ведать) они только сами себя зовут, утверждая, что ведают духа святого. Зовут еще себя *духовными*. Посторонние, за то что они радеют, как хлысты, зовут их *прыгунками, трясунами, а* потому, что они уверяют, будто «ведают духа»,— *духами*. Эта секта — смесь молоканства с хлыстовщиной — возникла между сосланными за Кавказ с Молочных Вод молоканами. Она считает своим основателем Лукьяна Соколова. Большая часть прыгунков живет в деревне Никитиной, близ Александрополя. Есть они и в Эриванском уезде, и в Ленкоранском, и по другим местам Закавказья. Преемником Соколова был Максим Рудометкин, или Комар-христос, пророк, первосвященник и царь духовных. Он торжественно короновался в деревне Никитиной.

[2] Тут анахронизм. Комар коронован позже, именно 19 декабря 1857 года.

шенько разузнать о духовных супругах. Дуня, с первого знакомства, то и дело приставала к ней с вопросами о духовном супружестве, но старая дева не умела ей вполне объяснить, в чем тут дело.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Управившись с делами в Астрахани и раздумавши ехать в Оренбург к Субханкулову, Марко Данилыч домой поспешил. Дуня еще не возвращалась, и он написал к ней письмо с приказом ехать скорее домой. «Макарий на носу,—писал он,— а мне желательно тебя на ярманку свозить и потешить по-прошлогоднему».

— Что ж теперь делать? — спрашивала Дуня Марью Ивановну.

— Не ехать,— ответила та.

— Как же можно? — возразила Дуня.— Ведь он будет ждать; а не дождется, приедет сам либо пришлет кого за мной...

— На ярманку, что ли, тебе хочется? — улыбнувшись, спросила Марья Ивановна.

— Что мне до ярманки? — презрительно молвила Дуня.— Чего там не видала? В лодке катанья али театра?..

— Так вот что,— сказала Марья Ивановна.— Пиши отцу, что тебе на ярманку не хочется, а желаешь ты до осени прогостить в Луповицах, а впрочем, мол, полагаюсь на всю твою волю. Поласковей пиши, так пиши, чтоб ему не вспало никакого подозренья. Я тоже напишу.

Как сказано, так и сделано. Марья Ивановна писала Марку Данилычу, что Дуне у Макарья будет скучно, что девушка она строгая, степенная, веселостей и развлечений не любит. Изо всего, дескать, видно, что она дочь благочестивого отца и выросла в истинно христианском доме.

Льстивые слова знатной барышни понравились надменному купчине. «Видите, Дарья Сергевна,— говорил он,— видите, как знатные господа, генеральские дети об нас отзываются! Спасибо Дунюшке, спасибо голубушке, что так заслужила у господ Луповицких!» Он согласил-

ся оставить Дуню у Луповицких до сентября. Дарья Сергевна была тем недовольна. Расплакалась даже.

А плакала она при Марке Данилыче, такие слова приговаривая:

— Погубят ее! С толку собьют, сердечную!.. Ее ли дело с господами водиться? Не пристанет она к ним, никогда с ними не сравняется... Глядят свысока на нее: «ты, дескать, глу́па ворона, залетела в высоки хоромы». А есть господа молодые — тут до греха недалеко... Им нипочем, а ей век горевать.

— Закаркала!..— резким голосом, сурово вскликнул Марко Данилыч.— Чем бы радоваться, что Дунюшка со знатными людьми в компании, она невесть что плетет. Я на Марью Ивановну в полной надежде, не допустит она Дуню ни до чего худого, да и Дуня не такая, чтоб на дурные дела идти.

— Дай бог, чтобы было по-вашему, Марко Данилыч,— с тоской и рыданьями отвечала Дарья Сергевна.— А все-таки заботно, все-таки опасливо мне за нее. Во сне ее то и дело вижу да все таково нехорошо: либо разодетую, разубранную в шелках, в бархатах, в жемчугах да в золоте, либо мстится мне, что пляшет она с каким-то барином, а не то вижу всю в цветах каких-то диковинных... Не к добру такие сны, Марко Данилыч.

— Уж вы пойдете,— с досадой промолвил Марко Данилыч. А сам, задумавшись, поспешно вышел из горницы.

Долго еще, долго плакала Дарья Сергевна по любимой воспитаннице. Причитает в горючих слезах, такие речи приговаривает: «Не носила, не родила, не кормила я тебя, Дунюшка, а любила завсегда и теперь люблю, как родную дочь. Будь жива покойница Оленушка, и ей бы так не любить свою дочку, рожоную да кормлёную... Растила я тебя, ненаглядная, учила всему доброму, на твою пользу душевную, положила в тебя сердце свое, свет очей моих!.. И всегда-то одну заветную думушку я думывала, как вырастешь, заневестишься и как выйдешь за человека доброго, хорошего, из честно́го роду-племени... Думала я, горемычная, что на старости лет повожусь с твоими деточками, поучу их уму-разуму, наставлю в божьих заповедях... По грехам моим не так сталося-случилося, не по моим гаданьям дело содеялось!.. Ум-

чали белую лебедушку во чужие люди незнаемые, что незнаемые, завистливые, что завистливые, гордые, высокоумные!.. Счастливая ты была девушка, счастливая и таланная; ни тяжелой работой не была окружена, ни бранным словечком огрублена!.. Думала ль, гадала ль я, что придет такое горе великое?.. Думала ль я, что придется жить без тебя в тоске да в беде, в печалях да в горестях?.. Бьется сердце по тебе, убивается, и некому успокоить меня, утешити!.. Ни заем, ни запью горя великого! Ты, душа ль моя Дунюшка,— была ты, белая голубушка, белей снегу белого, была ты, румяная красавица, румяней солнца красного, была ты, свет зорюшка ясная, милей месяца серебряного!.. Поднялись метели со снегами, расходились сизы тучи вьюгой грозною — унесли от нас ненаглядный цвет... Ах ты, крошечка-малиновка, золотая моя рыбонька!.. Воротись скорей под батюшкин кров, убеги от людей недобрых, приезжай в свою светлую горенку, во родительский дом белокаменный...»

И ни на один миг не вспомянулась горько плакавшей Дарье Сергевне холодность к ней Дуни.

Первый спас на дворе — к Макарью пора. Собрался Марко Данилыч без дочери и поселился на Гребновской пристани в своем караване. Нехорошо попахивало, да Марку Данилычу это нипочем — с малых лет привык с рыбой возиться. Дня через два либо через три после его приезда пришел на Гребновскую огромный рыбный караван. Был он «Зиновья Доронина с зятьями».

— Грому на вас нет! — стоя на своей палубе, вскричал Марко Данилыч, когда тот караван длинным строем ставился вдоль по Оке.— Завладали молокососы рыбной частью! —ворчал он в досаде.—Что ни помню себя, никогда больше такого каравана на Гребновской не бывало... Не дай вам бог торгов, не дай барышей!.. Новости затеяли заводить!.. Дуй вас горой!.. Умничать задумали, ровно мы, старые поседелые рыбники, дураками до вас жили набитыми.

А сам дивуется. Стали баржи на месте без руготни, без суетни, даже без лишних криков, никого не задели, никого не зацепили, никому выхода на плес не загородили. Много баржей пришло, а постановкой каравана только двое распоряжались, Меркулов с Веденеевым. На крайних баржах подавали они сигналы свистками. Сме-

ялся на такое новшество́ Марко Данилыч, но в смехе его зависть и злоба слышались. Хохотали по всей Гребновской и хозяева, и приказчики, и рабочие. Не мало и таких было, что досадовали и злились на тихую постановку каравана — никого он не затронул, и не было ни брани, ни драки, ни свалки, а у гребновских молодцов кулаки давно уже почесывались.

Стал караван, и рабочие от первого до последнего на местах остались, никто не сбежал, никто ничего не украл, никто не запьянствовал, все было тихо и мирно. Много дивились тому.

Оба зятя Зиновья Алексеича с женами приехали на ярманку, с тестем и с тещею. Пристали они в той же гостинице Бубнова, где жили и прошлого года. Сам Зиновий Алексеич рыбным делом не занимался, не взглянул даже на караван, носивший имя его, а Меркулов с Веденеевым каждый день с утра до сумерек по очереди там бывали.

Едва успел установиться караван, на нем, как водится, явились покупатели. Не настоящие то были покупатели, а ищейки. Сами ничего они не покупают, но покупщики рыбного товара подсылают их разузнать цены да посмотреть, какова рыба. Рыбники, особенно приказчики, охотно принимают ищеек, хоть и знают, что ни один из них фунта не купит, но всего товара ни за что им не покажут, прямых цен не скажут, а заломят непомерные. Явились ищейки и на баржи «Зиновья Доронина с зятьями». Там им все показали, а Меркулов каждому сорту товара сказал настоящую цену. Подсыльные подивились — низки уж очень были объявленные цены. Зато другая новинка их смутила — в кредит только третья доля товара отпускалась, за остальное наличные деньги клади на стол.

Вечером в Рыбном трактире собрались и рыбники и покупатели. Был тут Орошин, был Марко Данилыч, лысый Сусалин и копне подобный богатырь пискливый Иван Ермолаич Седов. И других рыбников, большого и малого полета, было тут довольно. Сидели они вкруго́вую за столом, уставленным чайниками, и мирно, благодушно опрастывали дюжины чашек с отваром китайской травки. Только и речи было у всех, что про зятьев Доронина. Ругали их ругательски, особливо Орошин, а покупатели подшучивали над рыбниками. Однако ж и

они говорили, что без отдачи рыбы в кредит дело идти не может.

— А все-таки Меркулов-от настоящие цены открыл, и спасибо ему за то,— с усмешкой глядя в упор на Орошина, сказал маленький тщедушный старичок Лебякин, один из самых первых покупателей.— Теперича, примерно сказать, уж нельзя будет хоть вашей милости, Онисим Самойлыч, оченно-то высокò заламывать, потому что прямые цены уж известны.

— Мы знаем свою цену,— надменно взглянув на Лебякина, прошипел Орошин.— Хочешь дешево у них купить, припасай больше наличных. Мы возьмем свое, у нас все по старине будет — кредит, как бывало, а цены, какие меж собой постановим... Так али нет, Марко Данилыч?

— Вестимо,— пробурчал молчаливый на этот раз Смолокуров.

— А ежель и мы со своей стороны в сговор войдем? — вскричал Колодкин Алексей Никифорыч, широкоплечий, объемистый телом купчина, с богатырской головой, обросшей рыжими курчавыми волосами.— Ежели, значит, и мы меж собой цены свои установим и свыше их копейки не накинем? Куда рыбу-то тогда сбудете? Не в Оку ж ее пошвырять.

— Найдем место,— сурово взглянув на Колодкина, сквозь зубы промолвил Орошин.— Не одни вы покупатели.

— Оптовые все здесь наперечет,— сказал Лебякин.— Вы станете сговариваться, а мы — на вас глядя. Тогда, хочешь не хочешь, вся рыба-то у вас на руках и останется.

— Нешто по фунтикам станете продавать, ну тогда, пожалуй, расторгуетесь,—со смехом подхватил слова Лебякина Колодкин.— Тогда можно будет вас с барышами поздравить.

— Разве только и свету в окошке, что вы? — насмешливо пропищал, подбоченясь, Седов.— Не фунтиками, а тысячами пудов станем продавать и все распродадим беспременно.

— Кому распродать-то, Иван Ермолаич? — поворотив к Седову громадную голову, медленно проговорил Колодкин.— Разве по мелочным лавочкам думаете рас-

совать, так у мелочников ни денег, ни места на то не хватит.

— Сыщутся люди и помимо мелочников,— пропищал Седов.— Будьте спокойны, мы тоже знаем, что знаем: не вчера торговать-то зачали.

— Да кто сыщется-то? — приставал Колодкин к Седову.— Нешто зазимуете здесь да морожену рыбу мужикам в развоз продавать [1] будете?

— А хоша бы и в развоз,— пискнул Седов.— А вы все-таки ни с чем останетесь. Нешто клад выроете да наличными уплатите.

— И без клада, поможет бог, обойдемся,— молвил Колодкин.

— Вот это так. Что дело то дело... Это как есть совершенно верно,— захохотал Седов.— Ежели бог наличными поможет вам, ежели, значит, деньги на вас с неба свалятся, тогда можно вам и без клада обойтись.

— Не извольте беспокоиться, Иван Ермолаич,— обернемся, это уж наше дело,— задорно проговорил Колодкин и поднялся с места.— Счастливо оставаться! — примолвил он.

И, поклонясь честной компании, вон пошел.

За ним и Лебякин ушел, а потом и все остальные. Остались одни рыбники. Молча поглядывали они друг на друга.

— Что, братцы, делать-то? — после долгого молчанья, вытирая вспотевшее от чая лицо бумажным платком, заговорил Степан Федорыч Сусалин.

— По-моему, надо об эвтом деле посудить,— молвил Марко Данилыч.

— Беспременно надо,— подхватили и Седов, и Сусалин, и другие рыбники.

— Только, чур, наперед уговор,— начал молчавший Орошин.— Ежель на чем порешим, кажду малость делать сообща, по совету, значит, со всеми. Друг от дружки дел не таить, друг дружке ножки не подставлять. Без того всем можно разориться, а ежели будем вести дела вкупе, тогда и барыши возьмем хорошие и досыта насмеемся над Лебякиным, над Колодкиным и над зятьями Доронина.

---

[1] Зимой торговые крестьяне, покупая в Саратове соленую и вяленую рыбу, развозят ее на продажу по базарам среднего и верхнего Поволжья. Это называется «торговать в развоз».

— Сам-от только не сфинти, Онисим Самоилыч, мы-то заодно будем,— насмешливо промолвил Марко Данилыч.

— Чего мне финтить-то? — гордо взглянув на недруга, вскликнул заносчиво Орошин.

— Не знаю, что напредки будет, а доселева еще ни одной ярманки не бывало, чтоб ты кого-нибудь не подкузьмил,— сказал ему Марко Данилыч и захохотал на всю комнату.— На всех шлюсь, на всех, сколько здесь нас ни есть,— продолжал он.— Нечего узоры-то разводить, любезный друг!.. Достаточно все тебя знаем. Всем известно, что ловок ты на обманы-то.

Заметно было, что Смолокурову пришла смертная охота разозлить Орошина, чтоб ушел он из беседы. Орошин не замечал того.

— Что ж? — хихикнул он, окинув нахальным взглядом собеседников.— На войне обманом города берут, на торгу неумелого что липку обдерут. Для того не плошай да не глазей, рядись да оглядись, дело верши да не спеши... Так-то, почтеннейший Марко Данилыч.

— Да полно вам тут! — во всю мочь запищал Седов.— Чем бы дело судить, они на брань лезут. У бога впереди дней много, успеете набраниться, а теперь надо решать, как помогать делу. У доронинских зятьев видели, каков караван! Страсть!.. Как им цен не сбить? Как раз собьют, тогда мы и сиди у праздника.

Кой-кто пристал к Сусалину, и общими силами убедили Орошина со Смолокуровым на брань не лезть, а держать «рассуждение».

Молчат приятели, другие не заводят речей.

— Что ж не зачинаете? — пропищал Седов.— Молчанкой делу не пособить. Говори хоть ты, Марко Данилыч.

— Пущай Онисим Самойлыч начинает. Его дело большое, наше маленькое,— сказал с усмешкой Смолокуров.

— Маленькое! Хорошо маленькое! — прошипел Орошин.— А кто верховодит на Гребновской?.. Кто третьего года у всех цены сбил?

— А кто нынешней весной в Астрахани всю икру и рыбу хотел скупить?.. А?.. Ну-ка, скажи? Да, видно, бодливой-то корове бог рог не дает. Не то быть бы всем нам у праздника, всем бы карманы-то наизнанку ты по-

выворотил... Не выкинь Меркулов с Веденеевым своей штуки, всем бы нам пришлось по твоей милости зубы на полку класть.

— Да перестаньте вы, Христа ради! — вступился опять Сусалин.— Эдак нам никогда толку не дождаться. Успеете, говорю, набраниться. Теперь дело не в споре, а в сговоре. Говори, что ли, впрямь, Онисим Самойлыч.

И стали все просить Орошина, сказал бы свое слово о том, что надо делать. Один Марко Данилыч сидел молча. Отвернувшись от Орошина, барабанил он по столу пухлыми красными пальцами.

Поломался Онисим Самойлыч, потом зачал говорить:

— Если, примерно будь сказано, теперича нам сложиться наличными, сколько у кого есть, и скупить у доронинских зятьев весь ихний товар, тогда бы, ставь покупатели цены, какие хотят, пуда никому из них негде будет купить. Поневоле к нам придут и заплатят, сколько мы ни запросим. А купивши у Меркулова с Веденеевым весь караван по объявленной ими цене, какие барыши мы получим!..

— Что ж это такое будет? — перебил Орошина Марко Данилыч.— Складчина, компания на акциях, как ноне стали называть?

— А хоша б и так,— тряхнув окладистой бобровой с искрой бородой и нахмуря брови, молвил Онисим Самойлыч, спесиво поглядев на Смолокурова.

— Складчиной торг барышей не дает,— отвернувшись от него, сказал Марко Данилыч.

Почти все согласились со Смолокуровым. То было у всех на уме, что, ежели складочные деньги попадут к Орошину, охулки нà руку он не положит,— возись после с ним, выручай свои кровные денежки. И за то «слава богу» скажешь, ежель свои-то из его лап вытянешь, а насчет барышей лучше и не думай... Марку Данилычу поручить складчину — тоже нельзя, да и никому нельзя. Кто себе враг?.. Никто во грех не поставит зажилить чужую копейку.

Зубами даже скрипнул Онисим Самойлыч, видя, что лакомой складчине в руки его не попасть. Замолчал.

— А ведь Онисим-то Самойлыч сказал правду,— помолчав несколько, молвил Сусалин.— Ежели бы, значит, весь товар был в наших руках, барышей столько бы при-

шлось, что и вздумать нельзя. Ежели друг дружку не подсиживать, рубль на рубль получить можно. Потому все цены будут в наших руках... Что захотим, то и возьмем.

«Рубль на рубль! — подумал каждый из рыбников.— Да ведь это золотое дно, сто лет живи, такого случа̀я в другой раз не выпадет. Только вот беда — складчину кому поручить?.. Кому ни поручи — всяк надует...»

Долго молчали, потом опять запищал дородный Седов.

— Хоша я давеча над покупателями маленько и подтрунил, а ведь надо правду сказать, они наличными-то, пожалуй, раздобудутся. Нонче вон эти банки завелись, что под заклад товаров деньгами за малые проценты ссужают.

— Да ведь товар-от надо купить, без того банк денег не даст,— промолвил рыбник — мелкая сошка, человек небогатый.

— Нешто доронински зятья на каку-нибудь неделю либо дён на десяток не поверят. Векселя возьмут,— сказал Седов.

— Как не поверить?.. Поверят,— заговорили рыбники.

— Тогда, значит, у нас по усам текло, а в рот не попало,— продолжала та же мелкая сошка.— Бьем на барыши, а пожалуй, получим голыши [1]. Беспременно надо у них перебить. А начинать, так начинать тотча̀с — завтра же.

— Что правда, то правда,— вступился Белянкин Евстрат Михайлыч. Родом и жительством был костромич, рыбник не крупный, такая же мелкая сошка.— Дело тут самое спешное,— сказал он,— товарищества на вере составить некогда, складочны деньги в одни руки отдать нельзя, потому что в смерти и в животе каждого бог волён. Примером сказать, поручили бы вы мне свои капиталы. Не к тому говорю, чтобы в самом деле такое доверие вы мне сделали,— человек я махонький, и мне этого ни в коем разе нельзя ожидать. Единственно для́ ради примера говорю. Ну-с, вот вы мне свои капиталы и препоручили, чтоб я завтрашний день раным-ранехонько сделал покупку. Хорошо. А я, прошедши от-

---

[1] *Голыш* — твердый камешек, окатанный и оглаженный водою.

сюда, из Рыбного трактира, возьми да и помри. Потому в смерти и животе бог волён. Ну, вот я и помер, а деньги-то ваши у меня налицо, а у вас документов никаких на меня нет. Нешто, вы думаете, наследники-то мои отдадут вам деньги?.. Как же! держи карман... Ни в каком разе! Припрячут, и вся недолга. И всяк то же сделает, до кого ни доведись... Сами не хуже меня знаете. После там судись да возись, а денежки — пиши пропало... Потому, какие у вас доказательства?.. Какие документы можете вы в суде предъявить?

— Векселя можно взять,— заметил Сусалин.

— Ладно-с, оченно даже хорошо-с. Можно и векселя взять,— сказал Белянкин.— Да дело то, Степан Федорыч, завтра ранним утром надо покончить. Когда ж векселя-то писать? Ночью ни один маклер не засвидетельствует... А после давешнего разговора с Лебякиным да с Колодкиным они завтра же пойдут умасливать доронинских зятьев, чтоб поверили им на неделю там, что ли... Верно знаю о том, сам своими ушами вечор слышал, как они сговаривались.

Все замолчали, а Марко Данилыч ровно ото сна проснулся и, лениво позевывая, промолвил:

— Надо ковать железо, поколь горячо.

Орошин словечка не выронил, другие рыбники, и тузы, и мелкая сошка тоже помалчивают себе.

А Белянкин свое:

— К примеру, я вам про себя говорил. А ежели б у меня всего капитала не тридцать тысяч, а три миллиона было, а векселей-то с меня не взяли, тогда бы наследникам моим и прятать ваших денег не было надобности. «Тятенькины», да и дело с концом. Вот оно что!

Все молчали. Злобно смотрел Орошин на Белянкина.

— Что ж делать-то? — спросил, наконец, оглядывая собеседников, Сусалин.

Никто ни полслова. Немного подумавши, молвил Сусалин:

— А по-моему, вот бы как. Складчи́ны не надо, ну ее совсем!.. Пущай всяк при своем остается. Смекнемте-ка, много ль денег потребуется на закуп всего каравана и сколь у кого наличных. Можем ли собрать столько, чтобы все закупить? Кто знает, чего стоит весь товар по заявленным ценам?

— Тысяч триста, пожалуй и больше,— молвил Белянкин.

— Хорошо,— сказал Сусалин и постучал ложечкой о чайную чашку. Стремглав вбежал половой, широко размахивая салфеткой.

— Вот что, любезный,— сказал ему Сусалин,- попроси ты у буфетчика чистый листок бумажки да перышко с черниленкой. На минутку, мол.

— Сейчас-с,— отрывисто промолвил проворный половой и полетел вон из комнаты.

Подали бумагу, перо, чернила. Сусалин сказал:

— Пущай каждый подпишет, сколько кто может внести доронинским зятьям наличными деньгами. Когда подпишетесь, тогда и смекнем, как надо делом орудовать. А по-моему бы так: пущай завтра пораньше едет кто-нибудь к Меркулову да к Веденееву и каждый свою часть покупает. Складчины тогда не будет, всяк останется при своем, а товар весь целиком из наших рук все-таки не уйдет, и тогда какие цены захотим, такие и поставим... Ладно ль придумано?..

— Ладно, ладно,— заголосили все опричь Орошина, Марка Данилыча и Белянкина. У них у троих было что-то свое на уме.

— С молодших начинай,— пропищал Седов.— Большаки добавят, чего у мелкоты не хватит.

Белянкин протянул руку за бумагой, промолвив:

— Слабей меня здесь нет никого.

И подписал. Лист пошел вкруговую. Когда все, кроме первейших тузов, подписали его, лист подали Орошину.

Надменно передвинул он его к Смолокурову.

— Марко Данилыч завсегда говорит, будто я много его богаче,— с усмешкой сказал Онисим Самойлыч.— Хоша это и несправедливо, да уж пущай сегодня будет по его. Уступаю... Пущай наперед меня пишет.

Усмехнулся Марко Данилыч, переглянувшись с Белянкиным. Не говоря ни слова, взял он перо, сосчитал, на сколько подписано, и затем, подписавшись на триста тысяч, подвинул лист к Орошину.

Вздел очки Онисим Самойлыч и весь посоловел, взглянув на бумагу.

— Мне-то что ж осталось? — злобно вскликнул он, глядя зверем на Марка Данилыча.

Никто ни слова, а Онисим Самойлыч больше да больше злобится, крепче и крепче колотит кулаком по столу. Две чайные чашки на пол слетело.

— Подписывайтесь,— с легкой усмешкой сказал ему Белянкин.— После сделаем разверстку.

— Убирайся ты к черту с разверсткой!..— зарычал Орошин, бросая на стол подписной лист.— Ни с кем не хочу иметь дела. Завтра чем свет один управлюсь... Меня на это хватит. Дурак я был, что в Астрахани всего у них не скупил, да тогда они, подлецы, еще цен не объявляли... А теперь доронинской рыбы вам и понюхать не дам.

И, плюнув, скорыми шагами пошел вон из комнаты. Рыбники, кроме Марка Данилыча да Белянкина, головы повесили... «Рубль на рубль в две-три недели — и вдруг ни гроша!» — думали они. Злобились на Орошина, злобились и на Марка Данилыча.

Взял Смолокуров подписной лист и громко сказал честной компании:

— Себе я возьму этот лист. Каждый из вас от меня получит за наличные деньги товару, на сколько кто подписался. Только, чур, уговор — чтоб завтра же деньги были у меня в кармане. Пущай Орошин хоть сейчас едет к Меркулову с Веденеевым — ни с чем поворотит оглобли... Я уж купил караван... Извольте рассматривать.

— Только, господа, деньги беспременно завтра сполна,— сказал Марко Данилыч, когда рыбники рассмотрели документ.— Кто опоздает, пеняй на себя — фунта тот не получит. Согласны?

— Согласны, согласны! — закричали рыбники, и каждый от усердия старался всех перекричать.

Поднялись благодарности Марку Данилычу. Заказали ужин, какой только можно было состряпать в Рыбном трактире. Холодненького выпили. Пили за здоровье Марка Данилыча, за здоровье Авдотьи Марковны, на руках качали благодетеля, «многолетие» пели ему. Долго на весь Рыбный трактир раздавались радостно пьяные голоса:

Еще дай боже, еще дай боже,
Еще дай боже, еще дай боже,
Здравствовати!

Господину, господарю,
Господину, господарю
Нашему!..
Свет ли Марку, свет ли Марку,
Свет ли Марку, свет ли Марку
Даниловичу!
Еще дай боже, еще дай боже,
Еще дай боже, еще дай боже,
Многая, многая,
Многая лета!
Многая лета!

Благодушно улыбался Марко Данилыч, глядя на воздаваемый ему почет. А больше всего тем был он счастлив, тем доволен, что подставил подножку Онисиму Самойлычу. «Лопнет с досады пес смердящий! — в радостном восторге думал Марко Данилыч.— Передернет его, как услышит он, что я весь караван скупил».

А обработал Марко Данилыч это дельцо тайком и совсем невзначай. Не он товара искал, сам товар привалил к нему.

Узнав, что Марко Данилыч живет на караване, Меркулов улучил минутку, чтоб, по прежнему знакомству, повидаться с ним, узнать про Авдотью Марковну и справить ей поклоны от жены, от тещи и свояченицы.

Не очень приветливо встретил его Смолокуров, но, как обычаев рушить нельзя, тотчас велел Василью Фадееву чайку собрать, мадерцы подать, водочки и разных соленых и сладких закусок.

— Ну что? Каково поживает тестюшка? — спросил гостя Марко Данилыч.

— Помаленьку, — отвечал Меркулов. — Здесь теперь, у Макарья. С нами вместе приехал.

— Вот как! А я и не знал... Где он на квартире-то пристал?

— Да там же все, в той же гостинице, что и в прошлом году.

— Надо будет навестить старого приятеля, беспременно надо. Да вот все дела да дела,— говорил Марко Данилыч.— А Татьяна Андреевна тоже приехала?

— Здесь,— отвечал Меркулов.

— А вы с супругой?

— Как же, и Дмитрий Петрович с Натальей Зиновьевной. Всей семьей приехали.

— Вот как! Весело, значит, всем-то, нескучно в чужом городу́.

— Конечно,— заметил Меркулов.— А вы Авдотьи-то Марковны, видно, не привезли?

— Нет, не привез,— сухо ответил Марко Данилыч.

— Что ж так?

— Да не случилось.

— Как она, в своем здоровье?

— Ничего, слава богу, здорова.

— Жена много ей кланяется, и Татьяна Андреевна, и Наталья Зиновьевна. Надеялись с ней повидаться,— молвил Меркулов.— Что ж это она?.. Так и не приедет вовсе на ярманку?

— Так и не приедет,— сказал Марко Данилыч.— В гостях теперь гостит.

— У сродников?

— У господ Луповицких в Рязанской губернии,— с важностью приподняв голову, с расстановкой проговорил Марко Данилыч.— Люди с большим достатком, знатные, генеральские дети — наши хорошие знакомые... Ихняя сестрица Алымова соседка будет нам. С нашим городом по соседству купила именье, Дунюшку очень она полюбила и выпросила ее у меня погостить, поколь я буду на ярманке.

— Алымова? Марья Ивановна? — спросил удивленный Меркулов.

— Так точно,— подтвердил Марко Данилыч.

— Не та ли, что прошлого года в той же гостинице жила, где и вы, и батюшка тесть останавливались?..

— Она самая,— отвечал Марко Данилыч.— А что?

— Нет... так, ничего,— с недоуменьем молвил Меркулов.

— Знакомы, что ли, с ней? — спросил Марко Данилыч.

— Нет, в прошлом году на одном пароходе с ней ехал,— ответил Никита Федорыч.

— Хорошая барышня,— заметил Марко Данилыч,— разумная такая и ласковая. А ежель взять ее насчет доброты, так лучше и не надо. И хоша знатная, а ни спеси, ни гордости в ней ни капельки.

Перестал расспрашивать Меркулов, а сам про себя думает: «С какой стати связалась Авдотья Мар-

ковна с фармазонкой? Вот наши-то удивятся, как узнают».

— Ну что, как пошли дела? — немножко погодя спросил Марко Данилыч.— Караванище-то какой вы пригнали на Гребновскую!.. Сколько ни торгую, такого у Макарья не видывал. Теперь вы у нас из рыбников самые первые...

— Да ведь тут не я один,— сказал Меркулов.— Дело общее: тут и мой капитал, и женин, и Дмитрия Петровича, и его жены, и батюшки Зиновья Алексеича доля есть.

— Значит, и он в рыбники записался,— с добродушной усмешкой молвил Марко Данилыч.— А бывало, как вздумаешь уговаривать его рыбой заняться, так «ни за̀ что на свете» — говорит.

— Он и теперь в эти дела не входит,— сказал Меркулов.— Капиталом только участвует.

— Так, — протянул Марко Данилыч. — Продали сколько ни на есть рыбки-то?

— Где ж еще? — отозвался Меркулов.— Рано. Кажется, ни с одного каравана не было еще продаж.

— Опричь мелоче́й, точно что не бывало,— подтвердил Смолокуров.— Как же вы насчет цен располагаете? Заодно со всеми будете устанавливать аль особняком поведете дело?

— У нас все наперед рассчитано,— сказал Меркулов.— Сегодня отдадим печатать объявление о ценах и об наших условиях, наклеим на столбах, разошлем по рыбным покупателям, в газете напечатаем.

Повернулся на стуле Марко Данилич. «Всю торговлю вверх дном перевернут, проклятые. Эки штуки откалывают!» — подумал он.

— Не сходней ли будет вам, Никита Федорыч, келейно с кем-нибудь сделаться? — умильным голоском заговорил Марко Данилыч.— А то эти объявления да газеты!.. Перво дело — расходы, а другое, что вас же могут на̀ смех поднять.

— Расходы пустячные,— сказал Никита Федорыч,— а станут смеяться, так мы за обиду того не поставим. Смейся на здоровье, коль другого смеха нет.

— Так вы не будете цен таить? — спросил Марко Данилыч, зорко глядя в глаза Меркулову.

— И не подумаем,— тот отвечал.

— И условий таить не станете?

— Да как же таить-то их, Марко Данилыч, ежели на фонарных столбах объявления об них приколотим?..— смеясь, отвечал Никита Федорыч.— Вот наши условия, читайте... В кредит на двенадцать месяцев третья доля, а две трети получаем наличными здесь, на ярманке, при самой продаже.

— Тяжеленьки условия, Никита Федорыч, очень даже тяжеленьки,— покачивая головой, говорил Марко Данилыч.— Этак, чего доброго, пожалуй, и покупателей вам не найти... Верьте моему слову — люди мы бывалые, рыбное дело давно нам за обычай. Еще вы с Дмитрием-то Петровичем на свет не родились, а я уж давно всю Гребновскую вдоль и поперек знал... Исстари на ней по всем статьям повелось, что без кредита сделать дела нельзя. Смотрите, не пришлось бы вам товар-от у себя на руках оставить.

— Ну и оставим,— равнодушно сказал Никита Федорыч.— Анбары наймем, зима придет — рыбу гужом повезем на продажу.

— Останетесь в накладе, Никита Федорыч,— с притворным участьем, покачивая головой, сказал Марко Данилыч.— За анбары тоже ведь платить надо, гужевая перевозка дорога теперь, поневоле цены-то надо будет повысить. А кто станет покупать дороже базарной цены? Да еще за наличные... Не расчет, право, не расчет. Дело видимое: хоть по всей России развезите — фунта никто не купит у вас.

— Купят, да как еще раскупят-то!.. С руками оторвут,— спокойно улыбаясь, сказал Меркулов.

— Как же это так? — с недоуменьем спросил Марко Данилыч.— Разве тайна какая?

— Нашу тайну через три либо четыре дня на фонарных столбах можно будет всякому читать... А вам, пожалуй, сию ж минуту открою ее. Вот она,— сказал Меркулов, подавая Марку Данилычу приготовленное к печати объявление о ценах.— Извольте читать.

Глазам не верит Марко Данилыч — по каждой статье цены поставлены чуть ли не в половину дешевле тех, что в тот день гребновские тузы хотели установить за чаем в рыбном трактире.

— Никак вы с ума сошли, Никита Федорыч! — вскочив со стула, вскричал Марко Данилыч.— По миру

нас хотите пустить?.. Ограбить?.. И себя разорите и нас всех!.. Хорошее ли дело с ближними так поступать?

— С какими ж это ближними, Марко Данилыч? — спокойно спросил Меркулов.

— С нами, значит, со всеми с нами, с гребновскими рыбниками!..— кричал Смолокуров.

— Не одни рыбники, Марко Данилыч, наши ближние,— отвечал Никита Федорыч, оглядывая смолокуровскую каюту.

— Да вам-то какая тут польза?—горячился Марко Данилыч.— Ведь вы и десяти копеек на рубль не получите.

— Не получим, Марко Данилыч,— отвечал Меркулов.— Мы только на пять рассчитали. По этому расчету и цены назначили. Пять процентов, право, довольно. Мы ведь за скорой наживой не гонимся. За границей купцы-то много побогаче нас, а довольствуются и меньше чем пятью процентами.

— Да ну ее ко псам, вашу заграницу-то! — вскричал во всю мочь Марко Данилыч.— Надо вести дела по-русски, а не по-басурмански!.. А то всех разорять... грабить!..

И вдруг стих Марко Данилыч... Вдруг прояснилось мрачное лицо его. Блеснула мысль: «А не скупить ли весь караван целиком? Тогда по ихней дурости какие можно взять барыши!»

— На сколько у вас в караване-то, Никита Федорыч?..— кротко и ласково спросил он Меркулова.

— Тысяч на триста по нашей расценке,— ответил тот.

— Покупатели предвидятся?

— Пока еще нет,— сказал Меркулов.— Приходили вчера, им и цены и условия сказали и товар показали весь без остатка. Да ведь это не настоящие покупатели,— ищейки.

— А если б кто из рыбников предложил вам купить весь караван дочиста. Продали бы? — подумавши несколько, спросил Марко Данилыч.

— Отчего ж не продать? — ответил Меркулов.

— И уступочка будет?

— Ни копейки.

— Хоть бы процентик один,— прикинувшись казанским сиротой, молвил Марко Данилыч.— Важная вещь копейка в рубле! Пустое дело, плюнуть не на что.

— Сейчас вы сами говорили, Марко Данилыч, что наши пять процентов чуть не смертный грех, а теперь хотите, чтобы мы взяли четыре,— с ясной усмешкой ответил Никита Федорыч.

— Да вы все шутите!.. Балагур эдакий!.. Ей-богу, балагур...— с веселым смехом заговорил Марко Данилыч.— Скиньте процентик-от... Право, надобно скинуть.

Меркулов и слышать не хотел об уступке. Тогда Марко Данилыч на иные штуки поднялся, говорит ему:

— Так хоша условийца-то посмягчите. Третью бы долю наличными после спуска флагов вам получить, а две трети на предбудущей ярманке.

— Ни от единой буквы условий не отступим. Ни от единой буквы,— сказал Меркулов.

— Так вот что, Никита Федорыч,— молвил Марко Данилыч, подойдя к Меркулову и дружески положивши ему на плечо увесистую руку.— С батюшкой с тестем вашим, как сами знаете, старинные приятели мы.

— Нельзя, нельзя, ни по какой причине нельзя менять условий, Марко Данилыч,— решительным голосом сказал Меркулов.

— Послушайте меня, старика, почтеннейший Никита Федорыч,— продолжал Марко Данилыч, положив и другую руку на плечо Меркулова.— Хоша для́ того облегчите условия насчет наличных, что я завсегда любил и уважал вашу супругу Лизавету Зиновьевну. Ей-ей, любил не меньше, чем свою Дунюшку. И теперь люблю, ей-богу. Мне не верите, богу поверьте... Сделайте такое ваше одолжение — сейчас же бы заключили мы с вами условие: третью долю наличными тут же вы бы с меня получили, другую, по вашему условию, оставили бы до предбудущей ярманки, а третью потерпите месяцев шесть — на ростовской бы с вами полный расчет учинил...

— Нельзя, Марко Данилыч, никак нельзя,— сказал Меркулов.— Мы положили ни одной йоты не опускать из условий.

— Я бы особую запись дал... Неустойку назначьте... Какую хотите, такую и назначьте.

— Нельзя, Марко Данилыч.

— Хоть на месяц...

— Нельзя.

— На три недели?

— Нельзя.

— На две?

— Нельзя.

— Ден на десять?

— Нельзя, нельзя и нельзя, Марко Данилыч. Лучше и не говорите... Лучше совсем оставим это,— сказал, вставая, Меркулов.— Прощайте... Засиделся я у вас,— давно уж пора кой-куда съездить.

— Послушайте,— крепко ухватившись за̀ руку Никиты Федорыча, задыхающимся почти голосом вскричал Смолокуров.— Хоть на три дня!.. Всего только на три денька!.. В три-то дня ведь пятой доли товара не свезти с вашего каравана... Значит, не выйду из ваших рук... На три дня, Никита Федорыч, только на три денечка!.. Будьте милостивы, при случае сам заслужу.

Подумал Меркулов и согласился, но с тем, что ежели Смолокуров через три дня не уплатит до последней копейки всего, что следует, то условие уничтожается, и Марко Данилыч заплатит неустойку в двадцать тысяч.

Решились и поехали к маклеру писать условие.

Возвращаясь от маклера на баржу, Марко Данилыч увидал на Гребновской Белянкина. Садился тот в лодку на свою тихвинку ехать.

— Евстрат Михайлыч! Куда, друг, спешишь? — крикнул ему Смолокуров.

— До своей тихвинки,— снимая картуз и почтительно кланяясь рыбному тузу, ответил Белянкин.

— Что за спех приспел?— весело спросил у мелкой рыбной сошки тузистый рыбник Марко Данилыч.

— Самый важный спех,— шутливо отвечал Белянкин.— На всем свете больше того спеху нет — есть, сударь, хочу, обедать пора.

— Охота есть одному!.. Скучно. Айда̀ ко мне на баржу — пообедаем вместе, чем бог послал. У меня щи знатные из свежей капусты, щец похлебаем, стерлядку в разваре съедим, барашка пожуем, винца малу толику выпьем.

— Да мне, право, как-то совестно, Марко Данилыч,— говорил Белянкин, смущенный необычной приветливостью спесивого и надменного Марка Данилыча. Прежде Смолокуров и шапки перед ним не ломал, а теперь ни с того ни с сего обедать зовет.

Схватив Белянкина за́ руку, Марко Данилыч без дальнейших разговоров увез его в своей косной на баржу.

За обедом рассказал Смолокуров про сделку с зятьями Доронина... Белянкин даже рот разинул от удивленья.

— Говори ты мне, Евстрат Михайлыч прямо, начистоту, безо всякой, значит, утайки,— наливая ему рюмку диковинной вишневки, сказал Смолокуров.— Сколько у тебя наличных?

— Какие у меня деньги, Марко Данилыч!— смиренно отвечал Белянкин.— Ведь я человек маленький. Есть, конечно, невелика сумма — кой-чего для дома в ярманке надо искупить... А товар еще бог знает когда продам.

— Да сколько, спрашиваю я, наличных-то теперь при тебе? — сказал Марко Данилыч.

— Тысчонки две наберется,— смиренно промолвил Белянкин.

— Хочешь третью нажить, а может, и четвертую? — пристально глядя на Белянкина, спросил Смолокуров.

— Как не хотеть, Марко Данилыч,— с веселой улыбкой ответил Евстрат Михайлыч.

— Так вот что: парень ты речистый, разговоры водить мастер. Такого мне теперь и надо,— сказал Марко Данилыч.— Сегодня вечерком приходи в Рыбный трактир, там будут все наши. А дело будет тебе вот какое...

И подробно рассказал, что надо Белянкину делать и что говорить.

Затея Марка Данилыча удалась вполне.

На другой день после сиденья рыбников в Рыбном трактире, чуть не на рассвете, Орошин подъехал в лодке к каравану зятьев Доронина. Ему сказали, что они еще не бывали. Спросил, где живут, и погнал извозчика на Нижний Базар. Ровно молоденький, взбежал он на лестницу Бубновской гостиницы, спрашивает Меркулова, а ежели его дома нет, так Веденеева.

— Еще почивают,— ему отвечали.

Досадно, а нечего делать. Пришлось обождать. Ему, никого выше себя не признававшему, пришлось теперь дожидаться слетышков, молокососов!.. Зато никто из рыбников раньше его с зятьями Доронина не увидится, никто лакомого кусочка не перебьет. А все-таки жутко

В. И. СУРИКОВ. Боярыня Морозова (фрагмент). *1887.*

М. В. НЕСТЕРОВ. За Волгой. *1905.*

надменному гордецу дожидаться... Да еще, пожалуй, кланяться придется им, упрашивать. Что делать? Выпадет случай — и свинье в ножки поклонишься.

Ходит по гостинице Онисим Самойлыч, а сам так и лютует. Чаю спросил, чтоб без дела взад и вперед не бродить. Полусонный половой подал чайный прибор и, принимая Орошина за какую-нибудь дрянь, уселся по другую сторону столика, где Онисим Самойлыч принялся было чаи распивать. Положив руки на стол, склонил половой на них сонную голову и тотчас захрапел. Взорвало Орошина, толкнул он полового, крикнул на всю гостиницу:

— Нет, что ли, тебе другого-то места?

— А ты, брат, не больно толкайся,— нахально отвечал половой.

Вскочил Орошин, схватил его за шиворот и прочь отпихнул.

— Мотри ты, проходимец! — закричал ярославец.— Тронь-ка еще, попробуй. Половины зубов не досчитаешься.

Онисим Самойлыч вышел из себя, поднял палку. Быть бы непременно побоищу, если б вошедший приказчик Доронина не сказал, что господа проснулись.

Бросил Орошин деньги за чай, молча погрозил палкой половому и пошел вслед за приказчиком.

Встретил его Веденеев. Онисим Самойлыч не видал его с того вечера, как у них в Рыбном трактире вышла маленькая схватка из-за письма о тюлене.

— Онисим Самойлыч!..— приветливо встретил его Дмитрий Петрович.— Какими судьбами?.. Да еще в такую рань?.. Садитесь, пожалуйста... Чаю скорее! — прибавил он, обращаясь к приведшему Орошина приказчику.

Угрюмо и мрачно молчал Онисим Самойлыч. Маленькие, хитрые глазки его так и прыгали. Помолчав, напрямки повел он речь к Веденееву.

— Наслышан я, Дмитрий Петрович, что вы на свой товар цены в объявку пустили. Нахожу для себя их подходящими. И о том наслышан, что желаете вы две трети уплаты теперь же наличными получить. Я бы у вас весь караван купил. Да чтоб не тянуть останной уплаты до будущей ярманки, сейчас же бы отдал все деньги сполна... Вот извольте — тут на триста тысяч

билет. Только бы мне желательно, чтобы вы сейчас же поехали со мной в маклерскую, потому что мне неотложная надобность завтра дён на десяток в Москву отлучиться.

— Не можем вам продать, Онисим Самойлыч,— пожав плечами, сказал Веденеев.

— Отчего ж это? — повысив голос, промолвил озадаченный Орошин.

— Все продано,— отвечал Дмитрий Петрович.

— Как?.. Кому?.. Да когда ж это успели? — вскочив со стула, заговорил Онисим Самойлыч, и голос его задрожал от волненья.

— Вчера подписано условие, и деньги получены.

— Да кому? Кому? я спрашиваю. Целый караван!.. Нет такого человека в ярманке, чтобы мог все купить... Кто, говорю, купил, кто?

— Кому ни продано, Онисим Самойлыч, Сидору ли, Карпу ли, не все ли равно? — отвечал, улыбаясь, Дмитрий Петрович.

— Тайности, что ли, какие тут у вас?.. Сказывайте — ведь все одно, не сегодня так завтра узнается,— задыхающимся от злобы голосом вскричал Орошин.

— Никаких тайностей у нас нет, да и быть их не может. Мы со свояком ведем дела в открытую, начистоту. Скрывать нам нечего,— молвил Дмитрий Петрович. — А если уж вам очень хочется узнать, кому достался наш караван, так я, пожалуй, скажу — Марку Данилычу Смолокурову.

— Черт!.. Дьявол!.. Издохнуть бы ему! — неистово вскрикнул Онисим Самойлыч, хватив изо всей мочи кулаком по столу. Схватил картуз и, надев его в комнате, кивнул головой Веденееву и вон побежал.

— Чайку-то, Онисим Самойлыч? — сказал ему вслед Дмитрий Петрович, увидя приказчика, вошедшего с чайным прибором.

— Ну его к черту! — крикнул взбешенный Орошин и скрылся.

Только что проснулся Марко Данилыч, опрометью вскочил с постели и, богу не молясь, чаю не напившись, неумывкой поспешил ко вчерашним собеседникам. К первому Белянкину подъехал в косной. Тот еще не просыпался, но племянник его, увидав такого важного гос-

тя, стремглав бросился в казенку дядю будить. Минуты через две, протирая глаза и пошатываясь спросонья, Евстрат Михайлыч стоял перед козырным тузом Гребновской пристани.

— Здорово, дружище,— протягивая ему руку, молвил Марко Данилыч. — Спасибо за вчерашнее. Ловко сварганил, надо тебе чести приписать. Заслушался даже я, как ты пошел валять. Зато и мной вполне останешься доволен. Пойдем в казенку, потолкуем.

Белянкин повел гостя в грязную, неприглядную казенку. Все там было невзрачно и неряшливо: у одной стены стояла неприбранная постель, на ней, весь в пуху, дубленый тулуп; у другой стены хромой на трех ножках стол и на нем давно не чищенный и совсем почти позеленевший самовар, немытые чашки, растрепанные счетные книги, засиженные мухами счеты, засохшие корки калача и решетного хлеба, порожние полуштофы и косушки; тут же и приготовленное в портомойню грязное белье. Обмахнув полой совсем почти развалившийся деревянный некрашеный стул, Белянкин просил присесть Марка Данилыча.

Присел тот. Предложил было ему Белянкин чайку напиться, но Марко Данилыч наотрез отказался, хоть и говаривал: «От чаю, от сахару отказов у меня нет».

— На две тысячи подписал? — спросил он.

— Точно так, Марко Данилыч,— отвечал Белянкин.

— Давай.

Замялась мелкая сошка. Сам ни слова, только вздыхает да суется из угла в угол.

— Чего стал? Не ждать мне тебя! — нахмурив брови и повышая голос, сказал Марко Данилыч.

— Да я, ей-богу... Марко Данилыч... не знаю... Сами изволите знать... в смерти и в животе бог волён,— робко заговорил Белянкин, увидав, что Смолокуров даже побагровел от досады.

— Что еще тут? — крикнул тот.— Деньги!.. Не задерживай!.. Много вас, надо ко всем поспеть.

— Да помилуйте, Марко Данилыч, тут ведь весь мой наличный капитал...— дрожа от робости, чуть слышно проговорил Белянкин.

— Украду, что ль, я твои две тысчонки? — вскинулся на него Марко Данилыч.— Зажилю?.. Сегодня вечером получай товаром, а теперь — не смей задерживать!

— В смерти и животе бог волён...— шептал Белянкин.

— Да говори толком, чего тебе надо?..— зарычал Марко Данилыч. Белянкин в угол со страха прижался.

— Векселек... потому в смерти и животе...— забормотал он, а сам ровно в лихорадке трясется.

— Дураком родился, дураком и помрешь,— грозно вскрикнул Марко Данилыч и плюнул чуть не в самого Белянкина.— Что ж, с каждым из вас к маклеру мне ездить?.. Вашего брата цела орава — одним днем со всеми не управишься... Ведь вот какие в вас душонки-то сидят... Им делаешь добро, рубль на рубль представляешь, а они: «Векселек!..» Честно, по-твоему, благородно?.. Давай бумаги да чернил, расписку напишу, а ты по ней хоть сейчас товаром получай. Яви приказчику на караване и бери с богом свою долю.

Покорно исполнил Белянкин приказанье Марко Данилыча. Смолокуров стал писать, выговаривая вслух каждое слово:

— Предъявителю сего... Перо-то анафемское какое! вовсе не пишет... приказа... По Костроме, что ли, в гильдии-то?

— По Парфентьеву посаду, подати там маленько полегче,— перебирая пальцами, отвечал Белянкин.

— Парфентьева посада... купцу... По которой гильдии пишешься?

— По третьей, Марко Данилыч, мы ведь люди маленькие, чуть концы с концами сводим,— плаксиво проговорил Белянкин.

— Третьей гильдии... Евстрату Михайлову, сыну... Белянкину... отпустить под собственноручную... его расписку без промедления!.. Видишь, какие тебе милости: «без промедления»... из купленного мною от господ Меркулова и Веденеева... рыбного... каравана, следующее... Сказывай, что требуется.

Белянкин стал говорить, а Марко Данилыч писал. Наконец, приказ был подписан, и Евстрат Михайлыч обменялся двумя тысячами на тот приказ со Смолокуровым.

— Прощай, Евстрат Михайлыч,— сказал Марко Данилыч, выходя спешными шагами из казенки.— Разживайся с моей легкой руки! А это, брат, не похвально, что мне не доверяешь.

Целый почти день разъезжал Марко Данилыч взад и вперед по Гребновской, а все-таки подписных денег не собрал. И Седов и Сусалин только половину отдали, а их подписки были самые крупные. Посчитал собранные деньги Марко Данилыч, тридцати тысяч нет. Что делать, как извернуться? В банке заложить товар, да когда-то еще из банка-то приедут его смотреть, а деньги нужны через двое суток. Поехал по должникам — шестьдесят тысяч должны были они ему выплатить, но до срока платежа еще месяц оставался. Христом богом просит, молит их, кланяется, унижается, чуть не плачет и всеми святыми заклинает поплатиться раньше срока. Пошел даже на скидки было — пять, потом десять копеек с рубля скидывал, только ради господа уплатите хоть часть... И рады бы должники на такую сделку идти, да ни у кого нет в сборе наличных. Пустились должники рыскать по ярманке денег искать, нашли самую малость. Ярманка была безденежная, только что начиналась, платежей никто еще не получал, свободных денег ни у кого не было. Измучился Марко Данилыч, измучились и должники его, а все-таки недоставало на расплату с зятьями Доронина.

На другой день рано поутру подплыл Марко Данилыч к доронинскому каравану и крикнул громким голосом:

— Есть ли из хозяев кто?

— Есть,— отвечал с палубы рабочий.

— Который?

— Дмитрий Петрович.

«Этот помягче будет, скорей Меркулова даст отсрочку,— подумал Марко Данилыч.— Он же, поди, не забыл, как мы в прошлом году кантовали с ним на ярманке, и ужинали, бывало, вместе, и по реке катались, разок согрешили — в театр съездили... Обласкан был он у меня... Даст, чай, вздохнуть, согласится на маленькую отсрочку!.. Ох, вынеси, господи!» — сказал он сам про себя, взлезая на палубу.

А на барже снял шапку и три раза набожно перекрестился.

В просторной каюте, по убранству во всем походившей на торговую контору, Веденеев встретил радушно Марко Данилыча.

— Сколько лет, сколько зим! Как поживаете? Авдотья Марковна как в своем здоровье?

И засыпал Марка Данилыча вопросами, усадил его в мягкое кресло, чаю подать приказал, любезен был с гостем, как нельзя больше.

Отлегло от души у Марка Данилыча. «С этим, бог даст, сладим»,— подумал он.

— Так вы нашим покупателем стали, Марко Данилыч,— подавая стакан лянсина, с веселой улыбкой сказал Веденеев.— Да еще покупатель-от какой?.. Главный... единственный даже!..

— Привел господь и с вами, Дмитрий Петрович, делишки завести,— потирая руки, отвечал Марко Данилыч.— Напредки́ просим не оставить. А я ото всей души и во всякое время желаю вашим покупателем быть... Условийца только стеснительны. Так я думаю, что, сколько ни стои́т Макарьевская ярманка, таких условий на ней никогда не бывало...

— Чем же тяжелы-то? — спросил Веденеев.

— Как же? Помилуйте! Слыхано ль по всей нашей коммерции, чтобы две трети платежа наличными сейчас на стол выкладывать? — сказал Смолокуров.

— А слыхано ли, Марко Данилыч, чтобы рыбу где-нибудь так дешево покупали? — молвил Веденеев.

— Это расчет особливый, Дмитрий Петрович. В цене хозяин волен, а в торговых порядках ему воли нет,— заметил Марко Данилыч.

— Дело добровольное: хотите берите, не хотите — просить не станем,— с улыбкой молвил Веденеев.

— Конечно, в этом спору быть не может,— сильно нахмурясь, отозвался Марко Данилыч.— Только послушайте вы меня, Дмитрий Петрович. Жизнь моя, вы сами знаете, не коротенькая. Чего, живучи на свете, не навидался я, вот уж именно, как пословица молвится: «И в людях живал, и топор на̀ ногу обувал, и топорищем подпоясывался». Так я, по моей старости и опытности, скажу вам, Дмитрий Петрович: старые обычаи переставлять не годится — наши отцы, деды, прадеды не глупее нас с вами были, а заведенных порядков держались крепко. С умом, значит, делали. И по писанию выходит то же. Сказано: «Горе народу, иже отеческая предания преставляет». Где, сударь Дмитрий Петрович, новизна, там

и кривизна. Поверьте мне — недаром дожил я до седых волос.

— Да нельзя же ведь, Марко Данилыч, и старым-то одним жить,— сказал Веденеев.— Времена и лета переходчивы. Что встарь бывало хорошо, то в нови зачастую никуда не годится.

— А все-таки не след ломать старое,— молвил Марко Данилыч.— Крой новый кафтан, да к старому почаще прикидывай, а то, пожалуй, не впору сошьешь.

Ничего на то не ответил Веденеев. Смолокуров меж тем вынул узелок из кармана, развязал его и подал пачки ассигнаций.

— Должок припас,— сказал он.— Извольте сосчитать и announceсочку, как водится.

— Какой вы поспешный! — улыбнувшись, молвил Веденеев.— Срок-от ведь завтра еще...

— Не опоздано, значит,— сказал Марко Данилыч, смакуя лянсин.— Чаек-от новый, видно, купили? — спросил он.

— Где ж еще нового теперь достать? — развязывая пачки, сказал Дмитрий Петрович.— У кяхтинских дела еще не начинались. Это прошлогодний чай, а недурен; нынешний, говорят, будет поплоше, а все-таки дороже.

— Не слыхал,— промолвил Марко Данилыч и снова принялся за стакан. Веденеев продолжал деньги считать.

— Семьдесят пять тысяч? — сказал Дмитрий Петрович, вопросительно посмотрев на Смолокурова.

— Семьдесят пять,— подтвердил тот.

— Двадцать пять завтра додадите?

— Постараюсь,— сказал Марко Данилыч.— Признаться, в наличности таких денег теперь при себе не имею, да не знаю, буду ли и завтра иметь,— дружески улыбаясь, прибавил он.— Теперича не то что двадцати пяти тысяч — ста рублей во всей ярманке не сыщете на самый короткий срок. Такое безденежье, что просто хоть волком вой...

— Да,— сказал Веденеев.— Денег на ярманке в самом деле недостаточно.

— Так я уж вам векселя принес,— кладя на стол три векселя, сказал Смолокуров.— Водопьянова на десять тысяч, Столбова на пять, Сумбатова на пять. Останные пять тысяч до спуска флагов, пожалуйста, обождите.

Взглянул Веденеев на векселя и сказал Смолокурову:

— Мы с Никитой Федорычем решили вести дела безо всякого кредита, на чистые. Сами не будем векселей давать и от других не станем брать. Спора нет, эти векселя надежные — и Столбов и Сумбатов люди крепкие, об Василье Васильиче Водопьянове и говорить нечего, да ведь уплата-то по их векселям после спуска флагов.

— Да как же вы с меня-то на сто тысяч векселей получили?..— прищурив правый глаз, спросил с усмешкой Марко Данилыч.

— Ошиблись. В другой раз не будет этого,— сказал Веденеев.— Если б знали мы, что на другой же день, как с вами мы покончили, явится другой покупатель и все триста тысяч наличными на стол выложит, не так бы распорядились, не согласились бы отдать вам третью долю товара на векселя...

Побагровел Марко Данилыч. Спрашивает Веденеева:

— Кто ж это был у вас?.. Триста тысяч разом на стол!.. Шутка сказать!.. При таком безденежье!.. Кует, что ли, он деньги-то?!

— Орошин, Онисим Самойлыч,— отвечал Веденеев.

— Так и есть,— проворчал под нос Смолокуров и, в досаде вскочив со стула, прошелся раза три взад и вперед по каюте.

Потом остановился и, закинув руки за̀ спину, сказал Веденееву:

— Так как же у нас будет, Дмитрий Петрович?

— Завтра ровно в полдни будем ждать вас с полной уплатой,— с равнодушным спокойствием отвечал Веденеев.

— Надо обождать, Дмитрий Петрович,— перебирая пальцами, сказал Смолокуров.

— Нельзя. На то условие. А в нем что? Извольте-ка посмотреть.

И, вынув условие, прочел:

— «По уплате всей суммы сполна, я, Смолокуров, немедленно вступаю во владение купленным у нас, Меркулова и Веденеева, товаром, если же паче чаяния вся сумма сполна мною, Смолокуровым, к назначенному сроку уплачена не будет, условие сие уничтожается, причем мы, Меркулов и Веденеев, повинны уплатить мне, Смолокурову, деньги с меня ими полученные немедленно за вычетом двадцати тысяч неустойки».

Холодный пот выступил на широком, совсем побагровевшем лице Марка Данилыча. Так и растерзал бы он в ту минуту на клочки Орошина.

— Кстати,— сказал Веденеев.— Приходили к нам на караван кой-кто из рыбников с вашими приказами насчет рыбы. Им не отпустили.

— Отчего ж так?..— весь вспыхнувши, вскликнул Марко Данилыч.— Нешто я ста тысяч рублев вам не выдал?.. На что ж это похоже, сударь мой?..

— А в условии-то, Марко Данилыч, что написано? — хладнокровно отвечал Веденеев раскипятившемуся Смолокурову.— Извольте-ка читать: «По уплате же всей суммы сполна, согласно сему условию, я, Смолокуров, вступаю во владение товаром». Значит, как отдадите вторые сто тысяч сполна, тогда и будете хозяином купленного вами товара, а до тех пор хозяева мы.

— Да вам бы, почтеннейший Дмитрий Петрович, ей-богу, не грешно было по-дружески со мной обойтись,— мягко и вкрадчиво заговорил Смолокуров.— Хоть попомнили бы, как мы с вами в прошлом году дружелюбно жили здесь, у Макарья. Опять же ввек не забуду я вашей милости, как вы меня от больших убытков избавили,— помните, показали в Рыбном трактире письмо из Петербурга. Завсегда помню ваше благодеяние и во всякое время желаю заслужить...

— В деле я не один, Марко Данилыч. Со мной Никита Федорыч,— сказал Веденеев.

Передернуло Смолокурова. Вспомнил, как хотел он в прошлом году Меркулова на тюлене разорить... Однако не смутился.

— Вот вам расписка в семидесяти пяти тысячах рублей, а двадцать пять тысяч ожидаем завтра в полдень,— сказал Дмитрий Петрович, написавши расписку и подавая ее Смолокурову.

— А ежель не исправлюсь? — спросил Марко Данилыч.

— Тогда будет нарушено условие. За вычетом неустойки, тогда вы сто пятьдесят пять тысяч и векселя обратно получите, а мы весь караван продадим Онисиму Самойлычу. Он и вчера вечером и сегодня чем свет присылал разведать, совсем ли мы покончили с вами,— сказал Дмитрий Петрович.

— Так не будет милости? — сумрачно спросил Смолокуров.

— Что за милости?.. Помилуйте, Марко Данилыч! — сказал Веденеев.

— В таком разе просим прощенья,— сказал Смолокуров и поспешно ушел.

Ругает мысленно Марко Данилыч Веденеева за его несговорчивость, злобится на Орошина, что того и гляди выхватит он у него из рук выгодное дело, такое, какого на Гребновской никогда еще не бывало, а пуще всего свирепеет на Седова, на Сусалина и других рыбников, что не дали ему столько денег, на сколько подписались. Не правит и себя Марко Данилыч, досадует и на себя, сам с собой рассуждая. «Как это я обмишурился?.. На такое условие согласился. Заживо гроб себе сколотил... отдал себя своей волей недругам... Конечно — не утанешь [1], где упадешь, где потонешь, на всяк час ума не напасешься, а все-таки обидно... Молокососы, слетышки старого воробья объехали!.. Видно, стар становлюсь... Одурел годами — пустобородые мальчишки травлёного волка загнали в тенёта».

А тут как нарочно Седов. Пищит Иван Ермолаич на всю Гребновскую. обманщиком, мошенником Марка Данилыча обзывает.

— Чужой товар облыжно за свой выдавать!.. Обманом денежки вытягивать из нас!.. Вот твой приказ! — смеются только над ним. Бери его, а деньги назад подавай. не то в полицию.

Сусалин тоже подходит, ругается, в драку лезет даже. И другие рыбники сбираются и все с яростью кидаются на Марка Данилыча. Один Белянкин стоит одаль. Сам ни слова, а слезы дрожат на ресницах: «Пропали кровные, годами нажитые денежки!» Такую горькую думу он думает.

Закричал во всю мочь Марко Данилыч на рыбников:

— Эй вы, остолопы!.. Черти этакие!.. Дичь необразованная!.. Чего попусту горла̀-то дерете? Слушай, что хочу говорить!

Полюбились ли, не полюбились ли рыбникам такие речи Марка Данилыча, их надо спросить, но своего он добился. Без ругани, без крика, без шума выслушали его рыбники. А сказал он им вот что:

[1] Вместо «угадаешь».

— Глядите: вот расписка в моих ста тысячах, что внес третьего дня. Вот расписка в семьдесят пять тысяч рублей, что с вас собрал. Двадцати пяти тысяч не хватает, а завтра в полдень надо их уплатить. Есть у меня довольно векселей — смотрите — люди верные: Водопьянов, Столбов, Сумбатов, а Веденеев за грош их не принимает. А ежели завтра к полудням останных двадцати пяти тысяч ему не уплачу — все пиши пропало. Орошин перебьет — он им сполна триста тысяч на стол кладет... И ежель мы завтра всех денег не внесем — убыток всем... Орошин рыбным делом завладает и каждого из нас под свой ноготь подогнет... То-то будет издеваться над вами!.. То-то заважничает!.. Да и покупатели и сторонние люди вдоволь над вами насмеются!.. Хотите того?.. Аль неохота сраму принимать?

Крики осиплых голосов, вопли, гам, даже дикие завыванья раздались по Гребновской. Ругательства, проклятья, угрозы, стоны и оханья с каждой минутой усиливались...

— Да что ж вы, ровно псы, воете только да лаетесь? Путного слова, видно, от вас не дождаться? — в источный голос закричал Марко Данилыч и покрыл все голоса.— Хотите барышей, так нечего галдеть,— двадцать пять тысяч где хотите добывайте, а если вам барыши нипочем, в таком разе орите, ругайтесь, покамест печенка не лопнула... А если жалко заведенного дела, ежель неохота верных барышей смердящему псу Орошину под хвост метать — так нечего тут галдеть... Хоть из земли копайте, а завтра к полудню двадцать пять тысяч чтоб были у меня в руках... Вот вам векселя на Водопьянова, на Столбова, на Сумбатова... Давайте за них чистоганом, а я на вас векселя переведу... Чого еще вам?.. Тут главное дело, чтоб треклятого Орошина одурачить... Не то он, пес треклятый, и барыши-то один заграбастает и всем делом на Гребновской завладеет, а вдобавок надо всеми над вами насмеется: «Было, дескать, у собачонок мясцо во рту, да проглотить щенкам не довелось». А щенки-то кто? Вы, вы, гребновские рыбники.

Примолкли рыбники — кто чешет в затылке, кто бороду гладит. Будто и не бывало в них ни ярости, ни злобы на Марка Данилыча. Тузы молчали, призадумавшись, но из мелкой сошки иные еще покрикивали.

— Отчего ж нам по твоим распискам не выдают товару?

— Так поди вот с ними толкуй! — кротким обиженным голосом, вздохнув даже от глубины души, отвечал Марко Данилыч.— Тогда, говорит Веденеев, будешь хозяином в караване, когда все до копейки заплатишь.

— С чего ж они, бесовы угодники, взбеленились? Сроду на Гребновской так не водилось,— кричала мелкая сошка, кроме Белянкина. Тот молча столбом стоял.

— Поди вот с ним!..— говорил Марко Данилыч.— Сколько ни упрашивал, сколько ни уговаривал,— все одно что к стене горох. Сам не знаю, как теперь быть. Ежель сегодня двадцати пяти тысяч не добудем — все пойдет прахом, а Орошин цены какие захочет, такие и уставит, потому будет он тогда сила, и мы все с первого до последнего в ножки ему тогда кланяйся, милости у него проси. Захочет миловать — помилует, не захочет — хоть в гроб ложись.

Призадумалась и мелкая сошка. Стали рыбники советоваться.

— Что же нам делать теперь? — пропищал, наконец, Седов Марку Данилычу.

— Двадцать пять тысяч добыть! Вот что надо делать! — сказал Марко Данилыч.— Берите мои векселя на Водопьянова, на Столбова, на Сумбатова. Останные пять тысяч сбирайте, как знаете... Что?.. И на пять-то тысяч силенки не хватит?.. А еще торговцы гребновские!.. Мочалка вы поганая, а не торговцы — вот что!.. На Гребновской у всех миллиона на три рыбных товаров стоит, а плевых пяти тысяч достать не могут!.. Эх, вы!.. Не рыбой бы вам торговать, а лапти плести — да и на тот промысел вряд ли сгодитесь! Была бы поближе Москва, я бы и слова не молвил, там в ломбарде у меня много побольше трехсот тысяч лежит... Да как их к завтраму доспеешь? А Веденеев ни векселями, ни билетами не берет.

Толковали, толковали рыбники. Наконец, Седов, Сусалин и еще двое-трое согласились купить векселя у Марка Данилыча и тут же деньги ему выложили. А пяти тысяч все-таки нет.

В Рыбный трактир пошли. Там за московской селянкой да за подовыми пирогами сладили дело.

Чуть свет на другой день кинулись к ростовщикам. Этого народу у Макарья всегда бывает довольно. Под залог чего ни попало добыли пять тысяч.

К полудню опять собрались на Гребновской. Шумно вели разговоры и, когда Марко Данилыч поплыл к доронинскому каравану, молча, с напряженным вниманием следили за ним, пока не спустился он в каюту.

И Онисим Самойлыч тоже глядел со своей палубы. Невольно сжимались у него кулаки.

Мало погодя показался Марко Данилыч. Весело махнул он картузом рыбникам. У всех нахмуренные лица прояснились.

Волком взглянул на них Орошин, плюнул и тихо спустился в свою каюту.

Весел, радошен Марко Данилыч по своей каюте похаживает. Хоть и пришлось ему без малого половину дешевой покупки уступить товарищам, а все ж таки остался он самым сильным рыбником на всей Гребновской. Установил по своему хотенью цены и на рыбу, и на икру, и на клей, и на тюленя. Властвовал на пристани, и, как ни вертелся Орошин, должен был подчиниться недругу.

«Верных семьдесят тысяч, не то и побольше, будет мне припену от этой покупки,— размышляет Марко Данилыч.— Дураки же, да какие еще дураки пустобородые зятья Доронина!.. Сколько денег зря упустили, все одно что в печке сожгли. Вот они и торговцы на новый лад!.. Вот и новые порядки!.. Бить-то вас некому!.. Да пускай их,— у Дунюшки теперь лишних семьдесят тысяч — это главное дело!»

С Сусалиным встретился. Тот говорит:

— Слышал, Марко Данилыч, новости какие? Меркулов да Веденеев только что получили наши деньги, в другую коммерцию пустились. Красный товар закупают и все без кредита, на чистоган. А товар все такой, что к киргизам да к калмыкам идет — красные плисы, позументы, бахту, бязь и разное другое по этой же самой части.

— Рыбой, видно, не хотят промышлять,— с насмешливой улыбкой молвил Марко Данилыч.

— Кто их знает,— сказал Сусалин.— Только слышал я от верного человека, что красного товара они ты-

сяч на двести накупили и завтра, слышь, хотят на баржу грузить, да и на Низ.

В самом деле, Меркулов с Веденеевым на вырученные деньги тотча́с накупили азиатских товаров, а потом быстро распродали их за наличные калмыкам и по киргизской степи и в какие-нибудь три месяца оборотили свой капитал. Вырученные деньги в степях же остались — там накупили они пушного товара, всякого сырья, а к рождеству распродали скупленное по заводам. Значит, еще оборот.

А рыбники над ними смеются да потешаются. «Всякой всячиной зачали торговать,— говорят они.— Обожди маленько — избойной, пареной репой да грушевым квасом зачнут торговлю вести». Но по скорости зятьев Доронина считали в двух миллионах, опричь того, что получат они после тестя.

* * *

Чего ни хотелось Марку Данилычу — все исполнилось. Рыбой в том году торговали бойко, к Ивану Постному на Гребновской все до последнего фунта было раскуплено, и, кроме того, сделаны были большие заказы на будущий год. Покончив так удачно дела, Смолокуров домой собрался, а оттуда думал в Луповицы за дочерью ехать. Сильно соскучился он по Дуне, совсем истосковался, и во сне и наяву только у него и дум, что про нее. Ходит по лавкам, покупает ей гостинцы — бриллианты, жемчуга́, дорогую шубу чернобурой лисицы и другие подарки... «Все годится на приданое... Ох, поскорей бы оно понадобилось!.. Тогда бы много забот у меня с плеч долой»,— думает он. Марье Ивановне в благодарность за Дуню тоже хорошую шубу купил: «Совсем исправился, завтра домой»,— решил он, наконец, и стал укладываться.

Тут только вспомнил он про брата полонянника да про татарина Субханкулова. В ярманочных хлопотах они совсем у него из ума и памяти вон, а ежели когда и вспоминал о Мокее, так каждый раз откладывал в долгий ящик — «успею да успею». Так дело и затянулось до самого отъезда.

«Надо будет повидать татарина,— подумал Марко Данилыч, укладывая дорогие подарки, купленные для

Дуни.— Дорого запросит, собака!.. Хлябин говорит, меньше тысячи целковых нельзя!.. Шутка сказать!.. На улице не подымешь!.. Лучше бы на эту тысячу еще что-нибудь Дунюшке купить. Ну, да так уж и быть — пойду искать Махметку».

В темном углу каюты стоял у него небольшой деревянный ящик, весь закиданный хламом. Открыв его, Марко Данилыч вынул бутылку вишневки и сунул ее в карман своей сибирки. Отправляясь на ярманку, вспомнил он, как выходец из полону Хлябин сказывал ему, что Махмет Субханкулов русской наливкой поит царя хивинского, потому на всякий случай и велел уложить в дорогу три дюжины бутылок. А вишневку у Смолокурова Дарья Сергевна такую делала, что подобной по другим местам и днем с огнем не сыщешь. В надежде соблазнить ею татарина, Марко Данилыч тихим, ровным шагом пошел с Гребновской в казенный гостиный двор.

Там в Бухарском ряду скоро отыскал он лавку Субханкулова. Богатый, именитый татарин, почитавшийся потомком Тамерлана, был тоже на отъезде. Перед лавкой стояло десятка полтора роспусков [1] для отвоза товара на пристань, лавка заставлена была тюками. Человек шесть либо семь сергачских татар, сильных, крепких, с широкими плечами и голыми жилистыми руками упаковывали макарьевские товары, накупленные Субханкуловым для развоза по Бухаре, Хиве, киргизским степям. Другие татары, слегка покрякивая, перетаскивали на богатырских спинах заделанные тюки на роспуски. Возни было много, но не было ни шуму, ни криков, ни ругани, столь обычных в ярманочных лавках русских торговцев, когда у них грузят или выгружают товары. В стороне, в углу, за грязным деревянным столиком сидел татарин в полинялом, засаленном архалуке из аладжи и всем распоряжался. По сторонам сидело еще двое татар приказчиков; один что-то записывал в толстую засаленную книгу, другой клал на счетах.

Пробираясь между тюками, подошел Марко Данилыч к старому татарину и, немножко приподняв картуз, сказал ему:

— Мне бы хозяина надо повидать.

---

[1] Дроги для возки клади.

— Махмет Бактемирыч наверх пошла. У палатка,— отвечал татарин, оглянув с ног до головы Смолокурова.— Айда наверх!

Вошел Марко Данилыч наверх в домашнее помещение Субханкулова. И там короба да тюки, готовые к отправке. За легкой перегородкой, с растворенной дверью, сидел сам бай [1] Махмет Бактемирыч. Был он в архалуке из тармаламы, с толстой золотой часовой цепочкой по борту; на голове сияла золотом и бирюзами расшитая тюбетейка, и чуть не на каждом пальце было по дорогому перстню. Из себя Субханкулов был широк в плечах и дороден, имел важный вид крупного богача. Широкое, скулистое его лицо было как в масле, а узенькие, черные, быстро бегавшие глазки изобличали человека хитрого, умного и такого плута, каких на свете мало бывает. Бай сидел на низеньких нарах, крытых персидским ковром и подушками в полушелковых чехлах. Перед ним на столе стоял кунган с горячей водой, чайник, банка с вареньем и принесенные из татарской харчевни кабартма́, куштыли́ и баурса́к [2]. Бай завтракал.

— Сала́ маликам [3], Махмет Бактемирыч! — сказал Марко Данилыч, подходя к Субханкулову и протягивая ему руку.

— Алейкюм селям, знако́м! [4] — обеими руками принимая руку Смолокурова и слегка приподнимаясь на нарах, отвечал Субханкулов.— Как зовут?

— А я буду купец Смолокуров, Марко Данилыч, рыбой в Астрахани и по всему Низовью промышляем. И на море у нас свои ватаги есть. Сюда, к Макарью, рыбу вожу продавать.

Кивнул Субханкулов головой и стал пристально разглядывать Марка Данилыча, но в ответ не сказал ему ни слова.

---

[1] *Бай* — богач, сильный, влиятельный человек.

[2] Татарские печенья к чаю: *кабартма* вроде наших пышек, *куштыли* — то же, что у нас хворосты или розаны; *баурсак* — куски пшеничного теста, варенные в масле.

[3] Вместо *эсселям алейкюм* — обыкновенное татарское приветствие при встрече, то же, что наше «здравствуй». *Алейкюм селям* — ответное приветствие.

[4] Татары всякого и преимущественно незнакомых обыкновенно зовут «знаком».

— Дельце у меня есть до тебя, Махмет Бактемирыч,— помолчав немножко, заговорил Марко Данилыч.— Покалякать с тобой надо.

— Караша́ садийсь, калякай,— сказал Субханкулов, подвигаясь на нарах и давая место Марку Данилычу.— Чай пить хочешь?

— Чашечку, пожалуй, хлебну,— сказал Смолокуров.

Тяжело поднявшись с нар, Субханкулов подошел к стоявшему в углу шкапчику, отпер его, достал чайную чашку и, повернув назад голову, с масленой, широкой улыбкой молвил через плечо Марку Данилычу:

— Арыш-маи хочешь?

— Какой такой арыш? — не понимая слов бая, спросил Смолокуров.

— Ржано масло,— по-русски пояснил Махмет Бактемирыч и, чтоб гостю было еще понятней, вынул из шкапчика бутылку со сладкой водкой и показал ее Марку Данилычу.

Улыбнулся Марко Данилыч и сказал, что не прочь от рюмочки ржаного масла.

Заварив свежего чаю, Субханкулов налил две рюмки водки и поставил одну перед гостем.

— Хватым! — тряхнув головой и принимаясь за рюмку, сказал веселый бай Марку Данилычу.

Выпили. Махмет Бактемирыч пододвинул к гостю тарелку с кабартмой, говоря:

— Ку́сай, ку́сай. Караша́.

— А нешто можно это тебе употреблять, Махметушка? — с усмешкой молвил Марко Данилыч, показывая на водку.— Кажись бы, по вашему татарскому закону не следовало.

— Закон вина не велит,— сказал бай, так прищурившись, что совсем не стало видно узеньких глазок его.— Вино не велит; «арыш-маи» можна́. Вот тебе чай, ку́сай, караша́, три рубля фунт.

Принялся за чай Марко Данилыч, а Субханкулов, развалясь на подушках, сказал ему:

— Калякай, Марка Данылыш, калякай!

Откашлянулся Марко Данилыч и стал рассказывать про свое дело, но не сразу заговорил о полонянннике, а издалёка повел разговор.

— В Оренбурге проживаешь? — спросил он.

— Аранбург, так — Аранбург,— отвечал бай.— Перва гильдя купса, три мендаль на шея,— с важностью отвечал татарин.

— А торговлю, слыхал я, в степях больше ведешь?— продолжал Марко Данилыч.

— Киргизка степа̀ торгу́м, Бухара̀ торгу́м, Кокан торгу́м, Хива́ торгу́м, везде торгу́м,— с важностью молвил татарин и, подвигая к Марку Данилычу тарелку с куштыли́, ласково промолвил: — ку́сай, куштыли́, Марка Данылыш,— болна караша́.

— Так впрямь и в Хиве торгуешь? — сказал Смолокуров.— Далеко́, слышь, это Хивинско-то царство.

— Далека́, болна далека́,— отвечал бай.— С Макар на Астрахань дорога знашь?

— Как не знать? Хорошо знаю,— сказал Марко Данилыч.

— Два доро́га, три доро́га, четыре доро́га — Хива,— сказал Субханкулов, пригибая палец за пальцем правой руки.

— Ой-ой какая даль! — покачав головой, отозвался Марко Данилыч.— А правду ль говорят, Махметушка, что в Хивинском царстве наши русские полонянники есть?

— Минога есть, очинна́ минога на Хива русска кул [1], даволна минога ест,— сказал Субханкулов.

— Что ж? Так им и нет возвороту? — спросил Марко Данилыч.

— Не можна́... Ни-ни! — жмуря глаза и тряся головой, сказал Субханкулов.— Кул бегя́л — бай ловил, кулу — так.

И чтоб пояснить Марку Данилычу, что значит «так», стукнул себя по затылку ребром ручной кисти.

— А выкупить можно? — немного помолчав, спросил Марко Данилыч.

— Можна, очинна́ можна́,— отвечал Субханкулов.— Я болна много купал, очинна доволна. Наш ампаратар золоту мендаль с парсуной [2] давал, красна лента на шея. Гляди!

И, вынув из шкапчика золотую медаль на аннинской ленте, показал ее Марку Данилычу.

---

[1] *Кул* — раб.

[2] *Парсуна* — персона, царский портрет.

— А как цена за русского полонянника? — спросил Марко Данилыч, разглядывая медаль и не поднимая глаз на Субханкулова.

— Разна цена — болшà быват, мàла быват,— ответил Субханкулов.— Карашà кул — миног деньгà, худà кул — малà деньгà.

— У меня бы до тебя была просьбица, Махметушка, хотелось бы мне одного полонянника высвободить из Хивы... Не возьмешься ли?..

— Можнá, болна можнá,— сказал бай, и узенькие его глазки, чуя добычу, вспыхнули.— А ты куштанáчи[1] кýсай, Марка Данылыш, кýсай — вот тебе баурсáк, кýсай — карашá. Друга рюмка арыш-маи кýсай!..

И, налив две рюмки водки, одну сам хлопнул на лоб, а другую подал Марку Данилычу.

— Видишь ли, Махметушка, надо мне некоего полонянника высвободить,— выпивши водки и закусив вкусной кабартмой, молвил Марко Данилыч.— Годов двадцать пять, как он в полон попал. А живет, слышь, теперь у самого хивинского царя во дворце. Можно ль его оттуда высвободить?

— Можна, болна можна,— отвечал Субханкулов.— Только дорогà кул. Хан дорогà за кула брал, очинна дорогà.

— А не случалось ли тебе, Махметушка, у ихнего царя полонянников выкупать? — спросил Марко Данилыч.

— Купал, многа купал русска кулà... Купал у мяхтяра, купал у куш-бека[2], у хана купал,— подняв самодовольно голову, отвечал Субханкулов.— А ты кýсай баурсак, Марка Данылыш — болна кароша баурсак, сладка.

— А что б ты взял с меня, Махметушка, чтоб того полонянника высвободить? — спросил Марко Данилыч.— Человек он уж старый, моих, этак, лет, ни на каку работу стал негоден, задаром только царский хлеб ест. Ежели бы царь-от хивинский и даром его отпустил, изъяну его казне не будет, потому зачем же понапрасну поить-кормить человека? Какая, по-твоему, Махметушка, тому старому полоняннику будет цена?

---

[1] *Куштанач* — гостинец.

[2] *Мяхтяр* — знатный вельможа. *Куш-бек* — министр.

— Тысяча тилле и болше тысячи тилле хан за кула брал... давай пять тысяч рублев хану, тысячу мине!.. Шесть тысяч целкова, Марка Данылыш.

— Что ты, Махметушка? В уме ли, почтенный? — вскликнул Марко Данилыч. Хоть и думал он, что бай заломит непомерную цену, но никак не ожидал такого запроса.— Эк, какое слово ты сказал, Махмет Бактемирыч!.. Ведь этот кул и смолоду-то ста рублей не стоил, а ты вдруг его, старого старика, ни на какую работу негодного, в шесть тысяч целковых ценишь!.. Ай-ай, нехорошо, Махметушка, ай-ай, больно стыдно!..

— Шесть тысяч,— крепко прищурясь, сказал Субханкулов.— Дешева не можна̀. Кул у хана — дешева не мо́жна.

— А как же ты, Махметушка, Махрушева-то, астраханского купца Ивана Филиппыча, у царя за семьсот с чем-то целковых выкупил?..— сказал Марко Данилыч, вспоминая слова Хлябина.— А Махрушев-от ведь был не один, с женой да с двумя ребятками. За что ж ты с меня за одинокого старика непомерную цену взять хочешь? Побойся бога, Махмет Бактемирыч, ведь и тебе тоже помирать придется, и тебе богу ответ надо будет давать. За что ж ты меня хочешь обидеть?

— Кто калякал, Махрушева я купал? — весь встрепенувшись, спросил Субханкулов.

— Слухом земля полнится, Махметушка,— с усмешкой молвил Марко Данилыч.— И про то знаем мы, как ты летошний год солдатку Палагею Афанасьевну выкупал, взял меньше двухсот целковых, а за мещанина города Енотаевска за Илью Гаврилыча всего-навсе триста рублев.

— Кто калякал? — смущаясь от слов Смолокурова, спрашивал бай.

— Да уж кто бы там ни калякал, а ты сам знаешь, что говорю необлыжно,— отвечал Марко Данилыч, гля́дя пристально на прищуренные глазки татарина.

Субханкулов что-то пробормотал сам с собой по-татарски.

— Так как же у нас дело-то будет, Махметушка? — спросил Марко Данилыч.

Не сразу ответил татарин. Подумал, подумал он, посчитал на пальцах и сказал, наконец:

— Давай, Марка Данылыш, пять тысяч цалкова. Вывезу кула. Весна — получай.

— Не многонько ль будет, Махметушка? — усмехнувшись, молвил Смолокуров.— Слушай: хоть тот кул и старик, а Махрушев молодой, да к тому ж у него жена с ребятками, да уж так и быть, обижать не хочу — получай семьсот целковых — и дело с концом.

— Не можна́, Марка Данылыш, не можна́,— горячо заговорил татарин.— Не можна̀ семьсот цалкова. Четыре тысяча.

— Не дам,— сказал Смолокуров и, вставши с нар, взялся за картуз.— Дела, видно, нам с тобой не сделать, Махметушка,— прибавил он.— Вот тебе последнее мое слово — восемьсот целковых, не то прощай. Согласен — деньги сейчас, не хочешь, как хочешь... Прощай...

— Не хады, Марка Данылыш, не хады,— схватив за руку Смолокурова, торопливо заговорил Субханкулов.— Караша́ дела — караша́ сделам. Три тысячи дай.

— Не дам,— решительно сказал Марко Данилыч, выдергивая руку у Субханкулова.— А чтоб больше с тобой не толковать, так и быть, даю тысячу, а больше хочешь, так и калякать с тобой не хочу...

— Калякай, Марка Данылыш, пажалыста, калякай,— перебил Субханкулов, хватая его за обе руки и загораживая дорогу.— Слушай — караша́ дела тащи с карман два тысяча.

— Жирно будет, Махметушка — водой обопьешься! Сказано, тысяча — не прикину медной копейки. Прощай — недосуг мне, некогда с тобой балясы-то точить,— молвил Марко Данилыч, вырываясь из жилистых рук татарина.

— Тысяча?.. Караша. Еще палтысяча,— умильно, даже жалобно не сказал, а пропел Субханкулов.

— Сказано: не прибавлю ни копейки,— молвил Марко Данилыч,— а как вижу я, что человек ты хороший, так я от моего усердия дюжину бутылок самой лучшей вишневки тебе подарю. Наливка не покупная. Нигде такой в продаже не сыщешь, хоть всю Россию исходи. Домашнего налива — густая, ровно масло, и такая сладкая, что, ежель не поопасишься, язык проглотишь.

У татарина глазки запрыгали. Зачмокал даже.

— Такой тебе, Махмет Бактемирыч, наливки предоставлю, что хивинский царь за нее со всех твоих товаров

копейки пошлин не возьмет. Верь слову — не лгу, голубчик... Говорю тебе, как перед богом.

Субханкулов только редкую бородку свою пощипывает. «У какой урус [1],— думает он.— Как он узнал?.. Мулле скажет — ай-ай... ахун узнает — беда...»

— Не калякай. не калякай, Марка Данылыш,— тревожно заговорил он.— Не можна́ калякать! Пажалыста, не калякай.

— Что мне калякать? Одному тебе сказываю,— добродушно усмехаясь, весело молвил Марко Данилыч.— Зачем до времени вашим абызам сказывать, что ты, Махметушка, вашей веры царя наливкой спаиваешь... Вот ежели бы в цене не сошлись, тогда дело иное — молчать не стану. Всем абызам, всем вашим муллам и ахунам буду рассказывать, как ты, Махметушка, богу своему не веруешь и бусурманского вашего закона царей вишневкой от веры отводишь.

— Малши́, пажалыста, малши́,— тревожно стал упрашивать татарин Марка Данилыча.

Не на шутку струсил бай, чтоб служители аллаха не проведали про тайную его торговлю. Тогда беда, со света сживут, а в степях, чего доброго, либо под пулю киргизов, либо под саблю трухмен попадешь.

— А доведется тебе, Махметушка, с царем вашей веры бражничать да попотчуешь ты его царское величество моей вишневочкой, так он — верь ты мне, хороший человек,— бутылку-то наизнанку выворотит да всю ее и вылижет,— подзадоривал Субханкулова Марко Данилыч.

— С ханом не можна́ наливка пить,— чинно и сдержанно ответил татарин.— Хан балшой человек. Один пьет, никаво не глядит. Не можна́ глядеть — хан голова руби, шея на веревка, ножа́ на горла́.

— Экой грозный какой! — шутливо усмехаясь, молвил Марко Данилыч.— А ты полно-ка, Махметушка, скрытничать, я ведь, слава богу, не вашего закона. По мне, цари вашей веры хоть все до единого передохни либо перетопись в вине аль в ином хмельном пойле. Нам это не обидно. Стало быть, умный ты человек — со мной

---

[1] *Урус* — русский.

можно тебе обо всем калякать по правде и по истине... Понял, Махметка?.. А уж я бы тебя такой вишневкой наградил, что век бы стал хорошим словом меня поминать. Да на-ка вот, попробуй...

И с этим словом Марко Данилыч вытянул из кармана бутылку вишневки и налил ее в рюмки. У бая так и разгорелись глазенки, а губы в широкую улыбку растянулись.

— На-ка, Махметка, отведай, да, отведавши, и скажи по правде, пивал ли ты когда такую, привозил ли когда этакую царю хивинскому.

Отведал Субханкулов и, ровно кот, зажмурил глаза.

— Якши́, болна якши́! [1] — промолвил он вне себя от удовольствия.

И, осушив рюмку, поспешно протянул ее Марку Данилычу, говоря:

— Якши!.. Давай... Ешшо давай!.. Болна караша́.

— Что ж молчишь, Махметка? Говори — пивал ли такую? — спрашивает Марко Данилыч, а сам другую рюмку наливает.

— Ни...— молвил Субханкулов, принимая рюмку. И дрожала рука татарина от удовольствия и волненья.

— Идет, что ли, дело-то? — спросил Марко Данилыч, держа в руке бутылку и не наливая вишневки в рюмку, подставленную баем.— Тысяча рублев деньгами да этой самой наливки двенадцать бутылок.

— Ладно... Пошла дела!.. Хлопай рукам!..

И ударили по рукам. Татарин тотчас же протянул рюмку, говоря:

— Ешшо, Марка Данылыш, пажалыста, ешшо давай!

Покончили бутылку. Грустно вздохнул Махмет Бактемирыч, глядя на порожнюю посудину.

— Как кула звать? — спросил он, вынимая из шкапчика бумажки клочок.

— Мокей... Мокей Данилов,— сказал Смолокуров.

Не назвал брата по прозванью, не в догадку бы было татарину, что полонянник братом ему доводится. Узнает некрещеный лоб, такую цену заломит, что только ахнешь.

---

[1] *Якши* — хорошо.

— Давно ли в Хиве? — продолжал свои расспросы Субханкулов, записывая на бумажке ответы Марко Данилыча.

— Лет двадцать пять,— сказал Смолокуров.— Спервоначалу трухмены Зерьяну Худаеву его продали, от Худаева к царю поступил. Высокий такой, рослый, чернявый.

— Зерьян Худаев, знако́м, кунак до меня,— сказал Субханкулов.— Якши купса, болна караша́.

Дело сладилось, Марко Данилыч на прощанье с баем даже маленько пошутил.

— Слушай, Махмет Бактемирыч,— сказал он ему,— хоть ты и некрещеный, а все-таки я полюбил тебя, каждый год стану тебе по дюжине бутылок этой вишневки дарить... Вот еще что: любимая моя сука щенна,— самого хорошего кутенка Махметкой прозову, и будет он завсегда при мне, чтоб мне не забывать, что кажду ярманку надо приятелю вишневку возить.

Нимало не обиделся на то Субханкулов. Осклабился даже, головой потряхивая. Наливка-то уж очень хороша была.

Выдал Марко Данилыч деньги, а вишневку обещал принести на другой день. Субханкулов дал расписку. Было в ней писано, что ежели Субханкулову не удастся Мокея Данилова выкупить так повинен он на будущей ярманке деньги Марку Данилычу отдать обратно. К маклеру пошли для перевода расписки на русский язык и для записки в книгу.

Расстались. Воротясь домой и развалясь на подушках, Махмет Бактемирыч думал о том, как угодит он хану редкостной наливкой, за десяток бутылок Мокея выкупит. а тысячу рублей себе в карман положит.

А Марко Данилыч, шагая на Гребновскую, так размышлял: «Тысяча целковых бритой плеши!.. Лбу некрещеному тысячу целковых!.. Легко сказать!.. Дунюшке изъян — вот оно главное-то дело!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На другой день после того как Марко Данилыч поладил с оренбургским «баем», поднялась с раннего утра̀ сильная буря. Забелелись на Оке и Волге снежки-бе-

лячки [1], захлестали валы о пристани, и, громко скрипя, закачались суда, барки, беляны, иные даже с якорей сорвались. С каждым часом буря лютует пуще и пуще, на лесных пристанях разбивает плоты унженские и немдинские [2] и по широкому волжскому лону разносит толстые бревна. Расплываются по могучей реке дрова из разбитых барок, захлестывает волнами дощаники и лодки, наносит на песчаные мели шитики, тихвинки, кладнушки [3]. Такая страшная, такая грозная буря разыгралась, что такой не запомнят и старожилы.

Опасно было бежать на пароходе, и Марко Данилыч поехал восвояси сухим путем на лошадях... Приехал домой; на дворе пусто, а на крыльце встретила его грустная, печальная Дарья Сергевна.

— А Дунюшка? — быстро спросила она, когда весь прозябший и промокший до костей Марко Данилыч, похивая и покрякивая, медленно вылезал из тарантаса.

— Нешто она у Макарья была? — отрывисто, с видимой досадой ответил сумрачный Смолокуров.— А я было чаял ее дома найти. Так полагал, что Марья Ивановна привезла уж ее.

Ни словечка Дарья Сергевна не молвила, но две слезы заструились по бледным ее щекам. Недоброе что-то почуяло любящее ее сердце. Изныла она, изболела душой по Дунюшке, и не с кем было ей разделить неутешного горя. Три месяца одна-одинешенька выжила она в обширном и пустом смолокуровском доме, и не с кем ей было слова перемолвить, не с кем было размыкать гнетущее горе, некому рассказать про печаль свою. Только глухая старушка стряпка Степановна да разбитная, быстроглазая молодка Матрена, что приставлена была к горницам, видали Дарью Сергевну. Все дни проводила она либо на молитве, либо за чтением Ефрема Сирина.

---

[1] *Снежками,* а также *белякими* зовут белые пенистые верхи волн.

[2] Строевой лес сплавляется преимущественно из притоков Волги (Костромской губернии) Унжи и Немды.

[3] *Шитик* — небольшое судно, крытое округлою палубой. *Тихвинка* — такого же устройства судно, поднимающее от двух до двенадцати тысяч пудов груза. *Кладнушка* — судно с палубой шире бортов, поднимает до восьми тысяч пудов груза.

Молча вошел в дом Марко Данилыч, молча шла за ним и Дарья Сергевна. Положив уставной семипоклонный начáл перед родительскими иконами, оглянул он пустые комнаты и сказал вполгóлоса Дарье Сергевне:

— А я было думал, что Дуня воротилась. Пора бы, кажется. Двенадцату неделю гостит. Самому, видно, придется ехать за ней.

— Пора бы уж, давно бы пора ей воротиться,— с глубоким вздохом промолвила Дарья Сергевна.— Уж не приключилось ли чего с ней? Оборони господи, грехом не захворала ли?

— Нет, этого нет, слава богу,— ответил Марко Данилыч.— Недели две тому получил я от нее письмецо невеликое. Пишет таково весело, извещает, что жива и здорова и что Марья Ивановна зачала в дорогу сряжаться... А вот что на ум не пришло,— продолжал Марко Данилыч и кликнул в окно:—Фадеев!

— Что будет угодно вашей милости?— отвечал приказчик.

— Свежую тройку запрячь в тарантас. В Фатьянку поедешь.

— В какую Фатьянку? — робко спросил Василий Фадеев у хозяина.

— Дурова голова! — закричал зычным голосом Марко Данилыч.— Тебя же ведь я посылал туда, как с Низу воротился. Тебя посылал узнавать, не у тамошней ли барышни гостит Авдотья Марковна.

— Возле Миршéни-то? — догадался Василий Фадеев.

— Ну да... возле Миршéни. Новый поселок у ручья в долине,— сказал Марко Данилыч.— Тут она Фатьянка и есть. Туда поедешь. Тамошняя помещица Марья Ивановна, что на Троицу гостила у нас, надо думать, теперича в Фатьянке, а с ней должна приехать и Авдотья Марковна. Так ты повидай Авдотью-то Марковну да скажи ей от меня: тятенька, мол, седни только от Макарья приехали; ехали, мол, на лошадях, потому-де маленько приустали, письмá не пишут, а велели на словах вашей чести доложить, чтобы, дескать, на сих же самых лошадях безотменно домой жаловали... Понял?

— Как не понять?.. — сказал Василий Фадеев.— Попаду ли только я на барской-от двор. В тот раз не пустили, насилу ответа добился.

— Опасятся,— промолвил Марко Данилыч.— Люди новые, переселенцы, а место глуховато. Ежели Марья Ивановна в Фатьянке, тебя тотчас пустят. Да нечего балы-то точить — сряжайся... Эй вы!.. Черти!.. Что тарантас-от не закладаете? Ждать мне, что ли, вас, анафемские разбойники?.. Смотри у меня!.. Шевелись, пошевеливайся!.. Нешто забыли расправу!.. Ироды!..

И, еще крепче выругавшись, тихими стопами отошел домовладыка от косящата окна.

Тут подошла к нему Дарья Сергевна и такую речь повела:

— Послушайте глупого моего слова, Марко Данилыч. Как же это будет у нас? Как наша голубушка одна с Васильем поедет? Да еще даль такую, да еще ночью. Хорошо ли это, сами извольте рассудить. А помоему, нехорошо, даже больно нехорошо. Как молоденькой девице ночью с мужчиной одной ехать! Долго ль до греха?

— Смеет он! — хватаясь за ручку кресла, не своим голосом вскрикнул Марко Данилыч. Потемнело суровое лицо, затряслися злобой губы, а из грозных очей ровно каленые уголья посыпались. Сам задрожал, голова ходенем пошла.

— Не о том я вам, Марко Данилыч, докладываю,— опустя глаза и побледнев пуще прежнего, трепетным голосом промолвила Дарья Сергевна.— О том хочу сказать вам как отцу, как родителю, что после этого как раз, пожалуй, сплетки да худые россказни пойдут по соседству. Чужи языки на цепь ведь не прикуешь. Окриком да грозой ничего тут не поделаете, пуще еще, пожалуй, смотники зачнут языки чесать. Девушкино дело обидливое, а сами вы знаете, сколь здесь недобрых людей. Превознес вас господь перед другими, а превознесенному всегда от людей бывает зависть и злоба!

Больше прежнего нахмурился Марко Данилыч, но ни словом, ни видом не возразил Дарье Сергевне. Мало подумав, сказал:

— Василий знает дорогу, его на козлы, а Степановну либо Матрену в тарантас. Вместе с Дунюшкой и приедут. Не будет тогда глупых речей, не из чего будет анафемам поганые языки свои разнуздывать.

— Нет, уж как хотите, Марко Данилыч, гневайтесь вы на меня, не гневайтесь, а того, что вы вздумали, сделать никак невозможно,— горячо вступилась Дарья Сергевна.— Как можно Дунюшке с глухой тетерей Степановной ехать? А Матрена не заграда. Про нее про самое и правды и неправды много плетут. Ехать с ней нашей голубушке, пожалуй, еще хуже, чем с одним Васильем. Нет, уж как вы хотите, а я сама съезжу. Тотчас сберусь, не успеют коней запрячь, как буду готова.

Подумал Марко Данилыч и молвил:

— Пожалуй, так-то лучше будет. Только уж богом вас прошу, Дарья Сергевна, не мешкайте — пожалуйста, как можно скорей ворочайтесь. Не терпится, скорей хочется наглядеться на мою ненаглядную. Приедете в Фатьянку, тем же часом и обратно выезжайте. Ежель у Дунюшки пожитки какие не собраны, без нее сберут, а я завтра за ними подводу вышлю. Лишнего бы не хлопотала, скажите ей от меня... А ежель в Фатьянке нет еще их, тоже не медлите ни часу, скорей домой оборачивайте... Ежели не приехали, тогда завтра же придется самому за Дунюшкой ехать.

Лошадей заложили, и Дарья Сергевна с Васильем Фадеевым поехала в Фатьянку. Напившись чаю, Марко Данилыч пошел хозяйство осматривать: обошел прядильни и лесопильни, погреба и сараи, сад и огороды. В конюшню зашел — лошадок навестил, на скотном дворе поглядел на коровушек, в овчарню завернул, в свиной хлев, в птичник, даже слазил на голубятню и любимых турманов[1] маленько погонял. А на душе как-то все неспокойно — смотрит на хозяйство, глядит в таз с водой[2], любуясь, как турмана́ кувыркаются в поднебесье, а ровно ничего не видит. Не о том дума. Никогда еще в голову ему не прихаживало, чтобы злые люди чистую, непорочную Дунюшку осмелились сплетнями позорить. Дарья Сергевна разговорами своими возбудила в нем незнаемое до тех пор чувство. «Всё могут, всё,

---

[1] *Турман* — голубь, который кувыркается в воздухе. Одни турмана перекидываются через голову, другие — ничком через хвост, третьи — боком через крыло.

[2] Голубятники на лёт голубей смотрят не прямо (так как света глаз не выносит), а в медный таз со свежей водой. В ней, как в зеркале, отражается голубиный полет.

анафемы, могут,— думает он.— Всякую пакость сделать смогут... А главное, никого не доищешься — некому головы будет свернуть... Ну да попробуй они, окаянные!.. Первому встречному такую встряску задам, что во веки веков не забудет... Ох, не роди вас на свет мать сыра земля!..»

Под конец дня Дарья Сергевна доехала до Миршéни, и, не останавливаясь там, своротила в Фатьянку. Не совсем еще наступила ночь, когда Фадеев остановил коней у ворот усадьбы Марьи Ивановны. Полный месяц, то и дело выходя из туч, разливал серебристый свет по долине, сверкал в струйках Святого ключа и озарял новые, еще белые постройки. Людей заметно не было, в избах огня не видно, все будто вымерло. Ворота в помещичью усадьбу были заперты изнутри, и, сколько ни стучался в них Василий Фадеев, отклика не было, одни собаки, заливаясь в пять либо шесть голосов, лаяли, рычали и визжали на дворе, просовывая злобные, оскаленные морды в низкую подворотню. Наконец, послышался сдержанный людской говор. Василий Фадеев громче прежнего стал стучать и кричать. То бранился он на чем свет стоит, то умильно просил отпереть ворóта либо подойти поближе и дать ответ какой-нибудь. Но нет ответа. А меж тем ночь наступает и тучки начинают сплошь заволакивать западный вскрай небосклона. Потянуло свежим ветром, месяц прячется за облака, а на западе то и дело вспыхивает. То не зарница, что хлеб зарит, а то грозовая туча надвигается. Пошел вдоль по поселку Фадеев: у одного дома постучится, у другого в источный голос покричит — везде ровно мертвые.

— Что ж нам делать теперь, Дарья Сергевна? — отчаянным голосом спросил Василий Фадеев.— Гроза!.. Не ночевать же под дождем... Пожалуй, волки еще набегут... По здешним местам этого ворога много.

— Делать нечего, Васильюшка, поедем на село,— сказала Дарья Сергевна.— Должно быть, они еще не приезжали. На селе узнаем. Да вряд ли приехать Марье Ивановне: во всем ее дому темнехонько, а время еще не позднее — всего только семь часов, восьмой.

Поехали в Миршень. Крупные капли дождя дробно стучали по крыше тарантаса, когда подъезжали к селу.

Блеснула и ослепила путников яркая молния, грянули трескучие раскаты грома.

Стоит на краю села большая, но ветхая, убогая изба. Только взглянуть на нее, так заметно, что приютились в ней голь да нищета. А было время, и не очень чтобы давнее, когда эта изба лучшим и богатейшим домом по всей Миршéни была. Кой-где виднелась еще прежняя домовитость — полусгнившая изба строена высокó и широкó, а поросшая серо-зеленым мохом крыша была крыта в два теса. Ставни в старые годы были выкрашены, а теперь краска облезла, ворота набок покосились, в красных окнах вместо стекол промасленная бумага да грязные тряпки. Видно, что какая-то невзгода разразилась над хорошим, исправным домом и превратила его исподволь в развалину. Так было и на самом деле. Во время óно жил в том доме богатый, домовитый крестьянин Степан Мутовкин. Мельницу имел, торговым делом занимался, говядиной по базарам промышлял, барыши бирал хорошие и жил с семьей припеваючи. Да не в меру был горяч — и ушел туда, где ловят соболей, а следом за ним и двое взрослых сыновей за ним туда же пошло.

Осталась ни вдова, ни мужня жена Аграфена Ивановна Мутовкина с шестерыми детьми, мал мала меньше... Поднимала их мать одного за другим на ноги, но как только подрастет работничек, смерть тóтчас придет к нему. Осталась Аграфена с двумя дочерьми, и пошло бабье хозяйство врознь да мимо.

В окнах Аграфенина дома свет еще виден был. Постучался кнутовищем под óконьем Фадеев. Отворилось оконце, выглянула пожилая женщина. Добрым ласковым голосом спросила она:

— Чего вам надо, добрые люди?

— В дороге, тетушка, запоздали,— отозвался Василий Фадеев.— А вот дождик припустил, гроза поднимается. Пусти на ночлег, родимая.

— Да вы сами-то кто будете? — спросила Аграфена.

— Проезжает по своему делу купчиха Дарья Сергевна. Слыхали, может, про Смолокуровых, про Марка Данилыча — из его семьи,— отвечал Василий Фадеев.

— Куда мне с вами, батюшка! — повысив голос, сказала Аграфена Ивановна.— Мне ль, убогой, таких

гостей принимать?.. И подумать нельзя! И не приборно-то у меня и голодно. Поезжайте дальше по селу, родимые,— много там хороших домов и богатых, в каждый вас с великим удовольствием пустят, а не то на площади, супротив церкви, постоялый двор. Туда въезжайте — хороший постоялый двор, чистый, просторный, и там во всем будет вам уваженье. А с меня, сироты, чего взять? С корочки на корочку, любезный, перебиваемся.

— Нет, уж пожалуйста, матушка, позвольте нам у вас грозу обождать. Сделайте такое одолжение,— выходя из тарантаса, сказала Дарья Сергевна.— Женщина, видится, вы добрая, очень бы хотелось мне у вас пристать. Не в пример было бы мне спокойнее, чем на постоялом дворе.

— Да как же это будет, сударыня?.. Мне ведь и попотчевать вашу милость нечем, и изба-то у нас не приборна,— возразила Аграфена Ивановна.— Наше дело убогое, сиротское. Сама одна с двумя дочками девицами. Какое тут хозяйство.

— Никакого, матушка, угощенья мне не надобно, и убранства не надобно. Пустите только, бога ради, укройте от непогоды.

Подумала Аграфена Ивановна и на просьбы Дарьи Сергевны, мокнувшей под расходившимся дождем, сказала:

— Ин нечего делать... Подь, Аннушка, отопри калитку да посвети гостье по крыльцу пройти, чтоб, грехом, не зашиблась как-нибудь.

Молодая девушка, редкой красоты, с зажженной лучиной в руке, встретила Дарью Сергевну и проводила ее в избу. То была первая миршéнская красавица, сердечная зазноба удалого молодца, отецкого сына Алеши Мокеева, старшая дочка убогой вдовы Аграфены Мутовкиной.

«Экая красавица. Словно Дунюшка голубушка»,— подумала Дарья Сергевна. Больше такой похвалы она придумать не могла.

Василий Фадеев растворил меж тем воро̀та и поставил тарантас с лошадьми на крытом дворе. Овес взят был и́з дома, задал он его по гарнцу каждой лошадке и завалился спать в тарантасе.

— Добро пожаловать, милости просим, сударыня,— встречая в сенях Дарью Сергевну, радушно привечала ее Аграфена Ивановна.— Только уж вы не обессудьте на наших недостатках. Было, матушка, время, и нас из хороших людей не выкидывали, и мы живали в достатке, и у нас дом полная чаша был, да вот господь горем посетил. Согрешили перед ним мы, окаянные. В разор теперь пришли... Божья воля да царский указ — су́против них не пойдешь!.. Сиротствуем, слезами обливаемся, а роптать не ропщем — хранил бог от такого греха. Ему, батюшке, свету, известно, что с коим человеком надо̀ поделать... Святая воля!.. Скорбеть скорбим, а ропотом, дал господь,— не согрешали.

И поникла головой и тяжелым вздохом облегчила грудь.

— Садитесь, матушка,— обметая передником лавку в красном углу под иконами, сказала Аграфена Ивановна.— Садитесь, сударыня, гостья будете. Аннушка, возьми-ка там в чулане яичек да состряпай яиченку.

— Зачем это? Полноте, пожалуйста! Совсем этого не нужно,— сказала Дарья Сергевна.

— Как же можно, сударыня? Без того нельзя. Мы ведь тоже люди крещеные, свят закон памятуем: «Сущего в пути напой, накорми, без хлеба, без соли из дома своего не отпусти»,— сказала Аграфена.

— Нет, пожалуйста, не хлопочите, матушка. Напрасно утруждаете себя,— возразила Дарья Сергевна.— Лучше вот что: скажите моему кучеру, поискал бы у кого-нибудь на селе самоварчика. Чай, сахар у меня есть, и вы бы со мной иску́шали.

— Ох, самоварчик, самоварчик! — скорбно вздохнув, проговорила Аграфена Ивановна, и слезы навернулись на глазах ее.— Два у нас было самовара; раза по три да по четыре на дню-то чаи распивали. Бывало, кто из сторонних как переступит порог в избе, сейчас самовар на стол... Дарёнушка! — кликнула в сени Аграфена Ивановна, и на зов ее вошла молодая девушка, такая ж высокая, стройная, как и Аннушка, такая ж, как и сестра ее была бы она и красивая, да оспа лицо ей попортила.— Сбегай, родная, к Родивону Захарычу, покучься у него самоварчика. Гостей, мол, господь к нам прислал — чайку испить гостям желательно.

М. В. НЕСТЕРОВ. На горах. *1896.*

В. И. СУРИКОВ. Утро стрелецкой казни (фрагмент). *1881*.

Не говоря ни слова, схватила Даренушка с печи заплатанный шушун и, накрывшись им с головы, пошла по материнскому приказу. Как ни уговаривала ее Дарья Сергевна не ходить в такую непогодь, она-таки пошла.

— Вон какая грязь, а дождик так и хлещет! — говорила Дарья Сергевна.

— Не сахарная, не растает,— сказала Аграфена Ивановна.— Опять же и недалече, всего через два двора — не заплутается.

— Что ж у вас за несчастье случилось, матушка?.. Отчего лишились вы достатков? — с участьем спросила у Аграфены Ивановны Дарья Сергевна, как только вышла Даренушка.

— Ох, сударыня!.. Велико наше несчастье!..— со слезами сказала Аграфена Ивановна.— Такое несчастьице выпало нам, что горше его на свете, кажется, нет. Двадцать годов теперь уж прошло, как хизнул наш богатый дом. Хозяина да двух сынов работников: одному было двадцать, другому девятнадцать лет — женить было обоих сбирались — по царскому указу на поселенье в Сибирь сослали.

И рассказала Аграфена Ивановна про ссоры и драки миршéнцев с якимовскими из-за Орехова поля, из-за Рязановой пожни, из-за Тимохина бора и про то рассказала, что муж ее с сыновьями в тех делах бывали всегда первыми зачинщиками и каждый раз начальству бывали ослушниками.

— Хотели миру порадеть, миру послужить, а вон оно куда пошло,— пригорюнясь, молвила Аграфена Ивановна.— Шестеро осталось тогда на руках у меня — четыре мальчика да Аннушка с Даренушкой,— эти были самые махонькие. Аннушке-то восемь месяцев было, когда наших сослали, а Даренушку принесла я через двадцать недель после мужниной ссылки. Ни один из четырех пареньков не дожил до возраста, один за другим на погост ушли. А мое-то дело женское, как без большака, без семейной головушки хозяйством станешь заправлять? И дошло у нас до бедноты, до того дошло, сударыня, что в доме теперь хоть шарóм покати.

— Хоть бы дочек-то пристроить вам, Аграфена Ивановна,— после недолгого молчанья сказала Дарья Сергевна.— Обе невесты. Как бы, кажется, не найтись женихам.

— Эх, сударыня!— отвечала с горькой улыбкой Аграфена Ивановна.— Не такие ноне годы, чтобы замуж выходить бесприданницам. Что у господ, что у купцов, что по нашему крестьянству, в теперешни времена все на деньгу пошло. Ну, пущай Аннушка, та личиком по крайности взяла, а Даренушка и тем злой судьбою обижена. Пяти годков оспа побила ее; не побей, тоже была бы красивая. За кого ж ей, рябенькой-то, замуж идти? За вдовца разве за какого-нибудь, на чужих на малых детей, а не то за пьянчугу урезного?.. По нашим местам, сударыня, народ промысловый, потому и давай здешнему жениху девку красовитую да еще с деньгами. Здесь не то, что по хлебопашенным местам. Там берут не жену, а работницу, а по нашим местам такую, чтоб и собой была пригожа́ и в ларце б у нее побрякивало. А без денег хоть волком вой с девками. Вот хоть бы Аннушку мою взять — полюбилась она одному пареньку, третий год сохнет, сердечный, по ней и, опричь ее, ни на какой девушке не желает жениться, да и моя-то, пожалуй, не прочь от него. Один сын у отца, а отец богатей — у него две мельницы-точильни и залежных денег достаточно. Как сын отца ни упрашивает, как он его ни умаливает, заладил старый одно: «Клади невеста триста рублев на стол, в таком разе хоть сегодня же венчайтесь». А где такие деньги возьмешь? Была бы прежняя пора — вдвое, втрое бы выложили, а теперь не из земли триста рублев копать. Так сиротки мои бедненькие в девках и засидятся, так и покончат жизнь свою где-нибудь в кельях. Они ж и грамоте обучены. Сама-то ведь я тоже за Волгой в скитах росла, сподобил там меня господь грамоте. Потом святому делу и дочушек обучила.

— А в каком скиту учились вы, Аграфена Ивановна? — спросила Дарья Сергевна.

— В Комарове, сударыня,— отвечала Аграфена Ивановна.

— А в которой обители? — еще спросила Дарья Сергевна.

— В Манефиной, сударыня,— ответила Аграфена.— Возле самого Каменного Вражка. Много уж тому времени-то. Двадцатый теперь год, как услали моего хозяина, да двадцать два годочка, как жила с ним за-

мужем. Больше сорока годов, стало быть, тому, как я из обители.

— Уходом? — улыбнувшись, спросила Дарья Сергевна.

— Знамо, уходом,— также улыбнувшись, ответила Аграфена Ивановна.— Нешто из обители девку честью отпустить можно? Так не полагается, сударыня.

— А какая мать при вас в игуменьях сидела? — спросила Дарья Сергевна.

— Матушка Екатерина,— отвечала Аграфена Ивановна.— Строгая была старица, разумная, благочестивая. Всяким делом управить умела. И предобрая была — как есть ангел во плоти, даром что на вид сурова и ровно бы недоступная. Настоящая всем мать была. И необидливая — все у нее ра́вны бывали, что богатые, что бедные; к бедным-то еще, пожалуй, была милостивей.

— А нынешнюю игуменью знаете? — спросила Дарья Сергевна.

— Как же не знать матушку Манефу? — сказала Аграфена Ивановна.— При мне и в обитель-ту поступила. В беличестве звали ее Матреной Максимовной, прозванье теперь я забыла. Как не знать матушку Манефу? В послушницах у матери Платониды жила. Отец горянщиной у ней торговал, темный был богач, гремел в свое время за Волгой... много пользовалась от него Платонидушка.

— А еще кого из теперешних обительских знаете? — спросила Дарья Сергевна.

— Многих знала, всех от первой до последней знала я, сударыня,— сказала Аграфена Ивановна.— Не знаю только, в живых ли теперь они. Знала матушку Таифу, матушку Аркадию, матушку Виринею-келаря даже очень близко знала, а живы ль они теперь, того уж не знаю.

— Живы,— молвила Дарья Сергевна.— Все три живы.

— А нешто вы бывали в скитах? — с живостью спросила Аграфена Ивановна.

— Больше шести годов у матушки Манефы выжила я в обители,— отвечала Дарья Сергевна.— Сродница моя, дочка купца Смолокурова, обучалась там, так я при

ней жила. Всех знаю: и матушку Таифу, теперь она в казначеях, и уставщицу мать Аркадию и Виринею, эта по-прежнему все келарничает.

— Ну вот, сударыня, до чего мы с вами договорились. Так впрямь и в Комарове живали и матушек тамошних знаете,— молвила Аграфена Ивановна.— А матушка Неонила здравствует ли? Подруга была мне самая ближняя, самая любимая, Натальей Васильевной в беличестве-то звали ее.

— Лет пять как преставилась,— сказала Дарья Сергевна.— Я еще застала ее в обители. Хворая была такая, немощна́я сама, бывало, все у бога просит, чтоб прибрал ее с сего света поскорее.

— Эх, Натальюшка, Натальюшка! — с глубоким вздохом промолвила Аграфена Ивановна и, встав с лавки, положила перед иконами семипоклонный начал за упокой души рабы божией инокúни Неонилы.

Пока у хозяйки с гостьей шли разговоры про Манефину обитель, воротилась с самоваром и чайным прибором Даренушка, в то же время Аннушка пришла из задней избы с яичницей. Дарья Сергевна с хозяйкой и ее дочерьми села за чай.

— Что вы, сударыня, осмелюсь спросить вас, в дальний путь отправляетесь аль куда неподалеку отсель едете? — спросила Аграфена Ивановна.

— Сюда было ехала, матушка, да, кажется, понапрасну. Никакого толка добиться не могла,— ответила Дарья Сергевна.— Утишится, бог даст, гроза, прояснится на небе, поеду домой обратно. Мы ведь не дальние — наш-от город всего верст сорок.

— Так вы только до Миршѐни? — спросила Аграфена Ивановна.

— Не до Миршени, а поблизости от вас,— ответила Дарья Сергевна.— Рядом тут поселок новый есть, Фатьянкой прозывается.

Отставив недопитую чашку чая, Аграфена Ивановна пристально поглядела на гостью. И Аннушка с Даренушкою тоже стали смотреть на Дарью Сергевну с удивленьем.

А Дарья Сергевна свое продолжает:

— Думали мы, не воротилась ли в Фатьянку тамошняя помещица Марья Ивановна. У сродников гостит она в Рязани, и, кажется, пора бы ей воротиться...

— Не слыхать, чтобы приехала,— сдержанно и сухо промолвила Аграфена Ивановна.— А у вас какое дело до нее?

— Особенного дела нет,— сказала Дарья Сергевна,— а гостит в тех же местах, куда она уехала, в Рязанской губернии, дочка моего сродника Марка Данилыча Смолокурова... Марья Ивановна, фатьянская-то помещица, обещала ее в наши края привезти. Вот и полагали мы, не в Фатьянке ли она теперь. Марко Данилыч у Макарья в ярманке был и, только что воротился, то́тчас меня за дочкой послал, без малого три месяца с ней не видался... Приехали мы в Фатьянку — в барском дому ни огонечка, ворота̀ изнутри заперты, частокол высокий-превысокий. Стучались мы, стучались, больше часа стучались, так никакого ответа и не добились. Послышались было людские голоса, и кучер громче стал кричать, а все-таки не было ответа. Поехали по дворам — и там ни в одном не видать огонька, а еще не больно поздно было. Так и не добились ответа. А меж тем гроза собралась, дождик пошел, мы к вам в Мирше́нь и поехали — здесь хоть не узнаем ли, воротилась в Фатьянку Марья Ивановна или нет еще.

— Это у них, у фатьянских, завсегда так,— немного погодя молвила Аграфена Ивановна.— Бог их знает, что за̀ люди. Почитай уж полгода, как они в соседство к нам поселились, а ни с кем из здешних словом даже не перемолвились. Чудны́е!.. Только и видно их, что иной раз на базар придут — хлеба аль другого чего искупить. А барыни в Фатьянке нет еще. Заверное говорю. Ежели б приехала, беспременно бы прислала за чем-нибудь на село, насчет съестного там, что ли, али чего другого. Дело-то у нее еще на нове, хозяйства покамест никакого, запасенного нет ничего. Хоть за капустой аль за огурцами прислала бы.

— В лес по грибы сегодня ходила я,— молвила рябая Даренушка.— Всю Фатьянскую долину вдоль и поперек исходила. В барском дому окошки все скрыты [1]. Должно-быть, барыня еще не приезжала. И никакого знака нет, чтобы дом был жилой.

---

[1] Ставнями закрыты.

— Верно, что не приехала,— подтвердила слова дочери Аграфена Ивановна.— На этот счет будьте спокойны, сударыня.

— Кузнец Вахрамей говорил в воскресенье,— прибавила Аннушка,— что к нему на кузницу приходил из Фатьянки какой-то тамошний покузнечить, так он, слышь, поминал, что ихняя барыня раньше Покрова в Фатьянку не будет. А зиму, слышь, здесь будет жить — конопатчиков уж наняли дом-от конопатить. Хотели было и штукатурить, да время-то уж позднеыько, да к тому ж и дом-от еще не осел.

— До Покрова не будет, говоришь ты, красавица? — молвила в раздумье Дарья Сергевна.

— До Покрова. Так говорил Вахрамей,— ответила Аннушка.

— Господи милостивый! — вполголоса проговорила тоскливо Дарья Сергевна.

— Насчет самой барыни я вам ничего не скажу, сударыня, потому что вовсе ее не знаю,— сказала Аграфена Ивановна.— А крестьяне у нее и дворовые, что при доме живут,— самые чудны́е люди. Ни сами ни к кому, ни к ним никто. Только и видишь их на селе, что в базарные да воскресные дни. А в церковь ходят все от мала до велика. Здешний церковный поп не ухвалится ими — не пропустят ни одной праздничной службы, будь дождик проливной, будь грязь по колено, они беспременно в церковь идут. Богомольны, надо правду говорить, очень даже богомольны. А все тремя перстами молятся, по Никонову, значит, новшеству́. И барыня тоже, слышь, богомольная, и она в церкви кажинный праздник бывает, а теперь вот не видно ее, стало быть не приезжала. И то взять, ежели ехать в Фатьянку, нашего села не миновать; с какой стороны ни поезжай — другой дороги нет. А барыню из сельских никто не видал, чтоб она проезжала.

— А что у вас про нее слышно, про барыню-то? Да не барыня она, впрочем, а старая барышня,— сказала Дарья Сергевна.

— Мало ее знают у нас,— отвечала Аграфена Ивановна,— хоть сначала она и проживала на селе. У Мокея Сергеича жила в доме, человек он большой, зажиточный, дом полная чаша, на миру воротило — что на сходе ни молвит, тому так и быть. Кажись бы, добрая

она. Всех обдарила, парнишки да девчата особливо остались ею довольны — пряников, бывало, орехов, стручков, всякого другого лакомства чуть не каждый день, бывало, покупает им. Из соседних деревень даже ребятишки стаями к ласковой барыне прибегали. И наших сельских девушек к себе зазывала, потчевала их всем хорошим и была такая приветливая, что ровно бы и не барского рода, а из простых. И все доброму их учила, как жить девицам по-хорошему, а и то, признаться, еще им говорила: «Не ходите замуж, пташечки, живите на всей своей воле». А сама великая постница — ни мясного, ни вина, ни пива в рот не берет и другим не советует, зато в постные дни и молоко хлебает и яйца ест. Такая чудна̀я, а добрая. А в церковь к службе обо всяку пору. Церковным попам спервоначалу-то это не больно было в охоту, потому что у них по будням-то одни колокола службу правят, а поп с дьячком да причетники либо спят, либо бражничают, а тут каждый при своем деле будь. Барыня не рядовая, из знатных, родовитая, генеральская дочь, скажет архиерею про поповскую неисправность, космы-то затрясутся. Однако ж по времени и попы ею остались довольны — богатую благостыню им подает.

— А люди-то ее в Фатьянке что поделывают? — спросила Дарья Сергевна.

— А кто их знает, что они делают,— отвечала Аграфена Ивановна.— А надо думать, что у них не́спроста что-нибудь... Недоброе что-то у них кроется, потому что доброму человеку с какой же стати от людей хорониться? А они всегда на запоре, днем ли, ночью ли — никогда не пущают к себе. Мудреные!..

Призадумалась Дарья Сергевна. «А что как и Марья Ивановна такая же?.. А что как и Дунюшка?» — подумала она, и кровью обли́лось сердце ее.

— А по ночам все, слышь, песни поют. Верные люди про́ это сказывали,— сказала Аннушка.— Идут еще на селе разговоры, что по ночам у Святого ключа они сбираются в одних белых рубахах. И поют над ключом и пляшут вокруг.

— Так ли это, верно ли? — спросила Дарья Сергевна.

— Заверяю вас, сударыня,— молвила Аннушка.— Самовидцы говорили. Пляшут и мирские песни поют,

а слов разобрать нельзя, потому что далеко. Охают, кричат, иные визжат. И что такое у них делается, никто не знает.

— Говорят старики, что в прежние годы, лет с сотню назад, в той же самой долине, у того же Святого ключа такие ж бывали дела,— сказала Аграфена Ивановна.— Тоже, слышь, по ночам в белых рубахах песни распевали, тоже, слышь, плясали и кружились вкруг Святого ключа, ровно бешеные. Годов пятнадцать, пожалуй и больше, так велось у них, потом их накрыли, сковали и бог знает куда увезли. Говорили, что в сибирскую ссылку, говорили и то, что по монастырям в заточенье разослали. Господь знает, какая им в самом-то деле судьба была.

— Что ж у них было такое? Как о том говорят старики? — спросила Дарья Сергевна.

— Никому ихнее дело доподлинно неведомо,— отвечала Аграфена Ивановна.— И тогдашних-то людей теперь никого не осталось. Был у нас древний старик Маркел Пименыч, без малого сто годов прожил он, древний был надревний, всего только пять лет как преставился. Так он сказывал, что в те поры, как те люди были в Миршéни, он еще махоньким парнишкой сельских коней на ночное ганивал, и слыхал ихние песни, и видал их в белых рубахах, в длинных, по щиколку, ровно бы женские, а надевали те рубахи и бабы, и девки, и мужчины. И плясали они, сказывал Маркел Пименыч, и охали, и кричали неблагим матом, и визжали, и песни пели, все одно как теперь вот фатьянские.

— Что ж про тех людей толковали? Как говорил о том Маркел Пименыч? — спросила Дарья Сергевна.

— Разно, говорил он, тогда толковали про них,— отвечала Аграфена Ивановна.— Кто полагал, что они колдуют; кто думал, что у них особая тайная вера.

— Тайная вера? — быстро подняв голову, спросила Дарья Сергевна.

— Кто их там знает? И веру-то называл он, да я запамятовала,— молвила Аграфена Ивановна.— Вы, девицы, не помните ль?

— Фармазоны, слышь, какие-то были,— промолвила Даренушка.

— Фармазоны!.. Так вот оно что!..— прошептала Дарья Сергевна.— А теперешних фатьянских тоже фар-

мазонами зовут?..— прибавила она, обращаясь к Аграфене Ивановне.

— Не слышно этого,— отвечала та.— Фатьянскими зовут, а то еще алымовскими. А что потаенные они, так в самом деле потаенные. Ни к себе никого, ни сами ни к кому. Чудныѐ, право чудныѐ. Кажись, как бы человеку не жить на́ людях?.. И думать так не придумать, что за люди такие... Мудреные!..

Меж тем гроза миновалась, перестал и дождик. Рассеянные тучки быстро неслись по́ небу, лишь изредка застилая полный месяц. Скоро и тучки сбежали с неба, стало совсем светло... Дарья Сергевна велела Василью Фадееву лошадей запрягать. Как ни уговаривала ее Аграфена Ивановна остаться до утра, как ни упрашивала ее о том и Аннушка с Даренушкой, она не осталась. Хотелось ей скорей домой воротиться и обо всем, что узнала, рассказать Марку Данилычу.

Когда Дарья Сергевна воротилась домой, Марко Данилыч давно уж с постели встал. Сидел у окна, пристально глядя на дорогу, а сам все про Дунюшку думал. «Коль не бывала в Фатьянку, надо будет ехать в Луповицы. А то, пожалуй, ее не дождешься и до зимы. И дернуло ж меня отпустить ее с Марьей Ивановной... Вот теперь и жди да̂ погоди».

Рассказала ему Дарья Сергевна, что в Фатьянке они не могли достучаться, что застала их в дороге гроза с ливнем и что укрылась она в Мирше́ни у вдовы Аграфены. И про то рассказала, что узнала про Фатьянку и про тамошних поселенцев.

— Да что ж это за люди? — досадливо вскрикнул Марко Данилыч.— Что они взаперти-то фальшивы деньги куют аль разбойную добычу делят? Исправник-от со становым чего смотрят? Доброе дело скрытности не любит, только худое норовит от чужих глаз укрыться...

— Нет ли тут чего насчет веры, Марко Данилыч? — вполголоса сказала Дарья Сергевна, робко поднимая глаза на хмурого Марко Данилыча.

— Как насчет веры? — спросил удивленный Марко Данилыч.

— Какая-то, слышь, у них особая тайная вера,— сказала Дарья Сергевна.— И в старину, слышь, на ту же долину люди сбирались по ночам и тоже вкруг Свя-

того ключа песни распевали, плясали, скакали, охали и визжали. Неподобные дела и кличи бывали тут у них. А прозывались они фармазонами.

— Фармазонами! — чуть слышно промолвил Марко Данилыч и крепко задумался.

— И тех фармазонов по времени начальство изловило,— продолжала Дарья Сергевна.— И разослали их кого в Сибирь, кого в монастырь, в заточенье. Без малого теперь сто годов тому делу, и с той поры не слышно было в Миршéни про фармазонов, а теперь опять объявились — а вывезла тех фармазонов из Симбирской губернии Марья Ивановна и поселила на том самом месте, где в старину бывали тайные фармазонские сборища...

— Нешто и теперешние тоже фармазоны? — спросил Марко Данилыч, облокотясь на стол и склонив на ладони пылавшее лицо.

— Видится, что так, Марко Данилыч,— ответила Дарья Сергевна.— По всем приметам выходит так. И нынешние, как в старину, на тот же ключ по ночам сходятся, и, как тогда, мужчины и женщины в одних белых длинных рубахах. И тоже пляшут, и тоже кружáтся, мирские песни поют, кличут, визжат, ровно безумные аль бесноватые, во всю мочь охают, стонут, а к себе близко никого не подпускают.

— Вранье, может быть,— протяжно проговорил Марко Данилыч, а сам пуще прежнего задумался.

— И сдается мне, Марко Данилыч, что сама-то Марья Ивановна не заодно ли со своими переселенцами,— продолжала Дарья Сергевна.— И те тоже мясного не едят и не пьют ни вина, ни пива, ни даже браги, а молочное разрешают и в постные дни — все одно как и Марья Ивановна. И, как она, так же в черном все ходят. Сумленье меня берет. Сердитесь вы на меня не сердитесь, Марко Данилыч, а по любви моей к Дунюшке все, что ни есть у меня на душе, я теперь открою вам. Не мало я дорогой-то в это утро надумалась, на волосок не вздремнула, все про Дунюшку раздумывала.

— Что ж вы думали про нее столько времени? — с нахмуренным видом промолвил Марко Данилыч. Тиха была речь его, но видно было, что на душе у него бушевала грозная буря.

— Помните ли, как на Духов день я вам сказывала, что подслушала разговор Марьи Ивановны с Дунюш-

кой? — сказала Дарья Сергевна.— Говорила я вам тогда, что смущает она нашу голубушку, толкует про какую-то веру, а вы и верить мне не захотели. Думала тогда я, что Марья Ивановна хочет ее в великороссийскую привести. Хоть тут хорошего и немного, хоть каждому человеку должно помереть, в чем родился, однако ж великороссийская все-таки от господа не отступная. А ежели Марья-то Ивановна про фармазонскую ей говорила? Кто ее знает, может, она с фатьянскими в одном согласе?.. Что у ней за тайна такая сокровенная, про которую Дунюшке она говорила? Что за безгрешные такие люди? Как это в них сам господь пребывает? Тут есть что-нибудь, верьте моему слову, Марко Данилыч.

— Вы уж и невесть чего нагородите,— выходя из комнаты, сумрачно и досадливо сказал Марко Данилыч и крепко хлопнул за собой дверью. А сам решил как можно скорей ехать за Дуней.

В досаде на Марью Ивановну и даже на Дуню, в досаде на Дарью Сергевну, даже на самого себя, пошел Марко Данилыч хозяйство осматривать. А у самого сердце так и кипит... Ох, узнать бы обо всем повернее! И ежели есть правда в речах Дарьи Сергевны да попадись ему в руки Марья Ивановна, не посмотрел бы, что она знатного роду, генеральская дочь — такую бы ческу задал, что своих не узнала бы... И теперь уж руки чешутся.

И рвет и мечет, на кого ни взглянет, всяк виноват. Пришел в работную, и потолок и стены новой избы ровно сажа. Развоевался на работников, будто они виноваты, что печи дымят. Кричит, лютует, то на того, то на другого кидается с бранью, с руганью, а сам рукава засучает. Но теперь не весна, работники окрысились, зашумели, загалдели, и, только что крикнул хозяин: «Сейчас велю всех со двора долой», они повскакали и закричали задорно в один голос: «Расчет давай, одного часа не хотим работать у облая».

Оттого работники ответили так хозяину, что теперь по сельщине-деревенщине новый хлеб поспел, а в огородах всякий овощ дозревал — значит, больше нет голодухи. Весной во время бесхлебья любого работника колоти сколько влезет, даже выпори своим судом — словечка не молвит, а в осеннее хлебное время последнему наймиту лишнего слова сказать нельзя. Тотчас стачка, тотчас

работники гурьбой со двора. Придет опять весенняя бескормица, и они густыми толпами повалят к тому же хозяину, слезно станут просить и молить о работе, в ногах будут у него валяться и всеми святыми себя заклинать, что и тихи-то они, и смирны-то, безответны, а пришла новая осень — сиволапый уж барином глядит, и лучше не подступайся к нему. Но на этот раз не больно угрозили работники Марку Данилычу — на прядильнях снасти почти допрядены, на пристани тоже дело к концу идет. И без того недели через три пришлось бы распускать летних работников.

На пристань из работной избы пошел Марко Данилыч, а там лесники, развалясь на плотах, спят себе, пригретые солнышком. Стал их хозяин будить суковатой козьмодемьянской палкой. Те повскакали и тотчас в брань. Расходился Марко Данилыч, лицо ровно красным кумачом подернулось, губы задрожали, и, как раскаленные угли, запылали злобные очи. Пошла работать козьмодемьянка, а лесники, ровно стая спуганных птиц, с криком, с гиком, с хохотом понеслись вверх по крутой горе. Марко Данилыч за ними; но как тяжелому на ходьбу старику догнать быстроногую молодежь?.. Кричит в источный голос, задыхается, на каждом шагу спотыкается. Не добежав до венца горы, грохнулся оземь Марко Данилыч.

Пластом лежит на голой земле. Двинуться с места не может, голосу не в силах подать, лежит один-одинехонек, припекаемый полуденными лучами осеннего солнца. Ни на горе, ни под горой никого нет, стая галок с громким криком носится в высоте над головой миллионщика. Лежит гордый, своенравный богач беспомощен, лежит, всеми покинутый, и слова не может промолвить. Тускнеет у него в очах, мутится в голове, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Забытье нашло на него...

Долго бы лежать тут Марку Данилычу, да увидела его соседка Акулина Прокудина. Шла Акулина с ведрами по воду близ того места, где упал Марко Данилыч. Вгляделась... «Батюшки светы!.. Сам Смолокуров лежит». Окликнула — не отвечает, в другой, в третий раз окликнула — ни словечка в ответ. Поставила Акулина ведра, подошла: недвижим Марко Данилыч, безгласен, рот на сторону, а сам глухо хрипит. Перепугалась Акулина, взяла за руку Марко Данилыча — не владеет рука.

«Господи! Что это? Что ему попритчилось? — думает Акулина.— Надо домашних повестить, всяко может случиться! Еще, пожалуй, к ответу притянут».

И, покинув ведра, поднявши подол, бегом побежала к дому Марка Данилыча.

По ее вестям прибежала Дарья Сергевна, прибежали все домашние — приказчики и прислуга. Прибежали и работники поглазеть-поглядеть, что приключилось с бранчливым, драчливым хозяином. Обступили домашние вкруг Марка Данилыча, стоят, охают да молитву творят, а работники шепчутся меж собой: «А кто ж теперь будет нас рассчитывать?»

Первая нашлась Дарья Сергевна.

— Васильюшка,— сказала она Фадееву.— Беги, родной, за лекарем. Он в городу — давеча видела я, как с исправником мимо нас шел.

Пошел Василий Фадеев, хоть и не так спешно, как бы хотелось Дарье Сергевне. Идет, а сам с собой рассуждает: «Кто ж теперь делами станет заправлять? Дочь молода, умом еще не вышла; разве что Дарья Сергевна? Да не бабье это дело. Дай-ка господи, чтоб не очнулся!.. Пятьсот рублев у меня на руках, а опричь его, никто про это не знает».

Лекарь жил на самой набережной. Случилось, что он был дома, за обедом сидел. Ни за какие бы коврижки не оставил он неконченную тарелку жирных ленивых щей с чесноком, если бы позвали его к кому-нибудь другому, но теперь дело иное — сам Смолокуров захворал; такого случа́я нескоро дождешься, тут столько отвалят, что столько с целого уезда в три года не получишь. Сбросив наскоро халат и надев сюртук, толстенький, приземистый лекарь побежал к Марку Данилычу.

— Маркелов!.. — на бегу крикнул он городовому, штопавшему рубаху, сидя на чурбане возле развалившейся будки.— Живее к фельдшеру! Тащил бы все с собой, и банки, и пиявки, все, все до капельки. Под гору тащил бы. Да забеги в аптеку, скажи там: ежели Карло Хрестьяныч куликов стреляет, на́спех бы бежали за ним, отпер бы аптеку и лекарство делать готов был.

— Слушаю, ваше высокоблагородие,— с оттенком досады отвечал, унося в будку рубаху, ленивый, полусонный страж богоспасаемого града.

— Поспешай! — крикнул ему лекарь, быстро удаляясь от будки.— Зайди потом на двор к Смолокурову, хорошо на водку получишь, я скажу там. Сам захворал.

Оживел городовой, спешно запер будку и скорым шагом пошел исполнять приказанье лекаря. С кем по дороге ни встретится, всякого извещает, что с Марком Данилычем случилось недоброе: под горой, возле казначейства лежит без памяти. И каждый о том же повещал встречного и поперечного, и все опрометью бежали под гору — каждому было лестно поглядеть, как пришибло спесивого миллионщика. Бежали, как на пожар, и вскоре больше сотни людей столпилось вкруг лежавшего без чувств Марка Данилыча. И городские власти пришли: городничий, исправник с заседателем, стряпчий, секретари, чуть не все приказные, пришел и штатный смотритель училища, а за ним стая ребятишек, только что распущенных из класса, поспешил под гору и отец протоиерей, чтоб еще разок щегольнуть перед горожанами только что полученною камилавкой. Ковыляя, приплелся, на всякий случай, хромой столяр Панкратьич — не понадобится ли гроб сколотить. Городские вестовщицы тоже прибежали поглядеть на редкостное и небывалое еще в ихнем городе зрелище. Тут были и чиновница Ольга Панфиловна и уставщица Красноглазиха. Все шушукают, каждый думает и говорит про Марка Данилыча посвоему.

— Господь гордым противится, смиренным же дает благодать,— стоя в сторонке, назидательно говорил отец протопоп окружавшим его дьякону, церковному старосте и другим.— Наказующий перст божий того ради коснулся сего прегордого, что, ревнуя богомерзкому расколу, всю свою жизнь чуждался святой церкви. Притом же, хотя и раскольник, однако ж все-таки должен был принимать в дом духовных лиц со святынею. А наш причт от него медного гроша никогда не видывал.

— Вот что значит с никонианами-то водиться!..— строго и учительно говорила уставщица Красноглазиха.— Повелся с еретиками, за одно с ними трапезой насыщался, из одной пивал посудины, и себя тем сквернил и со́блазны чинил христианам древлего благочестия.

— Вот всякий гляди да ка́знись,— тараторила разбитная приживалка чиновница Ольга Панфиловна.— Всяким добром ублаготворял мерзких паскуд, как вон

эта злоязычница Аниська Красноглазиха... Не чем другим, а этим самым и навел на себя гнев господень. И осетрины-то ей, бывало, и белужины, и икры, и дров, и муки, и всякой всячины. Чем бы настоящим бедным подать, тем, что в нищете проводят жизнь благородную, он только этой гадине. А пошарь-ка в коробье у проклятой Аниськи, увидишь, сколь бедна она.

А у самой на уме: «А ну, как помрет, прощай тогда и рыбка, и мучка, и дровешки. Хоша и непутный и самый непостоянный человек, а все-таки продли ему веку господи!»

И не одна Ольга Панфиловна такие думы думала. И городничий, и стряпчий, и другие чиновные были озабочены, будет ли смолокуровская наследница попрежнему икрой да рыбой их награждать. И все жалели Марка Данилыча. Один протопоп из-под новенькой камилавки злобно на него поглядывал.

Осмотрев больного, лекарь крепко ущипнул его за руку. Марко Данилыч хоть бы глазом моргнул. Тогда лекарь только посвистел. Бросилась к нему Дарья Сергевна.

— Что с ним, батюшка? Скажите на милость!.. Сделайте такое ваше одолжение,— говорила она, обливаясь слезами.

И другие, что тут были, тоже наперерыв друг перед дружкой спрашивали лекаря, что случилось с Марком Данилычем.

— Не мешайте,— с важностью в осанке и голосе сказал толстенький лекарь; а потом попросил городничего, чтоб велел он всем подальше отойти от больного.

Повел рукой градоначальник, ругнулся вполголоса — и почтительно отхлынула разнородная толпа. Возле Марка Данилыча остались Дарья Сергевна да еще чиновные люди и приказчики.

Стал лекарь на колени, вынул из кармана ящик с инструментами, одним ланцетом ловко разрезал рукав, другим кровь пустил. Тихо потекла из ранки совсем почти черная кровь.

— Скверно! — шепнул лекарь наклонившемуся к нему городничему.— Надо бы его домой перенесть. Носилки бы какие-нибудь,— прибавил он, обращаясь к приказчикам.

Василий Фадеев и еще трое пошли за носилками. Городничий спросил ставшего на ноги лекаря.

— Что с ним?

— Кондрашка! — равнодушно ответил врач, укладывая ланцеты.— Федулов,— сказал он, обращаясь к фельдшеру,— ступай в дом пациента, там и останешься, будешь дежурить у кровати... А что Карл Хрестьяныч дома?..— спросил он потом у будочника Маркелова, пришедшего на место не столько ради порядка, сколько из любопытства.

— С лягавой сукой, с Динкой, на заводь к Оке отбыть изволили,— буркнул чуть не во все горло городовой.

Городничий поднял кулак и примолвил своему подначальному:

— Что горло-то развязал? Скотина!.. На пожаре, что. ли, ты?

Оторопел будочник, стал втупик и вытянулся перед начальством в струнку.

Принесли носилки, что деланы для переноски дров. Василий Фадеев догадался навалить на них побольше трепаной пеньки, помягче бы лежать было хозяину. Бережно положили на носилки Марка Данилыча и тихо понесли в дом. Густой толпой повалил народ за носилками, пошли и чиновные люди. Дорогой, однако, они разошлись, каждый пошел восвояси. Дó дому проводили больного только лекарь да городничий. За ними двинулась было на смолокуровский двор толпа горожан и работных людей, но бдительный градоначальник не пустил их. Поставив у ворот Маркелова, он строго-настрого приказал ему не дозволять входить на двор никому из сторонних, опричь чиновных людей. Толпа остановилась перед домом Марка Данилыча, а мещанские парнишки с учениками уездного училища взлезли на забор, что стоял насупротив смолокуровского дома, и, как ворóны, расселись на нем. И того не потерпел градоначальник.

— По домам! — крикнул он таким голосом, каким командовал в сражении под Остроленкой, где ранен в руку, за что и получил место городничего.— А вас, пащенки,— прибавил он, обращаясь к мальчишкам,— всех велю забрать в полицию да таких горячих засыплю, что век будете меня помнить.

Слезли с забора мальчишки и разбежались врассыпную. Разошлись и взрослые, что от нечего делать глазели еще на дом Марка Данилыча, ровно на диковину какую.

— Слушай-ка ты, любезный,— сказал городничий Василью Фадееву, побежавшему было в аптеку за лекарством.— Ты ведь приказчик Марка Данилыча?

— Так точно, ваше высокоблагородие,— почтительно скинув картуз, вытянув шею и самодовольно улыбаясь, ответил Фадеев.

— Так вот что: сейчас распорядись, чтоб улицу против дома и против всего дворового места устлали соломой,— продолжал городничий.— Это для порядка. Во всех хороших городах и в самом даже Петербурге так делается, если занеможет знатный или богатый человек,— заметил градоначальник стоявшему возле лекарю.— Чтоб сейчас же устлали! — прикрикнул он Василью Фадееву.— А ежели через полчаса мое приказанье исполнено не будет, розгачей отведаешь. Шутить не люблю... Смотри ж, любезный, распорядись.

— Да вот я в аптеку прежде сбегаю,— начал было Фадеев, но городничий громко крикнул на него:

— Не умничать, делай, что начальство приказывает. В аптеку поспеешь, аптекарь за куликами охотится. Сию минуту распорядись — без соломы нельзя, это для порядка требуется!

И устлали соломой улицу, хоть она травой поросла и в целый день по ней разве две либо три телеги, бывало, проедут.

* * *

Не лучше Марку Данилычу. Правая сторона совсем отнялась, рот перекосило, язык онемел. Хочет что-то сказать, но только мычит да чуть-чуть маячит здоровой рукой. Никто, однако, не может понять, чего он желает. Лекарь объявил Дарье Сергевне, что, если и будет ему облегченье, все-таки он с постели не встанет и до смерти останется без языка.

Нежданно-негаданно нагрянула беда на Смолокурова. Какой еще горше беды? Какое богатство на долю человека ни выпади, какое ни будь у него изобилие, а нагрянет недуг да приведет с собой калечество, так и не-

сметное богатство выйдет хуже нищеты и всякой нужды. Пропал Марко Данилыч, пиши его вон из живых.

А в доме и по хозяйству все врознь поехало. Правду говорят старые люди: «хозяин лежит — весь дом лежит, хозяин с постели — все на ногах». А тут приходится лежать хозяину до той поры, как его в могилу уложат.

Всю жизнь Марко Данилыч никому не доверял вполне. ни на кого не полагался и в торговых и в других делах. От приказчиков да прислужников только и ждал, что обманов да воровства. И был в том прав. Никто не любил его, никто не был ему предан, каждый только и норовил поживиться на его счет. Подозрительный в каждой мелочи, ко всем недоверчивый, сам он вел торговые книги, никогда не бывало у него конторщика, сам все записывал, сам и переписку вел. В каком положенье остались у него дела, никто не знал. Никто не знал и о том, сколько у него наличного капитала, сколько и на ком в долгах, сколько сам он должен другим. Тяжко было Дарье Сергевне — за всем гляди, всем распорядись, все управь, охрани и за все будь в ответе. А тут приказчики просят распорядков, рабочие требуют расчетов, а у нее на руках и денег столько нет, чтоб со всеми разделаться. К сундуку с деньгами и бумагами она без Дуни не смеет прикоснуться, а Дуня бог еще знает когда домой воротится. Послала к ней Дарья Сергевна эстафету с известьем о внезапной болезни отца... Но с кем она поедет и как проедет такую даль по незнакомым местам? Чего не встретится ей на пути?.. Вконец растерялась Дарья Сергевна. Обратиться не к кому — никто не любил Смолокурова, а теперь каждый того еще опасался, что ежель поднимет его бог с одра болезни, так, пожалуй, добром с ним и не разделаешься — скажет, что обокрали его во время болезни, дела привели в расстройство. К кому в городе ни обращалась Дарья Сергевна за помощью, все уклонялись.

Уж после отправки к Дуне письма вспомнила Дарья Сергевна про Аграфену Петровну. Хоть в последнее время Дуня и переменилась к своему «другу любезному», стала к ней холодна и почти совсем избегала разговоров с ней, однако, зная доброе сердце Аграфены Петровны, Дарья Сергевна послала к ней нарочного. Слезно просила ее приехать к больному вместе с Иваном Григорьичем

и со всеми детками, самой съездить за Дуней, а Ивана Григорьича оставить для распорядков по делам Марка Данилыча...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В самый тот день, когда Марку Данилычу болезнь приключилась, за Волгой, у Патапа Максимыча, было шумное, веселое пированье. Принесла Прасковья Патаповна первого сыночка Захарушку, первого внучка Патапу Максимычу. Светел, радошен заволжский тысячник, радовался он великою радостью.

Когда бабушка повитуха показала ему новорожденного младенца, дедушка благословил его и вслух всем промолвил:

— Расти, Захарушка, вырастай, мой родимый, будь матери умней, будь отца дельней!

Василий Борисыч тут же был. Не по нраву ему были слова тестевы, но ведь он из его рук глядел, а потому, не разводя лишних слов, вздохнул и только промолвил вполголоса:

— Ох, искушение!

Полетели от Патапа Максимыча посланцы по всем сторонам — и в Нижний, и в Городец, и в Красную Рамень созывать друзей-приятелей на крестины, а сам он поехал за «проезжающим попом», жившим при городецкой часовне. Много гостей наехало в Осиповку — много навезли они Прасковье Патаповне родильных пирогов и каравайчиков [1]. Аграфена Петровна приехала с мужем и с детками, приехал перепелиный охотник, удельный голова Михайло Васильич в жалованном своем кафтане, прикатил из Нижнего дружок Патапа Максимыча Колышкин, со всех сторон пожаловали гости званые, почетные; не приехала, не пожаловала одна матушка Манефа. Ни слова не сказала она посланному, приезжавшему в Комаров звать ее на крестины новорожденного внучка, а когда вышел тот из игуменьиной кельи, остановила его в сенях мать уставщица Аркадия и гневно ему выгова-

[1] Родильнице знакомые замужние женщины приносят либо посылают сладкие пироги или сдобные каравайчики вроде пасхальных куличей.

ривала, что, дескать, видно с ума он спятил, затесавшись с таким зовом к игуменье.

— Нешто твой Патап Максимыч не знает, что инокиням на свадьбах да на кстинах быть не подобает?..— не в меру распалившись, кричала она на всю обитель.— С ума, что ли, вы сошли со своим хозяином!.. На̀ смех, что ли, он послал тебя? Вон, сейчас же вон из обители!.. Чтобы духом твоим не пахло здесь!..

И выгнала. Добродушная мать Виринея позвала было посланного к себе в келарню угостить как следует, но мать Аркадия и того не допустила. Досталось от нее и Виринее и всем подначальным матери-келарю послушницам. Так расходилась дебелая старица, что еще долго по уходе из обители несолоно хлебавшего посланца не вдруг успокоилась. И отчитала ж Аркадия Патапа Максимыча. Думать надо, что долго и много икалось ему.

Привезли в Осиповку попа городецкого, окрестил он в чапуринской моленной младенца Захария. В кумовьях Иван Григорьич был с женой удельного головы, а знаменитая повариха Никитишна за бабушку повитуху была.

Тотчас после крестин подан был крестильный обед. Сошлись в большой горнице все, кроме потаенного попа, родильницы, да больше года хворавшей и редко когда выходившей из боковуши Аксиньи Захаровны. Повариха Никитишна тоже не вышла к обеду, много было ей хлопот и в стряпущей и у больных. Проезжающего попа тотчас после крестин, прикрыв рогожкой [1], спровадили обратно в Городец. На всякий случай Патап Максимыч отложил, сколько надо, денег ради умягчения консисторских сердец, на случай ежели б свибловский поп Сушило подал заявление, что, дескать, повенчанный им в церкви купец Василий Борисов купно со своим тестем, торгующим по свидетельству первого рода, крестьянином Патапом Максимовым Чапуриным, главнейшим коноводом зловредного раскола, окрестили новорожденного младенца в доме означенного Чапурина в недозволенной правительством моленной при действии тайно проживающего при городецкой часовне беглого священника Иоанна Бенажавского. Денежки предусмотрительного Патапа Мак-

---

[1] Так обыкновенно старообрядцы возили беглых от церкви попов, чтоб не попались они в руки полиции.

симыча пошли куда следует и отвели бурю, воздвигнутую было враждебным попом Сушилой.

За столом хозяйничала богоданная дочка Патапа Максимыча Аграфена Петровна. И кругом стола за каждой переменой кушанья она обхаживала и гостей упрашивала, не обессудили бы хлеб-соль хозяйскую, кушали бы, что на стол поставлено, не бесчестили б усердного угощенья, чем бог послал. И все-то старозаветными приговорками она приговаривала, без коих наши прадеды куска хлеба, бывало, не съедят в гостях, пока не услышат их из ласковых уст хлебосольной хозяйки.

— Садитесь, гости дорогие, за скатерти бра́ные, за напитки пьяные, за хлеб, за̀ соль, за крестильную кашу да за курничок,— приговаривала Аграфена Петровна, усаживая гостей за обеденный стол.

— Уговор дороже денег,— подхватил Патап Максимыч, когда уселись все.— Слушайте хозяина, гости дорогие,— на собак покидайте одни кости, остальное сами доедайте, чтоб на столе у меня все было чистехонько. Теперича воля не ваша, а моя да хозяюшкина. Сами знаете, что по-старому святому завету гость хозяину не указчик — что поставят перед ним, то и кушай да хозяев во всем слушай. Ваше дело есть да пить, а наше дорогих гостей потчевать. Кланяйся, зятек, да за гостями приглядывай, пили бы хоть помаленьку да выпили все.

Курник поставили на стол. Отличилась Дарья Никитишна — такой спекла, что чем больше ешь, тем больше хочется. Ходит вкруг стола Аграфена Петровна, ласковые слова гостям приговаривает:

— Кушайте, гости, покушайте! Запросто, без чинов, чем господь послал. Приневольтесь еще маленечко, по другому кусочку курничка-то скушайте. Что перестали? Аль хозяйского хлеба-соли вам жаль?

— Распредовольны, сударыня, Аграфена Петровна,— молвил ей на ответ удельный голова, отирая бороду.

— А ты, дружище Михайло Васильич, хозяйке-то не супротивничай, ешь, доедай, крохи не покидай,— сказал Патап Максимыч.

— Нельзя, любезный друг, видит бог, невмоготу. Всего у тебя не переешь, не перепьешь,— тяжело отдуваясь, промолвил голова.

— А тебе бы, Михайло Васильич, да и всем вам, дорогим гостям, распоясаться, кушаки-то по колóчкам бы развесить,— сказал Патап Максимыч.— Зятек! Василий Борисыч! Сымай кушаки с гостей, вешай по колóчкам. Ну, архиерейский посол, живей поворачивайся.

Сняли гости кушаки, и всем облегчало. Сызнова пошло угощенье. И гости веселы, и хозяин радошен. А уху какую сварила Дарья Никитишна, буженину какую состряпала, гусей да индюшек, как зажарила — за какой хочешь стол подавай. Каждый кусок сам в рот просится. На славу вышел крестильный пир: и подносят частенько, и беседа ведется умненько.

Манефа к слову пришлась, и повелась беседа про обители.

— Как слышно?.. Что скитские дела? — спросил Сергей Андреич Колышкин у Патапа Максимыча.

— Ничего пока неизвестно,— отвечал Патап Максимыч.— Думать надо, по-старому все останется. Видно, только попугали матерей, чтобы жили посмирней. А то уж паче меры возлюбили они пространное житие. Вот хоть бы сестрица моя родимая — знать никого не хотела, в ус никому не дула, вот зá это их малéнько и шугнули. Еще не так бы надо. Что живут? Только небо коптят.

— А ведь я до сих пор хорошенько не знаю, что сделал генерал, что из Питера в скиты наезжал,— сказал Сергей Андреич.

— Только страху задал, а больше ничего,— ответил Патап Максимыч.— Пàчпорты спрашивал, часовни описывал, иконы, что там поставлены, строенья обительские — а больше ничего.

— Матери-то ублаготворили, видно?..— спросил Сергей Андреич.

— Ни-ни! — ответил Патап Максимыч.— Подъезжали было, первая сестрица моя любезная, да он такого им пару задал, что у них чуть не отнялись языки. Нет, пришло, видно, время, что скитам больше не откупаться. Это ведь не исправник, не правитель губернаторской канцелярии. Дело шло начистоту.

— А после его отъезда так-таки ничего и не вышло? — опять спросил Колышкин.

— Ровнехонько ничего, опричь того, что воспретили шатуньям со сборными книжками шляться,— сказал Па-

тап Максимыч.— Да этих чернохвостниц одной бумагой не уймешь: в острог бы котору-нибудь, так не в пример бы лучше было.

— Ну, уж и в острог! — вступился удельный голова.

— А для чего ж не в острог? — возразил Патап Максимыч.— Ведь они дармоедницы, мирские обиралы, ханжи, да к тому ж сплетницы и смотницы. За такие художества ихнюю сестру не грех и в остроге поморить.

— Они богу молятся за мир христианский,— заметила жена удельного головы.— Нам-то самим как молиться?.. Дело непривычное, нéумелое. У нас и дела, и заботы, и всё, а пуще всего не суметь нам бога за грехи умолить, а матушки, Христос их спаси, на том уж стоят — молятся как следует и тем творят дело нашего спасения.

— Молятся! Как же!.. Держи карман!.. Знаю я их вдосталь! — сказал на то Патап Максимыч.— Одна только слава, что молятся. У них бог — чрево... Вот что... Давно бы пора в порядок их привести. Что молчишь, зятек?..— с лукавой улыбкой обратился Патап Максимыч к Василью Борисычу.— Изрони словечко — ихнее дело тебе за обычай. Молви гостям, правду аль нет говорю.

— Трудно нà это что-нибудь сказать,— робко, уклончиво, сквозь зубы проговорил бывший архиерейский посол.— С какой стороны посмотреть.

— Гляди и толкуй прямо,— немного возвыся голос и слегка нахмурясь, сказал Патап Максимыч.— Чего вертеться-то? Прямо сказывай, без отлыниванья, без обиняков...

— Оно, конечно, ихней сестры много шатается,— переминаясь, заговорил было Василий Борисыч.— Однако ж, ежели взять...

— Чего тут еще «однако да однако»? — вспылил Патап Максимыч.— Тебя до сих пор хорошенько еще не проветрило. Все еще Рогожским да скитами тебе отрыгается. Никуда, брат, не годен ты — разве что в игуменьи тебя поставить... Хочешь на теткино место, на Манефино?

— Ох, искушение! — вполголоса, опуская глаза в тарелку, молвил Василий Борисыч.

— А право, знатная бы вышла из тебя игуменья,— смеясь, продолжал Патап Максимыч.— Стал бы ты в

обители-то как сыр в масле кататься! Там бы тебе ра́з по десяти на году-то пришлось крестины справлять. Право...

И раскатился Патап Максимыч громким хохотом на всю горницу.

И все мужчины хохотали, а женщины, потупивши глаза, молчали. Василий Борисыч с сокрушенным сердцем и полными кручины глазами одно твердил:

— Ох, искушение!

— Ей-богу,— продолжал свои глумленья развеселившийся Патап Максимыч.— А вот мы, отобедавши, в игумены тебя поставим. У канонницы иночество напрокат возьмем и как следует обрядим тебя... Бородишку-то платком завяжи, невеличка выросла, упрятать можно...

Пожалел Колышкин Василья Борисыча, перервал речи Патапа Максимыча, спросил у него, как скитницы, что перевезли строенья из скитов в город, распоря́дятся теперь, ежели нечего им бояться выгонки.

— Каждая по-своему распорядилась,— отвечал Патап Максимыч.— Сестрица моя любезная три дома в городу-то построила, ни одного не трогает, ни ломать, ни продавать не хочет. Ловкая старица. Много такого знает, чего никто не знает. Из Питера да из Москвы в месяц раза по два к ней письма приходят. Есть у нее что-нибудь на уме, коли не продает строенья. А покупатели есть, выгодные цены дают, а она и слышать не хочет. Что-нибудь смекает. Она ведь лишнего шага не ступит, лишнего слова не скажет. Хитрая!

— А другие как? — спросил Сергей Андреич.

— Одни продали, другие назад в скиты перевезли, иные внаймы отдали,— отвечал Патап Максимыч.— Оленевская мать Минодора под кабак кельи-то отдала, выгодным нашла. И теперь игумены с первой до последней ругательски ругают Манефу, что смутила их, запугала петербургским генералом и уговорила за́годя перевозить из скитов строенья. «Разорила, расстроила нас Манефа комаровская»,— в один голос кричат они. Ну, вот тебе и весь сказ. А теперь расскажи-ка ты мне, Сергей Андреич, не слыхал ли чего про Алешку Лохматого? Давно ничего про него я не слыхивал.

— В Самару на житье переехал,— ответил Сергей Андреич.— Дела ведет на широкую руку — теперь у него четыре либо пять пароходов, да, опричь того, салото-

пенный завод. Баранов в степи закупает, режет их в Самаре и сало вытапливает. По первой гильдии торгует, того и жди, что в городские головы попадет.

— Вот как! — промолвил Чапурин.— А про Марью Гавриловну что слышно?..

— Что Марья Гавриловна? Житьишко ее самое последнее,— сказал Колышкин.— За душой медной полушки не осталось. Все муженек забрал... Ситцевое платьйшко сшить понадобится, так месяца полтора у него клянчит о каких-нибудь трех рублишках... Мало того, в горничные попала к мужниной полюбовнице.

— Мамошкой, значит, обзавелся,— заметил удельный голова.

— Много у него их. И сам, пожалуй, не перечтет, сколько их у него перебывало,— с легкой усмешкой сказал Колышкин.— А на́большая одна... И красавица же!.. Мало таких на свете видано.

— Откуда ж он добыл такую кралю? — спросил Иван Григорьич.

— В приданство Марья Гавриловна принесла,— отвечал Сергей Андреич.— Молоденькая девчонка, Татьяной Михайловной звать.

— Не та ли уж, что у Марьи Гавриловны в Комарове жила? — спросила Аграфена Петровна.

— Она самая,— молвил Колышкин.

— Как же это? — вскликнула Аграфена Петровна.— Да ведь она души не чаяла в Марье Гавриловне. В огонь и в воду была готова идти за нее. Еще махонькой взяла ее Марья Гавриловна на свое попеченье, вырастила, воспитала, любила, как дочь родную! Говорила, что по смерти половину именья откажет ей. И вдруг такое дело!.. Господи! Господи!.. Что ж это такое?.. Да как решилась она?

— Зачались дела еще, кажется, с той поры, как только замуж вышла Марья Гавриловна,— сказал Сергей Андреич.— Сначала Татьяна от Алексеевых приставаний и́з дому хотела уйти, утопиться либо удавиться, а Марье Гавриловне не сказывала, что тому за причина. А тот не отстает и денег не жалеет. Крепилась, крепилась Татьяна Михайловна, наконец покорилась. Как у них это сделалось, знают одни они. А между тем Лохматов до последней нитки все перевел на свое имя и, как

только перевел, так во всей красе и развернулся. Марье Гавриловне ни копейки, а Татьяне шелковые платья да бархатные салопы на собольем меху. А Марья Гавриловна хоть бы словечко на то промолвила, хоть бы слезинкой на мужа пожаловалась...

— Как же это? Как же это так? Как могла Таня решиться на такое дело? — дрожащим от волненья голосом заговорила Аграфена Петровна.— Ну, не смогла устоять, не угасила постом да молитвой демонских стреляний, так как же можно было ей так обидеть благодетельницу свою, столько горя принести ей?..

— А вино-то на что? — перервал ее речи Колышкин.— Сперва шампанское да венгерское, потом сладенькие ликерцы, а потом дело дошло и до коньяка... Теперь не дошло ли уж и до хлебной слезы, что под тын человека кладет... Совсем скружилась девка, и стыд и совесть утопила в вине, а перед Марьей Гавриловной, в угоду любовнику, стала дерзка, заносчива, обидлива. Терпит Марья Гавриловна, пьет чашу горькую!

— Так-таки и прислуживает Таньке? Так-таки и живет Марья Гавриловна в своем дому, как работница? — волнуясь, спрашивала Аграфена Петровна у Сергея Андреича.

— Совсем как есть,— ответил Колышкин.— И одевает ее, и самовар приносит, и кофей варит, и постель стелет мужу с Татьяной. Совсем как есть работница. Еще удивительно, как бедная Марья Гавриловна из ума не выступила. Богу, слышь, только молится, а говорить — ни с кем ни слова не молвит.

— Бедная, бедная! — промолвила Аграфена Петровна.

— А я так полагаю, что глупая она бабенка и больше ничего,— вставил слово свое удельный голова.— Подвернулся вдове казистый молодец, крепкий, здоровенный, а она сдуру-то и растаяла и капитал и все, что было у нее, отдала ему... Сечь бы ее за это — не дури... Вот теперь и казнись — поделом вору и мука, сама себя раба бьет, коль нечисто жнет.

— Грех ее осуждать, Михайло Васильич,— вступилась Аграфена Петровна.— Нешто знала она, что будет впереди? Ежели б знала, не так бы делом повела... Из любви все делала, и потому не взыщутся ее грехи. В писании-то что сказано?.. Сказано, что любовь

много грехов покрывает. Даст богу ответ один Алексей.

— Так-то оно так,— отвечал голова,— а по-человечески судя, этак поступать бы ей не следовало. Что она теперь?.. Была богачка — стала нищая, была женщина почтенная, всеми уважена, а теперь хуже последней судомойки!.. Плоть-то уж больно распалила она тогда — вот что... Оттого и попала в кабалу негодному человеку. И хоть бы что-нибудь хорошего в нем было! Так ведь нет ничего. Вон теперь он сворованными у жены сотнями тысяч ворочает, а отцу с матерью поесть нечего. Не раз Христом богом старик Трифон просил сына о помощи. Ответа даже не выслал. А семья в разор разорилась, девки загуляли, сколько раз ворóта дегтем у них мазали [1]. Саввушка у Трифона меньшой сын — добрый паренек, смышленый, по всему хороший, и тот, по недостаткам родителей, мертвую запил, а теперь, слышь, в солдаты нанимается. А непутный Алексей швыряет тысячами, и горя ему нет, что родная семья вконец разорилась и из честного родительского дома вышел Содом и Гоморр... Не потерпит ему бог. Нельзя тому быть, чтоб не покарал он его в сем веке и в будущем.

Ни слова не сказал Патап Максимыч, слушая речи Михайла Васильича. Безмолвно сидел он, облокотясь на стол и склонив нá руку седую голову. То Настю покойницу вспоминал, то глумленье Алешки над ним самим, когда был он у него по делу о векселях. Хватил бы горячим словом негодяя, да язык не ворочается: спесь претит при всех вымолвить, как принял его Алешка после своей женитьбы, а про Настю даже намекнуть оборони господи и помилуй!

Вдруг перед честнóй беседой явилась знаменитая повариха, а теперь и бабушка повитуха Дарья Никитишна. В полушелковом темно-красном сарафане, в гарнитуровом холоднике́, в коричневом платке с затканными серебряными цветочками на голове, павой выплыла она в

---

[1] Повсеместный почти деревенский обычай — мазать дегтем ворота того дома, где живет зазорного поведения девушка. Это у крестьян считается величайшим оскорблением для всей семьи, а для девушки особенно. Ту, у которой мазаны ворота, замуж никто не возьмет.

горницу с уемистым горшком пшенной каши. С низким поклоном поставила она его перед Васильем Борисычем и такие речи примолвила ему по-старинному, по-уставному:

— Что туман нá поле, так сынку твоему помоленному, покрещенному счастье-талан на весь век его! Дай тебе бог сынка воспоить, воскормить, на коня посадить! Кушай за здоровье сынка, свет родитель-батюшка, опростай горшочек до последней крошечки — жить бы сынку твоему на белом свете подольше, смолоду отца с матерью радовать, на покон жизни поить-кормить, а помрете когда — поминки творить!

Взял ложку Василий Борисыч. А каша-то крутым-нáкруто насóлена, перцу да горчицы в нее понакладено. Съел ложку родитель, закашлялся, а бабушка Никитишна не отстает от него:

— Изволь, государь-батюшка, скушать все до капельки, не моги, свет-родитель, оставлять в горшке ни малого зернышка. Кушай, докушивай, а ежель не докушаешь, так бабка повитуха с руками да с ногтями. Не доешь, — глаза выдеру. Не захочешь докушать, моего приказа послушать — рукам волю дам. Старый отецкий устав не смей нарушать — исстари так дедами-прадедами уложено и нáвеки ими установлено. Кушай же, свет-родитель, докушивай, чтобы дно было наголо, а в горшке не осталось крошек и мышонку поскресть.

Хоть бежать, так в ту же пору Василь Борисычу. Да бежать-то некуда — горница людей полна, и все над ним весело смеются. С одной стороны держит его Никитишна, а с другой — сам Патап Максимыч стоит, ухвативши за плечо зятя любезного.

— Умел выкрасть жену, умел и сынка родить, доедай же теперь бабину кашу, всю доедай без остатка,— с хохотом говорил Патап Максимыч.

Кашляет Василий Борисыч, что ни ложка, то поперхнется. Давится, охает и шепчет любимое свое: «Ох, искушение!»

А гости хохочут, сами приговаривают:

— Ешь кашу, свет-родитель, кушай, докушивай! Жуй да глотай бабину кашу на рост, на вырост, на долгую жизнь сынка! Все доедай до капельки, не то сынок рябой вырастет.

Три пота слило с Василья Борисыча, покамест не справился он с крестильной кашей. Ни жив ни мертв сидит за столом, охает громче и громче, хоть в слезы да в рыданья, так в ту же бы пору. Но бог его не оставил, помог ему совладать с горшком.

— Теперь, свет-родитель, ложку изволь выкупать,— сказала Никитишна, ставя перед Васильем Борисычем подносик.

Выкупил ложку Василий Борисыч, положивши бабушке пятишницу.

Пошла Никитишна вкруг стола, обносила гостей кашею, только не пшенною, а пшена сорочинского, не с перцем, не с солью, а с сахаром, с вареньем, со сливками. И гости бабку-повитуху обдаривали, на поднос ей клали сколько кто произволил. А Патап Максимыч на поднос положил пакетец; что в нем было, никто не знал, а когда после обеда Никитишна вскрыла его, нашла пятьсот рублей. А на пакетце рукой Патапа Максимыча написано было: «Бабке на масло».

Съели кашу и, не выходя из-за стола, за попойку принялись. Женщины пошли в задние горницы, а мужчины расселись вокруг самовара пунши распивать. Пили за все и про все, чтобы умником рос Захарушка, чтобы дал ему здоровья господь, продлил бы ему веку на сто годов, чтоб во всю жизнь было у него столько добра в дому́, сколько в Москве на торгу́, был бы на ногу лего́к да ходо́к, чтобы всякая работа спорилась у него в руках.

— А тебе, Василий Борисыч,— обратился к светуродителю удельный голова,— пошли господь столько сынков, сколько в поле пеньков, да столько дочек, сколько на болоте кочек, и всем вам дай господи, чтоб добро у вас вот этак лилось.

И выплеснул стакан пунша на пол.

— Зачем же столько? — в смущенье и замешательстве тихо и робко промолвил Василий Борисыч.— Этак-то уж не очень ли много будет?

— А за каждого ребенка тебе по сту палок,— прибавил к пожеланьям головы маленько подгулявший Патап Максимыч.

— За что ж это? — стал было говорить в защиту Василья Борисыча Михайло Васильич.

— Дураков не плоди. И без того от них на свете проходу нет,— сказал Патап Максимыч.— Ведь сын по от-

цу — значит, дураков сын и сам дурак будет... А наш певун разве не дурак?.. К какому делу он пригоден? Петь, да в моленной читать, да еще за девками гоняться, только и есть у него; на другое ни на что не годится. Прасковья-то у меня плоха, дрыхнуть бы ей только, да и она, хоть и сонная дура, а раза четыре драла мужу глаза за девок-то. По-моему, выстегать бы его хорошенько, чтоб ума прибыло. Да уж когда-нибудь дождется он у меня.

Все захохотали, а Василий Борисыч только вздыхает да под нос шепчет себе:

— Ох, искушение!

— Нет, посудите в самом деле, гости дорогие,— продолжал Патап Максимыч, поставив локти на стол и положив бороду на ладони.— Думал я спервоначалу, что парень он толковый. Помните, как он при вашей бытности, на сорочинах покойницы Насти, расписывал про народные нужды и промыслы по разным местам?.. Любо-дорого было послушать. Помнишь, Михайло Васильич, при тебе тогда я его уговаривал заняться делом — на Горах промысла заводить. Денег давал и во всем полную доверенность, бросил бы только чернохвостниц да наплевал бы на своих посконных архиереев. И согласился было он, шесть недель только сроку просил. Так нет, келейницы-то, видно, уж больно тянули его к себе. А как женился и пришлось ему пошабашить и со скитами, и с Рогожским, и с шатущими архиереями, подумал я тогда: «Слава тебе, господи, выплывает человек на вольную воду, дурости покидает, за разум берется». Не тут-то было. Языком мы с ним города берем, а подойдет дело, сейчас и отлынивать. На поверку вышло, что мой Василий Борисыч ни на что не годен — только и знает что с девками петь да по лесочкам меж кусточков с ними валандаться. Кажись бы, маленький, да приземистый, и слабенек, и жиденек, что ивовый прут, поглядеть, кажись, не на что, а по женской части ух какой ходок. Ни одной проходу не даст. На что работница Матрена и ряба и неуклюжа, вот что кушанья-то носила сюда, больше на черта, чем на девку похожа, и ту в покое не оставил. Теперь запал ему в скиты ход, а то бы у него по честны́м обителям и в самом деле было сынков, что пеньков, а дочек, что кочек. Правду аль нет говорю я тебе, зять ты мой любезный Василий Борисыч?

И, лукаво прищурив глаза, насмешливо поглядел Патап Максимыч на Василья Борисыча, а под тем стул, ровно железный да каленый. Так бы и вскочил, так бы и побежал из горницы вон, да как убежишь? И стал он безответен.

Тесть из зятя только веревок не вил, был у него Василий Борисыч во всей власти и на всей его воле. И никоим образом нельзя было Василью Борисычу себя высвободить. Уйти из тестева дома все одно что руки на себя наложить. После венчанья у попа Сушилы из прежних друзей-приятелей никто к дому близко его не подпустит, и всяк будет радехонек какую-нибудь пакость ему сделать. Нечего делать, покоряйся судьбе, терпи попреки от тестя, безответно принимай издевки и насмешки, а сам не смей и рта разинуть. Давно клянет себя Василий Борисыч за сладкую ночку в лесочке улангерском, и ругательски ругает Петра Степаныча с Фленушкой, что ради потехи окрутили его чуть не насильно с Прасковьей Патаповной.

* * *

Колокольчик послышался.

— Кого леший несет? — с гневом, с досадой неистово вскрикнул Чапурин.— Не исправник ли почуял, что мы пуншиком забавляемся, аль не к тебе ль из удельной конторы, Михайло Васильич?

— Некому меня разыскивать,— ответил голова.— К тебе, должно быть, какой-нибудь запоздалый гость.

— Некому ко мне быть, да еще с колокольцами,— молвил Патап Максимыч.— Гости мои все налицо. Должно быть, кто-нибудь незваный-непрошеный. Испортит нашу беседу, окаянный.

Тележка, запряженная почтовыми лошадьми, остановилась у ворот Патапа Максимыча. Бросились к окнам — нет, не исправник приехал, не из удельной конторы, а какой-то незнакомый человек в синей сибирке сборами назад и в суконном картузе. Не то городской мещанин, не то купец небойкого полета.

— А что, старичок почтенный,— спросил приехавший у сидевшего возле ворот Пантелея,— не здесь ли Аграфена Петровна из Вихорева?

— Здесь,— отвечал Пантелей,— а тебе на что ее?

— Письмецо есть,— сказал приезжий.— Из смолокуровского дома от Дарьи Сергевны. Наспех послан. Несчастье у нас случилось.

— Какое? — вскрикнул из окна Патап Максимыч.— С кем?

— С самим. С хозяином, значит, с нашим, с Марком Данилычем,— отвечал посланный.

— Помер? — спросил Патап Максимыч.

— Помереть не помер, а близко того,— сказал посланный.— Рука, нога отнялись, рот перекосило, слова не может сказать.

— Ступай в горницу,— сказал Патап Максимыч, и посланный пошел на зов.

Аграфена Петровна пришла из задней и стала читать письмо.

— Ах, господи, господи! Вот беда-то!.. Бедная ты моя Дунюшка! — говорила она, читая.

— Ты, любезный, ступай покамест в подклеть,— сказал посланному Патап Максимыч.— С дороги-то и выпить и закусить не лишнее. Ступай — там напоят и накормят тебя.

Когда тот вышел, Аграфена Петровна передала письмо мужу, и тот прочел его вслух.

Извещая о болезни Марка Данилыча, Дарья Сергевна писала о своей беспомощности и о том, что Дуня все еще не бывала из Рязанской губернии от Луповицких и когда воротится, не знает. Молила, просила Дарья Сергевна Аграфену Петровну съездить за ней в Луповицы, слегка намекнув об опасности для Дуни, у тех-де господ завелась какая-то тайная вера, та, что в народе слывет фармазонскою, и боязно ей, чтобы Дуню они туда не своротили. Ивана Григорьича просила Дарья Сергевна приехать к безгласному, недвижимому Марку Данилычу вступиться в его дела и научить ее, как чем надо распорядиться и как в доме порядок держать, чтобы Дуне не потерпеть убытков. «Все от большого да малого только и норовят теперь по сторонам добро тащить — каждому лакомо поживиться достатками Марка Данилыча. И приказчики, и рабочие, и городничий с городским головой, и стряпчий с секретарями, все, у кого нет совести, всячески стараются обобрать сироту». Ответ Дарья Сергевна просила прислать с тем же посланным, написала бы только Аграфена Петровна, приедут они или нет, и еже-

ли согласны Дуне порадеть, так, сколь возможно, поспешали бы.

Вслух прочел письмо Иван Григорьич. Все молча призадумались, нежданное известье озадачило всех. Каждый подумал: «Все под богом ходим, со всяким то же может случиться».

Долгое было молчанье. Наконец, Патап Максимыч такую речь повел:

— Дело такое, что надо спешить. Вера там какая-то тайная, городничий с секретарями — все это вздор да пустяки, женские выдумки. Главная причина тут — болезнь Марка Данилыча. Судя по тому, как отписывает Дарья Сергевна, кровяной удар ему приключился, попросту говоря — пострелом его пошибло. Он же такой плечистый да короткошея, с такими часто это бывает. Без языка, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может — навряд подняться ему. Не молвив ни словечка, так и покончится. Страшен этот недуг — человек все видит, все слышит, все понимает, а не может слова сказать. Подумайте, каково ему, ежель видит он в доме беспорядок, понимает, что добро его врознь тащут, а сам ни языком, ни рукой двинуть не может. Хуже смерти, особенно такому горячему человеку, как Марко Данилыч. И ко всему этому дочери дома нет. А он-то всю свою жизнь только для нее работал и трудился... И тут на его глазах, может быть, станут грабить скопленное ей именье!.. Такой муки, пожалуй, и на том свете не будет. Пожалеть надо его по человечеству. Беспременно поезжай к нему, Иван Григорьич, завтра же чем свет поезжай.

— Нельзя мне, Патап Максимыч, никак невозможно,— отвечал Иван Григорьич.— Неотложные дела приспели. На той неделе поярок привезут ко мне, надо будет самому его принять, без своей-то бытности как раз обуют в лапти. А ведь это на целый нá год. Сам рассуди.

Замолчал Патап Максимыч. Гости судят да рядят, как бы помочь Смолокурову, а он никому ни словечка.

Долго ль, коротко ли гости меж собой разговаривали, а Патап Максимыч сидел, нахмурившись, как осенний день, в стороне от других, у окошка, молчал он и, не слушая разговор, свою думу думал.

«Жаль беднягу!.. Вживе, а не жилец. Растащут его добро. И будет все видеть, а сделать ничего не сможет.

Вот мука-то!.. Дарья Сергевна что сделает? А такая беда ведь до всякого может дойти. И со мной может случиться и со всяким другим — все по́д богом, всем надо помереть, избави только господи от такой кончины... Страшно и подумать... Ни в живых, ни в мертвых... Конечно, доведись до меня — у меня есть и друзья и приятели. Хоть на зятя надежда и плоха, зато Иван Григорьич, Сергей Андреич, Михайло Васильич в обиду домашних не дадут, сохранят все как следует. А у него хоть бы одна душа. Приятелей, пожалуй, и много, да друга нет, а без друга человек все одно, что сирота. На пир, на бражку приятелей, что мух налетит, а при горе, при беде один друг придет... Надо помочь Марку Данилычу. Друзьями мы с ним никогда не бывали, а знакомство и хлеб-соль водили. Ивану Григорьичу отлучиться нельзя, так сам я поеду. Груню прихвачу, пущай за Авдотьей Марковной едет».

А меж гостями разговоры про Марка Данилыча идут да идут. Всяк бы рад помочь, да кому недосужно, кому нездоровится, а кто мало знакомства имеет со Смолокуровым.

— Груня, сряжайся,— сказал Патап Максимыч.— Завтра утром со мной поедешь. Ребятишки с отцом останутся, я буду при болящем, а ты съездишь за Авдотьей Марковной. Так делу быть.

— Тебе-то что? — молвил удельный голова.— Тебе-то из-за чего беспокоиться?

— Из-за того, что он беспомощен! По-человеческому, Михаил Васильич, надо так,— подняв голову и выпрямясь всем станом, сказал Патап Максимыч.— А ежели мне господь такую же участь сготовил? Горько ведь будет, когда обросят меня и никто не придет ни с добрым словом, ни с добрым делом!..

— В таком разе приказчика послал бы, а то ни с того ни с сего самому трястись,— сквозь зубы проговорил удельный голова.

— А разве он на свою долю не потащит чего-нибудь? — сказал Патап Максимыч.— Все приказчики работаны на одну колодку — что мои, что твои, что Марка Данилыча, не упустят случая, не беспокойся.

— Да у тебя и Анисья Захаровна в болезни и дочь в постели лежит. Как можно тебе дом покинуть? — продолжал Михайло Васильич.

— Зять останется дома,— сказал Патап Максимыч.— На столько-то хватит у него умишка, чтоб больных сторожить. Опять же Марко Данилыч не за морями — отсюда всегда можно весточку дать. Да что переливать из пустого в порожнее? Дело решено, я так хочу, и больше говорить нечего. Сбирайся, Груня... А где повариха наша разлюбезная?.. Эй, сударыня Дарья Никитишна, подавай-ка голубушка, холодненького... А вы, гости дорогие, чару выпивать, а друзей не забывать... Подь, Грунюшка, сряжайся — сборы твои бабьи — значит, не короткие, не то что у нашего брата — обулся, оделся, богу помолился, да и в кибитку.

Ни слова не сказала Аграфена Петровна, даже с мужем словечком не перекинулась. Тятенькин приказ ей все одно, что царский указ. Молча пошла в задние горницы укладываться.

Принесла Дарья Никитишна холодненького, разлила его по стаканчикам.

— Дай бог нашему дитяти на ножки стати, дедушку величати, отца с матерью почитати, расти да умнеть, ума-разума доспеть. А вы, гости, пейте-попейте, бабушке кладите по копейке, было б ей на чем с крещеным младенчиком вас поздравлять, словом веселым да сладким пойлом утешать.

Так проговорила Никитишна старорусскую крестинную поговорку, а проговорив, низко поклонилась на четыре стороны.

А после того стала вино разносить. Сначала поднесла молчавшему Василью Борисычу, потом дедушке новорожденного, а затем гостям по их старшинству. И опять на поднос деньги ей клали, хоть и не столько, как за кашу. Опорожнили гости стаканчики, хозяину мало того.

— Наливай, еще наливай, старый верный друг, неизменное ты копье мое, Дарья Никитишна,— говорил Патап Максимыч бабушке-поварихе.— Наливай, хозяйского добра не жалеючи,— седни загуляю, завтра в путь-дороженьку!.. Самоварчик бы теперь хорошо, да еще бы пуншика!.. Ступай, зятек,— не по твоему разуму беседа здесь идет, подь-ка лучше в подклеть да самовар раздуй — спасиба от тестя дождешься за то.

— Ох, искушение! — тихонько молвил Василий Борисыч и, склонив головушку, пошел медленными стопами

творить тестеву волю. С той поры как Патап Максимыч уверился, что от рогожского посла все одно что от козла — ни шерсти, ни молока, Василий Борисыч, кроме насмешек, ничего не слыхал от него. И пикнуть не смел перед властным тестем.

На другой день после крестин не совсем еще обутрело, и осенний туман белой пеленой расстилался еще по полям, по лугам и болотам, как Патап Максимыч, напившись с гостями чаю и закусивши расставленными Никитишной снедями, отправился в путь. В то же время выехали из Осиповки удельный голова с женой, Сергей Андреич Колышкин и другие гости. Остались Иван Григорьич с детьми да Никитишна. Проводя жену, Иван Григорьич сел в боковушке за счетные книги, а в передних горницах остался один Василий Борисыч. И грустно ему было и досадно. Давно ли все старообрядство почитало его за вели́ка человека, давно ли в самых богатых московских домах бывал он дорогим, желанным гостем, давно ль везде, куда ни являлся, не знали, как ему угодить и как доставить все нужное в его обиходной жизни, и вдруг — стал посмешищем!.. Бывало, считали его одним из умнейших людей, а теперь он — шут, скоморох. Бывало, слово вымолвит — и дивятся собеседники его знаниям и мудрости, и пойдет по людям сказанное слово, а с ним и слава о нем, как о надежде древлего благочестия, а теперь — даже тестевы токари да красильщики над ним насмехаются. Попав в среду трудовых людей, красноглаголивый рогожский вития почуял себя чуждым для них и совсем лишним человеком. И тоска обуяла его, такая тоска, что хоть руки наложить на себя. Бежать, воротиться к старым друзьям и поклонникам?.. Но запали пути в среду прежнюю, те люди, что недавно на руках его носили, клянут теперь как отступника, как изменника. До ворот никто не допускает его... Прискорбна душа у Василья Борисыча. Один-одинешенек бродит он по просторным горницам, распевает вполголоса «Всемирную славу» да иной раз, идя мимо стола, где еще стояли графинчики да бутылочки, с горя да с печали пропустит красовулю [1].

---

[1] *Красовуля* — монастырская чаша, стопа, большая кружка.

* * *

Гости Патапа Максимыча один за другим по сторонам разъехались. Один Колышкин доехал с ним вместе до губернского города. Там у него и пристал Патап Максимыч с Груней, там и дожидался утра, когда шедший вверх по Оке пароход должен был отваливать.

Жена Колышкина была дома. Только что воротилась она от вятских сродников, где часто и подолгу гащивала. Впервые еще увиделась с ней Аграфена Петровна. Не больше получаса поговорили они и стали старыми знакомыми, давнишними подругами.. Хорошие люди скоро сходятся, а у них у обеих — у Марфы Михайловны и Аграфены Петровны — одни заботы, одни попеченья: мужа успокоить, деток разуму научить, хозяйством управить да бедному по силе помощь подать.

— Погляжу я на Патапа Максимыча,— сказала Марфа Михайловна.— И весел он кажется и разговорчив, а у него что-то на душе лежит. Горе ль его крушит, али забота сушит?..

— Горя не видится, а заботы много! — ответила Аграфена Петровна.— Вот теперь к Марку Данилычу едем. При смерти лежит, надобно делам порядок дать, а тятенька его дел не знает. Вот и заботно.

— Давеча он говорил об этом и про то говорил, что вам куда-то далеко надо за дочкой Смолокурова съездить,— молвила Марфа Михайлована.— Что ж, эти Смолокуровы сродники будут вам?

— Нет,— ответила Аграфена Петровна.— Ни родства, ни свойства, да и знакомы не очень коротко. Да ведь при больном нет никого присмотреть за делами. Потому тятенька и поехал.

— Какой он добрый, какой славный человек! — вскликнула Марфа Михайловна.— Вот и нам сколько добра сделал он, когда Сергей Андреич пустился было в казенные подряды, из беды нас вызволил [1]. Тогда еще внове была я здесь, только что приехала из Сибири, хорошенько и не понимала, какое добро он нам делает... А теперь каждый день бога молю за него. Без него идти бы нам с детками по миру. Добрый он человек.

---

[1] *Вызволить* — выручить, освободить. Слово сибирское.

— Да,— примолвила Аграфена Петровна.— Вот хоть и меня, к примеру, взять. По десятому годочку осталась я после батюшки с матушкой... Оба в один день от холеры в больнице померли, и осталась я в незнакомом городу одна-одинешенька. Сижу да плачу у больничных ворот. Подходит тятенька Патап Максимыч. Взял меня, вспоил, вскормил, воспитал наравне с родными дочерьми и, мало того, что сохранил родительское мое именье, а, выдавши замуж меня, такое же приданое пожаловал, какое и дочерям было сготовлено.

И засверкали слезы на ресницах Аграфены Петровны. Эти слезы и простой, бесхитростный рассказ про «доброго человека» растрогали Марфу Михайловну. Не знала еще она, что сделал Патап Максимыч для богоданной дочки своей. «Хорошо на твоем свете, господи,— подумала Марфа Михайловна,— ежели есть еще такие люди на нем».

Вечером долго сидели за чайным столом. Шли разговоры веселые, велась беседа шутливая, задушевная. Зашла речь про скиты, и Патап Максимыч на свой конек попал — ни конца ни краю не было его затейным рассказам про матерей, про белиц, про «леших пустынников», про бродячих и сидячих старцев [1] и про их похожденья с бабами да с девками. До упаду хохотал Сергей Андреич, слушая россказни крестного; молчала Аграфена Петровна, а Марфа Михайловна сказала детям:

— Прощайтесь-ка, детушки, ложитесь спать. Пора.

Старшие, почти уж подростки, вздумали маленько поспорить, говорили, что рано еще и спать им не хочется, но Марфа Михайловна, с доброй кроткой улыбкой любящей матери, строго посмотрела на них и молча пальцем погрозила. С грустным видом дети стали прощаться. А больно хотелось им еще послушать смешных россказней Патапа Максимыча.

— Этого слушать им еще не годится,— скромно улыбаясь, молвила Марфа Михайловна по уходе детей.— Теперь говорите, Патап Максимыч, из детей мы вышли, а я с Аграфеной Петровной не красные девушки, ушки

---

[1] *«Лешими пустынниками»* зовут беглецов, живущих по заволжским, вятским и пермским лесам, под видом искания отшельнической жизни и с целию душевного спасения.

золотцо́м у нас не завешаны, обе были на божьем суде [1]. А все-таки вы уж не очень...

— Вот те и на! Вот и попал ерш в вёршу... А мне, признаться, и невдомек,— вскликнул Патап Максимыч.— Ну, не взыщите на старике, матушка Марфа Михайловна. Ни вперед, ни после не буду. А что поначалили меня, за то вам великий поклон.

И поклонился ей в пояс.

— Полноте, Патап Максимыч. Я ведь это только для деточек,— сказала Марфа Михайловна.— Молоды еще, со́блазнов пока, слава богу, не разумеют. Зачем прежде поры-времени им знать про эти дела?.. Пускай подольше в ангельской чистоте остаются. По времени узнают все и всего натерпятся. А память о добром детстве и на старости лет иной раз спасает от худого.

— Верно ваше слово, Марфа Михайловна,— сказал Патап Максимыч и, обратясь к Сергею Андреичу, примолвил: — Ну их к бесам старцев шатунов да скитских матерей. Зачни про них говорить, как раз на грех наскочишь. Ей-богу.

— Как же это, крестный, ты говоришь об них так непочтительно и всегда готов над ними надругаться, а сам держишься ихней веры?..— спросил его Сергей Андреич.

— Человек в чем родился, в том и помри,— сказал на то Патап Максимыч.— Веру переменить, не рубаху сменить. А ежели до́ бога, так я таких мыслей держусь, что, по какой вере ему ни молись, услышит он созданье рук своих. На что жиды — плут на плуте, мошенник на мошеннике, и тех господь небесной манной кормил. Без конца он милосерд.

— А ежели держишься ты того, в чем родился, так зачем же издеваешься над своим духовным чином? — спросил Сергей Андреич.

— Для́ того что набитые дураки все они,— отвечал Патап Максимыч.— Ежели правду сказать, умного меж ними и не бывало. Да к тому — каждый из вора кроён, из плута сшит, мошенником подбит; в руки им не попадайся, оплетут, как пить дадут, обмишулят, ошукают [2]. Теплые ребята, надо правду говорить.

---

[1] *«Принять закон», «идти на суд божий»* — венчаться.

[2] *Обмишулить* — обмануть, обсчитать, *ошукать* — обманом кого провести.

— Коли плуты, так не дураки,— заметил Сергей Андреич.— Плутóв дураков не бывает.

— Этого не скажи,— молвил Патап Максимыч.— Немало есть на свете людей, что плутовства и обманства в них целые горы, а ума и с наперсток нет. Таких много... Из самых даже первостатейных да из знатных бывают. У иного, пожалуй, ум-от и есть, да не втолкан весь. Вот что, дружище!

— Значит, и из ваших духовных сколько-нибудь умных наберется же? — молвил Сергей Андреич.

— Мало,— ответил Патап Максимыч.— Возьми хоть моего зятька. Гремел, по разуму первым человеком считался. А раскуси — дурак дураком. Что на уставах-то собаку съел, так что ж тут доброго да полезного? Пустошь, боле ничего. «Пролога» да «Кормчие», «Златоусты» да «Маргариты», а лошади не умеет запрячь, рожь от овса не отличит. А на дело его и не спрашивай. Дармоед, тунеядец, больше ничего. И все они такие. Сестрицу мою возьми, Манефу,— славят умницей, а я не возьму греха на душу, этого не скажу, потому что знаю ее вдоль и поперек. Ловка, хитра — это так, хозяйка домовитая — и это так, а чтоб ума палата у ней была — это, брат, шалишь-мамонишь! Лукава, и лукавство ее за ум почитают. А что лукава, так лукава; одни уста и теплецом и холодком дышат, глаза зараз смеются и плачут. Подъехать под кого, масленым блином кому в рот залезть, угодить угодному и неугодному — нá это ее взять, тут она великая мастерица. Так разве это ум? Что минеи-то наизусть знает от доски до доски, так и это не ум. Ум, Сергей Андреич, в том, чтобы жить по добру да по совести и к тому ж для людей с пользой. А они что? Богу, что ли, в самом деле служат? Как не так! Служба-то у них — работа прибытка ради, доходное ремесло, больше ничего. Как бондарь долбилом — так попы да матери кадилом деньгу себе добывают. Всяк из них спасается, да больно кусается — попадись только в лапы. Вериги на плéчах, а черт на шее... Ну их к шуту!.. И говорить не хочу... Не люблю паскудных!..

— А скажи ты мне, крестный, по совести: как ты нашу веру разумеешь? Как рассуждаешь об ней, ежель уж так про свою говоришь? — погодя немного, спросил у Чапурина Сергей Андреич.

— Про великороссийскую то есть? — молвил Патап Максимыч.

— Да, про нашу, про великороссийскую,— сказал Колышкин, пристально гля́дя ему в глаза.

— По правде сказать тебе, по совести? — понизив голос, начал было говорить Патап Максимыч, но то́тчас же смолк и немного призадумался Потом, с минуту помолчав, так продолжал: — Видишь ли, Сергей Андреич, хоша я не богослов и во святом писании большой силы не имею, однако ж так думаю, что вера Христова и у нас, и у вас — одна. Обе чисты, обе непорочны, и обе спасительны. И нам грех наносить хулу на великороссийскую, и вам не спа́сенье нашу хулить. А признаться: сдается мне, что ваша-то маленько поправедней будет. Это так. Что наши попы да скитницы ни толкуй, а я верно говорю. Да и разница-то у нас ведь только в обряде. Так аль нет?

— Конечно, все несогласие в обряде,— сказал Сергей Андреич.— А как, по-твоему, обряд-от где правильнее?

— Обряд-от? Да ведь обряд не вера. Что человеку одёжа, то вере обряд,— сказал Патап Максимыч.— Кто к какому обряду сызмальства обык, того и держись. Так, по моему рассужденью, выходит.

Мало погодя продолжал он:

— По душе сказал я тебе, Сергей Андреич, как перед истинным богом, что великороссийская праведней нашей. Церковь, слышь, говорю, а не вера; вера у нас одна. Много и у вас по церковному делу слабостей, не меньше их и у нас. У вас люди слабоваты, у нас покрепче. Про господ поминать не стану, а по купечеству возьми, даже из нашего брата иных — из крестьян, кои побогаче... Ежели следует он великороссийской, пост ли нарушить, богу ль не помолиться, восстав от сна или на сон грядущий, в праздник ли у службы не побывать — ему нипочем. А у нас не так; есть, пожалуй, и в нашем согласе, что в среду молока не хлебнут, а молочницу и в велику пятницу не пропустят; а все-таки насчет устава крепки и они. Попов взять: ваших не любят за то, что больно уж жадны и притязательны; за нашими этого поменьше, потому что содержание от обче́ства им большое, зато с первого до последнего попы у нас горькие пьяницы. Ваши попы брак честно содержат, про безобразия их по этой части вовсе почти не слышно, а нашим без судару-

шек ровно и жить невозможно. Теперь вот у нас архиереи завелись, и с первых же годов пошла вражда между ними. Анафемами, отлученьями да изверженьями друг на друга так и сыплют; у вас архиереи тоже не с неба сошли, такие же человеки, а этого не бывает. А отчего? Ну-ка, скажи, отчего?

— Оттого,— отвечал Сергей Андреич,— что ваши архиереи люди неученые, а у нас неученого не то что в архиереи, и в попы не поставят.

— Не так,— возразил Патап Максимыч.— В том сила, что у вас надо всеми духовными есть законная власть. У вас, ежели чуть кто зашумаркал,— в Соловки либо в Суздаль, а наших кто и в кое место сошлет? Безначалие — вот где беда. До чего ни доведись, до духовного ль, до мирского ль, из безначалья да своевольства толку не будет никогда. Поставили бы над нами крепкую власть, и у нас бы все пошло по-хорошему. Одного только — законной власти нам желательно. Без нее все стало ни на что не похоже: друг дружку проклинают, предают анафеме, и каждый в свою дуду дует... На секты пошли оттого делиться, на толки да на согласы, и не стало в старообрядстве ни любви, ни единенья... Всяк умствует посвоему, и до какой чепухи ни дойдет, все-таки отыщет учеников себе, да таких, что на костер либо на плаху пойдут за бредни своего учителя... И вот расползлись теперь старообрядцы, что слепые котята от матери, во все стороны. До того дошло, что в иной избе по две да по три веры — отец одной, мать другой, дети третьей,— у каждого иконы свои, у каждого своя посуда — ни в пище, ни в питье, ни в молитве не сообщаются, а ежель про веру разговорятся, то́тчас проклинать друг дружку. А все оттого, что власти нет.

— Да какой же вам власти? Двери в церковь, где эта власть есть, открыты,— сказал Сергей Андреич.— А ежели есть сомненье насчет обряда, в единоверие ступай — там ваш обряд твердо соблюдается.

Не ответил на это ничего Патап Максимыч, и после того разговор не ладился больше. Как ни старался Колышкин своротить беседу на другое, Чапурин ответил двумя-тремя словами да потом и смолк. Ужинать подали, и за ужином все время молчал.

На другой день рано поу́тру уехал он от Колышкина, торопясь, не опоздать бы на пароход.

* * *

Безгласен и недвижим лежал Марко Данилыч, когда, разувшись, чтоб не стучать сапогами, осторожно вошел в его спальню Патап Максимыч. Узнал его больной, чуть-чуть протянул здоровую руку, что-то сказать хотел, но из уст его исходило только дикое, бессмысленное мычанье. Взял его Патап Максимыч за̀ руку, и показалось ему, что она маленько вздрогнула и больной чуть заметно пожал его руку. Устремленный на приятеля здоровый глаз сверкал радостью, и слезы сочились из него. Здоровой рукой и взглядом указал Смолокуров Патапу Максимычу на стоявший возле железный сундук и после того себе под подушку. Догадался Чапурин, что там ключи у него спрятаны.

— Один я не вскрою,— громко сказал Патап Максимыч.— Другое дело, когда будет налицо́ Авдотья Марковна... И тогда надо будет вскрыть при сторонних, а еще бы лучше при ком из начальства, наветов бы после не было.

Больной выказал недовольство решеньем Патапа Максимыча, но тот продолжал:

— Сам не хуже меня знаешь, Марко Данилыч, каковы ноне люди. Конечно, Авдотья Марковна не скажет ни слова, а не сыщется разве людей, что зачнут соро́чить, будто мы вот хоть бы с Дарьей Сергевной миллионы у тебя выкрали?.. Нет, без сторонних вскрывать нельзя. Подождем Авдотью Марковну. Груня сегодня же поедет за ней.

— Нельзя мне ждать, Патап Максимыч,— тихо промолвила Дарья Сергевна.— Рабочие расчетов требуют, а у меня всего-навсего тридцать рублей. Как можно дожидаться Дунюшки?.. И то работники бунт подняли, спасибо еще городничему — присмирил их.

— Не говорите,— шепнул ей Патап Максимыч.— Он все слышит и понимает.

— Да как же без денег-то, Патап Максимыч? Ведь у меня послезавтра в дому копейки не останется,— на каждом слове всхлипывая, чуть слышно промолвила Дарья Сергевна.

— Не беспокойтесь,— сказал Чапурин.— Деньги будут. Не к тому я сундук поминал, чтоб деньги вынимать, а надо бы знать, кому сколько платить, с кого получить

и в какие сроки. Да мало ль каких делов там найдется — а нужно, чтобы все было на описи.

Марко Данилыч, видимо, был тронут нежданным приездом Патапа Максимыча. Много и сильно чувствовал он, но ни мыслей, ни чувств передать не мог. Один лишь слезящийся глаз говорил, что больной все понимает.

Выйдя из спальни, Патап Максимыч с Груней и с Дарьей Сергевной сел в той горнице, где в обычное время хозяева чай пили и обедали. Оттуда Марку Данилычу не слышно было их разговоров.

Стол был уставлен кушаньями, большей частью рыбными, стояли на нем и бутылки с винами и с той самой вишневкой, что посылал Марко Данилыч хивинскому царю для выручки брата из плена.

— Как это вы вздумали посетить нас при таких наших горестях? — говорила Дарья Сергевна, с любовью и благодарностью глядя на гостя.

А он в первый раз еще был в доме у Марка Данилыча, да и Марко Данилыч ни в Осиповке, ни в Красной Рамени у Чапурина не бывал никогда. Были в знакомстве, но таких знакомств у Патапа Максимыча было многое множество. Хлеб-соль меж собой водили, но всегда где-нибудь на стороне.

— В гости приехал,— с улыбкой промолвил Чапурин.— Груня у меня была, когда получила ваше письмо. Крестины мы справляли, внучка господь мне даровал. Вы Ивана Григорьича звали, а ему никак невозможно. Заместо его я и поехал. Выхожу — гость незваный, авось не буду хуже татарина.

— Благодетель вы наш,— отвечала плачущая и взволнованная Дарья Сергевна.— Нежданный-эт гость лучше жданных двух, а вы к нам не гостить, а с божьей милостью приехали. Мы до вас было думали, что Марког Данилыч ничего не понимает, а только вы подошли, и за руку-то вас взял, и радостно таково посмотрел на вас, и слезыньки покатились у него. Понимает, значит, сердечный, разум-от, значит, при нем остался. Челом до земли за ваше неоставленье!

И, встав со стула, низко поклонилась Патапу Максимычу.

— Перестаньте,— сказал тот, поднимая Дарью Сергевну.— Что это вы? Я по-человеческому — со всяким то

же может случиться. Со мной бы случилось, разве Марко Данилыч не приехал бы ко мне?.. Сказано: «Друг друга тяготы носи́те и тем исполните закон Христов».

Замолчала Дарья Сергевна, а сама про себя подумала: «Заболей-ка Патап ли Максимыч, другой ли кто, Марк-от Данилыч пальцем не двинул бы».

— Покушайте, угощайтесь, чем бог послал,— потчевала гостей Дарья Сергевна.— Осетринки-то скушайте— хорошая, на выбор для дому на Низу на ватагах выбирали. Вот и хренок, вот и уксус, и огурчики грядные — редки́ теперь уж становятся: у нас солили к Успенью, все обрали почти. А водочки-то, гость дорогой?.. Иску́шайте, сделайте такую вашу милость. Аль винца не желаете ли? А которым прежде, которым после надо потчевать, уж я и не знаю. Был бы в добром здоровье Марко Данилыч, сумел бы гостя угостить, а на мне, Патап Максимыч, не взыщите — не мастерица я вина-то различать. А вот это наши русские, незаморские наливки, значит. Откушайте-ка... Сама делаю; вот сливяночка, вот рябиновая, а вот и малиновая. Вишневочки не угодно ли? Все похваляют, четвертый год на новы ягоды наливаю, а косточки в ступе толку да тоже в бутыли кладу. У вас при доме вишенки-то есть ли?

— Какие у нас, матушка, вишни? Опричь рябины, малины да черники с гонобоблем, и в заводе нет ничего,— отвечал Патап Максимыч, принимаясь за звено жирной, сочной осетрины.

— Да ведь и в самом деле,— молвила Дарья Сергевна.— Когда я в вашей стороне жила, здешних ягод и не видывала — ни вишен у вас в лесах, ни клубники, ни шпанской малины; какая ягода крыжовник, и той даже нет! Брусника да клюква, черника да земляника — и все тут. Такова уж, видно, у вас земля.

— Земля холодная, неродимая, к тому ж все лето туманы стоят да холодные росы падают. На что яблоки, и те не родятся. Не раз пытался я того, другого развести, денег не жалел, а не добился ни до чего. Вот ваши места так истинно благодать господня. Чего только нет? Ехал я сюда на пароходе, глядел на ваши береговые горы: все-то вишенье, все-то яблони да разные ягодные кусты. А у нас весь свой век просиди в лесах да не побывай на горах, ни за что не поймешь, какова на земле божья благодать бывает.

— Ушки-то покушайте,— потчевала Дарья Сергевна.— Стерлядки свеженькие, сейчас из прорези браты, рыбки мерные [1]. Печенок-то налимьих извольте взять на тарелочку... Грунюшка, а ты что же сложа руки сидишь. Покушай ушки-то, матушка,— дай-ка я тебе сама положу... Седни ведь середа — рыбным потчую дорогих гостей, а завтра доспеем и гусятинки, и поросятинки, уточек домашних, ежель в угоду, и барашка можно зарезать али курочку. Не то буженинки из свинины скушать не пожелаете ль?

— Благодарю покорно, матушка, премного довольны остаемся на вашем угощенье. Много об нас не хлопочите, что на столе, тому и рады,— сказал Патап Максимыч.— Лучше теперь про дела потолкуем. Помянули вы, что работники расчета требуют. Нешто летние работы все кончены?..

— Ничего, благодетель, не знаю, никогда до этого не доходила,— отвечала Дарья Сергевна.— Где бы, кажись, кончить?.. В прежни годы к Покрову да на Казанскую работников отпускали, а теперь еще и Вздвиженье не пришло и хлеб с поля на гумна еще не двинулся. Поговорите с приказчиком, с Васильем Фадеевым, он должен знать. Сегодня же велю ему побывать к вам.

— Ладно, потолкуем с Васильем Фадеевым,— сказал Патап Максимыч,— а работникам, наперед говорю вам, не дам своевольничать. На̀ этот счет у меня ухо держи востро, терпеть не могу потачек да поблажек. Будьте, матушка, спокойны, вздорить у меня не станут, управлюсь. Поговоря с приказчиком, деньги кому следует отдам, а ежели кто забунтует, усмирю. В городу-то у вас начальство тоже ведь, чай, есть?

— Есть-то оно есть, благодетель, как начальству не быть? — сказала Дарья Сергевна.— Только начальные-то люди потаковщики да поноровщики. Нет чтобы делать дела̀ по справедливости. Много с ними бился Марко Данилыч.

— Может, ладить не умел,— молвил, улыбаясь, Патап Максимыч.— Матушка!.. Ведь у начальства-то четыре полы да восемь карманов, а каждый карман на свою

---

[1] *Прорезь* — живорыбный садок на Волге и на низовьях Оки. *Мерная стерлядь* — от глаза до пера аршин и больше.

долю просит. А карман у полиции что поповское брюхо — сколько в него ни клади, полно́ не будет. В полиции нельзя не давать, без поджоги и дрова не горят. Нужен тебе подьячий — сунь ему калач горячий, нужен судья — вина сулея, да не простого, а заморского, что не хмельно да разымчато. Понадобился сам воевода, гляди ему в оба да с заднего крыльца тащи хоть мертвеца, лишь бы зо́лотцем был посыпан. В таком разе и благо ти будет, и, какое у тебя хотенье, такое выйдет и решенье. Не свои речи говорю, дошли они до нас от дедов, от прадедов... А как при них бывало, так, видно, и до нас дошло. Только в том и разница, что теперь берут поискуснее — не подточишь иголочки. Зато много дороже. К тому говорю, что надо будет подмаслить кого нужно... Что делать-то? Не нами началось, не нами и кончится.

— А ежель не явит начальство помощи, тогда что делать? — пригорюнившись, молвила Дарья Сергевна.

— Были бы денежки святые, грешная помощь будет. Не беспокойте, не тревожьте себя. Протрем начальству очи золотцем — все будет как следует,— сказал Патап Максимыч.

— Денег-то таких нет, благодетель, при мне,— начала было Дарья Сергевна.

— И не надо,— перебил ее Патап Максимыч.— Без них управимся. А вот покамест до приезда Авдотьи Марковны извольте-ка получить от меня на домашнее хозяйство,— сказал Патап Максимыч.— Да денег-то не жалейте, чтобы все шло по-прежнему. А приказчику сейчас же велите прийти ко мне. Да лошадок готовили бы, Груне ехать пора. Изготовьте что нужно на дорогу Авдотье Марковне.

— А сундук-от как же? — спросила Дарья Сергевна.— Марко Данилыч сам под подушку вам указывал — ровно бы говорил, чтобы вскрыли...

— Покамест не приехала Авдотья Марковна, сундука никому тронуть не дам,— решительным голосом сказал Патап Максимыч.— Пошлите же поскорей приказчика.

Дарья Сергевна пошла из комнаты.

После того через четверть часа Патап Максимыч с глазу на̀ глаз беседовал с Васильем Фадеевым.

С того часу как приехал Чапурин, в безначальном до того доме Марка Данилыча все само собой в порядок пришло. По прядильням и на пристани пошел слух, что заправлять делами приехал не то сродник, не то приятель хозяина, что денег у него куры не клюют, а своевольничать не даст никому и подумать. И все присмирело, каждый за своим делом, а дело в руках так и горит. Еще никто в глаза не видал Патапа Максимыча, а властная его рука уже чуялась.

— Что за начальство такое у нас проявилось? — заговорили было самые задорные из пильщиков.— Генерал, что ли, он какой, аль архиерей? Всяких видали... Ежели артель положит не уважать его, в жизнь никто не уважит..

— Экой ты прыткой, Маркел Аверьяныч! — сказал молодому пильщику, парню лет двадцати пяти, пожилой, бывалый работник Абросим Степанов. Не раз он за Волгой в лесах работал и про Чапурина много слыхал.— Поглядеть на тебя, Маркелушка,— продолжал Абросим,— орел, как есть орел, а ума, что у тетерева. Борода стала вели́ка, а смыслу в тебе не хватит на лыко.

Услыхав потешные речи Абросима, артель со́ смеху покатилась. Маркел замолчал и, как волк в засаде, со злобы да с досады только зубами постукивал. Величался он в артели своим высокоумием, но смех и не таковских в лоск уложит.

— Много слыхал я про Чапурина,— обращаясь к артели, продолжал Абросим Степанов — Опричь хорошего слова, ничего про него нельзя сказать. Не одна тысяча людей от него кормится — кто на токарнях, кто в красильнях. кто в Красной Рамени на мельнице, кто на Низу — там у него возле Иргиза большое хлебопашество. Спуску не даст никому, у него всяко лыко в строку, у него гляди в оба да оглядывайся, не то сейчас расправа, а иной раз и своей пятерней за провинность разделается. Горячий человек. Нашего, пожалуй, будет горячее. Только от него не то чтоб сойти, не доделавши, аль сделать что супротивное, либо наперекор ему сказать, нет, этого никогда не бывает... Ежели кого он прогнал, тот себе места нигде не найдет и по времени к нему же придет плакаться, взял бы опять в работники... Сила большая!.. С губернатором водит знакомство, а мелкое начальство ему нипочем... Одно слово — человек властный... Что ни

скажет, все по его будет. А сам на правде стоит, сроду никого не обидел, а добра делает много. Ни обчетов, ни обмеров у него и не слыхано, обманства и в помышленье ни у кого не бывает, все идет по правде да по божьей истине.

Долго еще рассказывал Абросим Степанов про заволжского тысячника, и по одним его словам артель возлюбила Патапа Максимыча и стала уважать его и побаиваться. «Вот как бы явил он милость да протурил бы Ваську Фадеева с Корнюшкой Прожженным, можно бы тогда было и богу за него помолиться и винца про его здоровье испить»,— говорили обе артели — и прядильная и лесная.

Пришел к Патапу Максимычу Василий Фадеев, шепотом читая псалом Давида на умягчение злых сердец. Сдавалось ему, что приезжий тысячник либо знает, либо скоро узнает про все плутни и каверзы. Не поплатиться бы спиной тогда, не угодить бы на казенную квартиру за решетку. Вытянув гусиную шею, робко вошел он в горницу и, понурив голову, стал у притолоки.

— Ты будешь Василий Фадеич? — ласково спросил у него Патап Максимыч.

— Так точно-с,— с покорным видом отвечал Фадеев, а сам диву дался, отчего это Чапурин не кричит на него, не ругается. «Должно быть, еще ничего ему неизвестно»,— думает он сам про себя.

— Садись, Василий Фадеич,— указывая возле себя на стул, еще ласковее сказал ему Патап Максимыч.— Вот сюда садись, к столу-то.

— Можем и постоять,— отвечал смущенный непривычным для него обхождением Фадеев. Сколько годов живет он у Марка Данилыча, а тот ни разу его не саживал.

— Садись же, сделай милость, Василий Фадеич,— настаивал Патап Максимыч,— а то ведь придется и мне на ногах перед тобой стоять, а я с дороги-то приустал, старые ходуны [1] спокоя просят.

И тут не согласился сесть Василий Фадеев и не сел бы, если бы Чапурин не́ взял его за̀ плечи и насильно не усадил. Присел на краешке стула Фадеев, согнулся

[1] *Ходуны* — ноги.

в три погибели, вытянул шею, а сам, не смигаючи, рабо-лепно глядит на Чапурина

— Ты здесь главным приказчиком? — спросил Патап Максимыч.

Заморгал глазами, ровно взглянул на солнышко, Фадеев. Вытянув шею длинней прежнего, робко и тихо ответил он:

— Не то чтобы главный, а имел иной раз хозяйские порученности по заведениям и по дому, иной год и на рыбных караванах бывал.

— А книги кто вел и счета́ сводил? — спросил Чапурин.

— Марко Данилыч этим сами распоряжаются, нам не доверяют,— заикаясь, медленно проговорил Фадеев.— Ни книг, ни счетов до меня никогда не доходило.

— Да ведь он бывал в долгих отлучках. Кто ж без него распоряжался?..— спросил Патап Максимыч.

— Дарья Сергевна,— чуть слышно промолвил Фадеев.

— То есть чем она распоряжалась? Насчет питья да еды да насчет другого домашнего хозяйства?

— Так точно-с,— еще тише прошептал Василий Фадеев.

— А расчеты с рабочими кто вел? Деньги в артель на припасы кто выдавала? Кто с почты деньги получал аль с покупателей? — продолжал расспросы Патап Максимыч.

Василий Фадеев молчал.

— Не Дарья же Сергевна, не Авдотья же Марковна. Я сам не один раз слыхал от Марка Данилыча, что обе они в эти дела у него не входят,— сказал Патап Максимыч.— Кто-нибудь распоряжался же, у кого-нибудь были же деньги на руках?

— У разных бывали-с. Чаще всего у Корнея Евстигнеича,— на каждом слове запинаясь, чуть слышно проговорил Фадеев.

— А кто таков этот Корней Евстигнеич? — спросил Чапурин.

— Самый первый и доверенный приказчик,— бойче прежнего промолвил Фадеев.— Он больше других про хозяйские дела знает.

— А где он?

— Надо быть, на Унже теперь. Марко Данилыч леса там на сруб купил, и по весне, около троицына дня, туда его отправил.

— Надо будет за ним послать,— сказал Патап Максимыч.— А когда Марко Данилыч в последний раз у Макарья был, кто из вас здесь оставался?

— Я-с,— весь красный, как вареный рак, прошептал Василий Фадеев.

— Счета вел? — строго спросил Патап Максимыч.

— Вел-с.

— Подать на просмотр... Сейчас же,— строже прежнего приказал Чапурин.

Совсем смешался Фадеев. Едва слышно проговорил он:

— Счета у Марка Данилыча. Были ему представлены на другой день, как с ярманки воротились.

— Хорошо. Вскроем сундук, так посмотрим. Они ведь там?

— Не могу знать-с. Нам до хозяйских делов доходить не доводится,— сказал Василий Фадеев.

— Сколько теперь у тебя налицо хозяйских денег? — спросил Патап Максимыч.

— Самая малость, внимания даже не сто́ит. Работников нечем рассчитать,— отвечал Фадеев, весь дрожа, как в лихорадке.

— Сколько, однако ж? — спросил Чапурин.

— Как есть пустяки-с. Пятидесяти рублей не наберется,— сказал Фадеев.— А работникам на плохой конец надо больше трехсот целковых уплатить.

— Составь список работникам поименно, отметь, за сколько кто подряжен, сколько кому уплачено, сколько кому остается уплатить,— вставая с места, сказал Патап Максимыч.— Сегодня же к вечеру изготовь, а завтра поутру всех рабочих сбери. Ступай, торопись.

Не говоря ни слова, поклонился Фадеев в пояс и трепетно вышел из горницы. «Этот нашему не чета,— подумал он.— С виду ласков и повадлив, а, видно, мягко стелет, да жестко спать!..»

В тот же день вечером послали эстафету на Унжу.

Дарья Сергевна писала Прожженному, что Марко Данилыч вдруг заболел и велел ему, оставя дела, сейчас же ехать домой с деньгами и счетами. Не помянула она, по совету Патапа Максимыча, что Марку Данилычу

удар приключился. «Ежель о том узнает он,— говорил Чапурин,— деньги-то под ноготок, а сам мах чрез тын, и поминай его как звали». В тот же вечер поехала за Дуней и Аграфена Петровна.

Василий Фадеев, узнав, что Патап Максимыч был у городничего и виделся с городским головой и со стряпчим, почуял недоброе, и хоть бо́льно ему не хотелось переписывать рабочих, но, делать нечего, присел за работу и, боясь чиновных людей, писал верно, без подделок и подлогов. Утром работники собрались на широкой луговине, где летом пеньковую пряжу сучáт. Вышел к ним Патап Максимыч с листом бумаги; за ним смиренным неровным шагом выступал Василий Фадеев, сзади шли трое сторонних мещан.

— Здравствуйте, крещеные, многолетствуйте, люди добрые! Жить бы вам божьими милостями, а нам вашими...— громко крикнул Чапурин артели рабочих и, сняв картуз, поклонился.

— На добром слове благодарны. С приездом поздравляем!.. Всякого добра пошли тебе господи!.. Жить бы тебе сто годов с годом!.. Богатеть еще больше, из каждой копейки сто рублев тебе! — весело и приветливо заголосили рабочие.

— Вашего хозяина господь недугом посетил,— сказал Патап Максимыч.— Болезнь хоша не смертная, а делами Марку Данилычу пока нельзя займоваться. Теперь ему всего пуще нужен спокой, потому и позвал он меня, чтобы распорядиться его делами. И только мы с ним увиделись, первым его словом было, чтобы я вас рассчитал и заплатил бы каждому сполна, кому что доводится. Вот я и велел Василью Фадеичу составить списочек, сколько кому из вас денег заплатить следует. Кому кликну, тот подходи... Пимен Семенов!..

Выступил из толпы молодой широкоплечий парень, волосом черен, нравом бранчлив и задорен. Всем взял: ростом, дородством, шелко́выми кудрями, взял бы и очами соколиными, да они у Пимена завсегда подбиты бывали. Подошел он к Чапурину, шапку снял и глядит бирюком — коли, мол, что не так, так у меня наготове кулак.

— За девять рублей рядился? — спросил у него Патап Максимыч.

— За девять рублев в месяц,— нахально ответил Пимен Семенов, глядя в упор на Чапурина.

— Расчету за последний месяц не дано?

— За месяц с тремя днями,— сказал Пимен и стал брюхо чесать.

— Значит, следует тебе девять рублей девяносто копеек? — спросил Патап Максимыч.

— Так, видно, будет,— несколько помягче отвечал Пимен Семенов.

— Праздников не вычитает,— зашептали в артели,— не то что Смолокуров. У того праздники и́з счету вон, а в субботу, если в баню пойдешь, вычет за половину дня.

— Да ведь это не сам он, а вот анафема эта — Васька Фадеев,— заговорили было иные.

— Один черт на дьяволе, на одном бы сучке обоих повесить,— громко сказал пильщик из самых задорных. С криком на него все накинулись.

— Маркелка, черт ты этакий, дурова голова! Для че доброму делу мешаешь? Аль язык-от у тебя, что ведьмино помело, зря метет?

А у самих на уме: «Услышит Чапурин, не будет такой добрый». Шепнули Маркелу Аверьянову про то. Тот смекнул, и больше ни гугу.

— Получай,— отдавая Пимену деньги, сказал Патап Максимыч.— Верно ли?

— Верно,— процедил сквозь зубы Пимен Семенов и пошел к стороне.

— Будьте свидетелями, честны́е господа, что Пимен Семенов деньги сполна получил, а ты, Василий Фадеич, изволь записать.

Так, подзывая рабочих одного за другим, Патап Максимыч рассчитывал их.

Иные, получив деньги, прочь было пошли. Давненько не пивали зелена̀ вина, каждого в кабак тянуло, но Патап Максимыч сказал, чтобы покуда оставались они на месте, что ему надо еще с ними потолковать и, ежели хоть один кто уйдет, другим денег раздавать он не станет. Все остались, и те, до кого не дошла еще очередь раздачи, зорко караулили, чтобы кто-нибуь тягу не задал.

Кончилась расплата. На вынесенном столике Василий Фадеев написал расписку, грамотные сами расписались, за неграмотных один из мещан-свидетелей руку приложил.

— Ну, добрые люди,— сказал тогда Патап Максимыч работникам,— вот про что поговорить хочу я с вами, по душе поговорить, по правде, по совести. Рядились вы кто до Покрова, кто до Казанской, иные даже до Михайлова дня. А теперь, как слышу, с того дня как захворал Марко Данилыч, половина вас не работает, а ест-пьет хозяйское. Праведно ли такое дело, сами посудите. Конечно, мог бы я на вас пожаловаться и начальство вас по головке не погладило бы, только этого делать не хочу; по-моему, не в пример лучше покончить дело добрым порядком. Оставайтесь-ка каждый до срока, на какой кто рядился, да работайте как следует, а не так чтобы через пень колоду валить.

Загалдели было рабочие. Ругательства на Василья Фадеева послышались, он-де обсчитывает да обманывает. Послышались жалобы и на Марка Данилыча, без пути, дескать, драться охоч — чуть что не так, тотчас в зубы.

— А вы не всяко лыко в строку,— хладнокровно и спокойно сказал им Патап Максимыч.— Зато ведь и не оставляет вас Марко Данилыч. Сейчас заходил я в вашу стряпущую, посмотрел, чем кормят вас. Такую пищу, братцы, не у всякого хозяина найдете. В деревне-то живучи, поди, чать, такой пищи и во снах не видали... Полноте пустое городить... Принимайтесь с богом за дело, а для́ ради моего приезда и первого знакомства вот вам красненькая. Пошабашивши, винца испейте. Так-то будет лучше.

Красненькая подействовала, рабочие согласились отработать свои сроки, и хвалам заволжскому тысячнику конца у них не было.

* * *

Аграфена Петровна спешила в Луповицы. Хранила она благодарную память о Марье Ивановне, спасшей ребенка ее от неминучей смерти, но разговоры с Дарьей Сергевной и замечанья свои над Дуней, пристрастившейся, по указанью Марьи Ивановны, к каким-то странным и непонятным книгам, и в ней возбуждали подозрение, не кроется ли тут и в самом деле чего-нибудь неладного. И про миршéнские толки узнала она от Дарьи Сергевны, но не могла придумать, что это за фармазоны такие, что это за секта... В лесах за Волгой про них слыхом не слыхать.

Неспокойно ехала Аграфена Петровна по незнаемым дорогам, робко и недоверчиво встречалась она с людьми незнакомыми, много беспокойства и тревоги, до того ей неизвестных, перенесла она во время пути. Все было ей ново: и невиданная за Волгой черная, как уголь, земля, и красные либо полосатые поневы вместо темно-синих заволжских сарафанов, и голое безлесье, что, куда ни посмотри, ни кустика, ни прутика нет. Без малого целу неделю провела она в дороге, наконец, под вечер мрачного, дождливого дня, ямщик указал ей кнутовищем на каменный помещичий дом, на сады с вековыми деревьями, на большую церковь и сотни на полторы маленьких, невзрачных, свежей соломой покрытых домишек. «Вот и Луповицы!» — сказал он, подстегнув пристяжную.

Темнело. Хмурые, как будто свинцовые тучи со всех сторон облегли небосклон; мелкий дождик при холодном сиверке моросил, как сквозь сито, когда кибитка Аграфены Петровны по густой, клейкой, по самую ступицу грязи подъехала к Луповицам. А дождик все пуще да пуще, а ветер порывистей и сильнее. Сипит и воет непогода; видно, что подходит затяжное осеннее ненастье. «Где же мне остановиться?» — тут только пришло на мысль заволжской тысячнице. И прежде приходило это ей в голову, но, зная, что в Луповицах больше полутораста дворов, и судя по заволжскому, где нет таких больших селений, была уверена, что найдет в селе не один постоялый двор. Но, въезжая в село, узнала от ямщика, что в Луповицах постоялых дворов нет, народ хлебопашец, ни базаров, ни съездов, ни ярманок в селе нет, большая дорога далеко в стороне, оттого и постоялых дворов никто не заводит. На барский двор не хотелось ехать Аграфене Петровне, там мерещились ей фармазоны. Делать нечего, надо пристать, где бог приведет, проведать про Дуню и, ежели не уехала, позвать ее к себе.

— Где ж остановиться? — спросила она у ямщика.

— Не знаю,— отвечал тот.— У крестьян избы-то не больно приборны. Невзрачно живут, с телятами, с поросятами, избенки махонькие, тесные, лесу ведь здесь ни пруточка. Вонища одна чего стоит!

— Где же пристать-то мне? — тревожно спросила Аграфена Петровна.

— У попа разве. Домишко у него все-таки приглядней крестьянского,— сказал ямщик.

— А каков поп-от? — спросила Аграфена Петровна.

И на мысли никогда не вспадало ей, чтобы пришлось когда-нибудь искать приюта у никонианского попа. Претило ей, но все-таки поп лучше фармазонов.

— Ничего, поп хороший,— отвечал ямщик на вопрос ее.— Обстоятельный, хвалят его.— До денег охоч, да уж это поповское дело, на том уж они все стоят. У них ведь толстый карман святее угодников. Обойди весь вольный свет — бессребреника меж попами не сыщешь. А здешнего похваляют — добрый, слышь.

— Вдовец он али семейный? — спросила Аграфена Петровна.

— Семейство при нем — матушка попадья еще вживе да три дочери, одна-то за здешним же дьяконом, две в девках сидят. Их тоже похваляют — добрые поповны, рукодельницы...

— Вези к попу,— решилась, наконец, Аграфена Петровна.— Как его звать-то?

— Отец Прохор будет,— ответил ямщик.

— Вези к нему, вези,— сказала Аграфена Петровна.

Хлестнул ямщик лошадок, и хоть шибко они приустали, протащив по размокшему чернозему грузную кибитку, однако ж бойко подкатили к поповскому двору. Там приветливо встретили Аграфену Петровну. Она сказала, что едет на богомолье в Киев.

— Доброе дело, спасённое дело, при том же весьма благочестивое и душе многоспасительное,— сказал отец Прохор, прибирая уютную горенку, где по стульям и на обветшалом диване были разбросаны домашние вещи.— И мы вот с матушкой который уж год сбираемся к печерским угодникам, да все недосуги да недостатки. Опять же по нашему званию отлучки от прихода, особливо в чужие епархии, крайне затруднительны. Степанидушка! — обратился он к старшей дочери,— поставь-ка, родная, самоварчик, гостье-то с дороги надо огогреться.

Окинула Аграфена Петровна светленькую, чистенькую горенку. Все было старенько, но держалось в порядке. У окон стояло двое пялец, одна поповна вышивала воздухи для церкви, другая широкий пояс к отцовским именинам. На окнах висели белые чистые занавески и стояли горшки с бальзамином, стручковым перцем и ро-

занелью, по углам большие кадки: в одной огромный, чуть не до потолка поднявшийся жасмин, в другой фига. Все у отца Прохора нравилось Аграфене Петровне, а матушка попадья, полуслепая и плохо слышавшая старушка, показалась ей такою доброю и ласковою, что она ее полюбила с первого раза. Дочери отца Прохора тоже понравились Аграфене Петровне. Как все поповны на Руси, были они из себя некрасивы, но девушки добрые, скромные и тихие. Манефина воспитанница и ревностная старообрядка забыла даже про их никонианство и после долгого задушевного разговора за самоваром решилась сказать отцу Прохору, что она приехала в Луповицы за Дуней Смолокуровой. Но не вдруг, не сразу заговорила с ним об этом, прежде издали речь повела, наперед бы у отца Прохора выведать про житье-бытье Луповицких. «Может быть,— она думала,— я узнаю от него, что это за фармазонская вера такая».

— Ведь здесь поместье господ Луповицких? — спросила она у отца Прохора.

— Так точно,— отвечал он.— Нераздельное именье двух родных братцев, Андрея Александрыча и Николая Александрыча. А с того края села домов до сорока принадлежит ихней двоюродной сестре девице Марье Ивановне Алымовой, дочери покойного генерала Алымова. По службе находился он в воинских чинах, теперь уж более двадцати годов как преставился. Там на том конце села у Марьи Ивановны и усадебка есть невеликая, только она никогда там не проживает. У нее в других губерниях находятся большие и хорошие вотчины, а приезжает сюда в нарочитое токмо время и тогда проживает в большом доме у своих двоюродных братьев...

— И село Луповицы и помещики Луповицкие,— заметила Аграфена Петровна.— Должно быть, они по селу прозвались.

— Нет, неправильно заключать изволите,— отвечал отец Прохор.— Совершенно противоположно. Предки господ Луповицких основали и своим коштом выстроили наше село, по сей причине и назвали его именем своего рода. Их род весьма старинный. Недалеко отсюда Княж-Хабаров монастырь находится. Сей святой обители основание положил князь Федор Иоаннович Хабаров еще во дни царя Михаила Федоровича, а тот князь Хабаров,

основатель и строитель монастыря, приходился ближайшим сродником жившим в те отдаленные уж теперь времена боярам Луповицким. Наше же село всего еще с небольшим сто лет получило основание от господ Луповицких, именно ж от генерал-поручика и кавалера Стефана Феодоровича Луповицкого, бывшего в царствование блаженныя и вечнодостойныя памяти Екатерины Алексеевны Первыя в важных государственных должностях. Так и в церковных записях значится у нас. Да-с, род господ Луповицких старинный и даже весьма древний. Столбовые, родовитые дворяне, не то что другие, которые государственной службой приобрели себе дворянское звание...

— Усердны к нашей церкви они? — спросила Аграфена Петровна.

— Очень даже усердны, весьма усердны,— с одушевленьем отвечал отец Прохор.— По нынешним временам, при всеобщем, с прискорбием можно сказать, падении благочестия, господа Луповицкие, равно как и сестрица их Марья Ивановна, могут служить назидательным примером как для господ дворян, так равно и для поселян. Весьма привержены к церкви божией и христианские обязанности исполняют с достодолжным благоговением и неупустительно. Каждый год не токмо во святую великую четыредесятницу, но в каждый из четырех церковию установленных постов святым божественным тайнам тела и крови господней приобщаются. Правда, что разрешение грехов, не от моего недостоинства приемлют, а в монастыре, что здесь неподалеку. Не Княж-Хабаров, а другой, Рясовским называется. Монастырь тот весьма богат иконами, в нем есть пресвятые богородицы Троеручицы, и от нее по вере много исцелений бывает. В летние месяцы много богомольцев притекает на поклонение... На Пасху, на Рождество Христово, на богоявление господне, на Происхождение честных древ животворящего креста, а также на Успение пресвятые богородицы — храм у нас в этот день, и на дни памяти преподобного отца нашего Стефана Савваита и священномученика Феодора, архиепископа александрийского — приделы сим угодникам божиим устроены при нашем храме,— во все оные праздники здешние помещики, господа Луповицкие, принимают нас с животворящим крестом и со святой водой с достодолжным благоговением и, могу ска-

зать, с радостью. И каждый раз в те нарочитые дни дают они всему церковному причту предостаточное даяние и угощают обедом. И моих семейных, и дьяконовых, и причетников приглашают тогда трапезовать; старушка дьяконица вдовая, в просфорнях состоит при нашем храме, и ту даже приглашают. С постной молитвой и на освящение плодов земных также постоянно ходим к ним в дом и, опричь того, в первое число каждого месяца поем молебное пение с акафистом и водосвятием. Ну, и мучки, и крупки, и сенца, и овсеца, и прочего, по хозяйству потребного, господа Луповицкие жертвуют преизобильно. А потому долгом обязуюсь сказать, что господа они очень, даже очень усердные. Богадельня у них есть при доме — ну, да это особое дело.

— Как особое дело? — спросила Аграфена Петровна, удивленная тем, что, помянув про богадельню, отец Прохор понизил голос и нахмурился.

— Так,— отрывисто и сдержанно ответил он.— Не нам судить, господь рассудит.

И круто повернул разговор на другое.

Пошли обычные деревенские разговоры: какая летом стояла погода, каков урожай был, каковы были наливы и пробные умолоты, и про ягоды была речь ведена и про то, что яблоков мало в этом году уродилось, а все от тенитника — по весне он еще в цвету погубил яблоки, да и вишням досталось, зато грибов изобильно было и огурцы хороши уродились.

Вдруг разговор оборвался. Молчанье настало: либо тихий ангел пролетел, либо дурак родился́. После недолгого молчанья Аграфена Петровна сказала:

— Ехавши сюда, ночевала я в одном селе — забыла, как оно называется. Разговорилась с хозяевами — люди они простые, хорошие. Зашла у нас речь про ваши Луповицы. И они говорили, правду иль нет, этого я уж не знаю, будто здешние господа какую-то особую веру в тайне содержат.

— Ничего на́ это сказать вам не могу,— склонив голову и опустив глаза, едва слышно промолвил отец Прохор.— Не знаю... Не нам судить, един господь все рассудит на праведном суде своем.

Опять дурак роди́лся. Опять никто ни слова.

— А давно в последний раз были вы у господ Лупо-

вицких? — после недолгого молчанья спросила Аграфена Петровна у растерявшегося отца Прохора.

— Да вот на Успеньев день со святыней ходили к ним. . и трапезовали у них,— отвечал отец Прохор.

— Недалёко от нас в поволжских местах живут у меня знакомые,— сказала Аграфена Петровна.— Богатый купец, миллионщик, Марко Данилыч, чуть ли не самый первый по всей России рыбный торговец — Смолокуровым прозывается. Дочка у него есть молоденькая, Дуняшей звать Сказывали мне, что гостит она у господ Луповицких, у здешних помещиков. Марья Ивановна Алымова завезла, слышь, ее сюда еще около троицына дня. Не видали ль вы эту девицу?

— Как не видать?.. Все мы видели, за одним столом сиживали во время обедов. Белокуренькая такая, голубые глаза, стройная, нежная и, по видимости, весьма кроткого нрава.

— И теперь она у них? — спросила Аграфена Петровна.

— Нет,— отрывисто сказал отец Прохор.

— Уехала? По письму, должно быть. Письмо к ней недавно было послано от домашних с эстафетой. Отец у нее при смерти,— молвила Аграфена Петровна.

— Нет, кажется, не к отцу она поехала... А впрочем, бог ее знает, может быть, и к отцу,— медленно проговорил отец Прохор.— Эстафета точно приходила, только это было уж дня через четыре после того, как оная девица оставила Луповицы.

— Где ж она? — быстро поднявшись и опершись о стол дрожащими руками, вскрикнула Аграфена Петровна.

— Пропала без вести,— сказал отец Прохор.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лето на исходе, совсем надвигается нá землю осень. Пчелы перестали носить медовую взятку, смолкли певчие птицы, с каждым днем вода холодеет больше и больше, пожелтели листья на липах, поспели в огородах овощи. на Николу-кочанного стали и капустные вилки в

кочни завиваться. Успенский пост на дворе — скоро придется веять мак на Макавеев [1].

А Дуня все в Луповицах, Марья Ивановна и речей не заводит о возврате в Фатьянку.

Не смущается этим Дуня и нимало не печалится. Всей душой она предалась новой вере. На всякий день и на всякий час ищет общенья с божеством, стремится к исступленному душевному восторгу, к тому, что у божьих людей зовется «наитием». Все теперь ей чуждо — и родительский дом, и любящий ее всем сердцем отец, и заботливая Дарья Сергевна, и столь много любимая Аграфена Петровна. Петр Степаныч, пробудивший было в Дуне дремавшее чувство любви, из памяти вон. Правда, восставал иногда образ его перед душевными очами Дуни, но тотча́с же она старалась отогнать от себя этот «греховный помысл», посланный ей злым и лукавым ради соблазна... Во сне случится увидать его, в страхе и трепете просыпается она, скорбит по целым часам и со слезами и рыданьями молится богу — да избавит впредь от такой напасти. Наслушавшись чужих толков, Дуня вообразила, что в самом деле бог в ней пребывает, что в самом деле он разверзает уста ее на пророчества, движет ею на радениях и водит по путям непорочным. И в таком самообольщенье день и ночь помышляет она, что уж больше ничто земное не должно омрачать ее просветленных дум... Возненавидела она и прекрасное свое тело, с омерзением и злобой смотрит на роскошные девственные перси, на стройный, гибкий стан, на ноги, будто величайшим художником изваянные из белоснежного мрамора, и... все прокляла, все мирское возненавидела. Прекрасно созданное тело теперь, на взгляд ее, построенная злым духом темница для мучений души ее. И стремится она умертвить ненавистную плоть, освободить душу из темничного заключенья. Как веселится больной, долгое время лежавший на смертном одре, когда начинается в нем возрождение сил, когда видит, что румянец снова начинает оживлять истощенное лицо его и опять блещут потухшие было очи, так радовалась Дуня, глядя на худобу лица своего, на пожелтевшие ланиты, на иссохшие пурпуровые прежде губки, на потухающий блеск прекрасных очей... «Слава тебе господи!..— она

---

[1] *Николы-кочанного* — 27 июля, св. мучеников Макавеев 1 августа. В этот день собирают в деревнях мак и веют его.

мысленно говорит.— Тлеет ненавистное тело!.. Изведи меня скорей из смрадной темницы и всели в сонме непрестанно поющих перед престолом агнца».

Со страстным нетерпеньем ожидает Дуня племянника Варвары Петровны — Денисова. Ждали его в семье Луповицких, как родственника; любопытно было узнать от него про араратских «веденцов» [1]. В Денисове Дуня надеялась увидеть небесного посланника. «Приближается к печальной нашей юдоли избранный человек,— так она думает.— Принесет он благие вести, возвестит глаголы мудрости, расскажет о царстве блаженных на Арарате».

Больше всех хочется Дуне узнать, что такое «духовный супруг». Вот уж год почти миновал, как она в первый раз услыхала о нем, но до сих пор никто еще не объяснил ей, что это такое. Доходили до Луповиц неясные слухи, будто «араратский царь Максим», кроме прежней жены, взял себе другую, духовную, а последователям велел брать по две и по три духовных жены. Егор Сергеич все знает об этом, он расскажет, он разъяснит. Николай Александрыч и семейные его мало верили кавказским чудесам.

* * *

Божьи люди, или хлысты, как обыкновенно зовут их в народе, верят в прямое и всегда возможное сообщение человеческой души с божеством. Подобно духоборцам, проповедуют они, что воплощенный Христос живет на земле постоянно. Эту секту нельзя назвать даже христианской ересью. Она стоит вне христианства, хоть и заимствует из него самые священные имена. Ученье хлыстов — смесь разных учений, и древних и новых, противных учению и преданиям истинной веры. Подобно древним персам и дреговичскому учению [2], они признают

---

[1] *«Веденцы»* — слияние молоканства с хлыстовщиной. Это слияние возникло в тридцатых годах нынешнего столетия за Кавказом. Потом оно обнаружилось (в пятидесятых годах) в Таврической, Екатеринославской и других губерниях. Слияние продолжается до сих пор, так что во многих местах нет более ни чистых молокан, ни прежних хлыстов.

[2] Дуалистическая секта богомилов вышла от павликиан, а эти от манихеев, придерживавшихся во многом учения Зердушта (Зороастра); занесена в Болгарию из Армении и на новом месте разделилась на две отрасли — одна у славянского народа дреговичей, другая у болгар (богомильство).

два искони существующие безначальные и конца не имеющие существа, доброе и злое, ведущие между собой нескончаемую борьбу. Хлысты думают, что оба эти существа равносильны. Подобно дреговичской отрасли богомилов, русские хлысты уверяют, будто все видимое и осязаемое создано злым духом и потому тела наши, как темницы душ, должны быть умерщвляемы трудами на раденьях, постом и созерцаньем. Подобно квиетистам, они думают, что таинственный человек [1] в самом своем существе уничтожается и преобразуется в бога. Такой человек не может помрачить себя никакой нечистотой и никакими пороками, ежели только он не нарушает своего покоя. Покой, праздность, бездействие — вот высшее состояние человека, по хлыстовским понятиям. Проповедуя чистоту и девственность, они, подобно вальденсам, иногда в собраниях своих предаются грубой чувственности [2].

Хлыстовщина появилась во всех слоях русского общества от образованных людей до безграмотных крестьян степных сел и деревень. И учение и верования их разнятся: образованные люди стремятся более к совершенствованию духа, но и они, как простолюдины, стараются «умерщвлять» плоть усиленными движениями и неистовыми плясками до изнеможения, и они, подобно им, убеждены, что во время исступления на них нисходит благодать, зато не верят в сказания о новых беспрерывных появлениях божества в человеческом образе. А сказанья об этих явлениях и составляют почти всю сущность учения людей простых, людей «малого ведения», как называют их образованные хлысты. Зато грубая чувствен-

[1] Таинственно умерший и таинственно воскресший.

[2] По Балюзиусу в 1303, вальденсы canebant illi deo nocturnos hymnos, ut aliquo pietatis praetextu flagitum tegerent. Confluebant mulieres ad orgia magus, quam saera. Coeremonia peracta sacerdos clamabat, ut extinctis luminibis, alto spiritu invocato promiscue coirent. Hinc insectus, pollutiones ets. (пели богу ночные гимны, чтобы укрыть покровом благочестия позорное дело. Женщин волшебная оргия привлекала больше, чем священнодействие, после которого жрец призывал тушить огни и во имя святого духа совокупляться с кем попало.— *Перев. ред.*). Рожденного после того младенца вальденсы сожигали и, высыпав пепел в вино, приобщали им вновь поступающих в секту. У нас первое известие о подобном изуверстве явилось у св. Дмитрия Ростовского и подтвердилось многими делами, особенно в XVIII веке. См. «Тайные секты», в Русском вестнике, 1868.

ность, похожая на оргии вальденсов, увлекает молодых и сладострастных людей как в образованные, так и в безграмотные хлыстовские корабли.

Егор Сергеич Денисов вез любопытные для сектантов известия. Давно уж, лет полтораста тому назад, явилось у хлыстовврованье, что на горе Арарате для них будет насажден новый земной рай, и только одни они будут в нем наслаждаться вечным блаженством. С каждым годом уверенность в осуществление «благодатного царства араратского» росла, а между тем хлысты стали сливаться с молоканами, отвергающими церковь и всю ее обрядность. Из такого слиянья вышла, сначала за Кавказом, а потом и по другим местам южной России, секта «веденцов», или «прыгунков». В июне 1840 года за Кавказом было страшное землетрясение. Льдины и скалы, упавшие с вершин Арарата, засыпали окрестности верст на двадцать. В этом грозном явлении природы «веденцы» усмотрели признак приближения к ним араратского царства. Явился какой-то «иерусалимский старец»... Они каялись ему в грехах, и он, в знак прощенья, осенял их широким разноцветным поясом. Через шесть дней он скрылся, и у веденцов явился царь, пророк и первосвященник. Этот царь Максим [1] принял безграничную власть над «прыгунками» и во многом способствовал слиянию их с молоканством. Говорили, будто он изменяет старое учение хлыстов, предписывает новые законы, велит заводить духовных жен... Но все это до Луповиц доходило в виде неясных слухов.

Кормщик луповицкого корабля хоть и был недоверчив к сказаньям людей малого ведения, однако решился созвать «великий собор» ближних и дальних хлыстов, чтобы предварить их об ожидаемом после с Арарата.

Не день и не два по разным местам разъезжали конторщик Пахом да дворецкий Сидо́рушка, сзывая «верных-праведных» на собор в Луповицы. За иными приходилось ехать верст за восемьдесят, даже за сто. Не успеть бы двоим всех объехать, и вот вызвались им на

[1] То был молоканин, крестьянин казенного села Алгасова, что на реке Опше, Моршанского уезда, Тамбовской губернии, Максим Рудометкин, он же Комар, сосланный на Кавказ за распространение секты на родине и неповиновение властям. В 1840 году было ему 46 лет.

подмогу Кислов Степан Алексеич, Строинский Дмитрий Осипыч, да еще матрос Фуркасов. Напрашивался в объезд и дьякон Мемнон, но ему не доверили, опасаясь, не вышло бы от того каких неприятностей.

И собралось к назначенному дню в Луповицы больше пятидесяти человек. Пешком, бодрым еще шагом, пришли старые друзья-приятели: отставной каптенармус Григорий Устюго́в да отставной фельдфебель Кузьма Бога́тырев. У обоих на рукавах по три нашивки, у обоих по четыре медали, у обоих егорьевские кресты за штурм Варшавы. Смолоду в любви и дружестве меж собой жили, из одного села были родом, в один год сданы в рекруты, в одном полку служили, и получивши «чистую», поселились на родине в келье, ставленной возле келейного ряда на бобыльских задворках. Всегда они бывали людьми трезвыми и набожными, начальство за службу их жаловало и большое имело к ним доверие. Под конец их службы полк сряду шесть лет стоял в Орловской губернии, а там исстари бывало много хлыстов. Любя чтение церковных книг, а больше того устные беседы от писания, Устюгов с Богатыревым стали похаживать в келейный ряд на «вечорки» к одной старой девке, хлыстовской пророчице, и познали от нее «тайну сокровенную». По выходе в отставку, услыхали, что верстах в шестидесяти от их села у богатых помещиков Луповицких бывают хлыстовские собранья, и вскоре вошли в корабль Николая Алекса́ндрыча. За дальностью места и за старостью редко бывали они в Луповицах, но «великих соборов» и годовых радений не пропускали. И ближние и дальние хлысты уважали егорьевских кавалеров, особенно Устюго́ва, за то, что знал он много сказаний.

На долгих из уездного городка приехал старец Семенушка. Бывал он прежде богатым купцом, многие годы на Морше [1] хлебом торговал и кончил тем, что проторговался дотла. Когда дошел он до того, что не стало у него за душой ни копейки, смирился духом и пустился в набожность. Долго жил он в монастыре у старца Христофора. И настоятель и братия того старца считали полоумным и юродом за «неподобные» его речи, за срамные дела, особенно за то, что, уединясь в келью, певал

[1] Моршанск.

мирские песни, поминая Христа, богородицу, ангелов и пророков. Инок Христофор держался хлыстовщины и восторженными беседами склонил прогоревшего купчину принять сокровенную тайну. После смерти Христофора Семенушка переехал в город, а там уж было три-четыре человека, «верных-праведных», и у них завелся маленький кораблик. И Семенушка и товарищи его кормились именем Христовым, сбирая по домам и базарам мирское подаянье, а кроме того, получали вспоможенья от Луповицких. На «великий собор» с седовласым старцем Семенушкой приехали и товарищи его, бедные мещане. На наем подводы Пахомушка сколько-то господских денег дал Семенушке.

Приехала небогатая помещица, старая барышня Серафима Ильинишна Липутина. Верстах в семидесяти от Луповиц, проживала она в своей усадьбе. Было у той барышни двадцать тягол крестьян да восемнадцать человек дворовых. Опричь тех дворовых, в доме ее проживали и сторонние. И гости и прислуга в одном согласе с барышней были. Соседи считали Серафиму Ильинишну дурочкой, да и сами хлысты путного ничего от нее не чаяли, тем только и была хороша, что не уставала на раденьях, но «в слове не ходила» никогда. Чем бы пророчествовать, она хохочет, либо кошкой мяучит, либо собакой лает Привезла с собой Серафима Ильинишна двух не старых еще монашенок из запустелой Аграфениной пустыни, мать Иларию да мать Сандулию. Обе манатейные [1], обе постригались в Касимове, обе вместе со слепой матерью Крискентией поселились в убогой келье, уцелевшей от упраздненной пустыни, и стали жить возле гробницы игуменьи Аграфены из боярского рода Глебовых, почитаемой в окрестности святою и блаженною. Там слепая, дряхлая Крискентия уверила сожительниц, что в нынешние последние времена истинную веру надо искать только у людей божьих, что они одни знают великую тайну, от мира утаенную. Вскоре в луповицком корабле Илария и Сандулия были «приведены» в новую веру, а по смерти Крискентии чуть не насильно водворились у юродивой Серафимы Ильинишны. И доставалось же от них полоумной хозяйке. Сами день-деньской меж собой

---

[1] *Манатейными* зовут монахов и монахинь, еще не имеющих полного пострижения.

бранятся да здорятся и всегда почти кончат ссору дракой, причем, достается, бывало, больше всего гостеприимной хозяйке. Даже колачивали странноприимницу. А творилось это, как думали все, по наитию.

Кроме Иларии да Сандулии, еще несколько духовных пришло на «великий собор». Пришел заштатный поп Меркул, два монаха из окрестных монастырей — люди постные, набожные, незлобивые, строгие в жизни и совершенные бессребреники.

Иные люди разного званья, кто пешком, кто на подводе, добрались до Луповиц к назначенному дню. Были тут и крестьяне и крестьянки, больше все вдовы да перезрелые девки. Софронушки не было; игумен Израиль на Луповицких прогневался, дынь мало ему прислали, к тому ж отец игумен на ту пору закурил через меру. Сколько ни упрашивали его, уперся на своем, не пустил юрода из-за древних стен Княж-Хабаровой обители.

Настал час «великого собора». Стемнело. Утомленные целодневным жнитвом, крестьяне спать полегли. И отец Прохор спит со своей семьей. Спит село, одни собаки настороже.

Когда все стихло и улеглось, божьи люди, неслышными стопами, обычным порядком пошли в сионскую горницу. Там они переоделись в радельные рубахи и расселись по диванам, креслам и стульям. На этот раз мест едва достало — так много набралось верных-праведных. Вступившая уж в корабль Дуня села не у входной двери, а на почетном месте, близ кормщика, рядом с Варварой Петровной, с Марьей Ивановной, с Варенькой и Катенькой. Все верны-праведные считали ее уже достигшею полного совершенства, все надеялись, что вот на соборе она дойдет до исступления, заиграет в струны золотые, затрубит в трубу живогласную, и живыми реками польются из уст ее чудные пророчества. Все в том были уверены; все говорили, что Дуня — избра́нный сосуд благодати.

Начался собор тем же порядком, как и обычные раденья. Крестясь обеими руками и поклоняясь друг другу земными поклонами, хлысты простились, благословились и, усевшись по местам, пребывали в невозмутимом покое. Николай Александрыч сидел у стола, склонив голову, но не читал ни жития царевича, ни сказаний об

Алексее божьем человеке. Минут через пять молчанья встал он с места и начал махать пальмовой веткой. Тогда хлысты запели громогласно «Царю небесный», канон пятидесятницы, а затем «Дай к нам, господи, дай к нам Иисуса Христа»,— песня, без которой ни одно хлыстовское сборище не обходится, где б оно ни совершалось, в Петербурге ли, как бывало при Катерине Филипповне, в московских ли монастырях, когда они были рассадниками хлыстовщины [1], у старой ли богомолки в избе сельского келейного ряда, или в барском дому какого-нибудь помещика. После песни стал говорить Николай Александрыч:

— Братцы и сестрицы! Возвещу вам радость великую, хочу огласить вам веселие.

Все встрепенулись, повскакали со стульев и диванов. Еще не зная, в чем дело, иные женщины уже стали впадать в исступленный восторг... Послышались вздохи, радостные рыданья, громкие клики и визг — ровно десятки кликуш в одно место собрались.

Применяясь к людям «малого ведения», а таких больше всего было в сионской горнице, Николай Александрыч обратился к каптенармусу Устюгову:

— Братец Григорьюшка! Лучше всех ты знаешь сказанья про дивные чудеса, в старые годы содеянные. Изрони златое слово из уст твоих... Поведай собору про богатого богатину Данила Филиппыча, про великого учителя людей праведных Ивана Тимофеича.

Не отвечает Устюгов, сидит молча, склонив голову.

Все ему кланяются, просят и молят, отверз бы уста, усладил бы слух сидящих в сионской горнице своими чудными сказаньями.

Целым собором долго молили, усердно просили Устюгова. Наконец он начал сказанья.

Ни слова еще не сказал он, как Марья Ивановна прошептала сидевшей возле нее Дуне:

---

[1] В первой половине XVIII столетия хлыстовщина была сильно распространена в московских монастырях — мужских: Петровском (иеромонахи Филарет Муратов и Тихон Струков казнены за то смертию — головы отсечены), в Чудове, в Симонове, также в Перервинском, в Богословской пустыне и в Троицко-Сергиевой лавре; в женских: в Ивановском (монахине Анастасии Карповой отсечена голова), Новодевичьем, Никитском, Рождественском, Страстном, Варсонофьевском (монахине Марии Трофимовой отрублена голова) и Георгиевском.

— Слушай сказанья, но не верь ничему, что ни скажет Григорьюшка. Это притча, это басня для людей малого ведения. Но хоть они и покажутся тебе странными, на правду нимало не похожими, не унижай в сердце своем Григорьюшку... Не глумись даже мысленно. Наперед тебе говорю: не важно сказанье, важно иносказанье, важен таинственный смысл того, что станет он теперь говорить... Людям малого ведения не понять ни Бема, ни Сен-Мартена, как тебе или мне. Не могут они питаться твердой пищей; как детям, им нужно еще молоко. Не глумись же, ни над чем не глумись, что ни услышишь от Григорьюшки.

Промолчала Дуня.

Рассказывает Устюгов, как в стародавние годы на реке на Оке, в Стародубской стороне [1], на горе Вородыне явился «верховный гость», богатый богатина Данило Филиппыч, и как жил он потом в деревне Старо́вой, в верхо́вой Костромской стороне [2], поучая к нему приходивших. Так пришел он однажды на Волгу, а народу было тут многое множество. И шли середь людей великие споры о том, которые книги лучше: старые или новые, Никоном печатанные. И спросили люди богатого богатину: «По каким книгам велишь молиться нам? Старые опорочены, новые многим сумнительны». И собрал Данило Филиппыч старые книги и новые, побросал все в Волгу реку и такие слова божьим людям сказал: «Ни старых, ни новых книг не приемлите, да и грамота вся и ученья вам ненадобны. Есть у вас писание. Писано оно не на бумаге, не на хартии, не на скрижалях золотых или каменных, а на скрижалях сердец ваших. Что на сердцах ваших напишется, то прорицайте на радениях, и что

---

[1] *Стародубье, Стародубская сторона* — в восточной части Владимирской губернии (на Клязьме есть село Клязeмский Городок, в старину Стародуб). Гора Городина Муромского уезда, близ деревни Михалиц, на правой стороне Оки, верстах в трех от нее и верстах в пятнадцати от известного села Павлова (в старину Павлов перевоз), Горбатовского уезда, Нижегородской губернии.

[2] Деревня Старово на левой стороне Волги, верстах в пятнадцати от нее и верстах в двадцати от Костромы в приходе села Криушева. На погосте Криушева и схоронен Данило Филиппыч; на могилу его хлысты ходили на поклонение. Незадолго до пятидесятых годов нашего столетия умерла последняя в роде Данилы Филиппыча Устинья Васильевна. Хлысты ее называли «богинею». Данило Филиппыч был из беглых «солдат иноземного строя».

ни скажете в восторге неизглаголанном, то и будь вам законом и заповедьми. Будучи в восторге, сам своих слов не поймешь и не услышишь их, зато другим они будут поучением».

Замолк сказатель, и снова стали поклоняться ему бывшие в сионской горнице. Плакали, рыдали, припадая к ногам его.

— Это притча, иносказание,— шепотом сказала Марья Ивановна Дуне.— Смысл его тот, что истина не в книгах, а в слове вдохновенного пророчества, сказанном на радении.

Потом стал Устюгов рассказывать о похождениях Данилы Филиппыча, как странствовал он в рабском, нищенском образе, как учредил радения и как родился ему преемник Иван Тимофеич Суслов.

Так говорил Устюгов:

— А поблизости горы Городины, в той же стороне Стародубской, бедная была, убогая деревня Максакóва. А приход той деревни в погосте Егорья [1]. И содеялось в той деревне неслыханное чудо. Жил в ней и долгий век доживал старый-престарый нищий Тимофей Суслов. Смолоду, опричь бороны да сохи, ничего не знал и не ведал он, спокон века был бессемейным, под оконьем христолюбцев подаяньем питался. Сбирал милостынку Христа ради и весь век старцем был благочестивым. От роду было ему сто лет и двадцать, а подружию его Арине Нестеровне сто лет ровно. А детей у них во всю жизнь не рожалось. Раз в зимнюю стужу, в бурную вьюгу приехал к ним в холодную избу неведомый нищий. У стариков была только одна сухая корочка хлебца. Некая сердобольная вдовица кинула ее старой, безногой собаке своей Лыске. Лыска корочку обнюхала, а грызть не стала. Тогда богатая вдовица, завидя проходившего старца Тимофея, подняла корочку и подала ему Христа ради. И той корочкой люди божьи Тимофей да Арина с нищим убогим человеком поделились, на печке его спать положили, а сами в холодную клеть ночевать пошли. Наутро нищий стал в путь собираться, а старик со старухой его не пускают. Всего животов [2] у них была курочка хо-

---

[1] В Егорьеве погосте (поселок одного только церковного причта) есть приходская церковь св. Георгия. К приходу ее принадлежит деревня Максакова.

[2] *Животы* — имение.

хлатка. Как дочку родную, они ее любили, иной раз сами голодают, а хохлаточку накормят, сами холодают, а курочку в теплое местечко на нашестку сажают. Миловались они на нее, любовались, и была им та курочка в бедной доле единой утехой, была старику со старухой единой отрадой. А к ним уж лет с пятьдесят никто в дом не заглядывал, никто не переступал их порога. К богатому да к чивому на крыльцо не протолкаться, у нищего, убогого нечего взять. Возрадовались нежданному гостю старец Тимофей со старицей Ариной, ровно сокровище какое бог даровал им. На расставанье с нищим угостили они его чем только могли. Горючьми слезми обливаючись, с острым ножом пошел Тимофей к возлюбленной курочке... Свету не взвидел, как из горлышка ее брызнула горячая, алая кровь. Стонала, рыдала старица Арина, ощипывая ненаглядную пеструшку... И когда нищий уходил от Тимофея, а старица Арина пошла до околицы котомку его донести, сказал он им: «Заплачу вам, добрые люди, за курочку вашу сыном. Ты, Аринушка, родишь сына Тимофеюшке». Старец со старицей хотели было сказать нищему, что несбыточно пророчество его, но убогий не стал говорить с ними... Пошел — и нет его.

— То был богатый богатина Данило Филиппыч, «господь Саваоф»,— заговорили люди божьи, когда смолк ослабевший Устюгов. Волновалась его грудь, восторженным блеском горели глаза. Едва может он сдерживать подступавшие к сердцу рыданья.

Отдохнувши немного, так продолжал он сказанье:

— И родился у Арины сын обетованный. Надивиться не могли, как это родила столетняя старуха. И прежде никто к убогому старцу в домишко не заглядывал, а теперь все от него сторонятся, каждый норовит Тимофееву избенку подальше обойти. Судят да рядят в народе: «Слыхано ль, видано ль, чтоб столетняя старуха сына родила? Тут волхвованье, тут чародейство!» И собрались мужики спалить убогую избенку и в ней Тимофея с Ариной и с их отродьем, да ответа перед судом побоялись. Никто к Тимофею в кумовья не шел — кого ни попросит, всяк смеется над ним да ругается. И не во что было

младенца положить: ни зыбки, ни люльки, ни колыбельки — хоть на пол под лавку клади. Поднял Тимофей на улице расколотое корыто; много лет из него соседи кормили свиней, а когда оно раскололось, выкинули долой со двора. И положил Тимофей в то корыто обетова̀нного сына. Шесть недель искал кума, и никто над ним не сжалился, никто не пошел младенца крестить. Тогда повстречал Тимофей того нищего, что предсказал ему рождение сына. Сам он к нему в кумовья назвался́ и окрестил младенца. И был наречен он Иоанном.

Примолк дряхлый сказатель. Новые клики, новые вопли, новые визги раздались по сионской горнице. Немного отдохнув, продолжал Устюгов:

— Исполнилось Ивану Тимофеичу тридцать лет с годом; тогда «верховный гость» призвал его в свой божий дом в деревню Старо́ву. И когда тот пришел, богатый богатина повелел своим ученикам, чтоб они во всем слушали его возлюбленного сына и всякую бы волю его исполняли. И пошел после того Иван Тимофеич странствовать. А ходил он в рабском образе, в раздранном рубище, без шапки, без обуви, ходил холоден, голоден, нищ, бесприютен, и не было ему места середь людей. Много страдал от людей неуверовавших, а потом жил в Москве на вольной воле, на полной свободе у Донского монастыря, возле улицы Шаболовки[1]. И не было тут ему ни озлоблений, ни утеснений, а учеников с каждым годом прибывало все больше да больше. Тогда перешел он в новый дом на Мещанской третьей улице. И в тот дом по зову Ивана Тимофеича приходил престарелый верховный гость, богатый богатина Данило Филиппыч. Не два солнышка в чистом небе сокатилися, а Данило Филиппыч с Иваном Тимофеичем сходилися, и друг другу они до земли поклонилися. Поклоняется Иван Тимофеич, а сам такие речи приговаривает: «Ты добро, сударь, в мою палатушку пожаловал! Не побрезгай, государь, убогой моей кельею. У меня про тебя все при-

---

[1] Из архивных дел видно, что в 1710 году в Москве был дом крестьянина г. Нарышкина, деревни Максаковой, Иван Тимофеева Суслова, за Москвой-рекой, между Шаболовской и Донской улицами. У Ивана Тимофеева была лавка в масленом ряду, чтобы считаться ему торговым человеком, но сам он никогда в той лавке не бывал.

пасено, и сготовлено: столы-то расставлены, по столам-то разостланы скатерки камчатные, приготовлены тебе, гость дорогой, яства сахарные со питьями со медвяными. Добро, государь, ко мне пожаловать, моего хлеба-соли откушати, а я рад тебя послушати. А не сахарные яства поставлю перед тобой, не медвяное питье я налью тебе — поставлю пред тобой учеников моих!» И по сем «верховный гость» со своим сыном возлюбленным не дни, не часы, а многие недели за одним столом [1] беседу вели про спасение верных-праведных. И каждую ночь бывали у них радения. На святом на кругу радел богатый богатина Данило Филиппыч, «в слове ходил» Иван Тимофеич. И по малом времени умер Данило Филиппыч, а лет через пятнадцать по кончине его Иван Тимофеич отошел от земной жизни, и схоронили его в Москве при церкви Николы в Грачах [2].

Последних слов Устюгова не было слышно. Дряхлый сказатель ослаб и впал в беспамятство. Тогда началось раденье — кто подпрыгивает, кто приплясывает, иные, ровно мертвые, лежат на полу без движения, глаза у них расширились, глядят бессмысленно, изо рту пена клубом. Падучая! [3].

А песня, грустная, печальная песня громче и громче поется в сионской горнице. Ножной топот, исступленные визги и дикие, неистовые крики раздаются по ней. Поют божьи люди:

---

[1] Этот стол, взятый в сороковых годах нынешнего столетия у московских хлыстов, близ Сухаревой башни, находится в собрании раскольничьих вещей в Министерстве внутренних дел. На доске его написаны по-иконному портреты Данилы Филиппыча и Ивана Тимофеича.

[2] Приходская церковь тогда на Земляном валу, теперь на Садовой. Третья Мещанская улица идет с Садовой в противную от той церкви сторону. Там до 1845 года был хлыстовский дом и в нем святой колодезь. Тот дом стоял на месте «божьего дома», устроенного Иваном Сусловым.

[3] Между хлыстами много бывало больных падучею болезнью. Сам Иван Тимофеич Суслов, а также и преемник его Прокопий Лупкин подвержены были этой болезни. Из архивных дел видно, что нижегородский стрелец полка Батурина Прокопий Данилыч Лупкин 17-го августа 1710 года был в Москве на смотру у Кирилла Лаврентьевича Чичерина и по осмотре от службы отставлен «за падучею болезнью».

Пойду, пойду, сын гостиный,
Ко тихому Дону,
Вступлю на кораблик,
Стану работати.
Труда прикладати,
Пот свой изливати,
В трубушку играти,
Верных утешати,
Верных избра́нных.
Всех братцев, сестриц̆ев,
Духовных, любовных.
Пойду, сын гостиный,
В зеленый садочек.
В саду побываю,
Древо покачаю.
Одно в саду древо,
Оно было мило,
А нонеча древо
Вдруг печально стало.
Спрошу, сын гостиный,
Печального древа:
Отчего печально,
Отчего кручинно?
Ответит то древо
Гостиному сыну:
«Государь надёжа,
Батюшка родимый,
Оттого печально,
Оттого кручинно —
Вершинку сломало
От тучи от грозной,
Погоды холодной».
Во том во садочке
Стояла светлица,
Во той во светлице
Сидела девица,
Плакала, рыдала,
Гостя ожидала,
Гостя дорогого,
Батюшку родного:
«Укрой ты нас, батюшка,
От тучи от грозной,
Погоды холодной!»

Когда все мало-помалу стихло, мерным голосом стал говорить кормщик. Все слушали его с напряженным вниманием. Говорил он, что рассказанное Григорьюшкой в наши дни повторяется. Говорил о бывшем землетрясенье на горе Араратской, как вершина ее сизыми тучами облекалась, как из туч лились ярые молнии потоками, как стонала земля и возгремели до той поры неслыханные никогда громы. Затряслась гора Араратская, растре-

калась на части, оторвались от нее скалы и вечные льдины... И тогда вновь явился богатый богатина господь Саваоф. Имя его осталось неведомым, а велел он себя называть «старцем иерусалимским». Рассказал Николай Александрыч, что за Кавказом их единоверцы, тамошние божьи люди, признали старца того богом. Через шесть дней иерусалимского старца не стало. Но еще прежде, чем оставил он веденцов, назначил им по себе преемника, был бы у них и христом, и царем, и пророком, и первосвященником. И с той поры пошли по хлыстовским кораблям и корабликам смутные толки и неясные сказанья про араратского царя, Максима Комара. Говорили, что он во многом изменяет верованья и обряды, творит чудеса, и что всякая воля его исполняется беспрекословно, без сомнений, без рассуждений, и что завел он в закавказских кораблях духовных жен.

— Вот он пишет к нам послание,— сказал Николай Александрыч.

И, вынув из стола письмо Егора Сергеича, прочитал:

— «Приведу вас от севера из хладных мразных стран в место вечного покоя, всякой радости и всякой сладости. С плачем изы́дите из мест ваших, с весельем приидите сюда, в места благодатные. Через многие воды проведу я вас прямым путем, и вы не заблуди́тесь. Приидите же ко мне, избра́нные ото всех племен человеческих,— здесь, на горе Арарате, на райской реке на Евфрате обращу ваши нужды и печали на покой и отраду. Удержите же рыдания, удержите источники слезные — напою души жаждущие, напитаю души алчущие, на сердцах ваших напишу закон правды».

— Вот,— продолжал Николай Александрыч,— я все вам сказал. А из тамошних мест едет племянник наш Егорушка, скоро увидим его. Привезет он вести обо всем, что творится у наших братьев на подножьях горы Араратской. Вот я поведал собору о «веденцах». Сами судите, идти ли нам из здешних северных мест на юг араратский.

Сильно поразили Дуню сказанья Устюгова про Саваофа богатого богатину и про Ивана Тимофеича. Хоть и много говаривала она про новую принятую ею веру и с Марьей Ивановной и с Луповицкими, но никто из них, даже ее подруги, Варенька с Катенькой, о том ни слова не говаривали. Много бывало у них бесед, но все гово-

рилось об умерщвлении плоти, о радениях, о хождении в слове, о таинственной смерти и воскресении; сказаний о новых христах разговоры их не касались.

Призадумалась Дуня, услыхав столь много нового и непонятного. «Стало быть, не вся их тайна открыта мне... Всего не хотели сказать... И другие, верно, есть тайности, а мне не открывают их... Да, я, видно, из малого ведения! Мне нужно молоко, как сейчас говорила Марья Ивановна... Так вот они какие!. А третьего дня уверяли, что ведением своим я достигла всего; Николай Александрыч сказал, что теперь велик мой дух на земле и что мне недостает только духовного супружества... Но что ж это за духовный супруг? Больше года слышу про него, а все еще не знаю, что это такое... Скрывают от меня, все скрывают, а уверяют, что вся тайна мне поведана, что я знаю все, и земное и небесное... А я ровно ничего не знаю... Зачем же уверять?.. Для чего они таятся?.. Живя здесь для них, я отстала от многого... Вот послезавтра первый спас — успенский пост начнется, а я должна буду с ними скоромиться. Согрешила — середу, пятницу нарушила. Петров пост нарушила, успенского нарушить нельзя!.. Что буду делать?..»

Погруженная в раздумья, Дуня не чувствовала восторга, что каждый раз находил на нее на радениях. Сидит безмолвная, недвижимая, взоры у ней строгие, взгляд суровый. А меж тем громче и громче раздаются неистовые вопли, плач и рыданья. Ждут не дождутся на кругу пророчицы. Ждут не дождутся Дуни. Все жаждут слышать из уст ее пророчения... А она ровно мертвая. Склонила голову в изнеможенье, пребывая в строгом бесчувственном покое.

— Скажи, блаженная!.. Вещай слова пророчества!. Пролей из чистых уст твоих сказанья несказанные!..— Так сам кормщик молил Дуню, крестясь на нее обеими руками и преклоняясь до земли.

Молчит Дуня. Ни слова в ответ.

Зачем скрывают? — сама думает.— Ведь я приведена. Зачем же смущают ни с чем не сообразными богохульными рассказами про какого-то верховного гостя, про каких-то Ивана Тимофеича да царя Максима?.. Зачем отторгли они меня ото всего, к чему я с малых лет привыкла? А была я тогда безмятежна, сомнений не знала и тревог душевных не знала».

— Вещай, чистая, святая душа!.. Скажи глаголы истины!.. Сподобилась ты дара пророческого, осветилась душа твоя светом неприступным. Ты избранница, ты уготованная агница!..— Так ублажали Дуню хлысты, собранные в сионской горнице.

И с плачем, и с воплями, и с рыданьями припадали к ногам ее.

Недвижима Дуня. Не слышит слезных молений. Сидевшие возле нее Варенька с Катенькой, Марья Ивановна с Варварой Петровной то просят, то понуждают ее «в слове ходить». И тех не слышит Дуня, вспоминается ей дом родительский.

«У Макарья теперь тятенька,— одна за другой приходит мысли к ней.— В хлопота́х да в заботах сидит в мурье каравана. Не так жил летошний год со мной... Кто его теперь порадует, кто утешит, кто успокоит?.. Когда-то увижусь с ним?.. Когда-то по-прежнему стану коротать с ним время, да еще с сердечной Дарьей Сергевной?.. Что я за агница обетованная? Кому я обетованная?.. Бежать, бежать!.. Или в самом деле нет отсюда возврата?»

И вдруг ни с того ни с сего вспомнилось ей катанье по низовью Оки... Мерещится красивый образ шутливого «капитана»... Стоит со стаканом волжского квасу, а искрометный взор его проникает в самую глубь души ее. Песня послышалась... Послышалась она не в сионской горнице, а в сокровенном тайнике Дунина сердца... Вслушивается — нет, это не та песня, что пелась во время катанья... Но вот опять все перед ней преклоняются, горько плачут, слезно просят, отверзла бы уста, наполнилась духом и прорекла «общую судьбу» кораблю. Выпевают ей молитвенными голосами, скорбными, печальными:

Ты блаженна, преблаженна,
Душа девица смиренна,
Изо всех людей избра́нна!
Ты раскрой свои уста,
Прореки нам чудеса!
Обличи нас обличеньем
И обрадуй разрешеньем
Ото всех наших грехов
Напущенных от врагов!
Не жалей своих трудов —
Духом в небеса лети,
За нас, бедных, умоли,
Милости нам сотвори!

Смани сокола из рая,
Из небесного из края,
Духом правым возгласи,
Своим словом нас спаси!

Не слышит Дуня ни песни, ни восклицаний. Напрасно ждут от нее вдохновений. Видя, что сидит она безответная, бывшие в сионской горнице стали было меж собой переговаривать:

— Накатило!.. Духом завладала!.. В молчанье он открывается.

И, оставив в покое Дуню, стали радеть «Давидовым раденьем». Не вышла на «круг» Дуня, по-прежнему сидит недвижная.

Скачут, вертя́тся, кружа́тся. Градом льет со всех пот. Ходит по горнице и чуть не тушит свечей ветер от раздувающихся радельных рубах и от маханья пальмовыми ветвями. А Дуня все сидит, все молчит.

Вдруг пронзительным, резким голосом взвизгнула Варенька. Пена у нее на губах показалась. С криками «накатил, накатил!» в страшных судорогах грохнулась она на пол.

Очнулась, поднялась. Диким, исступленным блеском горят широ́ко раскрытые ее глаза, кровавым заревом пышет лицо, обеими руками откидывает она падающие на лицо распущенные волосы. Опять все кружа́тся, опять поют, ударяя ладонями по коленам.

Дикими, громкими голосами они поют:

Затрубила труба, затрубила,
Затрубила труба не простая,
Не простая труба, золотая,
Золотая, архангельская!..
Загудели гусли-мысли,
Гусли-мысли не простые,
Не простые, звончатые,
На них струны не простые,
Не простые, жиловые [1]
Те архангельские струны — золотые,
На тех гуслях звончатых
Возыграли, воспевали
Царь Давид перед ковчегом,
Соломон царь на Сионе,
Гусли, гусли, самогуды!..
Сами на струнах играют,

[1] *Жиловая* струна — сделанная из сухожилья.

Сами песни воспевают,
Сами пляшут, сами скачут,
Думы за̀ горы заносят,
Думы из-за гор выносят!..
Гусли, гусли звончатые,
Струны, струны, золотые,
Говорите, гусли-мысли,
Воспевайте, струны, песни,
Воспевайте царя неба,
Возносите Христа бога,
Возыграйте духу святу!..
Будь ты пастырь нам единый,
Прими нас в небесно царство!

Еще не допели хлысты, как Варенька опять закричала нечеловеческим голосом. Всем телом затряслась она. Ухватясь за̀ угол кормщикова стола, исступленно озиралась она по сторонам, ежеминутно вскрикивая и всхлипывая от душивших ее рыданий. Говор пошел по сионской горнице:

— Накатил, накатил! Станет в слове ходить! Пойдет!..

А Дуня все сидит, все молчит, едва придерживая склоненную до самого пола пальмовую ветку.

«Выпевает» Варенька:

— Ай дух! Ай дух!.. Ой эва́, ой эва́!..[1] Накатил, накатил!.. Эка радость, эка милость, эка благодать, стала духом обладать..

И потом стала говорить, что вот идет посол от закавказских братьев. Наставит он на всяко благо. Забудем скорби и печали, скоро настанет блаженный день света и славы. С любовью и упованьем станем ждать посланника. Что ни повелит, все творите, что ни возвестит, всему верьте. Блюдитесь житейской суеты, ежечасно боритесь со злым, боритесь с лукавым князем мира сего, являйте друг ко другу любовь, и благодать пребудет с вами.

Сказала и без чувств упала наземь. Подняли ее, положили на диванчик возле Дуни. Тяжело дышала Варенька. Из высоко и трепетно поднимавшейся груди исходили болезненные, жалобные стоны. Всю ее сводило и

---

[1] «Ой эва̀!» — древнее вакхическое восклицание, употребляется хлыстами во время их исступленного состояния. См. донесение в святейший синод (1809 года) калужского священника Сергеева, бывшего некоторое время в хлыстовской секте. Употребляются также: «эй эван!», «эваной!», «эвоэ!» — тоже клики вакханок.

корчило в судорогах. Марья Ивановна бережно прикрыла лицо ее покровцем. Но из других, бывших в сионской горнице, никто не встревожился ее припадком. Все были рады ему. С набожным восторгом говорили хлысты:

— Экая сила в ней вдруг проявилась!

— Велика̀ благодать!

— Велик в ней дух!

А Дуня сидит да молчит. Кончилась другая проповедь кормщика, кончились и пляски и песни, все пошли за тра̀пезу, а Дуня, надевши обычное платье, ушла в свою комнату и заперлась в ней.

Раздвоялись ее мысли. Скучающий отец и призвание от тьмы неведения к свету сокровенной тайны! Обычная жизнь купеческой девушки и вольная, свободная, восторженная искательница благодати. Там «изменщик» Петр Степаныч,— здесь — таинственный духовный супруг... Но что ж это за духовный супруг?.. Узнаю ль когда?.. Скоро ли?

Так раздумывала Дуня, и в этих думах прошло все утро, прошел и целый день у нее.

Под самый уж вечер подошла к Дуниной комнате Варенька и постучалась.

Когда Дуня отперла дверь, Варенька пристально посмотрела на подругу. Дуня немного смутилась.

— Отчего «не ходила в слове»? — строгим голосом спросила Варенька.

— Не знаю,— чуть слышно ответила Дуня.

— Опять суета отуманила? О житейском раздумалась?..— сказала Варенька.

— Нет,— прошептала Дуня.

— Духу лжи не работай, слов неправды не говори,— строже прежнего заговорила Варенька.— Я заметила, что у тебя на соборе лицо было мрачное. Темное такое, недоброе. Видно, что враг в душе твоей сеял плевелы. Смущает он тебя чем-нибудь?

— Нет во мне смущенья,— твердо ответила Дуня.

— Отчего ж ты на соборе была такая думчивая? — продолжала Варенька.— О чем раздумалась?.. Тревога житейская, аль опять сомненья?.. Уныние или мирские заботы?.. Перестань думать о них. Никакие заботы, никакие житейские попеченья не сто́ят чистых твоих дум... Передо мной не таись, скажи всю правду... Моими

или устами других будешь обличена на соборе, тогда все откроется, все, что ни есть у тебя на душе.

Страшна, ужасна показалась Варенька Дуне. Прежде она такая была тихая, нежная, ласковая; теперь совсем иною явилась. Глаза горели исступленьем, взоры, казалось, проникали в самую глубь Дуниной души, и Дуня невольно содрогалась перед пытливыми взорами. Лицо Вареньки пламенело, бледные, сухие ее губы то и дело судорожно вздрагивали. Не было в ней теперь и обычной миловидности; что-то зверское заменило ее. Смутилась Дуня, трепет стал пробегать по ее телу, не в силах она была прямо смотреть на многолюбимую прежде подругу, слезы из глаз выступали. Закрывши платком лицо, робким голосом она промолвила:

— Признаю́сь Сомненье... Послезавтра успенский пост. Что ни помню себя, никогда в этот пост я не скоромилась, а здесь без того нельзя... Тяжело... Смущает меня...

— Только-то? — прежним голосом ласки промолвила с улыбкой Варенька.— Чем же тут смущаться?.. Не в один успенский пост, а всю жизнь надо поститься... Но что такое пост? Не в том он, чтобы молока да яиц не есть — это дело телесное, нечего о нем заботиться. Душой надо поститься, скорбеть, ежели совесть тебя в чемнибудь зазирает. Сердце смиренное, дух сокрушенный — вот настоящий пост.

— А меня совесть в том упрекает, что постов не держу, не соблюдаю ни середы, ни пятницы, даже в Петров пост скоромилась. А тут успенский...— сильно волнуясь, говорила Дуня.

— Кто же неволит тебя оставлять мирские посты? Они ведь телесные...— сказала Варенька.— Постничай, сколько душе угодно, только не смущай себя. Было бы у тебя сердце чисто да вера истинная без сомнений. Помни, что ты уж в ограде спасения... Помни клятву, что не будет у тебя сомнений, что всю жизнь будешь удаляться от мира и всех его забот и попечений, ото всей злобы и суеты его... Ведь тебе открыта тайна божия?.. Ведь ты возлюбила праведную веру?..

— Вполне ли тайну-то открыли мне? — после долгого молчанья прошептала Дуня.— Все ли рассказали?.. Все ли я знаю?

— Тайна раскрыта,— сказала Варенька.

— Вся ли? — промолвила Дуня.

— Не понимаю, что говоришь,— сказала Варенька.— Что ж тебе неизвестно?.. Однако здесь душно, пойдем лучше в сад.

И пошли они в сад и сели там друг против друга за столом, окруженным скамьями.

— Что ж от тебя скрыто? — спросила Варенька, когда уселись они.— Какая тайна тебе не открыта?

— А говорил ли мне кто про гору Городину? А говорил ли кто про Арарат? — обиженно молвила Дуня.— Я приведена, от прежнего отреклась — от веры, от отца, от дома... И, ослепленная, я думала, что все знаю, все постигла, все поняла... А выходит, ничего не знаю. Что ж это?.. Завлекли? . Обмануть хотели?

— Стой, стой! Опомнись! Удержись от хулы... Ничего нет тяжелее этого греха,— вскрикнула Варенька, зажимая рукой уста Дуни.— Успокойся, слушай!

Ни слова не сказала Дуня. Оперлась локтями о стол и закрыла лицо ладонями. Стала говорить Варенька:

— Не всякому дается постигать умом великие тайны. Для того много надо наперед прочитать, много уразуметь, чтобы потом узнать вполне тайну. Простым неначитанным людям малого ведения она открывается будто под покровом — в сказаньях и притчах... Но и тут каждое сказанье имеет таинственный смысл. Ты много людей видала в сионской горнице, а у многих ли из них есть духовно отверстые уши, чтобы понять «сокровенную тайну»? Не божедомки [1], конечно, не солдаты с крестьянками, не дьякон Мемнон, не юродивый, не Серафима Ильинишна со вздорными монахинями обладают высшим ведением. Только и есть, что наша семья, Катенька с отцом да еще разве Строинский, Дмитрий Осипыч. И тебя такою же считаем. Твои уши вполне разверсты, ты можешь понимать таинственный смысл сказаний, и старых и новых... Потому тебе про богатого богатину, про Ивана Тимофеича и про других не говорили, а прямо открывали сокровенные тайны. К чему было говорить тебе про эти басни?.. Лишнего не нужно тебе. Тетенька Марья Ивановна, когда еще привезла тебя, сказала нам, что ты много читала, обо многом говорила с ней и что

[1] *Божедом* — призреваемый в богадельне.

сокровенная тайна вполне почти известна тебе... Так и вышло. Зачем же было рассказывать тебе сказки про сошествие на землю Саваофа, про небывалые смерти и телесные воскресения разных христов? Все это вздор, пустяки, никто из нас не верит им, а для людей малого ведения они необходимы... Вот почему не говорили тебе ни про гору Городину, ни про Ивана Тимофеича, ни про других, простыми людьми святыми и даже богами почитаемых...

Тяжел был Дуне этот разговор. «Все, видно, у них на обмане стоит,— думала она.— Если меня не обманывают, так этих простых людей обманывают... Зачем же? Для чего открывать одним больше, другим меньше? Где обман, там правды нет... Стало быть, и вера их не права. Страшно было даже слушать, что говорили они на великом соборе!.. У них какому-нибудь Ивану Суслову нипочем назвать себя сыном божиим — все ему верят... А потом еще будто тело создано лукавым... И я тому верила... Творец — один, а им мало одного, нечистого еще творцом признали... Грех! Грех и безумие. Отшатнулась от них душа моя. В какую, однако, пучину попала я! Господи, помоги, господи, избавь от сети ловчей!»

Как ни заговаривала Варенька, каких речей ни заводила, ответов Дуня не дает. Настала ночь, и разошлись по своим комнатам недовольные друг другом подруги.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После «великого собора» сторонние люди дня три еще прогостили в Луповицах, а на четвертый стали расходиться и разъезжаться. Остались четыре крестьянки из дальних мест, каптенармус Устюгов с другом своим фельдфебелем Богатыревым да полоумная Серафима Ильинишна с неразлучными спутницами, матерью Сандулией да с матерью Иларией. Приехавши в Луповицы, барышня с большого ума вздумала попасти лошадей на своей земле верст без малого за сто. В степях у нее была небольшая пожня, никто не нанимал ее, а каждый год бывала она либо скошена, либо потравлена. Опытные в наживе соседи находили, что краденое обходится всегда дешевле купленного, и оттого косили и травили липутинские покосы, не считая того грехом. Заехавши в Луповицы, юродивая барышня разочла, что ей будет выгод-

но стравить пожню своими конями, для того и послала туда тройку, а сама с монахинями засела в Луповицах, в ожидании когда воротятся покормившиеся лошадки.

Катенька Кислова с отцом в город уехали. Стосковалась по ней больная мать, просила хоть на короткое время побывать у нее. Не хотелось Катеньке ехать, но, делать нечего,— скрепя сердце рассталась с Варенькой и Дуней. Со слезами проводила ее Варенька, сдержанно простилась Дуня.

Когда собравшиеся в дорогу сидели за прощальной трапезой, привезли почту. Николай Александрыч новое письмо от Денисова получил. Писал тот, что его опять задержали дела и что приедет он в Луповицы не раньше, как через неделю после Успенья, зато прогостит недели три, а может, и месяц. Все были рады, а кормщик обещал, только что приедет он, повестить о том всех божьих людей. И за то были ему благодарны.

И Дуня получила письма. Бегло прочтя, торопливо спрятала их. На бледном, исхудалом лице ее тревога показалась, но никому не сказала она, о чем пишут к ней отец и Дарья Сергевна. Спросила было Марья Ивановна, нет ли новенького, но Дуня промолчала. А когда гости разъехались, заперлась она в своей комнате и несколько раз перечитывала письмо Марка Данилыча от Макарья, где он, одинокий, тосковал и скучал по ненаглядной своей дочке. Напрасно стучались к Дуне и Варенька и Марья Ивановна. Притворясь спящею, не отзывалась она.

А сама, лежа на постели, думает: «Тятенька зовет... Сейчас же зовет. Пишет: «Ежель не скоро привезет тебя Марья Ивановна, сам приеду за тобой...» Господи!.. Если в самом деле приедет! Насквозь увидит все, никакая малость не ухоронится от него... И Дарья Сергевна торопит. А как уедешь? Одной нельзя, а Марья Ивановна совсем, кажется, забыла про Фатьянку... А оставаться нельзя. Обман, неправда!.. Как же быть? Научи, господи, вразуми!..»

Солнце было на закате, над потухающим светилом разостлались длинные полосы золотистых облаков. Тускнут лучи, и прохлада разливается в воздухе. После жаркого, душного дня отрадна и сладка вечерняя прохлада! Поглощенная думами Дуня всего и всех избегает.

Ни на что бы ей не глядеть, никого бы не видать, никого бы не слушать... После разговора с Варенькой сомненья в правоте новой веры растут с каждой минутой... «Как же это,— все думает она,— одно — для знающих Бема и Сен-Мартена, другое — для не читавших их?.. А тем и другим от семьи отлученье. А сами семьей живут...»

Отцовское письмо такое было ласковое, такое тоскливое... И жаль стало Дуне старика, положившего в нее душу свою. Одинокий, в тоске, в печалях, в заботах, быть может, больной!.. И никто ему не молвит приветного слова! Один, как перст, один-одинешенек...

А в комнате жара, духота — нет сил оставаться в ней. В сад идти — с кем-нибудь встретишься. А это Дуне теперь хуже всего на свете. Хочется быть одной, совсем одной... О! если бы можно было очутиться где-нибудь на безлюдье, в степях, что расстилаются гладью перед Луповицами, либо заблудиться в темных заволжских лесах, либо птичкой нестись в быстрой лодке по широкому раздолью Волги. И опять катанье в косных стало ей вспоминаться... Слышится ласковый голос, раздается за душу хватающая сладкая песня... Как тогда было беззаботно, как весело, счастливо!.. На волю, на волю!

И пришло Дуне на память, что по обеим сторонам дома насажены густо заросшие палисадники и что там никого ни в какое время не бывает. Едва слышными шагами пошла она туда. Через силу отворила железную калитку на ржавых петлях и медленно пошла по дорожке когда-то усыпанной битым кирпичом, а теперь густо поросшей травою. Вдоль стен разрослись сирень, дикий жасмин, ломонос, трубоцвет, дикий виноград, плющ и вьюнок. Совсем почти закрывали они стены нижнего жилья. Высокой чугунной огорожи, отделявшей палисадник от сада, не видно было из-за кустарников — высокая бузина, густо разросшийся боярышник, дерен, шиповник сплошь застилали ее. С первого взгляда заметно было, что этот когда-то на славу устроенный палисадник был запущен с какой-то целью... Кой-где сохранялись гранитные и мраморные подножья. Когда-то стояли тут изваянья, быть может, дело замечательных мастеров... Заметны были полуразрушенные, обсохшие водоемы... И все было заброшено, как лишняя роскошь.

В укромном местечке села Дуня на железную скамью. Ниоткуда ее не видно. Опять раздумалась о том, что узнала от Вареньки.

И опять ей чудится, что где-то далеко, не то в необозримой степи, не то на золотистых облаках, голоса раздаются. Это не удивило ее — часто ей слышатся неведомые голоса, часто даже видятся незримые телесными глазами бестелесные образы. Не чужды они ей, свыклась с ними, не пугают ее ни гласы, ни образы. И вот слышатся отдельные слова... Будто песня. Не один голос поет, а много, много голосов. Грустно поют, в чудной песне слышны мольба и печаль. И чувствует Дуня, что звуки льются не с горных высот, не из степного раздолья, а зарождаются в ее сердце и потом отзываются и в степи, и в облаках, и в листве кустов... Каким-то болезненным и вместе отрадным потоком они не слух ее поражают, а самую душу в глубоких ее тайниках... Не голос ли это просветленной души? Напев знаком... И радостны и отрадны стали вдруг звуки... Век бы слушать их, не наслушаться... Но что поют?.. Зачем поют?

Прислушивается Дуня. Голоса громче и громче... Песня знакомая:

Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой,
На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок,
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся жемчужок!
Ты люби меня, Дуняша,
Люби миленький дружок!

Встрепенулось у ней сердце и заныло. Чем-то страстно томительным, но свежим и здоровым облило́сь оно. Подняла Дуня опущенные в землю очи. И — в густой чаще сирени видит...

С места вскочила, крепко прижавши руки к девственной груди.

Смотрит... Нет, это не сонная греза, не таинственное виденье. Совсем не то, что видала она в минуты восторга в сионской горнице и что являлось ей в тиши полуночного часа, когда предавалась она созерцанию.

«Он»! Живой! Тот, по ком когда-то сердце болело, в ком думала счастье найти.

Зорко, участливо, скорбно глядит на нее Петр Степаныч. В глазах укор и раскаянье, на ресницах слезы...

«Фленушка!» — вихрем пронеслось в мыслях Дуни.

Его лицо оросилось слезным потоком. И видит Дуня — робко простирает он к ней руки. . О чем-то молит... Преклоняется... А где-то далеко голоса, тихое бряцание арфы... и чудная песня незримых:

Любовь все прощает,
Все покрывает, все забывает.

Ринулась к «нему» с отверстыми объятьями... Перед ней Варенька.

— Вот куда ты запропастилась, а я искала, искала тебя... Что за охота ходить сюда?.. Больше часа искала я тебя по́ саду... Здесь сыро, мокро́ — пойдем лучше в сад!.. Еще простудишься... И лягушек здесь множество... Мы никогда сюда не ходим.

Все исчезло, все смолкло от первого звука Варенькина голоса. Молча опустилась Дуня на скамью. Из светлого рая да вдруг на скорбную землю!.. Не знает, что и сказать... Досадно ей на Вареньку. Зачем нарушила сладкий покой ее? Зачем исчезли прекрасные виденья? Зачем смолкли чудные голоса?..

— А я, искавши тебя, в богадельню заходила,— продолжала Варенька.— У Матренушки целый собор... Хочешь послушать людей «малого ведения»? Много их там. Непременно опять станут толковать про Данила Филиппыча, про Ивана Тимофеича. Ежели хочешь, пойдем. Только не в богадельню,— в вишенье станем. При нас не станут много говорить. Пойдем, послушай.

— Постой! — молвила Дуня, отстраняя рукой Вареньку.— Я устала... Отдохнуть бы мне...

— Так лучше в саду отдохнешь,— сказала Варенька.— Здесь место глухое. Нарочно забросили его, чтобы сторонним этих окон не было видно. Это ведь сионская горница,— прибавила она, указывая на окна нижнего этажа.— Эти восемь окон сионской горницы, рядом в три окна кладовая, тут сложены белые ризы [1], знамена, покровцы и свечи. А дальше окна из одевальных комнат.

---

[1] *Белые ризы* — рубашки, надеваемые божьими людьми для радений.

Бессознательно глядела на все Дуня, думая совсем о другом. Она все еще была под влиянием только что исчезнувшего виденья.

— Пойдем же в сад,— стояла на своем Варенька.— Нельзя здесь оставаться. Простудишься!

И, взявши Дуню за руку, почти насильно повела ее за собой. Сели в саду на скамью под широко раскинувшимся дубом, что высился перед входом на длинную дорожку, по бокам обсаженную столетними липами. Напрасно Варенька заводила разговоры. Дуня ни одним словом не отзывалась ей — все еще не выходило у нее из памяти недавнее виденье... И об отце раздумалась, и было ей жалко его, и опять стало заныват ее сердце при воспоминанье, как он теперь один коротает время и возле него нет ни души, чтобы пожалела его, приласкала, приголубила. «Одна я умею ему угодить,— думает она,— одну меня только любит он... А меня-то и нет при нем. Ждет... Как тут быть?..»

Будто поняла Варенька, о чем Дуня перелетные думы раскидывает. Вспомнив, что утром получила она письма, повела речь об отъезде ее из Луповиц.

— Недолго придется нам пожить с тобой,— сказала она.— Скоро надо будет распрощаться... Когда-то в другой раз увидимся? Кто знает?.. Может быть, навсегда распростимся, на всю жизнь.

— Кто знает?..— едва слышным шепотом промолвила Дуня, склонив белокурую головку. Но в шепоте ее уж не было ничего страстного, ничего восторженного.

— Когда ж опять-то к нам соберешься? — спустя немного спросила у ней Варенька.

— Не знаю,— ответила Дуня.

— Тетенька Марья Ивановна совсем было в дорогу собралась. Осталась только повидаться с Егором Сергеичем. Она очень его любит,— сказала Варенька.

Ни слова Дуня.

Полна теперь она воскресшею любовью к отцу и мечтаньями о Петре Степаныче, не о том Петре Степаныче, что в бестелесном образе сейчас являлся перед ней, а о том человеке плоти и крови, чьи искрометные взоры когда-то бывали устремлены на нее и заставляли замирать ее сердце... Не могла она говорить...

И вот вспоминается ей, сладко вспоминается, как в косной на низо́вье Оки, пышущий здоровьем и весельем, опершись о́ бок левой рукой, он стоял перед ней со стаканом волжского кваску и дрогнувшим от сердечной истомы голосом говорил: «Пожалуйте, сделайте такое ваше одолжение!» Слова простые, обычные при всяких угощениях, но глубоко́ они внедрились в Дунином сердце. И вот теперь, когда перед ней предстает его образ, она невольно влечется к нему... А вот и другой образ, светлый во мраке, любимый середь людской злобы, бедный, покинутый, одинокий... То зримый Дуниной душе образ Марка Данилыча. Суров, молчалив, все перед ним сторонится, никто не смеет к нему подойти, а он страдальчески страдает одиночеством. Ни от кого участья, ни от кого ласки или привязанности. Одна Дуня и на уме и на сердце. Тоскует он, плачет по дочери... А она ради новой веры, что теперь ей сомнительна, покинула и отца и дом его... Встосковался он — так и пишет... Простые, бесхитростные, но из души вылившиеся слова Марка Данилыча надрывают Дунино сердце... И зачем она его покинула? Чего искала, чего хотела?.. Истинной веры?.. Вот и узнала. Тот же туман, тот же мрак, что и у матушки Манефы в скиту.

— Когда ж опять приедешь в Луповицы? — повторила свой вопрос Варенька.

— Не знаю,— прошептала Дуня.

— Жили мы, жили с тобой, подружились, съединились душами,— со страстным увлеченьем, тоскливым голосом продолжала речи свои Варенька.— И вдруг ничего как не бывало!.. Станем мы по тебе тосковать, будем сокрушаться, а ты?.. Забудешь и нас и святую сионскую горницу... Все забудешь... Опять погрязнешь в суете, погрузишься в мир страстей и утех... И, горючьми слезами обливаючись, будем мы поминать тебя.

— Не приедешь разве к Марье Ивановне? — спросила Дуня.— Ведь от нас до Фатьянки всего сорок верст. Бог даст, увидимся. Погостишь у меня, тятенька рад будет и тебе и Марье Ивановне.

— Как можно мне ехать в Фатьянку? — отвечала Варенька.— У тетеньки там не все еще устроено. И сама-то она, не знаю, как проживет зиму. Соседи — неизвестные, люди, привезенные из Симбирска, какие-то дикие. Знала я их еще в Талызине.

Не отвечала Дуня. Надоела ей Варенька... Если б можно было бежать, минуты не промедлила бы. Но как бежать, куда убежишь?

— Пойдут по окольности праздные толки и пересуды, начнутся сомненья,— продолжала Варенька,— станут подсматривать. Долго ль тут до неприятностей?.. Она же сказывала, что тамошние мужики сердиты на нее за покупку Фатьянки. Вступаются в какую-то землю. Сенные покосы, что ли. Трудно будет ей там... Опасно даже... Каков еще поп?.. Поп много может повредить. Вот хоть бы нашего отца Прохора взять, всем бы, кажется, должен быть доволен, а пальца в рот ему не клади... Человек добрый и семья хорошая... А случись что, поможет супротивным... Тьма, мрак!.. Вздумай кто бежать из нашего стада, даст и приют и помощь... Да... А каков поп у тетеньки, она и сама еще не знает.

— Потому-то и надо кому-нибудь ехать с ней и пожить первое время,— помолчав немного, сказала Дуня.

— Конечно, если б из мужчин кто поехал,— отвечала Варенька.— А кому ехать? Батюшке хозяйства нельзя оставить, дяде — корабля.

— Вот тебе бы и ехать,— рассеянно проговорила Дуня.

— Какая я помощница! — возразила Варенька.— Чем могу помочь? Еще чего-нибудь напутаю. Хуже, пожалуй, выйдет.

И снова глухое молчанье. Три длинные, через весь сад проложенные дорожки медленно прошли Варенька с Дуней. Обе молчали.

— Вот и Катенька уехала,— сказала, наконец, Варенька.— Без нее как-то пусто... Она ведь такая умная, разговорчивая.

— Да, умная,— промолвила Дуня, не думая ни о Вареньке, ни о Катеньке.

Опять пошли по дорожкам. Опять обе молчат.

— Желтеть стали,— указывая на липы, молвила Варенька.

— К тому идет,— чуть слышно проговорила Дуня.

— Да. Недалеко и до осени, а там не увидишь, как и зима подойдет,— сказала Варенька.— Вон клены-то как покраснели и рябины тоже. А у дикого винограда листья, как кровь.

Дуня промолчала.

— Да что ты какая? Слова от тебя не добьешься,— с нетерпеньем вскликнула Варенька.— Неприятные письма, что ли, получила?

— Нет, никаких неприятностей,— ответила холодно Дуня.

А тоска так и разливается по бледному лицу ее. Так и гложет у ней сердце... То отец мерещится, то Самоквасов не сходит с ума. Уйти хочется, одной остаться, но Варенька ни на шаг от нее.

Подошли к богадельне. Она была внутри освещена, а окна от духоты растворены настежь. Громкие, нестройные голоса́ оттуда несутся. Густо обсаженная вишеньем невысокая богадельня стояла в самом глухом месте, в отдаленном углу сада. За ней больше чем на полверсты тянулись ульи старого пасечника Кириллы. Место укромное, сторонним людям недоступное. Оттого ни божедомки, ни гости их разговорами не стеснялись, распевали свои песни и громогласно читали поученья и сказанья. Неверных фарисеев и злых иудеев [1] бояться нечего, а потому в богадельне бывали нередко раденья с криками, с воплями, с оглушительным ножным топотом. Свободно, на всей воле творилось тут все... Здешние сборища бывали не таковы, как в сионской горнице. Там многое умерялось присутствием господ, а здесь был полный простор распущенной свободе и грубой чувственности.

Проходя мимо вишенья, Варенька с Дуней остановились. Сумерки на́ небо в то время надвинулись, кругом стемнело.

— Послушаем,— останавливаясь, сказала Варенька.

Дуня остановилась.

— Тут Устюгов с Богатыревым,— тихонько молвила Варенька.— Опять пойдут сказанья. Будь потише. Заметят, то́тчас перестанут.

Опричь Устюгова с Богатыревым, в богадельне сидели пришлые крестьянки и Серафима Ильинишна с монахинями. Были тут и божедомки, и седовласый пасечник Кирилла Егорыч, бодрый не по летам дворецкий Сидор Савельев и конторщик Пахом Петров. И молодежи было довольно: поваренок Трофимушка, писаренок Ясонуш-

---

[1] *Фарисеями, иудеями* и просто *жидами* люди божьи зовут не разделяющих их верований.

ка, что у Пахома в конторе пописывал, еще человек с пяток. Они еще не были «приведены», но хаживали на раденья, потому что одному Василиса, другому Лукерьюшка по мыслям пришлись.

Слышатся громкие крики, задорная брань. Монахини ругаются, и, задыхаясь, неистово хохочет Серафима Ильинишна. Другие кто кричит, кто голосит, кто визжит, кто выкликает, кто выпевает... Ни дать ни взять — шабаш на Лысой горе. Ни Матренушке, ни дворецкому с конторщиком, ни каптенармусу с фельдфебелем не унять через край расходившихся девок и баб. Не сразу могли понять Варенька с Дуней, что дело идет об Арарате. В источный голос вопит мать Илария, размахивая четками.

— Про какие выпевал он Арараты? Что за Арары? Не попасть бы за них в тар-тарары!.. Нет Арары!.. Нет Арары!.. Есть тар-тарары, преисподнее царство лукавого!..

— Праздных слов здесь не смей говорить,— унимала визжавшую Иларию Матренушка.— Не твоего ума это дело. Слушай тех, кто тебя поразумней, слушай, матушка, да смиряй себя.

И не стало слышно речей Матренушкиных. Заглушили их взвизги Иларии и дикий хохот Серафимы Ильинишны. Попросила Матренушка мать Сандулию унять сожительницу и пригрозила, ежель она не уймется, до утрá посадить ее на замок.

— Не дури, не ври, чего не понимаешь,— схватив Иларию за руку, во все горло закричала Сандулия.— Откуда взялась такая умница? — обратилась она ко всему собранию.— Откуда дурища ума набралась?.. Молчать, Илария!.. Не то на запор!.. Молчать, говорю тебе!

— Не сама говорю... Я духом говорю!.. Духом прорекаю! — визжала Илария.— Нет Арары!.. Никакой нет Арары!.. У лукавого есть тар-тарары. Кто мне не верит, тому тар-тарары!..

— Перестань дурить. Не блазни других, не работай соблазнами лукавому,— уговаривала Матренушка через меру раскипевшуюся Иларию.— Не уймешься, так, вот тебе свидетели, будешь сидеть до утра в запертом чулане. Серафимушка,— обратилась она к Серафиме Ильинишне, казалось, ни на что не обращавшей внимания.

Она теперь благодушно строила на столе домик из лучинок.— Уйми Иларию. Вишь, как раскудахталась.

— Куда как так! Куда как так! — вскочив с места и разводя руками, закричала старая барышня по-куричьи, а потом громко захохотала.

— Не дури, Серафима,— прикрикнула на нее Сандулия.— Выходишь глупее Иларии!.. Станешь дурачиться, возьму скалку да скалкой! Уймись, говорю!

Стихла в испуге Серафима Ильинишна. Вспрыгнула на лавку и, поджав ноги калачиком, забилась в самый угол и крепко зажмурила глаза.

Не сразу унялась Илария. По-прежнему кричала:

— Нет Арары! Никакой нет Арары!

А сама клобучок да апостольник под лавку... Рвет волосы, дерет лицо ногтями, вся искровенилась, раскосматилась, а сама середь горницы на одной ножке подпрыгивает и плечами подергивает, головою помахивает и визжит неистовым голосом:

— Накатил!.. Накатил!.. Накатил!..

— Никак вправду накатил? — стали поговаривать пришлые из дальних деревень хлыстовки, мало знавшие юродивую барышню с буйными ее черницами.

Услыхала те разговоры Сандулия и закричала на всю богадельню:

— На свинство ее озорство накатило! Вот я покажу ей, каков дух в чулане у Матренушки...

И сильной рукой охватив тщедушную Иларию, с помощью божедомок вытащила ее в сени и там, втолкнувши в чулан, заперла замком. С неистовыми криками стала изо всей мочи колотить в дверь Илария, но никто не обращал на нее вниманья. Мало-помалу смолкла честная мать, и тишина настала в богадельне.

Заметила Варенька, что бесчинный шум и крупные ругательства сильно поразили Дуню, никогда не видавшую и не слыхавшую ничего подобного. Тихонько сказала ей:

— Они обе, и Серафима и мать Илария, с малолетства не в полном разуме. В сионской горнице не смеют своевольничать, а здесь им полная воля.

— Зачем же таких принимают? — спросила Дуня.— Кроме шума да безобразий, от них, кажется, нечего ждать.

— А почем знать? Может быть, на ту либо на другую вдруг накатит, а мы отвергнем избранный сосуд? — восторженно сказала Варенька.— Сила в немощах является. Теперь они дурачатся; может быть, сегодня же из уст их потекут живоносные струи премудрости... Пока мы во плоти, нам не надо предведенья...

— Не понимаю,— молвила Дуня.

— И не пытайся понимать,— сказала Варенька.— Непостижимого умом нельзя постигнуть. Много я тебе сказывала, но, может быть, и сама многого не знаю...

— Кто ж знает? Кто, наконец, утвердит меня? Совсем утвердит?.. Я, признаться, колеблюсь... Одно страшно, другое непонятно...— тихо, будто сама с собой, взволнованным голосом говорила Дуня.

— Тетенька Марья Ивановна больше других знает. Она самое Катерину Филипповну знавала, когда святая мать после Петербурга и Кашина в Москве жила [1],— сказала Варенька.— Она утишит твои душевные волненья. Одна только она может вполне ввести тебя в светлый чертог полного духовного разуменья.

Заговорили в тиши богадельни. Кого-то просят... О чем-то молят.

— Это они Григорюшку просят,— сказала Варенька.— Устюгова. Просят его еще рассказать... Слушай... Беседа начинается.

В богадельне все встали. Трижды перекрестясь обеими руками, Устюгов стал выпевать хлыстовские сказанья...

Опять начались длинные сказанья про богатого богатину, про христа Ивана Тимофеича Суслова, про другого христа, стрельца Прокопья Лупкина, про третьего — Андрея, юрода и молчальника, и про многих иных пророков и учителей. Поминал Устюгов и пророка Аверьяна, как он пал на поле Куликове в бою с безбожными татарами, про другого пророка, что дерзнул предстать перед царем Иваном Васильевичем и обличал его в жестокостях. И много другого выпевал Григорюшка в своей песне-сказании.

---

[1] Полковница Катерина Филипповна Татаринова за сектаторство была сослана в Кашин (Тверской губ.), в монастырь. Потом жила почти на полной свободе в Москве, здесь умерла и погребена на Пятницком кладбище.

Долго, больше полутора часов разглагольствовал он в богадельне. Наконец, до того утомился, что, как сноп, без чувств повалился на лавку. Хлысты начали радеть. В богадельне шумней и шумней. Исступленные до самозабвенья кричат в источный голос, распевают песню за песней, голосят каждый свое. Вдруг неистово прыгавшая Сандулия схватила с полки обещанную юродивой барышне скалку и стала изо всей мочи колотить себя по обнаженным плечам. Оттуда-то появились толстые веревки, плети, варовенные вожжи, палки и свежие, только что нарезанные батоги. Скача и бегая вприпрыжку по богадельне, хлысты с ожесточеньем и дикою злобой немилосердно били самих себя, припевая:

Плоти не жалейте,
Марфу не щадите!

Струится кровь по пле́чам. Кровенят на себе белые радельные рубахи. Иные головой о стену колотятся либо о́ печь, другие горящей лучиной палят себе тело, иные до крови грызут себе руки и ноги, вырывают бороды и волосы. Умерщвление плоти!..

Затрепетала Дуня, увидя страшное самоистязанье, слыша дикие вопли, бешеные крики, звонкие удары плетей и батогов. Едва не упала она от ужаса в обморок. Быстро схватила ее за руку Варенька и силой повлекла от богадельни.

— Не удивляйся,— сказала она пришедшей в себя Дуне.— Люди простые, выражают восторг попросту, посвоему. Многого не понимают и понять не могут. А всетаки избра̀нные сосуды благодати.

Ушли в дом, а крики и бичеванья долго еще не кончались в богадельне.

Ушли, наконец, оттуда пасечник Кирилла, Устюгов с Богатыревым и другие старые люди. И только что ушли они, стихли в богадельне и крики и вопли... Вдруг затворились окна, вдруг потухли огни.

До позднего утра̀ мужчины и женщины оставались вместе.

* * *

Всю ночь и долгое время на другой день не могла прийти в себя Дуня. Так поразило ее виденное в Матренушкиной богадельне изуверное самоистязанье. «И это

истинная вера... И это молитвенный подвиг!..» — с содроганьем она думала, и к прежним сомненьям в истинах принятой веры прибавилось новое чувство страха и отвращенья к ней... «И что ж это у них в самом деле? — размышляла она.— Для одних Бем, Сен-Мартен, Ламотт Гион, Юнг Штиллинг, «Сионский вестник», вольные каменщики, Эккартсгаузен [1], для других басни Устюгова, дикие песни, неистовые круженья и даже кровавое бичеванье!.. Где ж у них единая вера? Где единство обряда?.. И как я могла вступить в их корабль? Как могла сделаться участницей нелепых их обрядов, доходить до забвенья самой себя, говорить, сама не знаю что и потом не помня ничего сказанного... Уверяли меня, глупую, будто дух святый сходил на меня, и я, как околдованная, тому верила. Меня обманывали, а я кичилась и величалась увереньями их... Приятно, лестно было слушать их лукавые, обманные речи... Знатные люди, ученые преклонялись передо мной, простой девушкой, только грамоте обучившейся в заволжском скиту!.. Да, в самом деле тут было наитие, но не святое, а вражье, бесовское... Скорей отсюда!.. К тятеньке!.. К поильцу моему, к кормильцу!.. А я-то, глупая, чуть не девять месяцев огорчала его то молчаньем, то холодным безучастьем... А он-то, родимый, будто не замечал того, всегда был ласков и приветлив ко мне, больше всего на свете любил меня!.. Простишь ли, голубчик мой, простишь ли глупую дочь свою?.. Не сто́ю твоей любви и попечений!.. И Дарью Сергевну сколько раз оскорбляла я, а она ведь мне была вместо матери, на руках своих вынянчила, научила, как умела, уму-разуму, полюбила, как родную дочь... Обидела я, горько обидела и сердечного друга Груню голубушку, оттолкнула от себя любовь ее... Негодная я, никуда

---

[1] Печатный «Путь ко Христу» Бема и его же рукописные переводы книги «Аврора, или утренняя заря на восходе», а также сочинения Сен-Мартена, особенно «Des erreures et de la verité» печатные книги масонские, сочинения Юнга Штиллинга, Эккартсгаузена и Марии Ламотт Гион, «Сионский вестник» Лабзина и другие мистические сочинения были в большом уважении у хлыстов, масонов и в других мистических сектах. Нередко бывали они находимы у хлыстов из простолюдинов, а также у молокан, особенно же у духоборцев. Это видно из архивных дел. Барон Гакстгаузен («Russische Zustände») говорит, что он у молокан (простолюдинов) встречал сочинения Юнга Штиллинга.

негодная!.. А все от книг, что велела читать Марья Ивановна!.. Господи, господи! помилуй ты меня, великую грешницу, пошли святую помощь свою вырваться из этого богопротивного дома!.. А если Марья Ивановна да не скоро сберется в дорогу, если по моему письму тятенька не тотчас приедет за мной — что тогда буду я делать? Денег на дорогу довольно, да как уедешь? Не пустят, бог знает чего наговорят, мало ль чем могут настращать... А!.. Вчера Варенька про здешнего попа говорила: «Вздумай кто бежать, даст и приют и помощь». К нему на первое время? Да ведь он никонианский... Нового греха не нажить бы!..»

Так раздумывая сама с собой, Дуня, решила во что бы то ни стало покинуть луповицкий корабль людей божьих, отречься от их неправедной веры, во всем и навсегда разорвать с ними и, как блудный сын, возвратиться в дом отчий... И стала она по целым часам и днем и ночью молиться перед иконами, прося у бога помилованья в том великом грехе, что не по принужденью, не по нужде, не по страху, но своею волею впала она в греховную пропасть, оставила отеческие законы... И молитва утишала душевные ее волненья. Теперь Дуня только одно и держит на уме, как бы выбраться из дома лжепророков и лжеучителей.

Внезапное охлаждение Дуни к долго желанной и потом столь радостно и искренно принятой ею вере, быстрый переход мечтательной девушки от уверенности в несомненной правоте учения «верных-праведных» к неудержимому от него отвращенью — явление нередкое в исступленных и восторженных сектах. Это замечается не только у нас, но и на западе Европы и в Америке; там оно еще чаще случается. То же бывало и в исступленных сектах первых веков христианства. И всегда почти ушедшие из секты, как бы в отместку за временное их заблуждение, делались отъявленными врагами прежних братьев и сестер по верованью.

Хлыстовщина влечет в свои корабли людей всех состояний — от безграмотных до высокообразованных, от полковых музыкантов до александровских кавалеров, от нищих до обладателей громадными богатствами [1]. Что ж

[1] Дело о Татариновой.

влечет их? Конечно, не одно удовлетворение чувственности, в иных кораблях бывающее в полночном мраке после радений. Увлекаются в хлыстовщину и пожилые люди, даже старцы, давно пережившие возраст страстей. Да и из молодых, даже из самых страстных людей каждый ли захочет купить минутное наслажденье ценой кровавых самоистязаний? Двумя путями влекутся люди в пучину хлыстовских заблуждений. Один путь — русская лень. Покой, праздность, отвращенье от труда — вот куда, подобно западным квиетистам, стремятся и наши «божьи люди». Получая от родных и знакомых вспоможенья или собирая милостыню Христа ради, они все сносят в корабль, а нужды свои справляют на общий счет. Одни сектанты дают вспоможенья некоторым «праведным братцам и сестрицам», другие, как Луповицкие, содержат на свой счет целые корабли. Хлысту немного нужно, ради умерщвления плоти он ест мало и притом самую грубую пищу, пьет одну воду, ходит в отрепье либо в посконном рубище, ему только и нужны деньги на радельные рубахи, знамена и покровцы. А это дается ему из общего достоянья. Телесный труд каждого из них всецело отдается пляскам и круженьям. Вне «святого круга» хлысту нет работы, и у него только одна забота — жить бы ему век в покое и праздности. Другой путь, доводящий до хлыстовщины русского человека,— пытливость ума его. Не оторванный от родной, прадедовской почвы, русский человек всегда набожен и во всем ищет правды-истины. Таково народное свойство его. Смысла писания, даже значенья церковных обрядов он, безграмотный, без руководителя постичь не может. Ему нужен учитель,— такой учитель, чтобы всем превосходил его: и умом, и знанием, и кротостью, и любовью, и притом был бы святой жизни, радовался бы радостям учеников горевал бы о горе их, болел бы сердцем обо всякой их беде, готов бы был положить душу за последнюю овцу стада, был бы немощен с немощными, не помышлял бы о стяжаниях, а, напротив, сам бы делился своим добром, как делились им отцы первенствующей церкви... А где взять таких руководителей, особенно теперь, когда все на деньгу пошло?.. Нет учителя, нет руководителя, а пытливый простолюдин ищет себе да ищет разрешенья недоумений и доброго наставника в истинной вере... А его все-таки нет как нет... Хорошо еще, ежели такой ис-

катель истины попадет на раскольника, хоть самого закоренелого, и сам сделается таким же. Раскол, как порождение невежества, отторгся от церковного единения лишь из-за буквы и обряда, но вера его так же чиста, как и в истинной церкви... Если же пытливый искатель правды подпадет под влияние хлыстовского пророка либо хлыстовской богородицы... тогда он больше не христианин. У него свой бог, свои христы, свои пророки, свои богородицы, свои верованья, свои обряды, все свое и все чуждое, противное христианству.

В хлыстовские корабли по бóльшей части попадают люди нервные, раздражительные, потерпевшие в жизни кто от житейского горя, кто от обид и огорчений. Забитые мужьями жены, обманутые или потерявшие надежду на супружество девушки, люди мечтательные, склонные к созерцанию, юроды, страдающие падучей болезнью — вот кем издавна наполняются хлыстовские общины. Такими людьми скорей, чем другими, овладевает восторг на радениях, им скорей являются призраки и виденья, им громче и ясней слышатся неведомые голоса. Кликуши и икотницы [1] по переходе в хлыстовщину всегда почти делаются корабельными пророчицами. Самую болезнь кликушества хлысты считают не напущенной колдуном порчей, как думает весь почти народ наш, а действием духа божия.

При всей нелепости заблуждений хлысты по большей части народ правдивый, по крайней мере со своими. Они ненавидят ложь, говоря, что это возлюбленная дочь нечистого духа. И к тому ж они откровенны — хлыст даже помыслов своих не скрывает от единомысленников; тут действует на него страх, что пророк или пророчица обличат на соборе его тайные помышленья. Зато с посторонними хлысты лукавы и правды ни за что на свете не скажут. Обман кого-либо из своих возмущает весь корабль, а откровенность с чужим — еще больше. Обманщику или выдавшему тайну людей божьих сторонним такое настает житье, что если не удастся ему бежать из корабля, то рано ли, поздно ли он кинется в реку либо в колодезь, а не то отравится либо удавится. Еще не быва-

---

[1] *Икотницами* зовут кликуш в Архангельской и других северных губерниях.

ло примера, чтобы тут когда-нибудь открылось убийство от посторонней руки, все объясняется самоубийством в припадке сумасшествия. Нет существа более жалкого, как отвергнутый кораблем хлыст.

* * *

Едва выйдя из отрочества, Дуня оставила кров матушки Манефы. Взросла она там не на многолюдстве, а в родительском доме стала совсем одинокой. Всем сердцем любившего ее отца видала редко — то по делам, бывало, уедет он на долгое время, то день-деньской возится с прядильнями и лесной пристанью, то по-своему расправляется с приказчиками и рабочими. Поглощенная домашним хозяйством, Дарья Сергевна с утра до поздней ночи то хлопочет, бывало, об обеде да об ужине, иной раз и сама постряпает, то присматривает она за стиркой белья, то ходит по кладовым, подвалам, погребам, приглядывая за хозяйским добром, считает кур, гусей, индеек и уток, сидит в коровнике, пока не выдоят коров, ухаживает за новорожденными телятами, а по вечерам и вообще в свободное от хозяйственных забот время стоит по часам на молитве либо читает божественное. Дуня все одна; подруг нет, знакомств нет, а ум пытлив, все ей хочется узнать, постичь то, о чем другие и не помышляют, И стала она в речах сдержанна стала потом молчалива, а с тем вместе и мечтательна. От природы нервная и впечатлительная, она всем раздражалась. Несправедливости отца к подначальным особенно ее сокрушали, много тайных слез от них пролила она... Дарья Сергевна в разговорах с ней твердила об одних только обрядах либо читала жития святых... Но все это мало занимало любознательную и пытливую девушку: еще на утре жизни она додумалась, что вера не в обряде, что жизнь дана человеку не для одной обрядности и что обрядность должна иметь таинственный смысл. Никто не мог объяснить ей этого смысла, и равнодушие ко внешностям в деле веры с каждым днем умножалось в ней. Охотно еще слушала она чтения Дарьи Сергевны про святых прежних времен, про пустынников и мучеников. Но это еще больше усиливало ее мечтательность. Ни хозяйство, ни домашние заботы не занимали ее; она считала их житейской грязью, и никакие наставления, никакие уговоры домовитой

Дарьи Сергевны, хотевшей из воспитанницы своей сделать хорошую хозяйку, нисколько не действовали на Дуню. Сердце ее стремилось к чему-то неведомому, но правдивому, к какой-то незнаемой еще жизни, провождаемой в добре и истине. Ее чистая душа в своих мечтаниях стремилась к какому-то непонятному, но доброму существу, из уст которого не могут исходить ни слова лжи, ни слова гнева... О, если бы скорей предстало перед нею такое существо!.. Будь он ангел, будь человек плоти и крови, все равно — со смирением и любовью преклонилась бы она перед ним, и скажи ей то существо хоть одно слово привета, без малейшего сожаления оставила бы она дом отца и его богатство, с радостью и весельем устремилась бы к неведомому, мыслями и помышленьями отдалась бы ему и всю жизнь была бы его безответною рабой и верной ученицей, слила бы с ним свою непорочную жизнь... Но где такой избранник?.. Вкруг Дуни никого нет похожего... Да есть ли и на свете такой человек?.. Разве ангел бесплотный или иная небесная сила...

В самых тайных думах, в самых сокровенных мечтаниях никогда не представлялся Дуне ни муж, ни жених. Супружество считала она неразлучным с заботами по хозяйству, со своенравием мужа, а при случае даже с неправдой, гневом и злобой. Не к женихам, а к познанию добра и правды стремилась ее душа... Пытливость ума, возбужденная чтением книг без разбора и руководителя, крепко слилась в ней с мечтательностью, и Дуня стала вовсе не похожею на скитскую воспитанницу. Но помыслы ее все-таки неясны и ей самой не вполне понятны, а на уме все шатко, не твердо. Она то и дело путалась в своих мыслях.

Стали свататься к Дуне женихи: каждому была охота жениться на богатстве Марка Данилыча. Обили свахи пороги смолокуровские, сватая молодых купчиков из своего городка, но от Марка Данилыча не слыхали слова приветливого, а Дуня и видеть их не хотела. Потом за «добрым делом» стали наезжать свахи из больших городов — из Мурома, из Шуи, из Ярославля, даже из Москвы — везде по купечеству знали, что у Марка Данилыча больше миллиона в сундуке и одна-единственная дочка Авдотья Марковна. Но и приезжие свашеньки все до одной воротились домой, не видавши невесты. Ехали

сватать да хвастать, ехали на мед да на сладкие пироги, на пиры да на горний стол, ан им, как шест, поворот от ворот, и разъехались кумушки по домам не солоно хлебавши. Через подзорную трубку влюбился в Дуню предводительский сынок, гвардии поручик, бездельный шалопай, игрок, пьяница и собачник, ни на какое дело, опричь кутежей, не годный. Разгорелись несытые очи его на смолокуровские достатки — задумал поручик женитьбой осчастливить купецкую дочь, дав ей дворянство, а кстати и дырявый свой карман починить. Однако и ему был отказ, ни смотрин, ни глядин, ни пропоя невесты, ни рукобитья не было. Не хотела и смотреть на женихов Дуня, а родительского приказу выходить замуж ей не было — давно дал ей отец полную волю в выборе суженого по сердцу и хотенью. Нисколько не смутили Дуню все эти сватанья. По-прежнему девические думы ее носились в области мечтаний. Но не надеялась она найти человека по душе и по сердцу... Где ж найти такого человека, о каком мечтала она.

И вот является Петр Степаныч Самоквасов. Встрепенулось в Дунином сердце дремавшее до тех пор неизведанное еще чувство любви — весь мир показался ей краше и веселее, и почувствовала она, что сама стала добрее ко всем и ласковее. Книги забыты, и, сидя по целым часам за рукодельем, она думами увивалась вкруг Петра Степаныча. В ее мечтах являлся он тем носителем добра и правды, какого так долго и напрасно искала она. Мало слов сказала с ним, но думала о нем ежечасно и берегла свои думы как святыню, словечка о них никому не промолвила, одному только старому сердечному другу, Аграфене Петровне, немногими словами намекнула. И как же радовалась она, услыхав от Груни одобренье... «Вот она где истина-то, вот оно где добро, каких напрасно искала и так долго найти не могла!» Так она теперь думала.

И вдруг этот человек добра и правды — обманул. Разбил, растерзал сердце девушки, погасил в нем первое чувство любви... Ни слова никому не сказала Дуня о такой сердечной обиде. И Груне не сказала — гордость не дозволяла, самолюбие не позволяло.

Только что успела Дуня открыть тайну любви своей Аграфене Петровне, вдруг слышит, как в смежной комнате Дарья Сергевна рассказывает Марку Данилычу,

что Петр Степаныч, собравшись наскоро, уехал за Волгу. Уехал в Комаров... К Фленушке!.. «Хорошо я ее знаю,— говорила Дарья Сергевна Марку Данилычу,— племянницей, что ли, она приходится матушке Манефе, угар девка, самая разбитная, а теперь, слышь и попивать начала. К ней-то и покатил он. У ней, говорят, уж не первый год с ним шуры-муры». Ровно льдом заковали речи Дарьи Сергевны разгоревшееся было Дунино сердце. Но и тут никому словечка не вымолвила, виду даже не подала и ни малейшим движеньем не выразила нежданно нахлынувшего на нее сердечного горя. Только Аграфене Петровне сказала, и то как о пустячной новости, до которой дела ей нет... А что за буря тогда в ее душе бушевала! Что вынесла она в это горькое время, чего ни передумала!.. «Нет правды на свете, нет в людях добра! — после долгих мучительных дум решила она.— Везде обман, везде ложь и притворство!.. Где ж искать правды! Где добро, где любовь? Видно, только в среде бесстрастных духов, в среде ангелов божиих... А ведь они не совсем чужды нам, живущим во плоти!.. В писаниях сказано, что бывали они в сообщении с праведными. Где бы, где найти таких праведных? Есть же они где-нибудь. Без праведников, говорят, и миру не стоять... Где ж они, люди, верные добру и правде? О, если б мне пожить с ними!..»

Совсем, по-видимому, бесчувственная и ко всему равнодушная, Дуня страдала великим страданьем, хоть не замечали того. Все скрыла, все затаила в себе, воссиявшие было ей надежды и нежданное разочарованье как в могилу она закопала. С каждым днем раздражалась Дуня больше и больше, а сердце не знало покоя от тяжелых, неотвязных дум.

И вот стали ей являться призраки, стали слышаться неведомо откуда идущие голоса... Сначала это ее испугало, а потом привыкла она и к призракам и к голосам. Пуще прежнего вдалась в чтение; но путешествия, история, прежде столь любимые, не занимали ее больше... Отыскать истину, неведомое узнать хотелось ей, но таких книг не было. В это время встретилась она с Марьей Ивановной. От опытных взоров много искусившейся в делах хлыстовской секты пожилой барышни не укрылись ни душевная тревога Дуни, ни стремленье ее к мечтательности, доходившей иногда до самозабвенья. Вос-

пользовалась Марья Ивановна таким настроеньем неопытной в жизни девушки и хитро, обдуманно повела ее в свой корабль. У Марка Данилыча миллион либо полтора, Дуня — единственная наследница,— это еще до первого знакомства со Смолокуровыми проведала Марья Ивановна... И задумала перезрелая барышня: «Дуня в ее корабле; миллион при ней... Деньги — сила, деньги дадут полную безопасность от всяких преследований, если бы вздумали поднять их на тайную секту людей божьих... Так ли, иначе ли, надо сделать, чтоб ей не было из него выхода». Искусно повела Марья Ивановна задуманное дело... Столь много перетерпевшая Дуня увидела в ней отраду и утешение, душевную усладу, самое даже спасение. Чтение мистических книг, купленных у Чубалова, и ежечасные беседы с Марьей Ивановной, когда весной гостила она у Смолокуровых, довели до такой восторженности Дуню, что она вероученье хлыстов стала принимать за слова божественной истины. Поверила она, что плоть создана диаволом и потому всячески надо умерщвлять ее, поверила, что священное писание есть ряд иносказаний и притчей, хоть и имеющих таинственный и спасительный смысл. Начитавшись Бема, поверила, что радения, серафимские лобзанья и круговые пляски снесены на землю с небес, чтобы души человеческие, еще будучи во плоти, молились так же, как молятся силы небесные [1]. А когда стала она бывать на радениях, каждый раз приходила в восторженное состояние, «ходила в слове», пророчествовала, но что кому говорила, не помнила ни во время пророчений, ни после. И вот она принята в корабль, и вот открыто ей таинственное учение, и вот верит она ему, как несомненной истине.

И вдруг на великом соборе слышит Дуня неведомые ей тайны, слышит и не верит ушам. Рассказывают, что на Городину сходил бог Саваоф, под именем «верховного гостя», что долгое время жил он среди людей божьих, и недавно еще было новое его сошествие в виде иерусалимского старца. «Что за нелепость, что за богохульст-

---

[1] У Якова Бема сказано: «У святых ангелов есть дружеское лобзание и обнимание и приятнейшая круговая пляска». Сравн. «Письма митрополита Филарета к наместнику Сергиевой лавры» (письмо 22 апреля 1838 года).

во! — думает пораженная такими сказаньями Дуня.— Это что-то бесовское!..» Сказанья божьих людей продолжаются, Дуня слышит о христах, ходивших и теперь ходящих по земле. Слышит россказни, как они в темницах сиживали, как в Москве были распинаемы, но на третий день воскресали. Слышит, что и теперь у подошвы Арарата новый христос Максим, пророк, первосвященник и царь людей божьих, слышит, что он короновался и, подражая царю Давиду, с гуслями в руках радел на деревенской улице.

Чем дольше слушает Дуня хлыстовские сказанья, тем больше ужасается. «А мне ни слова про это не сказали, скрывали... Тут обман, ложь, хитрость, лукавство!.. А где обман, там правды нет... И в ихней вере нет правды».

И противна и мерзка ей стала новая вера. Отшатнулась Дуня душой от общества верных-праведных... Каждое слово, что потом слышала от них — стало ей подозрительным... А тут еще воспоминанья об отце, о родительском доме, о любящей Груне, о Петре Степаныче!.. Возненавидела почти Дуня и Марью Ивановну, и Вареньку, и всех, всех, кто были в луповицком корабле. И звучат в ушах ее слова евангельские о последних временах: «Тогда аще кто речет вам: се зде Христос или онде — не имите веры; восстанут бо лжехристы и лжепророки и дадят знамения велия и чудеса, яко же прельстити...» «Это они!.. Это они лжехристы и лжепророки!.. Они лжеучители последних дней!.. И я, я впала в греховную их пропасть... Господи! я сама была лжепророчицей!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Всех чуждается Дуня, бо́льшую часть дня запершись сидит в отведенной ей комнатке, а встретится с кем, сама речей не заводит, спросят у нее о чем-нибудь — промолвит отрывисто слова два, три, а в разговоры не вступит. Такая в ней перемена заботила Луповицких, особенно Марью Ивановну.

Дня за два до Успенья Луповицкие всею семьей сидели за утренним чаем. Дуни не было. Тихие речи велися о ней.

— Да отчего ж все это? — настойчиво спрашивал Николай Александрыч.— Так внезапно, так неожиданно!.. Есть же какая-нибудь причина. Писем не получала ли?

— Получила, но после великого собора. А на этом соборе она уж изменилась,— сказала Марья Ивановна.— Я сидела возле нее и замечала за ней. Нисколько не было в ней восторга; как ни упрашивали ее — не пошла на круг. С тех пор и переменилась... Варенька говорила с ней. Спроси ее.

— Что она? — обратился к племяннице Николай Александрыч.

— Не один раз я говорила с ней после великого собора,— отвечала Варенька.— Жалуется, что уверили ее, будто вся сокровенная тайна ей поведана, что она достигла высшего совершенства, а на соборе услыхала, что ей не все открыто. С упреками и укорами говорит, что искала в нашей вере истины, а нашла обман и ложь

— Что ж ты ей на это? — спросил Николай Александрыч.

— Говорила, что сказанья о сошествиях Саваофа и христах сложены не для нас, а для людей малого веденья,— ответила Варенька.— Все говорила, все разъясняла, но она меня с толку сбила, так что не знала я, что и говорить. Это было вечером в саду, а у Матренушки в богадельне тогда было собранье. Мы с Дуней стали в вишеннике. Тут Серафимушка стала безобразничать со своими монахинями... Дуня ко мне приставала — зачем таких, как Серафимушка, вводят в корабль, и тут уж сбила меня до конца. Тогда призналась она, что стала колебаться в нашей вере, и спросила, кто может ее утвердить... Я не знала, что сказать ей, уклонилась от прямых ответов и посоветовала обратиться к тетеньке.

— Со мной она не говорила,— отозвалась Марья Ивановна.— Я ее совсем почти не вижу.

— Поговори и укрепи,— властным голосом сказал Николай Александрыч.— Не́ забудь про миллион.

— Поговорю,— ответила покорно Марья Ивановна.

— Мы всё стояли возле богадельни,— опять стала говорить Варенька.— А там Устюгов со своими сказаньями. Выпевал про Ивана Тимофеича, как дважды его в Москве на кремлевской стене распинали, как два раза

его на Лобном месте погребали, как он дважды воскресал и являлся ученикам на Пахре́[1], как слеталась к нему на раденье небесная сила и как с нею вознесся он. И о других выпевал Устюгов. Дуня стояла как вкопанная, ни слова не вымолвила. Потом началось у них радение, после раденья бичеванье. Дуня почти в обморок упала, насилу смогла я ее в дом увести.

— Как ты неосторожна, Варенька,— строго сказал Николай Александрыч.— Зачем было водить ее туда?

— Не знала я, что это у них будет,— ответила в смущеньи Варенька,— мне хотелось только приучить ее хоть немножко к сказаньям. Устюгов много тогда говорил, чуть ли не все сказанья выпел при ней.

— Лучше бы вовсе не знать ей об этих сказаньях,— сквозь зубы проговорил Николай Александрыч.— Таких людей, как она, в вере так не утверждают, сказанья только смущают их. Но это уж моя вина, сам я на великом соборе говорил об Арарате, а перед тем старые сказанья про Данилу Филиппыча да про Ивана Тимофеича Устюгову велел говорить.

— Теперь она ни с кем не говорит,— после короткого молчанья продолжала Варенька.— Сидит взаперти, плачет, тоскует, жалуется, что ее обманули, уверив, что достигла она совершенного ведения, а всей тайны не открыли. Сильно в ней сомненье... Мир влечет ее. Устоит ли она против прельщений его?

— Что ты об этом с ней говорила? — задумчиво спросил Николай Александрыч.

— Уговаривала ее... Что знаю, как умела, все рассказала ей,— ответила Варенька.— Но без веры она слова мои принимала. Только раз спросила у меня, кто может рассеять сомненья ее и утвердить в праведной вере. Я на тетеньку указала.

— Совсем не узнаю ее,— сказала Марья Ивановна.— Не стало больше в ней ни душевных порывов, ни духовной жажды, ни горячего влечения к познанию тайн. Молчалива, сдержанна, прежней доверчивости и откровенности вовсе в ней нет. Ничто ее не занимает, ничто

[1] Подольского уезда, Московской губернии. Там до последнего времени водились, а может быть, и теперь водятся хлысты. У них была там община вроде монастыря.

не возбуждает больше в ней любопытства, кроме духовного супружества... Еще весной об этом у нас была с ней речь, когда гостила я у них,— ответила Марья Ивановна.— На неотступные просьбы Дуни я тогда еще сказала, что если женщина будет приведена в светлый полк верных, то пророк, принявший ее, делается ее духовным супругом.

— Так она, пожалуй, думает, что я ее духовный супруг. Ведь я принимал ее,— с легкой улыбкой молвил Николай Александрыч.

— Может быть,— тоже улыбнувшись, сказала Марья Ивановна.— Только мне кажется, что тут она ничего не понимает, да и, кроме того, многого, многого еще не понимает.

Все промолчали. Но Варенька, как будто что-то вспомнив, вдруг покраснела.

— Я не верю и никогда не поверю,— через несколько времени сказала Марья Ивановна,— чтобы Дуня переменилась от подозренья, что от нее что-нибудь скрывают, что ее обманывают. Тут что-нибудь другое. После великого собора она получила письмо. Прежде каждый раз, как, бывало, получит, обо всем мне расскажет, что напишут, и письма дает читать, и советуется, что отвечать, а теперь хоть бы словечко. И все спрашивает, скоро ли поедем в Фатьянку... Тут, кажется, все дело в письмах. Прежде совсем была равнодушна и к отцу и к этой Дарье Сергевне, а теперь про них слово только скажешь — она тотчас в слезы. Нехорошо мы сделали, что отдали ей письма. Тут я больше всех виновата... Да кто ж мог предвидеть? Боюсь, не напрасны ль были мои годовые труды... В мир не ушла бы.

Снова все примолкли. Сидят, задумавшись. Николай Александрыч спросил Марью Ивановну:

— Как в самом деле велико богатство Смолокурова?

— По крайней мере миллион,— ответила Марья Ивановна.— Сколько именно, кроме его самого, конечно, никто не знает, а Дуня всех меньше.

— Думать надо, его обворовывают. Все тащат: и приказчики, и караванные, и ватажные. Нельзя широких дел вести без того, чтобы этого не было,— молвил луповицкий хозяин, Андрей Александрыч.— И в маленьких делах это водится, а в больших и подавно. Чужим добром поживиться нынче в грех не ставится, не поверю

я, чтобы к Смолокурову в карман не залезали. Таковы уж времена. До легкой наживы все больно охочи стали.

— Ну нет, у кого другого, а у Смолокурова не украдут,— сказала Марья Ивановна.— Не из таких. Сам редкого не обсчитает, а кто служит у него, не то что карман, а спину береги.

— А верно ли знаешь, что, кроме дочери, нет у него других родных?..— спросил Николай Александрыч.

— Это верно,— ответила Марья Ивановна.— Их было два брата, один двадцать ли, тридцать ли лет тому назад в море пропал. Дарья Сергевна потонувшему была невестой и с его смерти живет у Смолокурова хозяйкой. Так это какая ж родня? Какая она участница в наследстве? Безродною замуж шла, ни ближнего, ни дальнего родства нет у нее.

— А сколько лет Дуне? — спросил Андрей Александрыч.

— Двадцатый, кажется, пошел,— отвечала Марья Ивановна.— В марте будущего года двадцать будет, а может, только еще девятнадцать. Хорошенько не знаю и сказать наверно не могу.

— Значит, если бы Смолокуров теперь же покончился, так года полтора либо два с половиной ей быть при попечителе,— сказал Андрей Александрыч.— А есть ли такие люди, кому старик так бы верил, что назначил бы к дочери в попечители?

— Нет,— молвила Марья Ивановна.— Видела я в прошлом году у него большого его приятеля Доронина, так он где-то далеко живет, на волжских, кажется, низовьях, а сам ведет дела по хлебной торговле. Нет близких людей у Смолокурова, нет никого. И Дуня ни про кого мне не говорила, хоть и было у нас с ней довольно об этом разговоров. Сказывала как-то, что на Ветлуге есть у них дальний сродник — купец Лещев, так с ним они в пять либо в шесть лет раз видаются.

— Ей одной, значит, все без остатку достанется? — спросил Андрей Александрыч.

— Больше миллиона получит,— сказала Марья Ивановна.— А это наличный только капитал, а кроме того, по городам каменные дома, на Низу земли, на Унже

большие лесные дачи. Весь достаток миллиона в полтора, а пожалуй, в два надо класть.

— Неосторожно поступили вы, что до великого собора не говорили ей про сказанья, придуманные людьми малого ведения,— с укором промолвил Николай Александрыч Марье Ивановне и племяннице.— Надо бы было понемножку ей открывать их, говоря, какой цены они стоят. А тут еще Варенька бичеванья ей показала. Вот и запугали ее. Ты виновата, Варенька: она была тебе отдана, и ты должна была вести ее, не возбуждая ни сомнений, ни опасений. Вот теперь, по вашей неосторожности, миллионы-то, пожалуй, и поминай как звали. А какая бы сила кораблю прибыла! Испортили вы дело! Тебе-то, Машенька, как не стыдно — ты ведь опытна в этих делах. Зачем не наблюдала хорошенько?

— Я ее предоставила Вареньке,— оправдывалась Марья Ивановна.— Думала, что она моложе меня, к ее годам подходит ближе, и что Дуня больше ей станет доверять, чем мне... Кто ж мог этого ожидать? Впрочем, ничего, по времени все обойдется.

— Ну не знаю,— покачав головой, молвил Николай Александрыч.— Не такова она, чтобы вдруг поворотить ее на прежний путь. Ежели в такую горячую, восторженную голову запало сомненье — кончено... Нечего себя обманывать — улетела золотая пташка из нашей клеточки, в другой раз ее не изловишь.

— Надо, мне кажется, скорей к отцу ее отвезти, чтобы чего-нибудь не вышло,— сказал Андрей Александрыч.— Главное, огласки бы не вышло. Помните, что было с батюшкой, может то же и с нами случиться. Наверху глаза зоркие. Самой пустой молвы довольно, чтобы весь корабль погубить. Увози ее, Машенька, скорей до греха.

— Дождусь Егорушки, непременно хочу его видеть и расспросить об араратских,— сказала Марья Ивановна.

— Уговори ее как-нибудь хоть до Егорушкина приезда остаться,—сказал он.—А там что будет, то будет... Может быть, птичка и не выпорхнет, и богатства ее, рано ли, поздно ли, будут в нашем корабле. Главное — осторожность... Во что бы ни стало, как можно крепче надо привязать ее к нашему союзу, для того прежде всего нужно уничтожить в ней сомненья, чтобы не думала она,

что мы хотели обмануть ее. С первого свиданья я заметил, что она сильно восторженна и вполне доверчива, но причудлива, упряма и привередлива. Обращайтесь с ней осмотрительней, внимательней, с оглядкой. Поставить ее на прежнее — дело трудное, а если еще случится хоть самая малейшая с ней неосторожность, дело будет непоправное. Не утратьте пророчицу, не теряйте смолокуровского богатства. Старайтесь больше о том, чтобы с ней вполне примириться, чтобы не выдала она кому-нибудь из сторонних нашей тайны сокровенной... Зима теперь, времена то есть опасные!.. Надо быть скромней и осторожнее. Вот я получил извещение,— в Москве идут большие розыски, и много верных-праведных в гонении. Всеми мерами стараются разузнать о наших кораблях. И доносчикк, искариоты, явились — многих выдали, указали на дом божий и все забрали из него. Малейшая неосторожность может и нас до беды довести. Блюдите же себя опасно, а главное, о том постарайтесь, чтоб, уехав домой, наша гостья не рассказала кому о том, что видела и слышала здесь. Иначе все пропало, корабль наш рассыплется, лукавый над нами посмеется своим лютым и злорадным смехом, и впадем мы все в земную погибель... Нужней всего, чтобы добровольно осталась она у нас до приезда Егорушки. Когда приедет Егорушка, мы с ним потолкуем насчет этой Дуни. Разумею о духовном с ним супружестве. Тогда она наша, и миллионы наши, ежели Егорушка решится — мы позовем тебя на совет, Машенька, и с тобой вместе установим, как достичь нашей цели.

Никто не противоречил, Варенька поняла слова дяди и вся внезапно зарделась.

На другой день после совещанья Луповицких кто-то тихими шагами подошел к Дуниной комнате и чуть слышно постучал в дверь. Судя по времени, Дуня подумала, что горничная пришла постель убрать, поспешно отворила дверь и увидела перед собой Марью Ивановну. Вздрогнула Дуня, и сердце у ней болезненно сжалось. С той минуты, как случилась с ней перемена, не могла она равнодушно смотреть на женщину, завлекшую ее в новую веру, на ту, кого еще так недавно звала своим светом и радостью, говоря: «При вас я ровно из забытья вышла, а без вас и день в тоске и ночь в тоске, не глядела б и на вольный свет».

Величавой походкой вошла Марья Ивановна. Безграничная любовь и нежная заботливость отражались в голубых ее глазах и во всем ее еще прекрасном, хоть и сильно изможденном лице. Протянула она руки, привлекла Дуню в объятия и нежно ее поцеловала.

Ровно кольнуло у Дуни в сердце от этого поцелуя.

— Что с тобой, милая? Что с тобой, дружочек мой? — с любовью и участьем сказала Марья Ивановна, садясь у изголовья кровати и сажая Дуню на не убранную еще постель.

— Ничего,— холодно и сдержанно отвечала Дуня, опуская глаза.— Домой бы скорей. Соскучилась я по своих.

— Успеешь, красное солнышко, успеешь, моя золотая,— тихо отвечала ей Марья Ивановна.— Повремени немножко. Кой-какие дела по именьям задержали меня здесь. Как только управлюсь, так и поедем. Да что это вдруг тебе домой захотелось? Прежде про дом и не поминала, а теперь вдруг встосковалась.

— Надо же когда-нибудь домой,— опустя глаза, тихо проговорила Дуня.— Нельзя же навсегда здесь оставаться.

— Конечно, пока жив отец, его нельзя совсем покинуть. А ежели что случится с ним, место тебе здесь, либо у меня в Фатьянке,— сказала Марья Ивановна.— Ты ведь от мира отрешенная... Не жить тебе в нем.

Вспыхнула Дуня, дрогнули у ней губы. В горьких слезах чуть слышно она промолвила:

— Не могу я тятеньку покинуть! Без меня помрет он с тоски... И теперь скучает... Один ведь, никого возле него нет. Не с кем слова перемолвить... Нет, не могу я жить без него.

— Так ты нарушаешь данную клятву!.. А ты давала ее вольною волей, помнишь, когда приводили тебя к праведной вере... Не помнишь разве, что ты обещала богу забыть отца, род и племя, весь мир с суетой его,— строго, дрожащим от волненья голосом заговорила Марья Ивановна.— Вспомни, кого ты давала по себе порукой... Царицу небесную, пресвятую богородицу дала в поруки!.. Неужли думаешь, что нарушение такой клятвы пройдет тебе даром? Нет. И в писании сказано, что бог поруган не бывает... Когда ты давала клятву, в сионской горнице был ангел божий, он невидимо стоял перед то-

бой и записывал твои обещанья... Так разве можно нарушать их? Все несчастья, все напасти, все печали и безысходное горе еще в здешнем мире над тобой разразятся, а в том веке вечная тебе гибель во узах нечистого... Вот что тебе впереди. Пришла ты на путь правых, отреклась от мира и вдруг бросилась назад, опять хочешь ринуться в его суетность... Ведь это поступок Искариота... Чашу Иуды до дна изопьешь и с ним разделишь бесконечные мученья в жилищах врага, будешь навеки проклята богом и всею небесною силой... Привела я тебя к вере праведной, была твоей восприемницей и теперь несу ответ за душу твою... Прими же слова мои как повеления свыше... Кайся в погибельных сомнениях, отгони нечистого, возвратись в ограду спасенья... Тогда будет на небесах великая радость, отец небесный ведь не столько радуется о девяноста девяти овцах, мирно пасущихся на спасительной его пажити, как об одной заблудившей и к нему возвратившейся.

Дуня молча плакала. Вспомнилась ей матушка Манефа. Было похожее дело в Комарове. Тогда Дуне было еще только десять лет. С покойницей Настей сидела однажды она за рукодельем в игуменьиной келье, за перегородкой в боковуше, и от слова до слова слышала, как матушка началила молодую инокиню малого пострига, Евникею. Круглая сирота, дочь тысячника, жила Евникея у дяди и много там терпела от своих и чужих. Раз дядя из дома выгнал купчика, завладевшего сердцем девушки, и она в тоске и слезах ушла в скиты и сыскала там радушный приют в Манефиной обители. Через сколько-то месяцев дошли до нее вести, что возлюбленный ее покончил жизнь. А она было дала ему доверенность вытребовать у дяди наследственный капитал и потом обещалась замуж за него выйти. Письма дядя ей присылал, чтоб уверилась она в смерти того купчика. И когда она уверилась, опротивел ей божий свет и предалась она безотрадному отчаянию. А скитские матери день и ночь напевают ей: «Поди да поди в лик девственниц, притеки к тихому пристанищу, отрекись от мира, прими иночество». И с горя она приняла его. Прошел месяц после пострига, вдруг приезжает в обитель молодой купчик живехонек, здоровехонек, привозит Евникее двадцать тысяч выхлопотанного ей родительского достоянья... Тогда стали Евникее ненавистны и черная ряса и

черный куколь — и стал ее манить мир, полный счастья и радости. И вздумала она выйти из обители. Узнав о том, Манефа позвала Евникею к себе и с глазу на глаз уговаривала ее оставить суетное желание и тем больше всего грозила ей, что нет большего греха, как снятие с себя иночества. Это значит, говорила она, поругаться чину ангелоподобному... «И вот теперь то же самое говорит мне Марья Ивановна,— думает Дуня.— Так же клятвы поминает, так же по́мстою [1] от бога грозит, страшит проклятьем, отлученьем, вечною погибелью... Не смутилась того Евникея. Хоть немало слез пролила, а покинула обитель и теперь, окруженная детками, живет хозяйкой честного дома. И нет ей по́мсты от бога, и нет ни от кого проклятия». Так думала Дуня, слушая угрозы Марьи Ивановны, а бестелесный образ Петра Степаныча ясней и ясней представлялся душевным очам ее.

— Как же у нас будет, милая Дунюшка? — после длинного молчанья ласково спросила у ней Марья Ивановна.

— Не знаю, что сказать вам,— не осушая слез, ответила Дуня.

— В греховную ли пучину внешнего мира ты бесповоротно стремишься, иль пребудешь до конца в стаде избранных? — настойчиво спрашивала Марья Ивановна.— Пребудешь ли верною богородице, своей поручительнице, или, внимая наущеньям лукавого, отринешь чашу благодати и вечной радости? Уйдешь в мир или с нами останешься?

— Что мне мир! Не знаю его и никогда не знавала! Вы знаете мою жизнь. Кого видала я, опричь тятеньки, Дарьи Сергевны да скитских подружек?..— печально поникнув белокурой головкой, отвечала Дуня.— Вы думаете, что мир меня прельщает, что мне хочется забав его и шумного веселья? Бывала я в этом мире веселья, в театре даже бывала, и музыку там слышала, и песни, пляски видела, и было мне скучно, тоскливо, никакой не чувствовала я приятности... Нет, мир не прельщает меня и никогда не прельстит.

— Отчего ж ты хочешь оставить корабль? — спросила Марья Ивановна.

---

[1] *По́мста* — возмездие, месть, кара, наказание.

Дуня ни слова не сказала на то.

— Ты все думаешь, будто тебя обманули, всех наших тайн не открыли? Ошибаешься. Варенька тебе сказывала, почему тебе не говорили о вымышленных простецами сказаньях. Они нужны одним людям малого ведения. Сколько раз братцу я говорила, что не следует и поминать об них в сионской горнице, как и делалось это в Петербурге у Катерины Филипповны — не послушались моих советов. Тут я нисколько не виновата... К словам Вареньки мне нечего прибавлять. Где ты видишь обман? Мы сами никакой веры не даем этим сказкам, хоть и считаем их нужными, даже необходимыми для простых людей, неначитанных, необразованных. Не обманывали тебя, ничего от тебя не скрывали, а только не хотели смущать тебя пустяками. Я виновата кругом, что не сказала об этом тебе до собора, надо было прежде сказать — хоть за день, хоть за два... И Варенька с Катенькой виноваты, что не сказали тебе наперед об этих сказках.

Дуня по-прежнему молчала.

— Не то тебя смущает,— строго и учительно сказала Марья Ивановна.— Не подозренье в обмане расстроило тебя. Враг бога и людей воздвигает в твоей душе бурю сомнений... Его дело!.. Берегись, чтоб совсем он не опутал тебя... Борись, не покоряйся. Будешь поддаваться сомненьям, сама не заметишь, как навеки погибнешь. Скоро приедет сюда Егор Сергеич. Подробней и прямее, чем братец Николаюшка, станет он говорить о божьих людях Араратской горы. Будешь тогда на соборе?

— Не буду,— промолвила Дуня.

— Напрасно,— сдержанно ответила Марья Ивановна.— Я сказала тебе, что пророк или кормщик корабля, принимающих в круг верных-праведных женщину, делается ее духовным супругом. А братец Николаюшка говорит, что это не так. Приедет Егорушка, он об этом расскажет точно и подробно.

Призадумалась Дуня. Хотя и решилась она оставить общество людей божьих, но любопытство сильно подстрекало ее. Согласилась быть в сионской горнице и говорить с араратским гостем, но отказалась радеть и пророчествовать, сказала, что будет одета в обычное платье, а «белых риз» ни за что на свете не наденет и сядет не

впереди, а у входной двери. Дозволяется же ведь это больным и недужным.

Как ни уговаривала ее Марья Ивановна, Дуня настояла на своем.

* * *

Пришел успеньев день — в Луповицах храмовой праздник. Во время поста и Луповицкие и все жившие у них божьи люди, кроме Дуни, говели и накануне праздника приобщились у отца Прохора. И во дни говенья и на самый праздник ничего не было противного церковности, все прошло спокойно и прилично.

Гостей наехало довольно, то были ближние и дальние соседи Луповицких, понятия не имевшие о тайнах сионской горницы. Два либо три раза в году Луповицкие, ради отклонения подозрений в принадлежности к секте, за что дорого поплатился отец их, созывали к себе посторонних гостей на обед. Так и в храмовые праздники бывало. На эти дни в хлыстовском доме все изменялось. Стол бывал изысканный и роскошный, тонкие вина и редкие плоды подавались гостям в обилии, сами хозяева в те дни отступали от постничества — ели и пили все, что ни подавалось на стол. «Нужды ради» женщины снимали даже черные платья и одевались в цветные, а прислуга являлась в ливрейных нарядах, но никогда в числе ее не бывало в эти дни ни дворецкого Сидора, ни других участников собраний в сионской горнице. Не бывало на тех праздниках и близких к Луповицким людей — Кислова, Строинского. Они не езжали на это время, опасаясь искушений мирскою суетой. После обеда по комнатам расставлялись карточные столы, раздавались звуки старых, давным-давно расстроенных фортепиан, всюду слышались и веселый говор и шутливый смех. Казалось, давным-давно отжитая в Луповицах шумная жизнь воскресала. Только не было отъезжих полей, попоек на охоте, выводки коней, музыкантов, певиц и театра.

Собралось гостей больше пятидесяти человек, все почти мужчины, из соседок приехало не больше пяти человек. Соседи, хоть и считали дом Луповицких загадочным, не поручились бы за благонадежность кого бы то ни было из семьи его хозяев, но обеды и ужины у них бывали

так вкусны и редки в степной стороне, что каждый счел бы за грех не приехать на званый пир. Иные приехали еще накануне праздника с вечера, другие рано поутру, и все были в церкви. К обедне только Дуня не ходила. Претило ей войти в церковь и молиться с никонианами. Детские впечатления, суровые наставления в скитской обители, разговоры с Дарьей Сергевной давно развили в ней нетерпимость, даже ненависть к великороссийской церкви. В своем ослепленье Дуня полагала, что в этой смущенной, по ее мнению, церкви ересей больше, чем в кораблях людей божьих.

После обедни в дом пришел отец Прохор с причтом и со всеми семейными. Отслужив праздничный молебен, пошел он по комнатам кропить их святой водой. Андрей Александрыч нес пред ним чашу. Комнату Дуни миновали, зная, что ей будет неприятно посещение отца Прохора. После того и хозяева и гости, напившись чаю и покушав праздничного пирога, со всякого рода прибавленьицами, пошли в сад, где уж были накрыты столы для угощенья крестьян. Три праздника в один день сошлись: велика-пречиста — разговенье, сельский храмовой праздник и «дожинки». Накануне еще бабы и девки покончили яровое, а после обедни, обвив серпы молодою соломой, а иные остававшимися на полях и лугах цветами и высоко держа те серпы над головами, гурьбой повалили на барский двор. Еще выше несли они на руках «последний сноп», одетый в красный сарафан, разукрашенный разноцветными лентами. Сняв шапки, следом за женщинами чинно выступали мужчины — старые, малые, женихи и подростки. Все село сошлось, пришли даже толпы из окольных деревень — всякому в охоту было сытно поесть, пьяно попить на барском пиру-угощенье.

Распахнулись ворота̀, и первыми на господский двор жнеи вошли. Хозяин, Андрей Александрыч, в сношеньях с крестьянами строго соблюдавший народные обряды, вышел навстречу жнеям. Был он без шапки, а в руках держал покрытое расшитым полотенцем деревянное блюдо с большим хлебом, испеченным из новой пшеницы. Завидев Андрея Александрыча, громко закричали жнеи:

— С двумя полями сжатыми, с третьим засеянным проздравляем вас, государь наш батюшка!

Перекрестился Андрей Александрыч, низко поклонился жнеям и молвил:

— Жнеи молодые, серпы золотые, милости просим покушать, нового хлеба порушать.

— На здоровье свет государю боярину ласковому! — заголосили и мужчины и женщины.— Сияй, государь, барской лаской-милостью, как на высоком небе сияет красное солнышко. Свети доброто́й-щедротой, светлая наша боярыня, как ясён месяц светит во темну́ю ночь. Цвети, ненаглядная наша боярышня, расцветай, ровно звездочка яркая. Белей, ровно белый снег, румяней, как заря зорюшка, нам на радость, себе на пригожество.

И звал тут Андрей Александрыч сельщину-деревенщину в саду покушать, попраздновать. И повалил туда толпами радостный, веселый народ.

«Последний сноп» на особом столе поставили, а вкруг его положили цветами и соломой обвитые серпы. Отец Прохор благословил яствие и питие и окропил столы святою водой. Поднесли всем по стаканчику водки, а непьющим ренского. Потом ставили на столы мясные варева: щи со свежиной, лапшу со свининой, пироги, разные каши, яблоки и кислое молоко с толокном, что зовется «деженем». Без дежени на Пречистую, как без кулича на Пасху, и стол не в стол. Подавались вперемежку красоули зелена вина и стаканы браги сыченой, а ядреного квасу, на трех солодах ставленного, было на столах столько, что хоть купайся в нем.

Кончилась тра̀пеза сельщины-деревенщины. Все время кругом ее стояли наезжие гости, а хозяева угощали пирующих. Встали, наконец, крестьяне из-за столов, богу помолились, хозяевам поклонились и пошли в дальний сад на широкую луговину. До позднего вечера доносились оттуда веселые песни успенских хороводов:

Закатилось красно солнышко
За зелен виноград,
Целуемся, милуемся —
Кто кому рад.

До «первого огня» пелись эти песни. В успеньев день в первый раз после лета вздувают по избам огни.

Нет теперь больше добрых, старорусских обрядов, даже и по дальним захолустьям нет. Все потерялось в наплыве чуждых обычаев и вновь создавшихся отношений.

Что ни день, то больше новшеств, а извечные порядки умаляются — все отрывается от старого кореня.

А в дому Луповицких меж тем убирали столы, украшали их, уставляли ценными напитками и плодами своих теплиц. Входили в столовую гости веселые, говорливые, садились за столы по местам. Шуткам и затейным разговорам конца не было, одни хозяева, кроме Андрея Александрыча, все время оставались сдержанны и холодны. Изронят изредка словечко, а ни за что не улыбнутся.

Отобедали и тотчас кто за карты, кто смотреть на хозяйство Андрея Александрыча. Иные по саду разошлись... И Дуня пошла в сад, одинокая, молчаливая. На одной из дорожек неожиданно встретилась она с отцом Прохором. Залюбовался он на высокие, густолистные каштаны и чуть слышно напевал какую-то церковную песнь. Сняв широкополую шляпу и низко поклонясь, завел он с Дуней разговор, изредка поглядывая на нее с жалобною улыбкой, будто угадывая душевное ее горе и бурю тревожных сомнений. Жаль стало ему бедную девушку.

— Скучаете? Так надо понимать,— сказал отец Прохор, пойдя рядом с Дуней.

— Нет, я не скучаю. Не о чем,— промолвила Дуня в ответ.

— Та-а-ак-с...— как-то робко, подергивая редкую седенькую бородку, сказал отец Прохор.

Боялся он, чтобы какие-нибудь неосторожные, спроста сказанные речи не дошли в превратном виде до Луповицких... Перетолкуют ему во вред и поставят в трудное положение по хозяйству. Прощай тогда довольство в жизни, впереди нищета, озлобления, а пожалуй, и хуже того, ежель вздумают господа пожаловаться. Помолчал отец Прохор и, будто в оправданье себе, сказал:

— А ежель и скучаете, так с вашей стороны это совершенно натурально и даже, можно сказать, похвально. В такой великий праздник в чужих людях находитесь, от родителей далече. Хотя, конечно, здешние господа к вам расположены и живете вы у них на положении как бы ихней родственницы, однако же родительский кров всякому должен быть дороже всего на свете и приятнее, тем паче для такой молодой девицы. Что может сравниться с домом родителей или даже с местом, где мы бо-

жий свет увидели и возросли? Ничто, поистине ничто. Там каждая неодушевленная даже вещь представляется родною, всякий уголок драгоценен по воспоминаниям, каждая былинка веселит взоры и услаждает душу... Поэтому я и спросил вас, не скучаете ли по матушке да по батюшке, а может быть, и по другим близким по плоти.

— У меня нет матушки... Не помню даже ее...— тихо ответила Дуня.— И родных, кроме тятеньки, никого нет,— прибавила она.

— Один только родитель!.. Сиротка вы поэтому,— с участьем продолжал отец Прохор.— Что ж ваш батюшка дома теперь?

— Нет, теперь он на ярманке у Макарья, рыбой ведь он торгует. Недели через полторы либо через две домой воротится,— сказала Дуня.

— Тогда и вы к нему? — спросил отец Прохор.

— Не знаю,— грустно ответила Дуня.— Я ведь не на своей воле. Марья Ивановна привезла меня сюда погостить и обещалась тятеньке привезти меня обратно. Да вот идут день за день, неделя за неделей... а что-то не видать, чтоб она собиралась в дорогу... а путь не близкий — больше четырехсот верст... Одной как ехать? И дороги не знаю и страшно... мало ли что может случиться? И жду поневоле... А тут какой-то ихний родственник приедет погостить, Марья Ивановна для него остаться хочет — давно, слышь, не видались.

— Знаю, слыхали и мы об этом, с Кавказа едет...— с глубоким вздохом промолвил отец Прохор.— Егор Сергеич Денисов родным племянником приходится Варваре Петровне. Довольно известны о нем... Не обессудьте, Авдотья Марковна, дозвольте спросить, вы ведь не нашего православного стада, не церковница?

— Нет, отец Прохор, я не церковница,— нахмурясь несколько, ответила Дуня.

— По старообрядству, стало быть, церкви нашей за свято не почитаете? — продолжал расспросы отец Прохор.

— Мы по спасову согласию, не чуждаемся и приемлющих священство,— отвечала Дуня.— Крестят у нас и свадьбы венчают в великороссийской, а хоронят посвоему, по старине, значит, отдельные кладбища для того отведены.

— Знаем мы эти положения... Очень хорошо известны, хотя по здешним сторонам таковых и не имеется,— сказал отец Прохор.— Не достойно и даже душевредно чуждаться святой церкви, Авдотья Марковна, но не к тому речь веду. Все же вы единую с нами веру исповедуете, разнствуете токмо в обрядах, да вот еще духовного чиноначалия отрицаетесь. Тяжко, но не столь тяжко, как новосоставленные ереси, совсем попирающие святую веру. Как древние фарисеи, часто они во храмах бывают, строгие посты содержат и соблюдают другие обряды, но являют себя как повапленные гробницы, о них же господь сказал: «Внеуду являются красны, внутрьуду же полны суть костей мертвых и всякие нечистоты» [1].

Призадумалась Дуня. Отец Прохор как по книге читал, что было у нее на мыслях.

— Послушайте, Авдотья Марковна. Мне очень жалко вас,— сказал он, когда они вошли в самый глухой, уединенный угол сада.— Не погнушайтесь моими словами, добрый совет желал бы вам дать. А прежде всего попрошу я вас — не глядите на меня, как на попа, да к тому ж, как называете нас, «никонианского». Смотрите на меня, как на старика,— по моим годам ведь я вам в дедушки гожусь. Добра желая, хочу вам говорить не своими словами, вы, пожалуй, их и не примете, а вечными словами господа. Вспомните, что сказал он ученикам: «Внемлите от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы. От плод их познаете их; егда объемлют от терния грозды или от репия смоквы?.. Не всяк глаголяй ми: господи, господи, внидет в царствие небесное, но творяй волю отца моего, иже есть на небесах. Мнози рекут мне во он день: господи, господи, не в твое ли имя пророчествовахом и твоим именем бесы изгонихом, и твоим именем силы многи сотворихом. И тогда исповем им, яко николиже знах вас, отыдите от мене делающей беззаконие» [2]. И он же, сын божий, пречистыми устами сказал: «Блюдите да никто же вас прельстит, мнози бо приидут во имя мое, глаголюще: аз есьм Христос, и многие прельстят...». И дальше изрек: «Аще кто речет вам се зде Христос или онде — не имите веры: восстанут бо лжехристы и лжепро-

---

[1] Матв., XXIII—27.
[2] Матв., VII—15—23.

роки и ладят знамения и чудеса, яко же прельстити, аще возможно, и избранная» [1].

— Авдотья Марковна,— после долгого молчанья сказал отец Прохор,— доходили до меня вести, что хотя ваши годы и молодые, а в писании вы довольно сведущи. Не от себя и не от человеческих писаний предлагаю вам, а сказанное самим истинным Христом возвещаю. Божественные словеса неизмеримо выше всяких слов, всяких писаний и всяких деяний человеческих. Веруете ли вы во святое Евангелие?

— Конечно, верую, отец Прохор,— отвечала Дуня, ласково подняв глаза на деревенского попа, до тех пор редко ею виданного и никогда не обращавшего на себя ее вниманья.

— Верно ли, досконально ли я привел вам слова господни? — спросил он.

— Верно, сколько упомнить могу,— отвечала Дуня.

— Так слушайте же,— возвысив голос, величаво заговорил отец Прохор.— По господню предсказанию, в наши дни явилось много лжеучителей и лжепророков. Явились даже лжехристы. Они пророчествуют, сказывают, будто чудеса даже творят, и творят так, на прельщение многих. Диавол помогает им. Сатана водит ими, он в них действует для утверждения заблудших и погрязших в ересях. Свои у них христы. Суслов там какой-то, стрелец Лупкин, Андрей юродивый; свои богородицы — Акулина стрельчиха, другая Акулина, якобы сошедшая с трона царица и поселившаяся в Орловской губернии среди богоборных еретиков... Да что много говорить, чаятельно сами наслушались таких басен.

Молчала Дуня, но слова отца Прохора сильней и сильнее волновали ее. «Не свое ведь он говорил, а господни слова»,— в смущенье она думала.

— Забудьте, опять-таки скажу вам, Авдотья Марковна, забудьте на некоторое время, что с вами говорит, по-вашему, поп никонианский,— продолжал отец Прохор.— Из жалости говорю к вам, по человечеству. Вы еще юная, неопытная, вы добры и доверчивы, вас нетрудно вовлечь в ров погибельный, легко низвергнуть в бездонную пучину богомерзких заблуждений. Не спра-

---

[1] Матв., XXIV—4, 5, 23, 24.

шиваю, что видели вы, какие льстивые и ложные речи слышали. Об одном предварю по вашей неопытности. Берегитесь, всемерно берегитесь Денисова, когда приедет он. Каждый раз в свои приезды он много памяти оставляет по себе. Много слез пролито по его милости и теперь льются, да никогда и не осушатся. Это великий и самый злой еретик! Особенно пагубен для юных девиц — оскверняет их да еще богохульно говорит: «Я-де их освящаю и от грехов очищаю». Вполне достоверно знаю его злохудожную душу. Все погрязшие в богомерзской ереси, хоть и по наружности, но к церкви божией усердны. Четырежды в году говеют, исповедаются, приобщаются, и тогда иные колеблющиеся открывают мне, как отцу духовному, противные Христову учению тайны. Оттого-то мне и известно все — тридцать второй год состою при здешнем приходе — всю подноготную их знаю, и пляски, и другие обряды, и все богопротивное их учение... Всякими мерами увлекают они особенно юных, не устоявшихся еще в вере и благочестии, всячески соблазняют их, напускают на них какое-то одурение, и те, потеряв волю и рассудок, приходят в исступленье и говорят сами не знают что. И такое исступление богохульно считается у них наитием святого духа, а бессмысленные речи пророчествами. Беглых солдат и простых мужиков признают христами, сквернословят, якобы сам господь Саваоф не один раз на землю сходил и воплощался в беглых солдатах... Вот они каковы, лжеучители и лжепророки, Христом прореченные!.. Блюдитесь их!.. Особливо блюдитесь Денисова!.. Берегитесь, Авдотья Марковна, паче всего берегитесь, не ввергайте себя в пучину гибели..

Ни слова не сказала нá это Дуня. Все-таки недоверчива была она к никонианскому попу... но ведь он говорил слова евангельские. «Им нельзя не верить,— она думает.— Неверный он, этот поп, но в сионской горнице ересей больше. Там нет правды, а только какая-то насмешка над верой, преданной Христом и святыми отцами. И все это ей открывает, предостерегает от лжеучений и от Денисова никонианин!.. Верить ли? Не хочет ли он увлечь меня в свою церковь?.. Ах, если бы кто из наших теперь поговорил со мною! Но кому говорить? Сама матушка Манефа, наверно, не сумела бы утолить душевных моих страданий... Хозяйство у ней главное, а в писании хоть и сильна, но знает ереси и заблужденья давних

только времен, а что теперь проповедуется и творится новыми лжеучителями, о том, кажется, и не слыхивала». Так думала Дуня, молча ходя с отцом Прохором по отдаленным, тенистым дорожкам садовых окраин. Ни словом, ни видом не выразила она сочувствия к речам его; мысль, что говорит с никонианином, соблазняла ее.

— Не искушайте,— тихо промолвила она.

— Не искушаю,— твердо, но с душевною грустью сказал отец Прохор.— Вот что я еще вам скажу. Быть может, вы думаете: «С чего это вздумал меня поучать? Верно, ему хочется ввести меня в свою церковь. Выгодно, дескать, у этой девицы богатое наследство». Мы ведь все знаем, что в этом доме творится, молчим только из страха и опасения... так забудьте все это хоть на малое время. Как много искусившийся в житейском опыте седовласый старец, говорю теперь вам, едва вступающей в жизнь, говорю из бескорыстной любви и сердечного соболезнованья. Перед вами ров погибельный; в исступленье чувств, в беспамятстве, в помрачении ума, легкомысленно, ни о чем не рассуждая, стремитесь вы к его обрыву. Все одно как человек вне ума, никем не гонимый, бежит к омуту... И вот я стою возле, и мимо меня бежит человек к верной гибели... Что ж мне? Спокойно глядеть, как он будет утопать? Нет, Авдотья Марковна, так нельзя... Так не повелел Христос, сын божий. Я кинусь в бездонный омут, ежели угодно господу, спасу того человека, если же не угодно, сам погибну с ним... И не взыдет тогда мне на ум — какой он веры. Будь он сын церкви, будь обрядовый разногласник, как все ваши, будь жид, татарин, даже хлыст, он все-таки человек, все-таки душа в нем от единого. Таким же образом и к вам обратился я и не умолчу, не загражду уст своих, одно стану твердить вам: молитесь, Авдотья Марковна, молитесь богу, да избавит он вас от сети ловчей. Как хотите молитесь, по-нашему ли, по-вашему ли, только не по-ихнему, не так, как беснуются они в своей сионской горнице. Мерзки дела их пред господом. Там нет правды, где ее скрывают под спудом, охраняют клятвами, страхом и угрозами. «Светильник истины вжигают на свещнице, да светит всем» [1]. Так сам Христос сказал.

---

[1] Матв., V—15.

В это время вдали показалась Марья Ивановна. Медленными, величавыми шагами шла она навстречу, то заглядывая в кусты, то поднимая взоры к вершинам деревьев, то останавливаясь у цветников, любуясь на роскошные цветы и упиваясь их благовонием.

Смутился отец Прохор, увидавши ее. Тихим голосом сказал он Дуне:

— Уж вы, пожалуйста, Авдотья Марковна, не открывайте, о чем мы говорили. Больше тридцати лет здесь живу, привык... а ежели восстановлю их против себя, мое положение будет самое горькое. Из любви к вам говорил я, из сожаленья, а не из чего другого. Богом прошу, не говорите ничего... А Денисова бойтесь... Пуще всего бойтесь... Это такой враг, каких немного бывает. Смотрите же, не погубите меня, старика, со всей семьей моей...

Он весь принизился, тревога и смущенье разлились по старому лицу.

— Будьте спокойны,— отвечала ему Дуня.— А вот что скажите скорей, не случалось ли вам когда-нибудь, как вы давеча говорили, кинуться в воду и освободить человека из здешнего омута? Не случалось ли укрывать кого-нибудь из завлеченных и потом тайно выпроваживать их из Луповиц?

— Не потаю,— шепнул отец Прохор.— Случалось. Закона исполнение в том вижу, обязанность свою...

— А если б я попросила у вас помощи? — трепетным голосом промолвила Дуня.

— Только в укромное время придите... Всего лучше ночью,— низко наклонив к ней голову, прошептал отец Прохор.

— Вот где ты, милая Дунюшка,— раздался громкий и приветливый голос Марьи Ивановны.— С отцом Прохором! Смотри, не пришлось бы мне отвечать перед Марком Данилычем, что ты, живучи у нас, познакомилась с православным священником,— ласково она промолвила.

— Тятенька за это не взыщет,— сдержанно ответила Дуня.— И сам он водит знакомство с великороссийскими, любит даже с ними беседовать.

Не отвечала Марья Ивановна. Обратясь к Дуне, сказала она:

— Пойдем, скоро чай подадут. Пойдемте, батюшка.

И пошли они в дом. А там стоном стоят голоса: шумят, спорят за картами, кто-то на расстроенных фортепианах разыгрывает давно забытую сонату. На обширной террасе слышатся веселые клики и радостный смех молодых людей.

А в богадельне и на пасеке ровно все вымерли.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Недели через полторы после Успенья, в обеденную пору, на двор Луповицких въехала обрызганная засохшею грязью дорожная карета. Из нее вышел молодой человек лет тридцати, высокого роста, с изможденным и мертвенно пожелтевшим лицом. Все бросились на крыльцо — и оба Луповицкие, и Варвара Петровна, и Варенька, и Марья Ивановна. В передней столпилась вхожая в сионскую горницу прислуга. Прибежала, откуда только у старухи прыть взялась, богаделенная Матренушка со своими подначальными, приплелся с клюкой весь медом и воском пропитанный, дряхлый пасечник Кирилла. Дуня смотрела из окна, своей комнаты.

Взглянула... «Силы небесные!.. Что это? Это не Егор Сергеич, не араратский посланник, это он, Петр Степаныч! Но где ж пылающие отвагой и весельем взоры? Где алый румянец полных ланит? Куда делись густые черные кудри? Болезнь его сокрушила или изъела тоска? Голос слабый, какой-то старческий, но вот-вот его привычные ухватки, приемы, самая походка! Во сне я или наяву»,— думает Дуня. И болезненно заныло у ней сердце... А голос отца Прохора раздается в ушах: «Берегись его!..» Зазеленело в очах Дуни; не помня себя, едва дошла она до постели и ринулась на нее... Беспамятство ею овладело.

— Христос воскресе [1], Егорушка! Свет ты мой ненаглядный! — с плачем и рыданьями обнимая и целуя племянника, голосила Варвара Петровна.— Насилу-то дождались мы тебя! Со дня на день ожидали.

---

[1] *Христос воскресе* — обычное приветствие у хлыстов при встречах. Этими же словами всегда почти начинаются и письма их.

— Христос воскресе, братец мой милый, желанный! Наконец-то, обрадовал приездом своим. Здоров ли, миленький? Не было ль какого горя?.. Ты очень изменился в лице! — ласкаясь и ровно ласточка увиваясь вкруг него, с радостными слезами щебетала Варенька.

— Христос воскресе, золотой мой Егорушка! — крепко обнимая Денисова, восклицала Марья Ивановна.— Задержал ты меня здесь в Луповицах, давно пора домой, да вот тебя все дожидалась. Хоть денек хотелось пробыть с тобой... Бог знает сколько времени не видались мы... Да как же ты похудел, узнать тебя нельзя...

— Христос воскресе, племяш![1] Уж мы ждали, ждали тебя, я уж было думал, что ты вовсе не приедешь,— целуясь с гостем, радостно говорил Андрей Александрыч.

— Христос воскресе, желанный Егорушка! — по-радельному припрыгивая на правую ногу вкруг Денисова, восторженно вскричал Николай Александрыч.— Наконец-то услышим от тебя новые глаголы, наконец-то расскажешь ты нам про новые правила горы Араратской.

Денисов никому ни слова в ответ. Его целуют, его ласкают, приветствуют, а он ровно не видит никого, ровно ничего не слышит. Склонив голову, молча идет в дом медленными шагами.

В сенях встретила приезжего прислуга, приведенная в тайну сокровенную. С радостью и весельем встречает она барина, преисполненного благодати. С громкими возгласами «Христос воскресе» и мужчины и женщины ловят его руки, целуют полы его одежды, каждому хочется хоть прикоснуться к великому пророку, неутомимому радельщику, дивному стихослагателю и святому-блаженному. Молча, потупя взоры, идет он дальше и дальше, никому не говоря ни слова.

Удивляются люди божьи перемене в Денисове, такой прежде был он разговорчивый, словоохотливый.

— С дороги притомился, должно быть,— тихонько меж собой переговаривают.— Отдохнет, затрубит в трубу живогласную.

Егор Сергеич в самом деле истомлен был дурною дорогой, две ночи не спал, и теперь очень хотелось ему по-

[1] Племянник, а также: свой, родной, родич, земляк.

скорей отдохнуть. Он сказал про это Николаю Александрычу, тот повел его в приготовленную комнату и сам помог раздеться приезжему гостю.

Подали чай, любимую Денисовым молочную кашу из сорочинского пшена, рыбы, пирожков, варенья, разных плодов и ягод. В его комнату никто не смел войти. Из рук Варвары Петровны и Марьи Ивановны Николай Александрыч за дверьми сам принимал и чай и кушанья, но Егор Сергеич отказался от угощенья, пил только чай да съел небольшую грушу, и ту не всю.

За чаем Николай Александрыч успел-таки вызвать его на разговор. Сначала Денисов рассказал о дорожных приключеньях, как в сильной душевной тоске приходилось ему проводить время среди неведущих тайных истин, как суетными разговорами они возмущали слух его.

— От этого мученья больше, чем от дороги, я утомился. Ни думать не могу, ни слушать, ни говорить,— сказал Денисов.

Николай Александрыч, однако, свел беседу на араратских.

— Всего не могу сегодня рассказать,— молвил Егор Сергеич.— Дай успокоиться, дай в себя прийти, с мыслями собраться. Духом бодр, но плоть немощна. Отдохну, успокоюсь, завтра все расскажу, что видел и слышал за Кавказом, чему был очевидцем и что слыхал от людей, стоящих доверия.

— Максима-то Комара видал? — спросил Николай Александрыч.

— Сколько раз,— ответил Егор Сергеич.— Частенько один на один с ним беседовал. Истинная утеха верных-праведных!

— Откуда он, и как начались его действа? — продолжал свои расспросы Николай Александрыч.

— Был он молоканином. В молодых еще годах сослан на Кавказ и поселен у подошвы горы Араратской, в деревне Никитиной,— слабым, прерывающимся голосом начал говорить Денисов.— Верны-праведные из разных мест до него еще поселены были в том краю — были тут и орловские, и тамбовские, с Молочных Вод, из саратовских степей, из самой даже Москвы. Видит Максим, что у тамошних божьих людей вера стала пестра — в одном корабле один обряд, в другом другой. И было ему вну-

шено всех соединить во едино стадо, и чтоб в том стаде был один пастырь. Предтечей ему был Семенушка, по-мирскому Семен Матвеич Уклеин, тоже тамбовский молоканин, сосланный с семьюдесятью учениками за Кавказ. А то было еще до пришествия в обетованную страну Максима. Семенушка стал сближать молокан с людьми божьими [1], а довершил это дело другой преисполненный благодати предтеча — Сидорушка [2]: он перенял у людей божьих раденья и вводил их у молокан. Еще когда Сидорушка был в России, он говорил близким и писал дальним, что у горы Арарат, поблизости райской реки Евфрата, есть земля, верным-праведным обетованная, кипящая млеком и медом. Сидорушка рассказывал, что сам был в той стороне, и все были рады вестям его и веселились духом, а чтобы больше еще увериться в словах Сидора Андреича, посылали с Молочных Вод к Арарату учителя своего Никитушку. И тот был в стране обетованной и, возвратясь, говорил ученикам: «С востока приходили волхвы поклониться Христу в день рождества его, на востоке же и та земля, что господом обещана праведным последних дней. На востоке был насажден земной рай, на востоке, на горе Арарате, спасся Ной от потопных вод, на том же востоке господу угодно насадить и второй земной рай, создать там «благодатное» Араратское царство, вечное жилище избранных служителей агнца. В том же царстве земля нова и небо ново, а нынешнего неба и нынешней земли и моря нет [3], там сшедший

---

[1] Это слух неверный. Его стали распускать прыгунки много времени спустя по смерти Уклеина. Напротив, Уклеин был чистый молоканин, без всяких примесей. И теперь закавказские молокане зовут себя Уклеинами или Семенушкиными, постоянно враждуя с прыгунками. Семен Уклеин пользовался огромным уважением за ум, знание священного писания и строгую жизнь. Его иные молокане даже святым почитают, несмотря на то, что молоканское учение отвергает святых. Этого-то всеми уважаемого человека прыгунки и вздумали после его смерти приобщить к своей вере.

[2] Сначала молоканин и, кажется, уроженец Тамбовской губернии, Сидор Андреев. Он долго шатался по турецким и персидским пределам и не раз бывал на Молочных Водах и у закавказских веденцов. Он первый провозгласил о будущем блаженном Араратском царстве. Биография Сидора Андреева очень темна. Около 1842 года был он сослан в Сибирь и едва ли не бежал оттуда.

[3] Апокалипсис, XXI—I.

с небес святый град Иерусалим, в нем будут жить люди праведные. И не будет там ни солнца, ни луны, ни звезд, ни тьмы, ни ночи, ни гроз, ни стужи, ни зноя — от лица божия прольется свет неприступный, и дыхание уст его согреет и напитает праведных». Так говорил учитель Никитушка, и сонм божьих людей уверовал в слова его. А тут начальство стало и молокан и божьих людей ссылать за Кавказ и селить по деревням, что настроены на подножьях горы Араратской. Сослали туда и Сидорушку с Никитушкой и многих других с Молочных Вод. На новом месте много потрудился Сидорушка, соединяя божьих людей с молоканами, чем и предварил Максима. Соединенных узами правой веры неверные прозвали «веденцами» и «прыгунками», не понимая святости корабельного раденья. Много там всяких неверных живет в одних с божьими людьми деревнях — есть «геры», все одно что жиды, только говорят меж собой по-русски, а молятся по-еврейски, приемлют обрезание и празднуют жидовские праздники... Много молокан, отвергающих наитие святого духа на избранных, много армян и татар — и все они над нашей верой насмехаются.

— Да это все известно нам, Егорушка. А ты расскажи-ка лучше мне про Максима,— прерывая Денисова, сказал Николай Александрыч.

Помолчав немного, Егор Сергеич еще выпил чашку чая и продолжал рассказ, постепенно воодушевляясь и приходя в исступленный восторг:

— Ждали божьи люди с нетерпеньем последнего дня мира сего... Ждали дни и ночи, что вот загремит в небесах труба архангельская и со всех концов вселенной соберутся живые и мертвые люди. Не страшились и боязни не знали люди праведные, ибо мы не уснем, но только изменимся [1]. По писанию, мертвые о Христе, то есть умершие наши собраты верны-праведные, воскреснут первые, потом мы, в живых оставшиеся, будем вместе с ними восхищены на облаках [2]. И вот в тысяча восемьсот тридцать втором году божьи люди и все другие разных вер ждали последнего дня и пришествия судии небесного. Собрались к Арарату сокровенную тайну познавшие

---

[1] Посл. к римлянам, XV—51.

[2] Первое послание к солунянам, IV—16, 17.

ко дню Пасхи, как заповедано пророком Иеремией [1]. Но тщетна была надежда их — не гремела труба архангельская, не было небесных знамений. Через четыре года, в восемьсот тридцать шестом году снова стали ждать кончины мира, не одни праведные ждали ее, но и неверные, было о том даже в книгах печатано [2]. Явилась звезда хвостатая, больше чем на половину неба раскинулся багряный хвост ее [3]. И думали, что это та звезда, ей же дан ключ студенца бездны... Ждали — вот она упадет, и с земли к небесам поднимется дым студеничный, от него померкнет солнце, и изыдут на землю пруги, подобные коням, на брань уготованным, с человеческими лицами, с золотыми венцами на головах, со львиными зубами, с хвостами скорпионовыми... Ждали и пришествия царя тех чудовищ адской бездны, царя Аполлиона [4]. Но время шло, не было ни дыма студеничного, ни солнечного помрачения, ни чудных пругов, ни царя бездны Аполлиона — один умер, другой тогда еще не пришел [5]. И опять не явился господь верным, опять не отверз врат в блаженное Араратское царство. Еще четыре года прошло, и наступил восемьсот сороковой. Голод тогда был по всей земле и всякая нужда человеческая. Верны-праведные видели в том знамение близкого господня пришествия. И снова на день Пасхи пришли они с севера к подножью горы Араратской, но и тогда не было ничего особенного. Не только на Пасху, но и на Вознесенье и на Троицын день все еще ждали верны-праведные исполнения обетований, но и тут ничего не видали и ничего не слыхали. Но от горы не отошли, плакали, рыдали, руки к небу воздевали, громогласно вопияли, да откроется скорее блаженное царство. Вдруг, негаданно-нежданно, в темные тучи облачился Арарат. Застонала земля сто-

---

[1] Иеремии, XXX—8, «Соберу их (праведных) от конец земли в праздник Пасхи».

[2] Со слов Бенгеля и Юнга Штиллинга. Это попало в русские мистические книги и распространилось по России. И молокане с духоборцами, и хлысты, и раскольники, и даже верные православной церкви ожидали страшного суда в 1836 году.

[3] В 1836 году была видима комета Галлея.

[4] Апокалипсис, IX—1—11.

[5] Русское простонародье всех верований к апокалипсическому царю бездны Аполлиону по созвучию применяет обоих французских императоров Наполеонов. Началось это еще с 1812 года.

ном, раздалися в ее недрах громовые перекаты, и она затрепетала. Разрушились домы, и много погибло людей. Не стерпел и Арарат. Как тростинка, надломился, оторвались от него каменные скалы и вечные льды, что спокон века лежат на вершине его. Видя такие чудеса небывалые, ждут верны-праведные последнего часа грешному миру, ждут облаков для восхищения их в горний Иерусалим. Но и тут напрасно ждали совершения пророчеств, не гремела труба архангела, не меркло солнце, не обращалась луна в кровь, звезды с неба не падали. Наконец, престали громы, молнии угасли, трясение земли кончилось, и все утишилось. По-прежнему на старом небе светит старое солнце, по-прежнему обычным путем течет Евфрат, ни в чем нет измененья. А праведные все стоят перед святой горой, стоят нерасходно, со слезами богу молятся, покончил бы скорее мрачные, греховные дни века сего. И три дня они молились, не пивши, не евши... И через три дня на четвертый, на самый Иванов день, опять земля затряслась, опять вострепетел Арарат, опять на всех людей напал ужас, опричь наших праведных... Но вскоре опять все утишилось, опять пошло все по-старому. И вот видят божьи люди, что с разрушенного Арарата нисходит святолепный, светозарный, никому неведомый старец, брада белая по локоть, лик же юный. Белые ризы блистают на нем, как снег на солнечном свете; чудным разноцветным поясом он опоясан, а на поясе слова: «От вышнего Сиона». И сказал божьим людям неведомый: «По грехам вашим, по неверию вашему мольбы ваши не услышаны, и отсрочен вход в Араратское царство. Сильный, всемогущий хочет, дабы до кончины мира еще больше людей пришло в покаяние и стали б они достойны небесных венцов, от начала веков уготованных». Со страхом и трепетом божьи люди стали у него спрашивать: «Кто еси и откуда твое пришествие?..» Он же отвечал: «Я иерусалимский старец, пришел с вышнего Сиона, из горнего Иерусалима». И снял с себя и высоко поднял чудный пояс. Ниц на сыру землю пали верные, преклоняясь перед поясом, исповедуя старцу свои прегрешенья. Старец же им грехи разрешал и каждому прощенному давал лоскутки от белых своих риз. И научил араратских божьих людей говорить новыми языками,

ввел в закавказские корабли новые законы, разослал по разным сторонам послания, призывая всех к покаянию [1]. Максим Комар первый уверовал, что иерусалимский старец не прост человек, и за то старец во всем доверился ему и сказал, что много нового надо ввести у араратских, одно исправить, другое дополнить, третье отменить. И объявил верным-праведным, что дает им верховного пророка — сына своего, духовно от него рожденного, Максима Комара во христы, в цари по сердцу и в первосвященники. И тогда все преклонились пред нареченным царем. По малом времени иерусалимский старец и Максим целую ночь радели на святом кругу, а когда божьи люди спать разошлись, оба пошли на Арарат к Ноеву ковчегу. А тот ковчег до сих дней стоит на ледяной вершине, и нет к нему ни ходу, ни езду. К первому земному раю был приставлен на стражу херувим пламенный; к новому раю приставлен херувим мразный. Хладным дыханьем одел он в снега и нетающие льды верхи Арарата. Но старец с Максимом по льдистым местам прошли, как по прохладному саду середи цветов и деревьев красоты неописанной. И там старец поведал Максиму все свои тайны. И перед склонившимся до земли и коленопреклоненным Максимом старец стал ходить в слове, трубил в золотую трубу живогласную, пророчествовал общую судьбу праведным: «Боритесь с исконным врагом, его же окаянное имя да не взыдет никому на уста. Победившему его дана будет власть над языками — будет горы преставлять, будет мертвых воскрешать — и все ему покорится. Ангелы будут ему слуги, послужат ему солнце, и луна, и звезды, свет, и пламя, и

---

[1] В начале сороковых годов ходило по рукам и во множестве переписывалось так называвшееся «иерусалимское письмо» от лица какого-то иерусалимского старца. Оно было распространено не только среди простонародья, но и по домам купеческим, у небогатых помещиков, даже у некоторых из духовных лиц. В «иерусалимском письме» не было ничего противного православной вере или церковности; в нем говорилось только о покаянии. И тогда утверждали, что оно привезено с Кавказа. Кто таков был иерусалимский старец, осталось неизвестным. Думают, однако, что это был Сидор Андреев, предсказавший прежде об Араратском царстве и в 1840 году пришедший к закавказским веденцам из Персии. Веденцы называют его саваофом, а Максима — христом.

недра земные, реки и моря, ветры и дождь, снег и мороз, и все человеки, и все скоты, и все звери, и все живое, по земле ходящее, в воздухе летающее, в водах плавающее. Имени же его вострепещет сила преисподняя, и убежит лукавый враг в самые темные вертепы геенские. И тогда дан будет избра́нным праведным кровопийственный меч, и отдадут они его неверным, и станут неверные тем мечом убивать друг друга, многие из них погибнут на войне и в междоусобных бранях. Тогда приидет последнее наказание, горшее паче всех бывших. Все испразднятся, все погибнут, останутся одни верны-праведные. Сии же избра̀нные изо всех племен человеческих будут введены в блаженное царство Араратское. Тако да будет». И на том слове замолк неведомый, восклонился Максим — а того уж нет. Сам Максим так говорил мне об этом. И воцарился Максим над людьми божьими, венчался царским венцом, и надел багряницу, и под открытым небом на улице деревни Никитиной скакал и плясал по-давыдовски, на струнах-органах возыгрывал, и, ставши христом, приял чин первосвященника и пророка над пророками.

От длинных речей и подступившего исступленья Денисов больше не мог говорить. Все его тело корчило в судорогах. Учащенно и тяжело вздыхал он, то и дело взмахивая руками, будто что-то ловил, наконец слабым, дрожащим, перерывчатым голосом дико запел:

Кто с богом не водится,
По ночам ему не молится,
На раденьях не трудится,
Сердцем кто не надрывается,
Горючьими слезами не обливается —
Много, много с того спросится,
Тяжело будет ответ держать,
На том свете в темноте лежать!
А кто с господом водится,
По ночам ему молится,
На раденьях не ленится,
Сердцем своим надрывается,
Живот кровью обливается,
Сердечный ключ поднимается,
Хотя сердцем надрывается
Да слезами омывается —
За то на небе ему слава велия!

Егор Сергеич закашлялся. Он поднес к губам платок и весь окровенил его. Тусклыми глазами стал он обво-

дить комнату. Когда припадок приутих, Николай Александрыч спросил:

— Что ж Максим повелел творить?

— Не могу... сил нет. Завтра... завтра...— задыхаясь на каждом слове, шептал Егор Сергеич.— Мне бы отдохнуть ... успокоиться немножко... Давит... давит гнусную плоть мою... Не могу говорить... Завтра все расскажу... А теперь прощай... прощай!

— Не принять ли тебе чего-нибудь?— спросил Николай Александрыч.— Не позвать ли сестру Варварушку — у ней ото всего есть снадобья... Крестьян лечит.

— Не надо... Покоя... тишины... только...

И с этим словом повернулся на другой бок и лег лицом к стене.

Постоял над ним немного Николай Александрыч. Смотрит, а у Денисова лицо помертвело, руки похолодели, сердце почти не бьется. Только изредка пробегавшие по лицу судороги показывали, что он еще жив.

Вышел Николай Александрыч, распорядился... Ни в доме, ни в саду, ни в богадельне, ни в службах и жилищах прислуги нет звуков, даже самого затаенного шепота.

* * *

На другой день поутру Николай Александрыч вошел в комнату Егора Сергеича. Ни утомленья, ни слабости в араратском госте, по-видимому, не осталось. С веселым взглядом, но задумчивый и сосредоточенный в самом себе, Денисов весело встретил кормщика корабля луповицкого.

— Отдохнул ли, голубчик, успокоился ли? — заботливо спросил Николай Александрыч.

— Немощность плоти минула, дух обновился,— ответил Денисов.

— Пойдем к нашим, или, может быть, здесь хочешь чай кушать? — спросил Николай Александрыч.

— Мне бы лучше здесь, к ним приду к обеду...— ответил Денисов.

Николай Александрыч распорядился. На серебряном подносе принес дорогой чайный прибор дворецкий Сидорушка. Поставив его на стол, подошел он к Денисову, взял за руку, поцеловал ее, а потом, обняв барина,

сотворил с ним «серафимское лобзание», приговаривая:

— Христос воскрес, любезненький ты мой, белокрылый голубчик наш. Милуй тебя господи, примай чаще на себя божеское наитие, возвещай верным волю вышнюю. Препрославился ты, возлюбленный, во всех коленах земных!.. Избра́нный ты сосуд, святой и блаженный пророк!

— Здравствуй, любезный Сидо́рушка! — отвечал Денисов, лобызая дворецкого.— Вот еще восхотел отец небесный, чтоб мы с тобой увиделись на грешной земле. Скажи мне, миленький, как поживаешь?

— Ото всей нетленной души и от плотского сердца не престаю ежечасно благодарить превышнего за неизреченные милости, мне бывающие. Воспеваю зѐлен вертоград, садочки пречистые, утреннюю зорюшку неугасающую, солнце правды, праведным сияющее, нескончаемый день господень немерцающий. А насчет святого радения, прости немощного — скоро восемь десятков годов ляжет на кости мои, много радеть на святом кругу не могу.

— Всему свое время, возлюбленный,— сказал Егор Сергеич.— В духе пребывай, почаще на себя его сманивай постом, молитвой и песнопеньем,— проговорил учительно Денисов.— Паче же всего пророчествуй в назидание верных. И сам принимай пророчества, внимай им и твори по их повелениям. Тем душу сохранишь и закон исполнишь. Но теперь пока до будущей беседы... Обо многом надо мне потолковать с братцем Николаюшкой. Теперь потолкуем келейно, а после и с тобой, возлюбленный, побеседую. И на соборе поговорим.

Низко поклонился гостю дворецкий, еще раз поцеловал руку Денисова и вышел. Чай пили только гость с хозяином. Несколько времени они молчали. Наконец, Николай Александрыч сказал:

— Вчера говорил ты мне, Егорушка, про явления, бывшие в недавних годах на Арарате. Долго и много ты говорил, а я слова не вымолвил, хоть твои сказанья почти все известны мне, и недавно еще я сказывал о них на соборе, возвещая о скором приезде твоем. Теперь ты ободрился духом, кажется можно с тобой говорить. Хоть пасмурен ты и угрюм, но я уверен, что можно говорить с тобой по делу, по истине и по правде. Мне нужен ум строгий, холодный, беспристрастный. Можешь ли так

говорить? Без восторгов, без увлечений... Скажи... Иначе отложу до другого времени, когда будешь совсем в холодном спокое.

— Говори, Николаюшка,— отозвался Денисов.— Спокойно стану отвечать на твои вопросы, если только вдруг на меня не накатит. А скажу я тебе, сподобился я дара — частенько на меня накатывает. Бываю вне ума, когда сходит на меня ум божественный. Тогда, пожалуй, тебе и не понять моих слов... Дураком сочтешь, юродивым.

— Юродивые и блаженные — истые слуги превышнего разума,— сказал на то Николай Александрыч.— Правда, что иной раз невместимо понимать их речи...

— Когда бываю восторжен духом, мои речи еще трудней понять. Сочтешь меня ума лишенным, богохульником, неверным... И все посмеются надо мной и поругаются мне и будет мое имя проречено. Орудием яко зло нечистого сочтут меня, человеком, уготованным геене огненной! — сказал Егор Сергеич.— Дан мне дар говорить новыми язы́ки; новые законы даны мне. И те дары получил я прямо из уст христа и пророка Максима.

— Что ж это за новые язы́ки? Можешь ли им научить нас? — спросил Николай Александрыч.

— Не могу,— сказал Егор Сергеич.— То дело святейшее изо всех дел. Не всякому доступно оно. Это высочайшая изо всех тайн, но мало доступная даже для праведнейшего из праведных... Когда говорю новыми язы́ки, все понимаю и в словах своих чувствую величайший божественный смысл. Но лишь кончится пророчество — ничего не понимаю и не помню ничего. Другие после скажут, что говорил я на соборе, но ни они, ни сам я не понимаем смысла небесных слов. Теми словами, тем языком говорили небесные силы, а на земле это тайна, открываемая только немногим избра́нным... И в старом писании сказано: «Глаголяй языки не человеком глаголет, но богу: никто же бо слышит, духом же глаголет тайны... глаголяй язы́ки себе зиждет... Хочу же всех вас глаголати язы́ки» [1].

— Иногда это и у нас бывает,— после продолжительного молчанья сказал Николай Александрыч.— Неподалеку отсюда есть монастырь, Княж-Хабаров называется; живет в нем чернец Софронушка. Юродивый он, разум-

[1] Коринф. XIV, 2—5.

ного слова никто от него не слыхал. Иногда бывает он у нас на соборах и, придя в восторг, бог его знает какие слова говорит.

— Это и есть новые язы́ки,— сказал Денисов.— Всего чаще юродивым они и открываются. По разным местам замечал я это, не раз замечал и за Кавказом.

— Что ж? И Максим Комар также юродствует? — спросил Николай Александрыч.

— Бывает,— несколько подумавши, ответил Егор Сергеич.— Но, кажется мне, иногда он прикидывается юродивым. «Новые языки,— сказал он мне однажды,— нужны для привлечения в праведную веру неверных. Они увидят и услышат, и будет это для них знамением, если же на соборе никого нет из неверных, а одни только верные, тогда не нужны и напрасны новые язы́ки, тогда надо только радеть и пророчествовать».

— Ты вчера изнемог, Егорушка, и не мог всего договорить,— сказал Николай Александрыч.— Скажи теперь, что говорил ты про иерусалимского старца, в самом ли деле так было, как ты рассказывал, или это вроде сказаний про Данила Филиппыча да Ивана Тимофеича? Были ли сказанному тобой послухи [1] и очевидцы, и что они за̀ люди, и можно ли на слово верить им?

— Что в июне сорокового года на Арарате два раза были землетрясения, об этом из тогдашних газет и из книг известно,— сказал Егор Сергеич.— Что во время землетрясения тамошние люди молились, взирая на гору, об этом также все из закавказских божьих людей, от мала до велика, в один голос говорят. Все также в один голос говорят, что, как только кончилось трясение земли, явился старец. Все говорят, что неоткуда было ему прийти, как с Арарата... Со всех других сторон нет ни пути, ни дороги — везде места непроходимые. Сам бывал я в тех местах, сам видел, что нельзя было старцу прийти иначе, как с горы.

— А долго ль жил он у араратских? — спросил Николай Александрыч.

— Тут вышло что-то странное,— отвечал Денисов.— Все это было так еще недавно, и много людей, видевших его и говоривших с ним, еще живы; рассказы их противоречивы. Понять нельзя... Кто говорит, что пробыл он с людьми божьими только шесть дней, кто уверяет, что

[1] *Послух* — свидетель слышанного.

жил он с ними три года; а есть и такие, что уверяют, будто старец жил с ними целых двенадцать лет, отлучаясь куда-то по временам.

— В самом деле, странно,— молвил Николай Александрыч.— За кого ж его признают там? — спросил он.

— И тут многое непонятно, так много разноречий,— отвечал Егор Сергеич.— Одни почитают его посланным с неба ангелом, другие самим богом Саваофом, есть и такие, что называют его кто Сидором Андреичем, а кто Лукьяном Петровичем [1]. Не разберешь. Заводил я об этом разговоры с самим Максимом, христом закавказских божьих людей и верховным их пророком, но он отмалчивался. Между араратскими много ходит рассказов про чудеса иерусалимского старца, даже про чудеса царя Максима. За тайну скажу тебе, Николаюшка: этих чудес сам я не видал и крепко в них сомневаюсь. Мертвых будто бы воскрешали они, а те, слышь, только прикидывались мертвыми, на небеса возносились и с крыши падали; кто поумнее, ждал облака, чтоб ехать на

---

[1] Лукьян Петров Соколов, молоканин из села Саламатина, Камышинского уезда, Саратовской губернии, еще до 1836 года, будучи на Молочных Водах, начал стремиться к слиянию молоканства с хлыстовщиной, но ни мистическое его учение, ни восторженные обряды там успеха не имели. Соколов ушел неизвестно куда, говорили, будто в Молдавию. В 1836 году, когда ждали кончины мира, на Молочных Водах явились его сообщники (кто — неизвестно), называя себя апокалипсическими Энохом и Илиею. Дерзость их до того доходила, что они вторгались в православные храмы, кричали во время богослужения и делали разные бесчинства. Вслед за ними явился судия живых и мертвых, христос и пророк, Лукьян Соколов. Не раз назначал он день страшного суда, но архангельская труба не гремела, хоть комета Галлея с каждой ночью делалась светлей и светлей и хоть Соколов и указывал на нее, как на предвозвестницу близкой кончины мира. Привыкли и к комете, наконец, стала она удаляться, и тогда не известно куда девались Энох, Илия и сам судия — Лукьян Соколов. Вскоре появился он в Самарской губернии и там многих молокан и хлыстов увлек за Кавказ. Не раз водил он толпы увлеченных им на Араратские предгорья и возвращался в заволжские степи за новыми переселенцами, наконец пропал без вести. Следы его были обнаружены в Бессарабии. Бывал Соколов и в Азиатской Турции и Персии и, приходя оттуда в Эриванскую губернию, соединял молоканство с хлыстовщиной и этим произвел особую ересь прыгунков или веденцов. Был он особенно близок с Максимом Комаром или Рудометкиным, который, говорят, первый из молокан заплясал на хлыстовских радениях в деревне Никитиной. Конец похождений Лукьяна Соколова неизвестен.

нем в горние селения, но облако не приходило, и чудотворец возвещал, что в среде пришедших видеть вознесение его есть грешники, оттого не было и чуда.

— Стало быть, это все одни сказки,— немного помолчав, сказал Николай Александрыч.— Так я и думал.

— Такие же, как сказанья про «верховного гостя», про стародубского христа Тимофеича, про мученицу Настасью Карловну,— едва заметно улыбнувшись, ответил Денисов.— Людям «малого ведения» это нужно — сказанья о чудесном их веру укрепляют.

— Да, это так,— подумавши немножко, сказал Николай Александрыч.— А какие ж новые правила вводит Максим? Из твоих писем трудно понять, что это за правила...

— Да хоть бы новые языки... Говорил я тебе про них,— сказал Егор Сергеич.— Приходят в восторг неописанный, чувствуют наитие и пророчествуют. И когда говоришь новыми языки, такое бывает в душе восхищение, что его ни с чем и сравнить нельзя. На небесах тогда себя чувствуешь, в невозмутимом блаженстве, все земное забываешь. На себе испытал и могу поистине о том свидетельствовать.

— А еще какие правила даны Максимом? — спросил Николай Александрыч.

— Полное повиновение ему и посланникам его,— отвечал Егор Сергеич.— Не такое, как в ваших кораблях, а совершенное уничтожение воли, открытие пророку даже самых тайных помышлений. И нам, посланникам его, то же он завещал. Вот каково повиновение у араратских, Один раз на раденьях,— сам я тут был,— указав на ближайшего к себе пророка, Максим сказал: «Смерть ему!», божьи люди всем кораблем ринулись на пророка и непременно бы растерзали его на клочки, если бы верховный пророк не остановил их. Еще: в прегрешениях он не обличает на раденьях, а тайно исповедует, как церковные попы, и в знак разрешения, подражая иерусалимскому старцу, раздает лоскутки от белых своих риз и потом возлагает грехи и неправды божьих людей на быка, и его с проклятиями изгоняют в пустыню [1].

[1] Моисею (Левит, XVI—10—21, 22) повелено было возлагать грехи людей на козла отпущения, араратские же прыгунки возлагают их на быка, хворого либо не годного для хозяйства. Этот обычай начался в сороковых годах. Мясом изгнанного быка пользуются курды, а иногда и армяне.

— А что ж это за духовные жены у араратских? — спросил Николай Александрыч.

— Тоже Максим завел. Теперь у него две жены, а у иных и по три и больше есть,— нисколько не смущаясь, отвечал Егор Сергеич.— Говорят там: «Мы люди божьи, водимые духом, мы — новый Израиль, а у Израиля было две жены, родные между собой сестры, и, кроме того, две рабыни, и ото всех четырех произошли равно благословенные племена израильские».

— Знаю,— слегка улыбнувшись, сказал Николай Александрыч.

— Зачем улыбка? — грозно вскликнул Денисов,— Уничижаешь меня в сердце, как Мельхола, дочь царя Саула, уничижила своего мужа Давыда? Не глумись над данным свыше. Иначе участь Мельхолы тебя постигнет. Участь плачевная — до смерти Мельхола детей не имела, а это у ветхозаветных считалось господним проклятьем. Ныне время иное... Храни же себя, да не постигнет тебя больший гнев, чем жену Давыдову,— да не будет твое имя изглажено в книге животной. Мельхола посмеялась пляске Давыда, святому, значит, раденью,— а ты смеешься над законом. Недалеко то время, когда этот закон будет общим. Смотри, не пострадать бы тебе.

Не отвечал Николай Александрыч. В глубокую думу он погрузился, но противоречить не смел, хотя внутренно и сознавал, что слова Денисова были богохульны и безнравственны.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Незадолго до обеда Егор Сергеич вошел в столовую. Все Луповицкие были уж там и обратились к нему, как к милому и дорогому человеку. Наперерыв друг перед другом каждый ласкал и ублажал его. Кто усаживает на диван, кто подкладывает за спину подушку, кто подставляет под ноги скамеечку, а он, принимая такие знаки внимания как нечто должное высокой своей особе, с высокомерием на всех поглядывает и не говорит ни слова. Холодно принимает ласки, держит себя скромно, но величав, как власть имеющий, на приветствия ни словом, ни взглядом не отвечает, будто показывая, что окружающие не стоят его внимания.

— А что ж? Думаю, пора и за стол садиться? — чуть слышно сказал, наконец, Денисов.

— Конечно, конечно,— заговорили все в один голос.

— А Дуня? — обратился Николай Александрыч к Марье Ивановне.— И сегодня не придет?

— Не знаю,— ответила Марья Ивановна.— Схожу к ней, авось уговорю.

И с этими словами вышла из столовой.

— Всегда любуюсь вашей столовой,— оглядывая ее стены, вполголоса заметил Егор Сергеич.— Что ни говори, а отцы наши и деды пожить умели. Конечно, все это суета, мирские увлеченья, а хорошо, красиво, изящно. Что это за Дуня такая у вас?

— Дочь одного поволжского купца Смолокурова,— отвечал Николай Александрыч.— Рыбой промышляет и ведет большой торг — миллион либо полтора у него состояния, а она единственная дочь и наследница.

— О-о! Полтора миллиона! — воскликнул Денисов.— Что ж она?

— Машенька неподалеку от их города купила именье и познакомилась со Смолокуровым,— сказал Николай Александрыч.— В Дуне встретила она девушку восторженную, склонную к восхищениям. Хоть не образована, но много читала. Машенька указала ей на полезные книги, Гион, Юнга Штиллинга и на другие, что переведены по-русски. Она все это изучила, а сестрица руководила ее душевным преобразованием. Машенька долго гостила у Смолокуровых и начитавшуюся мистических книг Дуню привела к ограде спасения. Она выпросила ее у отца в Луповицы, и здесь Дуня познала сокровенную тайну и мною приведена в сонм верных.

— Каких она лет? — быстро спросил Егор Сергеич.

— Лет восемнадцати либо девятнадцати,— отвечал Николай Александрыч.— А какая восторженная!.. Не была еще приведена, а уж пророчествовала. Чуть не каждый день на нее накатывало. Одно беда,— продолжал Николай Александрыч,— недели за три до теперешнего она вдруг охладела к вере.

— Отчего ж это? — вскинув глазами и нахмурясь, спросил араратский посланник.

— Бог ее знает,— отвечал Николай Александрыч.— Письма, что ли, какие из дома получила, или другое что. Вот Варенька открыла некоторые из тайных ее по-

мыслов. С малолетства была она мечтательна и восторженна и по природе своей любила возноситься умственно в высшие пределы, не всякому доступные. Бывало, говаривала она и сестрице Машеньке и Вареньке, находило на нее забытье, дух отрешался от мира, и не раз доходила она даже до ясновиденья. А родилась в раскольничьей семье, училась в раскольничьем монастыре. С детства видела одну сухую обрядность, ни от кого не слыхала живого слова, никто не мог разрешить ей вопросов, возникавших в юной душе. Тяжела была ее жизнь в монастыре, тяжелей показалось житье в доме родительском. Одинокая, без подруг, без знакомых, жила ровно в закупоренном тереме — не с кем слова сказать, не с кем поделиться мыслями. С каждым днем она сосредоточивалась в самой себе, а ум у нее пытлив — ей хотелось до того дойти, чтобы познать в вере истину. Много у нас таких. Но не было никого, кто бы мог вразумить ее, кто бы растопил ее сердце открытием истины, напрасное искание колебало ее душу. Она читала, много читала, но книги, бывшие под рукой, не удовлетворяли ее исканию правды в деле душевном. Была она всегда скромна, сдержанна, да и мало приводилось ей с кем-нибудь говорить откровенно. Совсем чужая была для мира... Тогда случайно встретилась она с молодым человеком из ихнего же купеческого сословия. Хоть и не говорит теперь, что она его полюбила, но, кажется, дело так было. Чистая, непорочная, и до сих пор какою осталась, готова была она устроить с тем молодым человеком судьбу свою, а он, вероятно, рассчитывал на ее богатство, что достанется ей по смерти отца. Но вдруг купчик скрылся. Узнала Дуня Смолокурова, что уехал он в раскольничий монастырь к женщине, с которой еще прежде бывали у него греховные любовные дела. Узнавши о том, Дуня едва не умерла, однако скрепилась и забыла страсть свою, если только была она. Тут встретилась с ней Машенька и почти целый год привлекала ее к истине нашей веры, то указывая на книги для чтения, то проводя с нею дни и ночи в назидательных разговорах. Постепенно приводила ее к познанию сокровенной тайны и привела. Летом здесь у нас она была принята в сонм праведных. Дух видимо явился в ней — радела без устали, пламенно пророчествовала, открывая тайные помышления и прегрешения даже тех, кого до тех пор не видала и от кого ни сло-

ва не слыхивала. Великую пророчицу чаяли мы в ней со временем увидеть, все наши, от первого до последнего, надеялись, что с каждым днем благодать в ней будет умножаться... Говаривала она вот Вареньке и Катеньке Кисловой, что в нашем доме нашла она невозмутимый покой и радость, что долговременные искания правды достигнуты ею, что теперь она совершенно спокойна душой, не видя ни обманов, ни прельщений, обуревающих суетный мир. Все было ей открыто и рассказано, но сказаний про Данила Филиппыча и про других ей не передавали — думали, что они для нее излишни. И вот с самого «великого собора», бывшего без малого месяц тому назад, она совсем изменилась: не принимает участья ни на святом кругу, ни за столом, сидит взаперти, тоскует, грустит и просится к отцу домой. И Вареньке и Катеньке прямо говорила, что она охладела к вере божьих людей и в ней, говорит, не нашла истины... Всех упрекает, будто ее хотели обмануть, не рассказавши сказок, что услышала она на соборе. Мало этому верю я, думаю, что есть другая какая-нибудь причина внезапной перемены. Письма получила какие-то и вдруг затосковала. Одно теперь ее занимает, одно хочется узнать, что это за духовное супружество. Вот я все сказал о ней — пособи, дай совет, как удержать ее в корабле — подумай о том, что ведь тут миллион и даже больше.

Внимательно слушал Егор Сергеич Николая Александрыча, но не сказал ни слова в ответ. Вошла Марья Ивановна, следом за ней — Дуня.

Не мало времени, не мало убеждений и просьб стоило Марье Ивановне, чтоб уговорить Дуню идти в столовую и познакомиться с Денисовым. Долго не решалась Дуня, наконец пересилила себя — пошла. Не желанье познакомиться с араратским посланником, не любопытство, возбужденное рассказами о нем, влекли ее в столовую, совсем другое было у ней на уме. Когда в первый раз увидала она Егора Сергеича при его входе в дом, он показался ей как две капли воды похожим на Петра Степаныча, и вот захотела она теперь увидать его, чтобы убедиться в таком сходстве.

Чтобы показать Денисову, что стала она чужда людям божьим, вместо обычного черного платья оделась Дуня в цветное, надела дорогие серьги, кольца и перстни, а на плечи накинула богатый кружевной платок. На-

прасно убеждала ее Марья Ивановна идти в черном платье, не слушалась Дуня.

— Пускай и ваш гость, пускай и все, кому до меня есть дело, знают, что я иду в мир,— резким голосом сказала она Марье Ивановне.

— Что это? Что с тобой? — с ужасом промолвила Марья Ивановна.— Образумься, пойми, что делаешь, ведь ты уж приведена.

— Все помню, ничего не забыла, знаю и то, что я больше не ваша,— сказала Дуня.— В мир хочу, хочу его отрад и радостей. Я уж писала к тятеньке, чтоб он скорей приезжал за мной. Жду не дождусь его.

Остолбенела Марья Ивановна, услыхав от Дуни такие нежданные речи. Увидела она, что перед ней стоит не прежняя смиренная, покорная и послушная девушка. Гордый взор Дуни блистал ярким огнем, и Марья Ивановна нашла в нем поразительное сходство со взором Марка Данилыча, когда, бывало, он с ничем неудержимым гневом напускался на кого-нибудь из подначальных.

Должна была уступить и пошла в столовую с разряженной Дуней.

Луповицкие не могли узнать ее, перед ними была не Дуня, а какая-то новая, не знакомая им девушка.

Варенька до ушей покраснела. Варвара Петровна не утерпела, всплеснула руками и с удивленьем сказала:

— Что это какая ты, Дунюшка? Ведь у нас нет никого из посторонних. Это мой племянник, Егор Сергеич Денисов. Об нем ты слыхала.

Дуня ни слова не сказала. Села на стул против гостя и вперила в него пытливые взоры.

«Похож, похож, а не он,— думает она.— Этот ростом выше того, а красотой не вышел. Тусклые глаза, точно оловянные, редкие волосы, лицо худое, желтое, как у мертвеца. А тот удалью и отвагой пышет, силой, здоровьем пылает его молодое лицо, блещут умные, искрометные очи, свежий румянец в ланитах горит. Весело смотрит, конца нет затейным речам, а этот!.. Болен, надо думать, видно, тяжелый недуг его сокрушил. Много мне приводилось видать и мужчин и женщин ихней веры, но такого немощного, такого жалкого я еще не встречала. Краше его мертвых в гроб кладут».

Обратился Денисов к Дуне с обычным при первом знакомстве приветом.

«И голос не такой,— подумала Дуня,— хриплый, ровно могильный».

И не может надивиться она, как это чахлый Денисов показался ей Петром Степанычем.

Подали кушанье, а вносили его седой как лунь дворецкий Сидорушка, конторщик Пахом да горничная Варвары Петровны, всё «праведные» корабля Луповицкого. Перед тем как садиться, Егор Сергеич, перекрестясь обеими руками, с набожным видом прочел искаженную молитву:

— Отче наш иже еси в нас, освяти нас именем твоим и приведи нас в царствие твое, волей нашей води нас по земле и небесам. Хлеб слова твоего дай нам днесь и прости наши прегрешенья, как и мы прощаем своей братии. Сохрани нас от искушений врага, избавь от лукавого [1].

Обед прошел в строгом молчанье. Заговорила было Марья Ивановна, но Егор Сергеич властно запретил ей разговаривать во время трапéзы. И никто после того не осмеливался слова промолвить. Кончился обед, и, кроме Дуни, все до земли поклонились Денисову, а потом и он каждому поклонился.

Марья Ивановна с досадой шепнула Дуне:

— Что ж ты не кланяешься великому учителю?

— Не знаю его учения,— тихим голосом промолвила Дуня.

Только плечами пожала Марья Ивановна, а все прочие злобно покосились на вышедшую из покорности девушку. Денисов будто не замечал ничего.

Сейчас после обеда подали чай с новым липовым сотом. И за чаем молчали по приказу Егора Сергеича. Выпили чашек по семи любимого хлыстами напитка. Тогда начались разговоры. Денисов рассказывал о Закавказье, говорил о тамошней природе, о тамошних жи-

---

[1] Молитва господня, искаженная русскими хлыстами почти от слова до слова похожа на ту молитву, что употребляли в секте адамитов-микулашенцев, бывших у чехов в XV столетии. Есть основания полагать, что микулашенцы имели долю своего влияния чрез русских, живших около Кракова («Густынская летопись» под 1507 годом в «Полном собрании русских летописей», том II, стр. 365).

телях, об их нравах и промыслах, но ни слова не сказал про араратских веденцов. Когда же Варенька спросила его об иерусалимском старце и верховном пророке, он промолчал и заговорил совсем о другом. Попыталась Варенька, немного погодя, снова спросить его о том же, но Денисов опять как бы не слыхал речей ее. То и дело поглядывал он на Дуню. Не в силах была бедная девушка выдерживать его взоров, то и дело потуплялась, наконец быстро встала и пошла к двери.

— Куда ж это, милая Дунюшка? — нежно и ласково спросила ее, подойдя к ней, Марья Ивановна.— Посиди, голубчик, послушай Егорушку. Ведь ты прежде любила читать путешествия, а он лучше книги рассказывает.

Не отвечала Дуня. Марья Ивановна шепнула ей:

— Посиди, я наведу его на разговор о духовном супружестве.

Поколебалась Дуня, любопытство пересилило отвращенье к Денисову. Она осталась.

Еще поговорил Егор Сергеич, рассказал про бакинские огни, про высокие горы со снежными, никогда не таявшими вершинами; про моря Каспийское и Черное. Рассказы его были занимательны, Дуня заслушалась их, но другие не того ждали от араратского посланника. Ждали они известий о том, что было в последние годы за Кавказом, среди тамошних божьих людей.

Николай Александрыч сказал, наконец:

— Егорушка, возлюбленный, любопытны твои рассказы про далекую сторону, но хотелось бы нам послушать про царя и верховного пророка Максима. Писал ты, что он завел какие-то новые правила, установились новые обряды. Расскажи об этом, любезный.

И другие, кроме Дуни, приставали к нему с такою же просьбой.

С укором взглянул на Николая Александрыча недовольный словами его Денисов, потом, помолчавши немного и что-то сообразив, медленно стал говорить, тихо, с расстановками:

— Максим — великий учитель и верховный пророк. Сила, большая сила в духе его является. Все тамошние вполне уверены, что он избра́ннейший из избра́нных, праведных последних дней. Все ему повинуются беспрекословно, все признают его волю волей небесною. Послу-

шание ему ото всех праведных беспримерно. Хотя бы он потребовал от кого-нибудь из учеников согрешить или впасть в тяжкое преступление, каждый без рассужденья исполнил бы, что повелел он, будь то воровство, грабеж, поджог, убийство самого близкого и ни в чем не повинного человека. Нет границ воле его. Для чистого все чисто, говорит он, а праведному нет на земле закона. Послушание духоносному пророку, послушание его посланникам, странствующим по разным странам,— вот главный закон араратский. И тот закон не новый. Издавна установлен он, но по слабости человеческой забыт, а во многих кораблях совсем почти оставлен — редко, где соблюдается. Послушание свыше озаренному верховному пророку самый благоуханный фимиам, воскуряемый к небесам, а для врага невыносимый. Главнейшее свойство лукавого — гордость, и ему, злому, хочется, чтобы все люди пребывали в этом страшнейшем и губительнейшем грехе. Но ежели кто, презирая горделивость, пойдет против врага и противопоставит ему безграничное послушание своему пророку, враг страдает и мучится от такой насмешки над его гордостью. Чем больше покорных воле других людей на земле и чем выше послушание их, тем больше мучений нечистому. Бороться с ним, уничтожая в сердце гордость,— вот величайшая заслуга перед небом, вот посрамление врага и победа над ним. Не поклоняйтеся же адской гордыне и в безграничном, беззаветном послушании людям, более вас вдохновенным, ищите оправдания и спасения.

— А ты, голубчик Егорушка, имеешь этот дар? — после общего молчанья спросила Варвара Петровна.

— Имею,— скромно опуская глаза, промолвил Денисов.— Я послан верховным пророком внушать это верным-праведным. Была некогда проповедь покаяния, теперь в последние дни мира настало время проповеди послушания. Я и другие посланы на такую проповедь. Утвердить в людях божьих беззаветное повиновение воле пророческой — вот зачем послали меня.

— И вводить духовное супружество? — вполголоса спросила Марья Ивановна.

— Да,— отвечал Егор Сергеич.

— В чем же заключается оно? — спросила Марья Ивановна.

Слышала эти речи сидевшая вблизи Дуня. С напряженным вниманьем ждала она ответа.

— Тоже послушание. Кто желает знать подробно, пускай тот спросит меня наедине. Не всякому открою, а на соборе не скажу ни слова. Там ведь бывают и люди малого ведения, для них это было бы соблазном, навело бы на греховные мысли. Теперь не могу много говорить, все еще утомлен дорогой... Пойду отдохну. Когда собор думаешь собрать? — спросил он, обращаясь к Николаю Александрычу.

— Не знаю. Как ты решишь,— отвечал Николай Александрыч.— Соберу дня в три, много в четыре, а день ты назначь.

— Не раньше, как через неделю,— решил Денисов и, не взглянув ни на кого, пошел из столовой. Николай Александрыч следом пошел.

Оба вошли в отведенную Егору Сергеичу комнату, и там он прилег на диване. Николай Александрыч сел у изголовья.

— Нарочно не говорил я, что араратские рассказывают про иерусалимского старца и про христа и царя Максима,— сказал Денисов.— Боялся запугать ее. Ты ведь говорил, что от этих сказаний возникло в ней охлаждение к вере. Если она будет на соборе, тоже ни слова об этом не скажу. А надо, чтоб она была. Пускай не радеет, пускай ничего не говорит, оденется во что хочет... Шутка сказать — миллион! Не надо его упускать, надо, чтоб она волей или неволей осталась у вас.

* * *

После этого Дуня, без уговоров Марьи Ивановны, каждый день приходила обедать, чтобы повидаться с Денисовым. Так ей хотелось узнать подробнее о духовном супружестве. «Не все ж у них ложь и обман,— она думала,— а Денисов кажется, правдив, не то что другие. На другой день после свиданья с ним он прямо мне сказал, что смутившие меня сказанья сущий вздор, пустая, бессмысленная выдумка глупых людей... Но для чего ж он хочет говорить со мной наедине?»

Стала Дуня искать одиночного свидания с Денисовым то в саду, то в теплице, то в доме. С крайним любопытством она заговаривала с ним о вечном союзе душ,

но он не давал ей прямого ответа. А когда Дуня сказала, что ведь обещал же он ей все открыть наедине и вот теперь они одни, никто их не видит, никто не слышит, он все-таки уклонялся от прямого ответа, говоря, что не пришло еще время. Каждый день, хоть на короткое время видясь с Денисовым, Дуня, на радость Луповицким, немножко привыкла к нему... И в то же время стала реже вспоминать об отце, а Петр Степаныч и совсем не впадал ей больше на память...

Через неделю по приезде Егора Сергеича, дворецкий Сидор и конторщик Пахом отправились объезжать ближних и дальних божьих людей, с зовом на собор. И, как бывало прежде, сошлись и съехались к назначенному дню почти все, бывшие на «великом соборе», кроме полоумной Серафимы Ильинишны с ее неизбежными спутницами. Боялся Николай Александрыч, чтоб они не наделали каких-нибудь новых бесчинств, по той же причине не звали и дьякона Мемнона, а юродивого Софронушку игумен Израиль опять не пустил, сердился на Луповицких за дыни да к тому же напрасно две недели ждал от них на солку огурчиков.

Накануне собора Николай Александрыч и Марья Ивановна долго сидели в комнате Егора Сергеича и что-то обсуждали.

Когда настал час для сбора в сионской горнице, все собрались и разошлись по одевальным комнатам «облачаться в белые ризы». Потом вошли в сонм верных.

Пришла и Дуня, но не надела она радельной рубахи и села у входных дверей. Сильно была она взволнована. Егор Сергеич обещал ей тотчас после раденья открыть тайну духовного супружества. Марья Ивановна также не сняла обыкновенного своего платья и села рядом с Дуней. Так же точно сидели они теперь, как и в тот раз, когда Дуня в первый еще раз была в сионской горнице.

Началось раденье. Николай Александрыч сидел в стороне, наряду с другими. Его место занял Егор Сергеич, он читал молитвы и поучения, он и распоряжался всем ходом собора. Не сказал он ни слова, что могло бы поразить внимательно слушавшую Дуню. Оттого в ней возросло несколько доверие к приезжему пророку. Все другие были им крайне недовольны. Ожидали услышать от него что-нибудь новое, не известное им, с нетерпением

ждали, как расскажет он про царя араратского, а Денисов молчал. Просили его, целым кораблем молили, чтобы поведал про новые законы, правила и обряды, данные верховным пророком Максимом.

— Мой час не пришел,— сказал Егор Сергеич, когда мольбы усилились до того, что Николай Александрыч стал опасаться, не услыхали бы криков, воплей и стонов в деревне, не узнал бы о шумном сходбище отец Прохор. Стал он унимать не в меру раскричавшихся праведных:

— Не мешайте, не бесчинствуйте! Зачем так кричать? Дух не дает говорить Егорушке о том, чего вы просите.

Но крики не унимались. Никто, кроме Луповицких, Кисловых и Строинского, слушать не хотел уговоров корабельного кормщика.

Тогда, делать нечего, Николай Александрыч схватил за шиворот одну больше всех кричавшую пришлую какую-то бабу и хотел вытолкать ее из собрания. Та завизжала неблагим матом.

— Матрена! — крикнул Николай Александрыч начальнице богадельни,— возьми кого-нибудь из своих, оттащите бесчинницу в богадельню. Запри там ее в чулан или в подполье на всю нá ночь. А завтра я распоряжусь.

Матренушка с двумя божедомками тòтчас исполнили барский приказ.

Крики и вопли унялись. Стали радеть.

Егор Сергеич дольше всех радел. От изнеможенья несколько раз падал он без чувств. И тут заметили божьи люди, что в минуты бесчувствия не только обычная пена, но даже кровь показывалась на его губах. Это было признано знаком присущей величайшей благодати.

Начались пророчества. Кроме других сказывал их и Денисов. И опять ни слова о закавказских праведных.

Когда собор подходил уж к концу, Марья Ивановна шепнула Дуне:

— Выйдем минуты на две в коридор, нужно мне с глазу на глаз поговорить с тобой насчет того, знаешь...

— Насчет чего? — спросила Дуня.

— Насчет Егорушки,— молвила ей на ухо Марья Ивановна.— Ведь он говорил, что посвятит тебя в эту тайну?

— Говорил,— ответила Дуня.

— Эта тайна очистит и освятит тебя. Бесплотным силам будешь подобна, и не будет к тебе приступа от горделивого духа злобы и нечестия,— продолжала Марья Ивановна.— Пойдем — ты ведь не принимаешь участия: не радеешь и в слове не ходишь. Все равно, если уйдешь из сионской горницы. Здесь нельзя говорить, а я хочу кой-что сказать тебе. Пойдем же.

Дуня повиновалась и за Марьей Ивановной вышла в коридор.

— Он мне сказал, что только тебе, одной тебе откроет он тайну,— сказала в коридоре Марья Ивановна.— Признаюсь, я оскорбилась его словами, обидны они показались мне. «Отчего это, говорю я ему, ты не хочешь мне открыть. Сколько лет, как я в корабле!.. Еще когда жила в Петербурге Катерина Филипповна, я была принята в духовный союз. А ее, то есть тебя, хочешь, говорю посвятить в тайну, хоть она не больше двух месяцев принята». Он отвечал: «Не всякому дано знать сокровенное, нужно для того иметь особенную благодать, а я в ней только вижу избыток благодати». Я сказала ему, что в последнее время ты охладела к союзу верных, а он ответил: «Полную веру имею, что она укрепится и будет верною до конца». Вот что мы говорили с ним. Скажи, хочешь ли говорить с ним?

— Хочу,— сказала Дуня.

— Войди же сюда,— сказала Марья Ивановна, отворяя дверь в комнату, где обыкновенно складывались радельные рубашки и другие принадлежности хлыстовских молений.— Подожди тут. Только что кончится собор, он придет. Будь ему во всем послушна, во всем, что б ни сказал он, чего б от тебя ни потребовал.

Марья Ивановна ушла. Дуня одна осталась.

Огляделась, видит — комната большая, хорошо прибранная. «Белые ризы» и другие хлыстовские вещи лежали в расставленных по стене глухих шкапах, без стекол. Напротив их по другой стене стоял турецкий диван, обитый старым трипом, возле него стол, а на нем фарфоровый кувшин с водой и несколько тарелок с разным вареньем. На полу во всю комнату был разостлан, хòть и старенький, но довольно еще пушистый ковер. Над диваном по стене развешано несколько масленых картин — на всех религиозно-мистические изображения. Тут и миловидный отрок с ягненком на плечах, и три отрока, вы-

ходящие из вавилонской печи, и пророк Иона в шалаше под тенью клещевины [1]. Окон два, в средине должно быть третье, но оно прикрыто большой картиной кисти известного хлыста и искусного художника Боровиковского. Во весь рост изображен на ней медиоланский епископ Амвросий в богослужебной одежде, стоящий перед престолом. Руки святого воздеты к небу, восторгом горят его очи, а из уст выходит узенькая полоска хартии, и на ней латинская надпись Te Deum laudamus [2]. Рассматривая это изображение, Дуня бессознательно оперлась рукой на позолоченную и сильно выцветшую раму и почувствовала, что она держится не твердо. Рассмотрев ее внимательнее, увидала, что рама с картиной отворяются, что они поставлены тут, чтобы только закрыть окно. На подоконнике было на палец толщиной пыли, на косяках висели клочья паутины — заметно было, что картина долгое время оставалась нетронутой. Окно за нею было закрыто ставнями, отпиралось оно изнутри, но решеток не было. Вспомнилось Дуне, что недавно еще, когда Варенька отыскала ее в заброшенном палисаднике, она указывала ей на кладовую с тремя окнами и теперь сообразила, что серединное окно было прикрыто.

Слышит Дуня — смолкли песни в сионской горнице. Слышит — по обеим сторонам кладовой раздаются неясные голоса, с одной мужские, с другой — женские. Это божьи люди в одевальных комнатах снимают «белые ризы» и одеваются в обычную одежду. Еще прошло несколько времени, голоса стихли, послышался топот, с каждой минутой слышался он тише и тише. К ужину, значит, пошли. Ждет Дуня. Замирает у ней сердце — вот он скоро придет, вот она узнает тайну, что так сильно раздражает ее любопытство.

«Я покину их, покину и веру ихнюю, отброшу их,— думает она,— но тайну духовного супружества мне хочется узнать... Нежная любовь, невыразимое словами счастье в здешней жизни и в будущей! Не останусь я с ними, но эту тайну вынесу из корабля и к другому применю ее, кто полюбит меня сердцем и душою».

---

[1] *Клещевина* — Ricinus. Это растение упоминается в еврейском тексте (Ионы, IV—6). В переводе семидесяти вместо него стоит «тыква».

[2] *«Тебе бога хвалим»* — песнь, сочиненная св. Амвросием Медиоланским. Такая картина в тридцатых годах была у петербургских хлыстов из образованного общества.

И вспомнился ей Петр Степаныч, и наполнилась она восторгом. Сердце обливается горячей кровью, она дрожит и, почувствовав утомленье во всем теле, кидается на диван и закрывает глаза.

Шорох ей послышался. Открыла глаза, пред ней Денисов.

Страстью горят глаза, губы дрожат, по лицу змеятся судороги, дыханье сильное, перерывчатое.

Увидав его, Дуня быстро вскочила с дивана, но он схватил ее за руки и трепетным, как бы замирающим голосом сказал:

— Останься, как была!..

И сел возле нее на диване.

От прикосновенья горячих рук Денисова вздрогнула Дуня. Она отстранилась от него, насколько могла, и уселась в глубине дивана.

— Прежде чем с тобой беседовать, должна ты исполнить святой обряд, установленный в корабле людей божьих. После каждого собранья даются там друг другу серафимские лобзанья. Ты прежде лобзаний ушла из сионской горницы, а без них мне нельзя говорить.

Вся покраснела Дуня, но любопытство было так сильно, что она решилась дать Денисову холодное лобзанье, какое дала бы каждому из сидевших в сионской горнице.

Она протянула к нему лицо, а он, целуя ее серафимским лобзанием, вдруг сжал ее в объятьях.

— Что это? — отчаянным голосом вскрикнула Дуня, поняв обман и вырываясь из рук Денисова. На ее крики ответа не было.

Вспомнила Дуня об изображении Амвросия Медиоланского. Быстрым движеньем руки распахнула раму, вскочила на подоконник и, раскрыв ставни, выпрыгнула в палисадник. Другого выхода ей не было, дом наполнен был людьми божьими — ее бы остановили и отдали на жертву Денисову. В отчаянии она и кинулась в окно, между тем как араратский пророк изо всех сил старался ржавым ключом отпереть входную дверь кладовой.

Епископ Амвросий спас Дуню.

Хорошо знала она местность. Выбежав на широкий двор, бросилась было к воротам, но в зачинавшемся уже

рассвете увидала, что там на лавочке сидит караульный... В сад побежала, там ни души. Она дальше и дальше... Бежит, не переводя духа, и назади сада, вблизи Кириллиной пасеки, перелезает через невысокий плетень, а потом по задам возле длинного ряда крестьянских овинов бежит к попу на край деревни. На него одного вся надежда ее. Подбежав к домику отца Прохора, она крепко постучалась в окно.

— Кто там? — спросил изнутри комнат уже вставший с постели и стоявший на утренней молитве отец Прохор.

— Спасите!.. Укройте! — с горьким плачем взмолилась ему Дуня.

— Это вы, Авдотья Марковна? — спросил отец Прохор, узнавая ее по голосу.

— Я, я, спрячьте куда-нибудь... Скорей, скорее,— говорила навзрыд плачущая Дуня.

— Пожалуйте!— сказал отец Прохор.— Сейчас отопру калитку.

* * *

Отец Прохор, впустив Дуню на двор, провел ее в заднюю, говоря, что в передней сидеть ей опасно. Только что узнают хлысты, что она скрылась, говорил он, тотчас начнут искать ее и непременно станут заглядывать к нему в окна; немудрено даже, что с обыском придут. Разбудив жену и дочерей, отец Прохор приказал им снарядить в дорогу чересчур легко одетую Дуню, а потом вышел на двор и, разбудив работника, велел ему наскоро запрячь лошадку. Полуслепая и глуховатая матушка попадья надела на Дуню чоботы старшей дочери, свою шубейку и повязала ей голову большим платком по-деревенски. Не прошло получаса, как отец Прохор сел с Дуней в тележку. Уезжая, наказал он домашним, что ежели кто спросит про него, особливо из барского дома, так сказали бы, что еще ранним вечером уехал с требой, а оттуда хотел проехать в город, куда его вызывали в духовное правление.

Предосторожность не лишняя. Только что обутрело, в поповский дом пришел хозяин села, Андрей Александрович Луповицкий, с конторщиком Пахомом.

— Дома ли батюшка? — спросил он у попадьи, встретившей барина у калитки.

— Дома его нет,— почтительно она отвечала.— Еще с вечера в сумерки уехал с требой.

— А скоро ль воротится? — продолжал расспрашивать Андрей Александрыч.

— Не знаю, как доложить. Сряжался в дорогу, так говорил, чтоб скоро его не ждали, что ему надо в город проехать. В духовное правление по какому-то делу требуют, рассыльный приезжал третьего дня,— сказала матушка попадья.

— Экая досада! — вскричал Андрей Александрыч, садясь на диван в передней горнице.— А я было к нему за делом. Как-то раз батюшка говорил мне, что у вас и домик и надворные службы обветшали, и я обещал ему сделать поправки. А теперь хочу нанимать плотников, теплицы поправить надо, застольную, а скотный двор заново поставить. Так я было и пришел с конторщиком осмотреть, какие поправки нужно сделать у вас, чтоб заодно плотников-то рядить.

Попадья рассыпалась в благодарностях за нежданные-негаданные милости. Низко кланялись Луповицкому и поповны.

— Благодетель наш, Андрей Александрыч,— говорила со слезами матушка попадья.— Истинный вы наш благодетель! Эка, Петрович-от на беду отъехал .. А впрочем, что ж его ждать, и без него обойдется дело. Велите конторщику осмотреть, а Степанидушка с ключами с ним пойдет и погреб ему отопрет, и житницу, и клеть, и чуланы. Она и запишет все на грамотке [1].

— Зачем же это? Сам осмотрю,— сказал Андрей Александрыч и встал с места.

Осмотрел он передние и задние горницы, посылал Пахома в подполье поглядеть, не загнили ли нижние венцы срубов, сам лазил на чердак посмотреть на крышу, побывал во всех чуланах и в клети, на погребе сам вниз сходил и в бане побывал, и в житнице, и в сараях, в конюшне, в коровнике и на сеновале, где, похваливая поповское сено, вилами его потыкал. И все на бумажке записывал.

---

[1] *Грамотка* — бумажка.

После осмотра до последней щелочки, Андрей Александрыч убедился, что Дуни у попадьи нет. На прощанье сказал:

— Так вы, матушка, готовьтесь к поправкам. Плотники к Воздвиженью придут, а пока до них по этой записке пришлю вам бревен и тесу. Отведите свободное местечко, где сложить.

— Благодетель наш! Век за вас будем бога молить. Не оставляете убогих щедротами... Петрович-от как станет жалеть, что не посчастливилось ему видеть вас у себя в доме.

— Ну, прощайте, матушка. До свиданья,— сказал, собираясь уходить, Андрей Александрыч.

— А чашечку чайку не угодно ли выкушать? — сказала попадья.— Покамест вы трудили себя, Степанидушка и самоварчик поставила и чайку заварила ради дорогого гостя, отца нашего родного, благотворителя.

Андрей Александрыч остался, а Пахому велел идти домой и сейчас же составить смету на постройки при барском доме и поправки в доме отца Прохора. Как ни упрашивала попадья, чтобы позволил Андрей Александрыч Пахому выпить у ней чашечку-другую чаю, но он не согласился и приказал конторщику как можно скорей домой поспешить, доложить Николаю Александрычу, что все строенья осмотрены и что поправки необходимы.

За чаем Андрей Александрыч разговаривал с глуховатой и полуслепой попадьей о разных недостатках поповского хозяйства. И сенокосишка-то у попа мал, и в земле-то скудость, и доходов-то от церковной службы недостаточно. Под конец Луповицкий дал попадье десятирублевую, примолвивши:

— Это вам за беспокойство. Своим приходом ведь я нарушил покой в вашем мирном уголке.

Со слезами на глазах попадья схватила было руку, чтобы поцеловать, но Андрей Александрыч не допустил ее.

— Прощайте, матушка. Кланяйтесь отцу Прохору. Скажите ему, чтобы до Ивана Богослова [1] непременно

[1] 26 сентября.

приготовился к перестройке дома,— говорил, уходя из поповского дома, Андрей Александрыч.

До улицы проводила его попадья с дочерьми, низко кланяясь и благодаря, как только умела. Когда же воротились домой, попадья шепнула Степанидушке:

— Хоть все лазы облазил, а не нашел. Пришлет ли, нет ли леску, бог его знает, а красненькую пожаловал. Нам и то годится... А ведь Авдотья-то Марковна богачка страшная, к тому и добра и милостива, как заметила я. Поди, не десять рублей даст Петровичу. Соверши, господи, во благо ее возвращение в дом родительский! Такой богачки ни разу еще не приводилось Петровичу выручать из этого дома.

СОДЕРЖАНИЕ

НА ГОРАХ

Книга первая

Книга вторая

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(Андрей ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах

Том VI.

Оформление художника
Б. В. Столярова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 19/XII 1975 г.
Подписано к печати 10/VI 1976 г.
Бумага типогр. № 1. Формат $84 \times 108^1/_{32}$.
Объем 25,62 усл. печ. л. 27,76 уч.-изд. л.
Тираж 375000 экз. Изд. № 1547. Заказ № 1548.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683